

Р 2

п 26

АРКАДИЙ ПЕРВЕНЦЕВ

**ЧЕСТЬ СМОЛОДУ**



АРКАДИЙ ПЕРВЕНЦЕВ

ЧЕСТЬ  
СМОЛОДУ



Государственное издательство  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
МОСКВА 1949

Переплет, титул, фонтиспис  
и шмуцтитула  
художника  
Ф. ГЛЕБОВА

*Героической  
советской молодежи,  
ленинскому комсомолу  
посвящаю*



**ЧАСТЬ  
ПЕРВАЯ**

## Глава первая

### ГИБЕЛЬ «МЕДУЗЫ»

Начавшийся с полудня ветер к вечеру прибавился на три балла. Это был нехороший ветер, дующий нанскось по морю. Его боялись рыбаки, уходившие далеко в море, и называли странным словом «гарби», неизвестно откуда пришедшим на Кавказское побережье. Гарби изменчив и может внезапно перейти в береговик. Тогда ищи баркасы и фелюги в открытом штормовом море. И если выбрасывает обломки рыбацких суденышек где-нибудь на болгарском или румынском побережье, знай, что это невольные гости с Кавказа, жертвы гарби.

Рыбачья гребная ватага весело отвалила сегодня поутру в море. Вместе с ней ушли мой отец, Иван Лагунов, и два старших брата — Матвей и Илья. С завистью я, восьмилетний мальчишка, провожал баркасы. Заскрипев киллами на крупнозернистом песке и разноцветной гальке, они вре́зались в зеленую воду.

На старом баркасе «Медуза» ушел Матвей — ему только-только двенадцатый год, на втором, вместе с отцом, — десятилетний Илюшка. Мать несмело просила отца оставить детей, не брать с собой, но отец сгреб сразу двоих. Он сдал Матвея молодому, удачливому болгарину Николе, а Илюшку бросил голым пузом на выскобленную, желтую, как орех, корму своей лодки «Коля Руднев».

Ватажек Антон Сторокож искоса посмотрел на мать. Она была тогда такая красивая, с волнистыми, забранными в узел светлыми волосами, со смеющимися черными

— Мороженое.

Мать провела рукой по голове Анюты и строго улыбнулась. Но на душе у меня не посветлело. Спустившись по гравийной дороге, мы направились к дому. Вплотную к молодым эвкалиптам, прикочевавшим сюда вместе с человеком, вдоль побережья росла ажина, густые, сплетенные лианами кусты, — там ютились безвредные толстые змеиглухари и даже большие желтобрюхи, или полозы.

Засуха разламывала землю, высушивала колодцы, родники. Эвкалипты, посаженные для осушения мокрых низин, стояли понуро, как плакучие ивы. Засыхали цветы и травы.

А рядом, у наших ног, лежало бесконечное море. Столько воды! Беспольной горько-соленой воды!

Жилища поселка были разбросаны по небольшой гряде, предшествующей мощному террасистому контрфорсу Кавказского хребта. Это определение характера местности я постиг уже в войну, когда пришлось в тактических целях изучать знакомое с детства побережье. А в детстве я знал: от берега за дамбой идет низина, заросшая ажиной, которую наше воображение наполняло бесчисленным количеством змей; дальше поднимается горка, где выстроены домики рыбаков, затем снова низина, а за ней горы, покрытые дубами, чинарами, фундуком, а дальше... Там уже неизведанные дебри, где можно встретить разных хищных зверей, даже медведей и кавказских тигров. Оттуда осенними ночами доносятся крик сов, плач и хохот шакалов и еще какие-то звуки, леденящие кровь. Мы знали, что люди там рубят и корчуют лес и ставят дома, санатории, проводят шоссевые дороги, сажают пальмы, бананы, олеандры и лавры.

...Гасли звезды. Высокие мрачные колонны облаков падали, загорались от заката и текли, как дымы близких пожарниц. Веерные листья пальм-хамеропс дробно тряслись под ветром. Как паруса, надувались листья бананов. Сухой воздух постепенно напитывался влагой, холодел.

Ночью после коротких пушечных ударов грома хлынул ливень. Небо было сплошь покрыто облаками, а горы едва виднелись на горизонте. Как светляки в траве, горели далекие электрические огни курортного города.

Я боялся грозы, но детское любопытство оказалось сильнее страха. Выскользнув из-под одеяла, я на цыпочках вышел на веранду.



Дождь лил сплошной стеной. Это был причерноморский субтропический ливень с его стремительными потоками и мельчайшей водяной пылью.

Вода неслась по листьям бананов, как по желобам. Пальмы клонили свои веера. Казалось, что мчавшаяся вода вспыхивала при свете молний, как огненная жидкость.

Я прислушался: ни резкого стрекота древесной лягушки, ни скрипенья пильщиков-кузнецов, ни треска зеленой ночной мухи, — только дождь, удары грома, блеск молнии и шум потоков.

Море гремело, хотя ветер постепенно стихал. Услышав в комнате шорох, я проскользнул в дверь и юркнул под одеяло. Я видел, как поднялась мать и вышла на веранду. Она долго стояла, освещенная молниями, глядя в сторону моря.

Я проснулся от звонких криков сестры:

— Наши! Наши! Наши!

Я вскочил. На веранде, прижавшись к перилам, стояла сестренка и, радостно махая обеими руками, кричала:

— Наши! Наши! Наши!

Я заметил на горизонте точки. Снова показалось солнце — новое, ясное, разнося по долине ручьи света.

В море, по руслу реки, вышла глинистая дождевая вода. Отсюда, с веранды, она казалась коричневой, резко выделяясь на темносинем море. Реки натащили в море столько глины, песку и деревьев, что, казалось, образовали новый, не имеющий еще названия мыс.

Резвые ноги несли меня к морю, словно по воздуху. Встречать ватагу спешили и стар и мал — все жители поселка. Люди бежали к берегу, сбивались кучками, перегоняли друг друга.

Причалов не было: их все равно унесло бы море. Но рыбаки обычно приставали к одному месту. Здесь-то сгрудилась толпа. Всмотривались туда, где в сиянии моря на равномерных взмахах желтых весел шли темные остроносые баркасы. Пересчитывали лодки. Кто-то заметил отсутствие «Медузы». Баркасы подходили ближе. Вон крайний слева — «Коля Руднев», на нем едет отец; вон флагман-мачтовка «Сила Буденного», на нем стоит седой ватажек Сторокож; вон гребная фелюга с низкими бортами,

будто вырезанными ножницами. Это «Капитанская дочка», или, как ее называют все, «Мусульманка». Ее захватил в беспокойную ночь Михаил Балабан, командир морского пограничного поста, прозванный на берегу отчаянным капитаном. «Мусульманка» попала в руки Балабану вместе с пятеркой акмабадских контрабандистов-турок и грузом шелка, чулок и трапезундского табаку. Балабан передал рыбакам трофейную фелюгу и вскоре перешел в Крым. Мы, дети, не видели Балабана, но романтически преклонялись перед ним. На корме «Капитанской дочки» в бушлате сидел еще совсем молодой парень Стенька Лелюков, соперник в удали и хватке болгарина Николы.

Но Никола не вернулся с ватагой. Не было его быст-роходной «Медузы», не было экипажа, и не было брата Матвея. Лодки приближались, ясно освещенные восходящим солнцем. Я видел даже патронташи дельфинобоев, седые виски Сторокожа, его пасмурные глаза и широкое, усатое, бесконечно дорогое лицо отца. Возле отца сидел Илюшка, прижавшись к его коленям, закрытым кожаной гармошкой сапог. Может быть, Никола пошел другим курсом? Может быть, где-нибудь он уже выпрыгнул на берег, размялся и, засмеявшись так, что сверкнули его сахарные зубы, бросил на песок нашего Матюшку, и ну с ним возиться... Так играл Никола с нами, ребяташками. И мы любили этого веселого, красивого болгарина. А может, увела Николу дельфинья стая, а тут шторм. Может, догоняет он ватагу? Удачлив же Никола!

Подобные мысли приходили в голову и другим. Всем были хорошо известны опасности, связанные с мастерством рыбаков и дельфинобоев. Вокруг себя я слышал предположения, произнесенные и громко и шепотом. Сердце матери видит дальше всех и чувствует лучше, чем чье-либо другое сердце. Она закусил губы, чтобы не разрыдаться и не показать свои чувства. Мать стояла не пошевелившись и неотрывно смотрела на приближающегося «Колю Руднева», чуть подавшись вперед. Я ближе притиснулся к матери, взял ее руку. Она крепко сжала мою, и я ощутил дрожь ее тела. Тогда я понял: Матвей не вернется.

Баркасы подвалили.

Рыбаки сходили прямо в воду и выдавливали в песке ямки своими грубыми сапогами. На песок полетели весла. Гребцы разжали кулаки, опустили руки в воду. На ладо-

нях кровь, ссадины. Ногти обломаны, и, кажется, стерты твердые, как кости, мозоли. Лица измучены. Провалились глаза, окаймленные темными кругами.

Приход рыбаков не вызвал обычного оживления. Молчала толпа, молчал ватажек, присевший на камень с кистем в руках, молчали рыбаки. Не радовали брошенные на камни дельфины. Камбалы, плоские одноглазые страные рыбы, будто разрезанные надвое, лежали на дне баркасов навалом, как балласт.

Стенька Лелюков посмотрел исподлобья на ватажка, снял со своей «Мусульманки» мешок раскисшего хлеба, бросил на песок. Принюхиваясь, подошли собаки. Стенька ударил нашего Лоскута носком сапога, и тот, не огрызнувшись, отошел, лег у ног отца, положив на его мокрый юхтовый сапог желтую, в подпалинах, лапу.

Мать отбела мою руку и подошла к отцу. Он поднял на нее тяжелые, опухшие веки. Мать смотрела на отца с надеждой. Мне захотелось кинуться к ней, прижаться щекой к ее шершавым, обветренным рукам.

Ильсика чертил пальцем по песку, не поднимая головы, словно и он чувствовал свою ответственность перед матерью. Ватажка не спрашивают. Жены рыбаков «Медузы» молча обступили отца, прижав руки к груди, точно удерживая готовый вырваться крик.

А море сияло под утренним солнцем. Мы называли такое сверканье игрой в жмурки.

Мать подняла свои увлажненные черные глаза, полные мольбы и надежды.

— Вернутся, Иван?

Отец отводит взгляд в сторону. От солнца загорелись, словно радужные камешки, соленые морские брызги на его усах. Мне казалось: на берегу сидит в глубокой неподвижности стлтая из металла статуя, какую я видел в городе. У этой статуи драгоценные усы. Потом мне стало стыдно за эти неуместные сравнения. Отец продолжал молчать. И тогда закричала какая-то женщина. За ней заголосили другие.

Отец поднялся и, тяжело шагая, подошел к ватажку. Тот медленно встал. На лице его тревога. Ему, видимо, хотелось спрятаться от отца, от его гневных глаз, в упор устремленных на него, и от криков женщин, потерявших своих кормильцев.

Отец подошел ближе к Сторокожу, приостановился,

что-то тихо сказал, а потом вдруг размахнулся и своим тяжелым кулаком ударил его со всего размаху.

Я не успел протиснуться вперед. Меня оттолкнули люди, бросившиеся к месту происшествия. Мне был виден вновь занесенный кулак отца.

У отца обезображенное гневом лицо. Крупные слезы катились по его щекам. Я закрыл глаза и закричал. Я кричал так, что, кажется, легкие вырвутся наружу. Меня подхватила мать, вытерла слезы. Я ощущал шершавые ладони на своем лице. Опять мне хотелось прильнуть к ним губами.

Чувство стыда за свои слезы, за крик привели меня в чувство. Внимание всех обращено на меня. Я не мог объяснить этим людям всего, что произошло в моей детской душе — вчерашний мрачный закат, коловорот волн, унесший моего брата, тропический дождь и огненные потоки на листьях бананов и пальм... Я не мог объяснить, как страшно впервые увидеть своего отца в таком гневе и слезы на его лице.

Может быть, меня понял Стенька Лелюков. Он стоял, прислонившись спиной к баркасу, с небрежно откинутой по борту рукой и глядел на меня дружелюбно, будто впервые заметил меня: ишь, мол, какое ты насекомое!

— Лагунов прав, — сказал Лелюков, — не он, так я побил бы Сторокожа. Мы могли бы спасти «Медузу». Но решить должен один, хозяин в море — ватажек. А что сказал Сторокож: «Пусть поколобродит один в море Никола. Пускай поймет, что такое ватага». Учить Никола можно, но только, как мне, Лелюкову, кажется, не тем моментом, когда, посчитать, все лохматые черти приходят по твою грешную душу. Никола оторвался от ватаги, и ватага должна была наказать его на берегу. Только не смертью. Прав сто раз Лагунов. Его кулак — мой кулак! Не вынырнет теперь Никола никогда. Жалко Матюшу... Хороший мог бы с него выйти рыбак...

Вечером тихо плескалось море. Оно ласкалось у ног, будто вымаливая пощаду за свое злодейство. Сегодня никто не заплывал далеко, держались близ берега. Не было слышно обычного смеха. На гальке лежали выброшенные волной и умершие от солнца медузы. Мне казалось, что это остатки баркаса Николы, превращенного морем в студенистую бесформенную массу.

## ПРОЩАЙ, МОРЕ!

Поиски «Медузы» окончились впустую. Море не выбросило ни одной щепы. Но мне казалось, что Матвей жив и где-то спрятался. Вот-вот он выскочит из зарослей ажины, толкнет меня в бок и крикнет по своему обычаю: «Догоняй, турок!»

На третий день к нам в дом пришли гости-рыбаки. С ними был Лелюков. Мать накрыла на стол. Рыбаки выставили принесенные с собой бутылки с местным кислым вином. Угощение проходило без обычного разгульного шума. Так всегда бывает на поминках. При уходе Лелюков задержался возле отца и предложил ему принять ватагу вместо Сторокожа, которому после гибели «Медузы» не приличествует быть ватажком. Он говорил, что теперь не будет опасно заходить в открытое море; приезжали из города, обещали прислать моторные баркасы. На побережье впервые создавались рыболовецкие колхозы, и рыбаки просили моего отца хорошенько подумать.

— Я не пущу его в море, — сказала мать, — не пущу детей.

— Ну что ж, случаются и несчастья, — ответил ей Лелюков. — Во все времена тонули рыбаки и разбивало штормом баркасы. Не так уж позорно помереть настоящему рыбаку в море.

Лелюков старался убедить мать.

— Мы ушли от земли, — сказала мать, — нас накавала земля.

— Что ты скажешь, Иван Тихонович? — спросил Лелюков.

— Дам ответ через две недели.

— Добро. Как раз подойдут моторки. Мы не торопим тебя с ответом. Понимаем твою горе.

После ухода Лелюкова мать сказала отцу:

— Я хочу уйти от моря.

— Не будем решать это сегодня, — ответил отец.

Ночью меня разбудили звуки гармошки. Последнее время отец редко вытаскивал ее из сундучка. Это была заветная гармоника, спутница отца и в империалистическую и в гражданскую войну. Побывала она вместе с ним на румынском фронте, на Украине, отступала с отцом к

Царицыну, прошла Жутов мост, слушали ее Пархоменко, Коля Руднев, в честь кого отец назвал свой баркас. Слушал ее певучие лады и дуганский сказочный герой, слушал командир бронепоезда, на котором служил отец, известный Алябьев. Многие хорошие люди заказывали любезные их сердцу песни.

Той ночью, когда, мне казалось, где-то близко носился призрачный баркас «Медуза», холодело на сердце от печальных звуков гармоники и песни отца. Он напевал в треть голоса какую-то новую, неизвестную мне песню. Впоследствии она всегда нагнетала на меня тоску, и если я не мог запретить ее петь, то уходил так далеко, чтобы не слышать ее. Это была песня про неизвестное мне тогда дерево — рябину: «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?..»

Луна освещала нашу комнату, буковые кровати, стены, увешанные крючьями и металлической рыбацкой снастью. Тени от окон, как решетки, лежали на холодно освещенной веранде. Кричали шакалы, а мне чудился где-то вблизи голос Матвея. Мать поднялась, подошла ко мне, опустилась на колени.

Я не мог уснуть. Мать попросила, и отец отложил прочь гармошку.

На следующий день отец достал из сундучка орден Красного Знамени, потер его суконкой и, подложив под него красный бант, привинтил к военной рубахе. Потом он взял со стола краюху хлеба, брынзу, завернул в кусок старого паруса. Посидев минуту молча всей семьей, встали. Отец простился с нами, взял палку и пошел к перевалу. Мать провожала его до ущелья. Вернувшись, она сказала нам, что отец ушел на Кубань, чтобы определиться там на житье.

Был 1929 год. С больших земель начали изгонять кулаков. Отец хотел применить там свои силы. Жить на побережье становилось все хуже и хуже. Удобной земли здесь не было. Рыба? Известно всем, какова рыба в Черном море. Если в Керченском проливе и дельтах рек можно было еще надеяться на улов, то в этих местах, доступных шторму, с крутым покатом морского дна и большими глубинами, приходилось рассчитывать только на открытое море. Конечно, отец никогда бы не решился идти на Кубань в другое время. Что там делать без лошади и плуга? Много ли наворочаешь одними голыми руками? Разве батрачить. А семья? Отец пошел искать нового счастья на

Кубань, где создавались артели по коллективной обработке земли, куда обещали прислать тракторы. Отец приохотился к механизмам на бронепоезде, а перед этим служил на броневых автомобилях. Тракторы же, по рассказам людей, были легче в управлении, чем автомобили. Об их работе рассказывали чудеса. Тракторы заменяли лошадей, волов, могли легко поднимать твердые залежи.

Через девять дней вернулся отец. Путешествие его увенчалось успехом. Это можно было легко узнать по его подобрешшему лицу. Усы были завернуты кверху, как в лучшие дни. Я быстро стащил с его ног высокие сапоги, покрытые слоем пыли. Отец осмотрел подошвы, покачал головой: «Пожег о камни. Кременная дорога по перевалу. Ничего, Серега, схватим новые».

Пока мать накрывала на стол, он сходил вместе с нами к морю. Отец плавал саженкой, фыркал, нырял, кружил кулаком по воде так, что ходили волны. Сегодня мы могли прыгать в море с его широких плеч. Он стоял, крепко упершись в дно ногами. Мы влезли к нему на спину, и отец пригибал голову так, что свисал намокший темный чуб, и командовал: «Прыгай!» Изредка он, забывшись, смотрел в далекую синеву моря, и лицо его как бы окутывалось туманом. Я понимал, что отец вспоминал погибшего Матюшку. И вдруг отец, выйдя из минутного оцепенения, снова ударил кулаком по воде, нырнул, схватил меня за ноги, бросил на волну...

Подошел Лелюков и уставился на отца своим быковатым взглядом.

— Придется тебе начинать артель, Стенька, — сказал отец, не дожидаясь вопроса.

Золотистые руки Лелюкова пробежали по камешкам. Он искоса посмотрел на отца серыми, навывкате, глазами, в которых всегда держалась не то усмешка, не то недоверие.

— А ты?

— Уйду на Кубаць, Стенька.

— Не прошибешь, Иван Тихонович?

— Думаю, не прошибу. Да и не в выгоде дело.

— А в чем?

— В жизни, Стенька.

— Как это в жизни? А тут помираешь, что ли?

— А тебе, может, и не понять, Стенька.

— Расскажи, может быть, ослялю дурной своей башкой.

— Воевал я в гражданку, как зверь, — сказал отец, — добивался лучшей жизни. Кончилась война, пришел сюда, заманили. Вижу, мало здесь-то изменилось. Как получал Антон Сторокож долю с рыбаков до войны, так и осталась эта доля, только под другим компотом. Баркасы от него ушли и не ушли. Позволит он назвать свой баркас по-новому — «Колей Рудневым» — и на то концы...

— Так... — Стенька раздумчиво чертил палочкой по песку. — И дальше, Иван Тихонович?

— А дальше что? Расскажу. Пришел я ходоком от своей совести на Кубань. Потянуло меня снова к земле, Лелюков. Вижу, саботаж.

— Саботаж?

— Да, Лелюков. Хлеб в закромах у кулаков — не продают. Земли в наделах — не пашут. Лежит. Земли не дышат. Заросли под колокольню будяком, гуньбой, осотом. Какие земли!

— Взять их нечем будет, — сказал Стенька.

— Возьмем.

— Чем?

— Тракторами.

— Значит, решил строго уходить? — спросил еще раз Лелюков.

— Строго решил уходить.

— А дом кому?

— Хозяину. Ведь сам знаешь, квартирант я.

— А кто же теперь сменит Антона?

— Сами разберитесь, решите.

— Антон подговаривает, чтобы опять ему быть ватажком артели.

— Иди против, — посоветовал отец.

— Один в поле не воин, а ты уходишь.

— Пока Сторокож, не уйду. Схожу завтра в ячейку, приведу человека.

— Вот это ладно.

— А артель придется тебе принимать, Стенька.

— Видно будет, — уклончиво ответил Лелюков и, пожав отцу руку, ушел.

Отец выполнил свое обещание. С детства родители приучали нас примером своим к строгому выполнению данного слова. Это очень помогало нам в жизни. С отцом приехал человек, присланный партийной ячейкой. Из его разговоров со старшими мы узнали, что наш гость служил



минером на миноносце «Керчь», который участвовал в выполнении приказа Владимира Ильича Ленина в 1918 году. Миноносец торпедировал крупные военные корабли Черноморского флота в Цемесской бухте, чтобы не отдать эскадру в руки немцам. Исторический миноносец был затоплен самим экипажем в районе Туапсе.

У двух коммунистов — минера с «Керчи» и бойца бронепоезда, защищавшего Царицын, — были общие интересы и взаимное понимание. Стронский — такова была фамилия минера с «Керчи» — производил впечатление решительного, смелого человека.

Худой, лысоватый, с татуировкой на крепких руках, в пиджаке, похожем на бушлат, Стронский даже внешне стью не отличался от рыбаков, пришедших на шумный сбор ватаги.

Собрание проходило в рыбном сарае, на берегу моря. Стронский горячо говорил о новой жизни, которая начнется в недалеком будущем на нашем берегу.

Бывший минер умело договорился с рыбаками. Антон Сторокож выступил смиренно, как будто охотно подчиняясь общей воле.

Председателем нового рыболовецкого колхоза был избран Стенька Лелюков.

Я помню, как уезжал от нас Стронский. Он задушевно говорил с отцом, быстро покуривая тонкую дешевую папироску. На лице Стронского выражались удовлетворение и одновременно какая-то тревога, будто, окончив успешно один бой, он уже думал о следующем сражении и поэтому не мог быть до конца спокойным. Кто знал тогда, что много лет спустя снова скрестятся пути минера с «Керчи» и мальчишки, жадно слушавшего каждое его слово.

А примерно через неделю к нашему водоплеску подошли первые две, присланные Стронским, моторки. Это были добрые баркасы — «Завет Ильича» и «Боец коммунизма». Автомобильные моторы, прикрытые деревянными, обитыми по швам латунью капотами, стояли в трюмной, кормовой части баркасов.

Сотни рыбаков приветствовали появление этих двух моторок.

Появились такие суда чуточку раньше, разве погибла бы «Медуза»? Разве прихватило бы штормом отважного Николу? Разве не бегал бы сейчас по прибрежным камням мой старший брат?

Прощай, море! Прощай, наш плот, сшитый ржавыми гвоздями, — он заменял нам индейскую пирогу. Прощай, пампасная трава, — ее заросли служили нам шатрами. Правда, этой травой можно до кости разрезать кожу. Но мы умели обращаться с тонкими, зубчатыми ее побегами. Мы не знали еще, какие растения за перевалом. Нам казалось, что, конечно, больше не увидим пахучей, посыпанной желтой пудрой мимозы, не будет розовых цветочков персидской акации, похожих на только что вылупившихся птенчиков. А увидим ли мы там листья магнолии, словно вырезанные из жести, и ее крупные цветы, будто отмятые из стеарина?

Бури рассыпались по хребту, засыпали снегом горы почти до подошв, но не приходили к нам, в долину. Мы всегда с тревогой наблюдали, как вырываются из-за огромных вершин седые, разозленные переполоном тучи, как испуганно улетают оттуда птички стаи и переводят дух только в нашей приморской долине. Осенью море покрывается птичьим разноплеменным базаром. Мы всегда приветствовали эту веселую осень.

Мне никогда не приходилось переступать границу гор. Я не знал, что делается на той стороне. Я не слышал слов: «копытки», «лыжи», «валенки». Кубань представлялась нам просторной степью, покрытой высокой травой, над ней много коршунов и орлов, по траве скачут всадники в бурках, в овечьих шапках, с саблями и ружьями.

У молдаван-виноградарей отец нанял повозку с тормозами и сильных лошадей, приученных к горной езде. Молдаване дали нам возницу. Он должен был привезти обратно фуру, груженную зерном, которое было на Кубани дешевле.

Путь предстоял долгий. Отец нарезал буковых жердей, запарил их и согнул над повозкой. Каркас обтянул парусиной. Получился отличный фургон.

Вечером, накануне отъезда, отец позвал меня с Ильей и пошел на берег моря. Мы несли кирку, канат, два зубила, молоток. На берегу нас встретил Лелюков и рассказал о богатом утреннем улове на моторных судах: «Так ловко сыпали сети...»

Отец молча выслушал Лелюкова и подошел к «Колле Рудневу». Баркас стоял на катках, на выносной зоне. Невдалеке несколько рыбаков с «Капитанской дочки» готовили вар, чтобы просмолить ее расшатанные штормом бортовые швы. Поздоровавшись с рыбаками, отец обмак-

нул принесенный нами квач в смолу и провел им несколько раз по наружной стороне кормы «Коли Руднева». Так обычно делали рыбаки, прощаясь со своим судном. Теперь все, в том числе и Лелюков, поняли, что Иван Лагунов уже не вернется к баркасу.

Молча проводил нас Стенька до русла безыменного протока и незаметно отстал. За руслом реки к морю выходили высокие, напоминавшие паруса скалы туфогенных сланцев. Эти скалы называли Черные паруса. Об их подножие в штормы бились волны. Буруны выбили в подошве причудливые пещерки, куда не доплыть, не пройти лодкой, не достать берегом. Черные, покрытые ослизлым мохом скалы при ветре гудели, как трубы.

Мы подошли к Черным парусам. До заката оставалось часа полтора. Отец внимательно осматривался вокруг. Его взгляд прошелся по подножию, по пещерам, по вершине скалы.

— Придется брать сверху, — сказал он.

Я не догадывался, зачем отец привел нас сюда. Отец не был пустым человеком. Зачем бы ему таскать с собой кирку, молоток, зубила, полбухты каната?

— Ты побудешь здесь, Серёга, — сказал отец, — а мы с Ильей постараемся достать сверху.

Отец и Илюшка полезли на скалу. Вскоре я увидел их фигуры на самой вершине. Они резко выделялись на фоне светлоголубого неба.

Затем отец укрепил на вершине канат и начал осторожно спускаться. Скала была выше церковной колокольни. Я надеялся на силу и ловкость отца. Конечно, начатое дело он безусловно закончит. Но что он задумал?

Отец медленно опускался спиной к морю, упираясь ногами в стенку. Руками он регулировал спуск. Только один раз при проходе через косую щель, в центре разрезавшую скалу, я поймал мимолетный взгляд отца, скользнувший по мне. Уже было вытравлено почти полбухты каната. Отец висел как раз на середине Черных парусов. Вытянув руки, он что-то крикнул Илюшке. Тот нагнулся и что-то ответил.

Теперь отец уперся ногами и, откинув корпус, стал бить киркой по скале. В воду полетели осколки камней. «Неужели в Черных парусах хранились известные только отцу клады?» думал я. Любопытство мое было распалено. Мне хотелось пробраться к Илюшке. Вряд ли Илюшка,

даже при скрытности своего характера, не поделился бы тайной. Но как же я мог уйти, если отец приказал мне дожидаться на месте! Я не мог его послушаться и продолжал наблюдать. Отец долго работал киркой. Время я определял по отдаленным звукам рынды морпоста, отбивающей склянки.

Наконец кирка перестала стучать. Последний камешек булькнул у горла пещеры. Теперь застучал молоток, ритмично ударяя по зубилу. С ближайшего лова шли рыбаки. Сюда доносилась их песня, широкая и просторная, как море, и тоскливая, как осенний ветер. Тихо ложились в воду весла. Чайки, священные птицы моряков, в поисках пищи низко, почти касаясь крыльями моря, как бы приветствовали приход рыбацкого каравана. От солнца, спускающегося к горизонту, ложился сверкающий след. Казалось, какой-то могучий морской властелин огромными руками перебирал червонцы.

В море выходили сторожевые корабли, маленькие, тонкие, с такими же тоненькими пушками на палубах. Игрушечными казались издали и эти корабли, и пушки, и неподвижно застывшие фигурки краснофлотцев, начинавших свою ночную пограничную вахту.

Еще долго молоток стучал по скале. С моря потянуло теплом, с суши — прохладой. Запилили первые ночные цикады. Мне становилось не по себе. Присев на камень, я поджал под себя босые ноги.

И вдруг кто-то обхватил мои плечи. Я вадрогнул. Возле меня стояли отец и Илья, нагруженные канатом. На одежде и руках отца сохранились следы каменной пыли. Кровоточила ссадина на кисти левой руки, вероятно, расшиб при неудачном ударе по зубилу. Но, несмотря на любопытство, я не задал ни одного вопроса. Когда мы шли к дому, отец, раздвигая кусты ежевики, нагнулся ко мне и поцеловал. Это случилось редко.

— Скажи, папа, — тихо спросил я, — что вы с Илюшей делали на черной скале?

Отец ответил не сразу. Еще несколько шагов мы шли с ним бок о бок. В пути он приминал ладонью мои курчавые волосы, жесткие, как проволока, от соли и солнца.

— Мы попрощались с Матюшей, — ответил отец.

— Только вы? А я?

— Нет. Все мы, трое. Завтра туда придет прощаться мама.

— Что же ты рубил на скале?

— Слова, какие бывают на дорожной могиле.

Он больше ничего не сказал. В дальнейшем, когда я вырос и стал умнее, мне стало понятно, что отец никогда не мог простить себе гибели сына. Ведь мать же просила оставить детей дома. Отец не мог забыть, что он разъединил сыновей, отдав Матвея на ветхий баркас, из-за жадности ватажка выпущенный в открытое море.

...На зорьке еще темно в нашей долине. Солнце идет к нам с Кубани, а горы мешают ему. На заре горы с нашей стороны обычно так темны, что не разобрать даже деревьев. А гребни, будто вырезанные из картона, подсвечены с обратной стороны червонным пламенем восходящего солнца.

Так запомнилось мне то прощальное росистое утро. Мы шли с матерью и сестренкой к Черным парусам. Не совсем проснувшаяся Анечка хмурилась, кривила губы. Она не понимала, почему ее так рано подняли. Я же стонал от нетерпения. Мы достигли моря и скал в тот момент, когда только первые лучи солнца вырвались из-за хребта. И при этом щедром их свете я прочитал на скале вырубленную отцом надпись:

МАТВЕЙ ЛАГУНОВ

1918—1929

Сталинград — Черное море

*Глава третья*

## НА ПРИВАЛЕ

Фургон миновал долину, начался подъем в гору. Позади остались домики молдаванского села, поле семенной капусты, заваленное кочанами, плантации цветущих табаков.

Наш возница Мосей Сухомлин вышагивал рядом с фургоном. Однообразный цокот кованых копыт действовал усыпляюще. В фургоне сидела мать, Анюта и младший брат Коля. Сестра вполголоса разговаривала с кук-

лами. Коля грыз яблоко. Отец, Илюша и я шагали по дороге. Весь подъем на перевал решено было пройти пешком, чтобы не утомлять лошадей. Дорога начала делать петли. Море, лежавшее в полном штиле, появлялось то справа, то слева. И, наконец, оно исчезло. Я ожидал, что оно появится за вторым поворотом снова, и оборачивался назад, чтобы увидеть хотя бы тот последний виденный мною голубой треугольник воды. Напоминала о нашей должке, еще торчали верхушки кипарисов. Потом исчезли и они...

Возница Сухомлин затянул молдаванскую песню, — в ней много неизбывной тоски. Ее слова были неизвестны мне. Мать открыла глаза, прислушалась к песне и снова спряталась в глубину фургона. Мы видели ее вздрагивающие плечи и косы, завязанные на затылке. Отец догнал Сухомлина и что-то тихо ему сказал. Возница зашел другую песню, но в ней тоже было мало радости. Таким, в сопровождении унылых молдаванских напевов, запомнился мне путь к новой жизни.

Дорога шла вдоль ущелья. Внизу текла река. Чем дальше в горы, тем сильнее слышался ее шум. К концу дня река шумела на большой глубине, как море в средний прибой или как лиственный лес при ровном сильном ветре.

Горы поднимались все выше и выше. Ущелье отвесно рассекло горы. Скалы нависали над нами. Где-то высоко синело небо. Солнце изредка бросало нам свой луч. Игги становилось труднее, хотя шоссе, казалось, шло без всяких подъемов, они скрашивались зигзагами поворотов.

Я решил притвориться безумно уставшим: склонил голову, свесил руки, будто на чучеле, начал прихрамывать, отставать.

— Ты чего волочишься, как побитый камнем? — строго спросил меня Илюша.

— А тебе что?

— Хитроват ты, вот что...

— А тебе что?

Мать, услышав нашу перебранку, сошла на ходу с повозки, посадила меня в фургон, а сама пошла пешком. Я прислонился к сестренке и заснул. Меня недружесливо растолкал Илюшка, прервав глубокий сон, наполненный битвами с какими-то чудовищами у Черных парусов. Я обругал брата. Илюшка сверкнул на меня своими черными, материнскими глазами и укоризненно сказал:

— Мама шла пешком больше десяти километров.

Я торопливо спрыгнул на землю.

Перед нами лежала просторная долина. На цветущих столетних липах копошились чернотельные горные пчелы. Бешеная река вливалась в ущелье. За рекой поднимались грабовые, дубовые, пихтовые леса, освещенные заходящим солнцем. Визжал лесопильный завод. Кучи опилок казались ворохами ячменного зерна. В стороне от завода, на покатых склонах, я рассмотрел кочевые пасеки с сотнями ульев.

Скоро распрягли лошадей и разожгли щедрый костер. Пихта поднимала высокое пламя, трещала, стреляла во все стороны. Мать готовилась варить ужин. Мне хотелось искупить свою вину, помочь ей. Я подошел к ней, но делать уже было нечего. Илюша сходил к ключу за водой, принес доску для резки овощей, из диких камней сложил очаг. Ни тени упрека я не прочитал в добрых глазах матери. И поэтому мне стало еще тяжелей.

Отец беседовал с возчиком. Горбоносый высокий молдаванин внимательно слушал его. Сухомлину было немного больше двадцати лет. Он был уже женат, имел ребенка и думал осенью отделяться от отца. Синяя, выцветшая рубаха молдаванина была расстегнута. Вместо сапог на его ногах были постолы из свиной кожи, стянутые по щиколотке ремешком. У широкого пояса, украшенного дешевым металлическим набором, висел нож в ножнах. Соломенная шляпа его лежала поодаль. Он сбрызнул ее водой, чтобы предохранить от искр, разбрасываемых горевшей пихтой. Под кожаным поясом прибрежные молдаване обычно хранили деньги. Я знал, что у Сухомлина есть деньги, приготовленные для покупки зерна: в одном месте пояс оттопыривался.

Собственно, мне было безразлично, где находятся у возчика деньги. Этот вопрос занимал меня только по одной причине: я боялся, не проведали ли об этом разбойники, которых, по моему убеждению, было в этих горах множество, как дельфинов в Черном море.

Мне хотелось, чтобы взрослые разговаривали об ожидавших нас опасностях и принимали необходимые меры. К моему сожалению, разговор был мирным. Молдаванин думал прихватить за перевалом пшеницы не только на отцову, но и на свою долю. Он жаловался, что его отец будет прижимать при разделе и, отделившись, придется

первый год хлебнуть лиха. Хлеб привозили на побережье с Кубани, и он исчезал на рынках. Ходили слухи — следующий год будет еще хуже. На Кубани якобы казаки решили сеять хлеб только для себя, не продавать ни одного пуда. «Что же будет с нами?» сетовал молдаванин и с надеждой смотрел на отца, на орден, игравший красными бликами.

Отец говорил о том, как в 1918 году иностранные государства окружили Советскую республику и решили одолеть ее войной, уморить голодом. Коммунистическая партия взяла в руки оборону государства, и страна отбилась от врагов. Тогда враги революции спрятали хлеб. Даже сам Ленин получал в то время хлебный паек в четверть фунта. Отец говорил, как к ним на Царицынский фронт прибыл друг Ленина, — он сумел отстоять Царицын, собрать хлеб на юге и спасти от голода население городов. Зная по портретам лицо Сталина, я представил себе, как он ходил по улицам волжского города, по окопам, поднимался в бронепоезд...

Огненное кольцо блокады вокруг молодой республики я представлял себе, как огромный круг пылающих костров.

По словам отца, история повторялась. Враг стал более хитер, более неуловим, более невидим и не менее опасен. Это был внутренний враг. Он окружил тысячью колец нуждающееся в хлебе население. Какие-то страшные, уже не огненные, а похожие на свернувшегося желтопуза круги сжимались и сжимались. И вряд ли можно рассечь этих чудовищ вот таким, как у возницы, ножом.

Отец говорил, что после смерти Ленина страной руководит его великий соратник. За ним можно идти в любой огонь, на какие угодно препятствия. Выведет! Он пришлет тракторы, и они раздавят всех желтопузов.

Отец сжал на Кубань, как на фронт. Он не ожидал там спокойной жизни. Его не пугали опасности борьбы во имя тех идей, за которые он сражался в молодости. Сильные отцовские руки, разбивающие о камень пихтовые поленья, могли очень пригодиться в предстоящей схватке.

Молдаванин спросил:

— Кто же повернет жизнь? Коммуны?

— Колхоз, — сказал отец с такой же гордостью, с какой произносил он слова «полк», «дивизия».

Чем же я мог помочь отцу в его новых, боевых заботах? На море я научился отлично плавать, грести легким



полувеслом, ставить паруса, разбираться в ветрах. Я начал учиться читать и писать, меня влекла к себе мудрость людей, скрытая в книгах.

Звездная ночь пришла в горы. Сразу упала роса. Гремели камнями, боролись две буйные горные речки.

После ужина я сам вызвался помочь матери: перемыл посуду, вычистил до блеска медную кастрюлю, принес воды из потока.

Илюшка посмеивался. Он считал, что его насмешки подействовали на меня. Он ошибался: мне хотелось, чтобы мое усердие видел человек, сумевший прогнать царя, победить всех врагов.

#### *Глава четвертая*

### КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ ФУРГОНА

Наконец наш фургон перевалил хребет и мы очутились в кубанском предгорье.

Измученные тяжелой кладью лошаденки устало вышагивали последние километры пути.

По обеим сторонам дороги стояли подсолнухи в последнем своем цвете, подламывались налитые зерном кукурузные початки. Так же как и в молдаванском селе, цвели высокие табаки. Изредка встречались бахчи, обсаженные веничным просом. Тогда еще не было широких колхозных нив. Каждый отгораживался от соседей со всех четырех сторон либо просом, либо кукурузой, либо высоким, как забор, тростником — сорго. Прислушиваясь к разговорам старших, я вместе с ними обращал внимание на незапаханные наделы, покрытые сорными травами — амброзией, повилкой, осотом. Скошенный вручную хлеб лежал в почерневших копнах. Кое-где работали молотилки.

Выехав на большой Краснодарский тракт, мы свернули влево. Только что горы находились позади нас, и снова лошади, помахивая гривами, везли наш фургон опять к горам. Если сравнить хребет с огромной дугой, то от западного ее основания мы перебирались к восточному. Горы, предохранявшие наш рыбацкий поселок от восточных ветров, теперь были перед глазами. Вот откуда испуганно удирали птичьи базары! Равнина, пересеченная каньонами, вплотную подошла к невысокому хребту, подрезанному у

подножья горной рекой. Широкая и прямая, как развернутый холст, степная дорога упиралась в горы. Куда вела добога дальше, пока не было известно. Может быть, там и кончалась? Может быть, опять вела к другому неизвестному мне перевалу?

Вскоре я различил в темных волнах курчавых лиственных лесов белостенные домики, разбросанные и на взгорье и у подножья. Эти белые домики невольно напоминали мне стаю уставших чаек, спустившихся отдохнуть на волны. Горячий ветер и струйчатое подрагивание миражей усиливали это сравнение, и мое детское сердце готово было полюбить эти новые места, где мне было суждено жить, горевать и радоваться.

Пирамидальные тополя по обеим сторонам въезда напоминали кипарисы. Ну что ж, почти ничего не изменилось...

— Это станица Псекупская, — сказал отец.

Мать внимательно и тревожно осматривалась вокруг.

— Как здесь с топливом? — спросила она.

— Топливо есть, — отец обводил рукой лесистые горы. — Лишь бы топор в руки.

— А вода?

— Родники. Можно вырыть колодец. Здесь срубы выкладывают речным камнем.

— А картофель родит?

— Еще как.

— Близко школа?

— Построимся рядом со школой, — отец подмигнул мне. — А тебе, Сергей, кроме школы, припасена река. Плавай и ныряй...

— А рыба?

— Я не люблю рыбу, — вмешалась Анюта.

— Есть и рыба, если только она еще не въелась тебе в печенки, Анюта.

— Я хочу жареной печенки, — сказала сестренка.

Мы въехали в станицу. Деревянный мостик с окрашенными охрой перилами простучал под копытами лошадей. Все привлекало мое внимание. Улица была широкая, рассеченная надвое хорошо отделанной грейдерами дорогой.

Белые домики прятались в тени яблоневых и грушевых садов. На улицу выходили частоколы из узко нарезанной дубовой планки — штакета. Заборы были одинаковой высоты; их ровная линия начиналась с окраины у тополевой

аллеи и кончалась возле каменных зданий, расположенных в огороженном парке. На воротах парка по фанерному подбою было написано масляной краской: «Добро пожаловать!»

О том, что приглашение относилось не к нам, я догадался потому, что нас с фургоном не пустили даже близко к воротам. У калитки парка стояла сторожиха с палкой. Тополевая аллея тянулась через весь парк. В пролетах деревьев я увидел гору с ровно скошенными краями, заросшими темным лесом. После я узнал, что каменные здания и парк принадлежат курорту, а дальше к реке, от ваннх зданий, где лечатся больные, текут серные ключи.

— Вы подождите здесь, а я разыщу Устина Анисимовича, — сказал отец.

— Иди, — сказала мать.

Отец быстро пошел к калитке, что-то сказал женщине с палкой, и она его пропустила.

Мать поглядела вслед отцу, вздохнула. Я понимал ее состояние. Мне тоже было не по себе. Мы приехали в чужое неизвестное место. Нам негде было пока остановиться, негде умыться.

Пока отец искал Устина Анисимовича, мы подошли к памятнику Ленину, стоявшему среди цветочных клумб. Правая рука Ленина протянута в сторону кубанской степи. В левой руке зажата кепка. Цоколь памятника сделан из цельной гранитной глыбы.

— Как называются такие цветочки? — спросила Анюта, показывая на клумбу.

— Не знаю, — ответил Илюша, внимательно глядевший на памятник.

— Я сорву один, понюхаю!

— Я тебе сорву, — не глядя на нее, сказал Илюша.

— Они так пахнут! — Анюта потянула носом и выразила удовольствие на своем запыленном личике.

— Свиная ты печенка! — подразнил я ее.

— Я скажу маме. Обязательно скажу... Я знаю, кто это, — она подняла палец к памятнику.

— Кто? — Илюша посмотрел на нее с любовью.

— Дедушка Ленин, — сказала Анюта.

— Знаешь, — похвалил ее Илюша. — Молодец, курносая.

— Почему у меня такие братики, — Анюта скривила губы по своей привычке, позаимствованной у одной дев-

чокки еще в рыбацьем поселке: — один дразнит свинья печенка, второй — курносая? Папа, папа идет!

Анюта побежала навстречу отцу. Он шел с каким-то человеком, одетым в белую рубашку навыпуск, с черным галстуком из тонкой шелковой ленточки, со шляпой в руках. Незнакомец обрадованно улыбался и, ускоряя шаги, еще издали помахал маме шляпой. Я догадался, что это и есть доктор Устин Анисимович.

Устину Анисимовичу тогда было около пятидесяти лет. Еще держались на его голове редковатые, скобкой подстриженные длинные волосы, еще достаточно живости было в движениях и приветливо блестели светлые внимательные глаза.

Я никогда не видел Устина Анисимовича, но слышал о нем много. Мне было понятно, почему доктор, протянув руки матери, сказал ей: «Ничего, ничего, что же сделаешь, Тонечка». И мать очутилась в его объятиях. Я слышал о большой дружбе между моими родителями и Устином Анисимовичем еще по гражданской войне. Устин Анисимович помог матери выбраться из осажденного Черного Яра в Царицын. Доктор был воспитанником Матвея.

Сейчас, увидев своего старого друга, мать вспомнила все, не могла сдержаться и расплакалась на улице.

Мне тоже было не по себе. Гордый Илюшка, чтобы не показать своего волнения, отвернулся. Анюта ревела, хватала мать за юбку, топала ногами.

— Мама, перестань, перестань, я не люблю, когда ты плачешь!

Познакомившись со всеми нами, Устин Анисимович приказал подъезжать к своему дому. Мать пошла с нами за повозкой, отец и Устин Анисимович — впереди.

Вскоре мы свернули влево с главной улицы. Узкая улочка с ухабами, наполненными водой, привела нас к хорошему каменному дому, недавно выбеленному известью. Он был крыт оцинкованным железом и украшен двумя конусными башенками со шпильками, тоже забранными под железную кровлю. Тесно, одна к другой, у забора стояли три огромнейшие белолестки с толстыми стволами и сплетенными между собой вершинами. Одно дерево близко прижималось к дому. Дождевая труба, казалось, держалась на его шершавой коре.

На улицу выходили два крыльца: угловое со ступенями из плитнякового камня — для пациентов, и второе —

парадное, засоренное подсоленной шелухой, с лавочками для сидения и резным навесом. Здесь был домашний ход. Два окна, примыкающие ко второму крылечку, были завешены изнутри занавесками, а третье большое окно, было наполовину закрыто марлей.

— Мы войдем в калитку, — сказал хозяин, — а вы, дружище, — обратился он к молдаванину, — заезжайте-ка с той стороны, там есть ворота.

Устин Анисимович прошел в калитку, снял засов с ворот и растворил их.

— Заезжайте, — крикнул он молдаванину, — прямо к сараю! Сено и ячмень найдем.

Мы стояли у калитки в нерешительности. Я увидел какую-то девочку, выскочившую из дому на крыльцо. Она приложила ладошку от солнца к своим глазам, таким же светлым, как у Устина Анисимовича, впорхнула в дверь и вернулась с веником в руках. Девочка быстро смахнула шелуху с крылечка и хлопнула дверью.

— Заходите же, заходите, — любезно приглашал Устин Анисимович.

Девочка, подметавшая крылечко, уже вертелась во дворе. Она непринужденно осмотрела нас с ног, обутых в дорожные постолы, до голов, прикрытых войлочными шляпами, и перевела взгляд на Анюту. Сестренка тоже смотрела на нее.

Девочка успела переодеться в платье, усыпанное яркими цветами, в носочки с тремя цветными полосками по кругу и в туфельки из удивительно алой и мягкой кожи. Даже пуговицы на туфельках были не обычные, а из квадратных кусочков перламутра, радужно играющих под солнцем, как морские раковины.

Молдаванин черными, сноровистыми руками отстегнул нагрудники от хомутов, повел лошадей к плетенке из краснотала. По его лицу я видел, что он не завидовал нам, а может быть, и жалел.

К нам хорошо относился Устин Анисимович. Его обширный дом был красив. Мы не стесняли доктора своей большой семьей и не слышали ни одного слова упрека за все время пребывания у него. А скажу по совести, с какой радостью я смог, наконец, заснуть в своем домике, хотя он был и хуже, и меньше, и крыт дранкой, а не железом, — чувство неловкости не оставляло меня в доме доктора. Я не знал, как себя вести, что можно, а что нельзя класть

на подскобники, столики и столы, в каком месте счищать грязь с подошв и как держаться при гостях.

Мне становилось не по себе от постоянного шопота матери: «Нельзя! Ты куда?» Мне было жаль маму. Она старалась изо всех сил услуживать жене Устина Анисимовича, нетерпеливой и болезненной женщине. Раздражение хозяйки дома происходило от ее болезней, а не от нашего присутствия. Но мы относили ворчание на свой счет и при ней притихали и дичились.

Я слышал однажды ее жалобы мужу:

— Все для них, кажется, делаю. Я рада твоим друзьям, я так много слышала о них. Но почему они тяготеют моими заботами?

— Поставь себя на их место,— тихо ответил ей Устин Анисимович. — Вот Иван Тихонович обживется в колхозе, построит домик, и мы гостями у него будем. Тогда и Антонина Николаевна повеселет.

Пока я был свободен, как ветер, и знакомился с живописными окрестностями станицы, заводил новые знакомства. Так произошла моя первая встреча с Виктором Неходой, Яшей Волинским и Пашкой Фесенко.

Это случилось, пожалуй, через месяц после нашего приезда в станицу Псекупскую.

Давно уже уехал молдаванин Мосей Сухомлин, доставший за большие деньги пшеницу. Уже освоился на новом месте мой отец и начал организацию зернового колхоза. Уже было доверено отцу съездить в город и привезти первый трактор. Об этом будет рассказано после.

## Глава пятая

### ФАНАГОРИЙЦЫ

В синих трусах, босиком, без картуза, в сопровождении своих верных овчарок я отправился на берег Фанагорийки. Здесь река только-только вышла в долину и потому не успела вымыть глубокое русло. Фанагорийка бежала извилами, подрезая глинища правого берега. На левой стороне тоже поднимался обмытый рыжий берег, и на нем — кривые дубы, белолистики и много павших деревьев с ободранной пастухами корой. Оттуда доносилось позванивание ко-

звего стада и хлопанье бичей. Дело было к вечеру. Пастухи возвращались в станицу.

Несколько мальчишек со смехом и улюлюканьем купали в реке свинью. Бедное животное, судя по его визгу, не чаяло, как вырваться из мальчишеских рук. Молодой пастушонок в соломенной шляпе перегонял бродом двух розовых породистых кабанчиков.

Пастушонок с опаской следил за забавами сверстников. Ему, как видно, были хорошо известны ребята, купавшие свинью, и он не хотел встречаться с ними.

Он постарался побыстрее миновать брод. Кабанчики охотно вошли в воду и, мелко ступая по дну своими копытцами, наискось перешли речку и поднялись на обрывистый правый берег.

Вскоре соломенная шляпа пастуха исчезла за садками.

После переката у брода река разливалась шире, образуя несколько протоков. Вода тихо журчала по камням, обмывая редкие заросли краснотала. Напротив зарослей по колени в воде с удочкой в руках стоял худенький мальчишка с большими глазами. Он был одет в рваную рубашку и штанишки с помочами. Что-то жалкое было во всех движениях его тщедушного тельца, в частом подергивании штанишек, хотя они прочно висели на помочах. Он пугливо поглядывал в сторону шумной оравы. Было заметно, что мальчик спешит покончить с рыбной ловлей, чтобы избежать заведомой опасности.

Я спустился с обрыва и остановился на покрытых илом камнях.

— Удишь, а вечерять чем будешь? — задорно спросил я мальчишку, подражая манере старшего брата.

Очевидно, мое лицо, медное от приморского загара, независимый вид и свирепые овчарки — все это ошеломило мальчика. Он испуганно глядел на меня, и удилище дрожало в его руках. Леску сносило течением.

— Молчишь, тюлька?

— Здесь тюльки нет... не ловится... — пробормотал он.

— А ну-ка, покажи, что ты ловишь в этой луже?

Мальчик положил удилище на воду, прижал конец камнем и покорно направился ко мне.

Собаки заворчали. В нескольких шагах от берега мальчишка приостановился. Вода была чуть повыше его щиколоток. Теперь я заметил тонкую веревочку, привязанную к помочам, и на веревочке несколько рыбок, протетых под

жабры. Когда мальчишка остановился, одна из рыбешек перевернулась вверх белым брюшком.

— Чего же ты стоишь, как столб?

— У тебя собаки,— сказал он.— Меня недавно покусами.

— Мои тебя не тронут,— грубо ответила я, чувствуя свое превосходство.

Мальчик вышел на берег. На его лице появилась деланная улыбка. Я почувствовал к нему жалость. Я выбрал одну из рыб и подкинул ее на ладони раз-два. Белое брюшко сверкнуло, как зайчик.

— Как называется?

— Чернопуз.

— Чернопуз? — угрожающе переспросил я.

— Тебя удивляет, что у него белое пузо. Я тоже не верил,— поспешно оправдывался мальчик.— Но это действительно чернопуз.

— А это?

— Головень. Видишь, какая голова. Здесь два головня и четыре чернопуза. Если ты хочешь принести домой рыбы, я тебе отдам. Только подожди, пока я еще наловлю.

Мальчик, повидимому, привык к обидам. Мне стало стыдно. Принять меня за грабителя! Мне захотелось успокоить мальчика, показать свое благородство. Может быть, его надо защитить!

— Мне не нужна твоя рыба,— сказал я.

— Не нужна? А ты меня позвал...

— Просто интересно... Видишь... я недавно приехал с Черного моря. Привык иметь дело вот с такой водой. — я широко развел руками,— вот с такой глубиной,— мои глаза поднялись к поднебесью, где кругами парил молодой коршунек.— А рыбы! Ты знаешь, что такое белуга? Где тебе знать! А такими вот мы подкармливали чаек...

— Я не знал, что ты приехал оттуда. Конечно, если ты мог ловить таких больших рыб, что тебе мои чернопузы.— Мальчик, поняв, что ему нечего меня бояться, разговаривал с жадной словоохотливостью, обычно свойственной впечатлительным, напуганным детям.— Так ты ловил дельфинов? Я тоже недавно поймал вот такую селявку. Я так и не мог отнести селявку своему дяде, у которого я живу сейчас. Селявку отобрали мальчишки. То есть не... отобрали,— мальчишка оглянулся,— я сам поделился с ни-



ми. Ведь дядя видел всяких рыб. А знаешь, какой из себя усач? Я ловил и усача на удочку. А есть такая рыба леточка. У нее вот такая голова маленькая, ширококоньякая... Тоже приходилось ловить.

— А бычки водятся?

— Бычки здесь маленькие, головастики. Спрячется у камня и не заметишь, камешек ли это лежит мохнатенький, длинненький или бычок. Окунь здесь тоже попадает, пескарь, а весной подходит шамайка метать икру. Вот когда здесь шамайки! Руками бери! А...

Измученная свинья вырвалась наконец-то из жестоких мальчишеских рук и стрелой летела по берегу. По срезу, что вел к броду, додтилась и мгновенно скрылась из наших глаз.

Теперь мальчишки направились в нашу сторону, что-то кричали, размахивали кулаками. Мой новый знакомый прервал свой рассказ, и снова на его повеселевшем личике появилась тревога.

— Витька Нехода,— тихо шептал он,— а с ним Пашка Фесенко... Пашка... Они обязательно придут сюда.

— Пусть приходят.

Мальчик внимательно оглядел меня, точно сравнивая мои силы с неоднократно им проверенной спасной силой, двигавшейся на нас.

— Ты лучше сделай вид, что незнаком со мной,— быстро сказал он,— я от них откуплюсь...— он мгновенно поправился:— я им подарю... хотя бы всю низку. Хорошо, что я сумел наловить до их прихода кое-что. Я, может быть, еще подсымкну голова или чернопуза.

Мальчик торопливо вернулся к своей удочке, достал из-за пояса спичечную коробку, вытащил оттуда червяка и насадил его на крючок. Поплевав на червяка, он забросил удочку по течению.

— Почему же без поплавка?

— Без поплавка почему? Здесь же вода тянет. На тихой — с поплавком. Вон там, — он показал в сторону, — с поплавком. — Мальчик осмотрел крючок, покачал головой. — Смыкала, смыкала и бросила. Надо пойти на другое место.

Он, поминутно оглядываясь, прошлепал вверх по воде. Снова засвистело удилице. На худеньком, черномазом лице мальчика застыло напряженное внимание. Еще секунда — и его тоненькая ручонка дернула удочку на себя, и я уви-

дел просиявшее от удовольствия лицо маленького рыбака.

— Еще чернопуза! — весело воскликнул он. — Пятый!

Его пальцы ловко проткнули палочку под жабры, и рыбешка скользнула вниз по ниточке.

Наша мирная беседа была прервана подходившей оравой. Ребятишки двигались берегом Фанагорийки, бросались камнями и орали веселыми, резкими голосами какие-то стихи. Услышав эти зарифмованные выкрики, мальчик задрожал и побледнел, — вероятно, так дрожали бледнолицые братья, заслышав боевой клич индейцев где-нибудь в истоках Оринокса.

Голье «индейцы» приближались к нам. Лоскут и Мальва поднялись на ноги, оскಾಲились. Я надеялся на их поддержку. Положение же мальчишки-рыболова, очевидно, было безнадежно. Я решил защитить его. «Индейцы» размахивали своими мокрыми штанишками, скрученными жгутами, выкрикивали:

К Яшке гузом мы идем,  
Яшке пузо мы проткнем!

— Это я — Яшка, — скорбно заметил мальчик, — а тот впереди — Витька Нехода...

— Выходи из реки, иди ко мне, — скомандовал я.

— Не надо, — взмолился Яша, — ни в коем случае... Ты уйдешь, а мне... с ними встречаться... Мне жить с ними...

— Иди ко мне, — строго приказал я.

— Ты не одолеешь их, — прошептал Яша, опасливо исполняя мое приказание. — Слышишь, они держатся гузом.

Это впервые услышанное мною слово, вероятно, означало кучку или ораву. Но я приготовился не сдаваться.

Мальчишки приблизились. Теперь я мог видеть каждого из них. Витька Нехода был высокий длинноногий мальчишка с коротко остриженной белой головой и заносчивым взглядом. Витька держался вожаком и выкрикивал громче всех: «Яшке пузо мы проткнем!» Он шел впереди и в отличие от остальных был одет в мокрые трусики, прилипшие к его бедрам.

Второй забияка, Пашка Фесенко, уступал Виктору и в росте и в физическом развитии. Пашка был задирой, только чувствуя покровительство сильного. Он уже охрип от крика и больше всех размахивал руками. Нехода шел прямо, ровным, уверенным шагом. Пашка носился, как стриж

у крыши, подзадоривал ребяташек, хихикал, указывая пальцем то на меня, то на Яшку, сам, однако, не рисковал делать первый шаг.

К броду спустился пожилой казак в расстегнутом бешмете. Он небрежно, охлопью сидел на саврасом коньке. Вторая лошадь, с мокрыми подпалинами от недавно снятого хомута, плелась позади. Зацокав о голыши, кони вступили в реку, остановились, потянулись к воде. Казак перекинул ногу, бросил в зубы дешевую папироску.

— Коней запалишь, Сучилин,— неодобрительно заметил болезненный старичок в рваной одежде, спустившийся к броду с другого берега реки.— Подхомутина еще не высохла, а ты позволяешь лошади в воду.

— Ладно.

— Ладно бы не поить, Сучилин.

— Все едино колхозное теперь добро.

— Уже принялись?— спросил старичок, задрав свою седоватую бороденку.

— Так точно,— казак цокнул на коней и тронул к берегу. Он так небрежно управлял лошадью, что сбился с переката. Кони попали в глубокое место. Всадник приподнял ноги, обутые в мягкие сапожки.— Дожди прошли в горах! Поднакатало водицы!

— Вот и я думаю,— прокричал в ответ старичок,— разуваться, лезть в воду аль дашь коней — перееду. Неохота в холод ноги.

— Дам коней. А чего же не дать! Только спички-то есть у тебя лишние, коробок?

— Запас несу в свою полесовку, казак. Найду, чай, коробочек за переправу.

— Завтра трактор показывать будут. Какой-ся Лагунов-партизан покажет чудо-юдо!— так же громко сказал казак, достигнув берега.— Была агитация: за двадцать лошадей тянет... Не верю! Сколько ты жил, встречал такую брехню, а?

— Брехни много попадалось,— откликнулся старик.— А машина, чтобы за двадцать коней ответила?.. Умный человек до всего заблагорассудит... Паровики же придумали?

— Паровики придумали,— согласился казак,— так то паровик! Трактор... И слово-то чудное, а?

— А чего же в нем чудного? Арбуз тоже чудное, небось, слово было сначала, а вот едим.

— Арбуз?— Казак засмеялся.— Одичал ты в лесу. Трактор к арбузу приравнял... В станице сутолочь. Комсомольцы бегают по дворам. В потребиловке все обои на плакаты закупили. Над ячейкой партии кумачи уже вешают. Как Первый май... Ну, стойте вы!— прикрикнул он на лошадей, выскочивших на тот берег.— Жить вам недолго. Пришлют трактора, вас на колбасу.

Казак прыгнул на землю. Его руки даже не притрунулись к лошади. Я не знал, что это признак ловкости. Мне подумалось, что всаднику противно прикасаться к лошадям, ставшим колхозным добром.

Сцена у брода привлекла общее внимание и разрядила накаленную обстановку. А может быть, мальчишки испугались собак? Пашка попробовал было вновь подогреть ребят, он подтолкнул локтем Витьку, крикнул:

К Яшке гузом мы идем!

Витька остановил его, сел на камень и одобрительно оглядел собак.

— Овчарки?— спросил он меня.

— Да.

— Натуральные?

— Да.

— Ладные псюги... Чьи?

— Наши.

— А ты кто? Иван-царевич?

— А тебе зачем?

Витька добродушно улыбнулся.

— А ты не ершишь,— сказал он примирительно.— Никто тебя глотать не собирается. Просто спрашиваю. Не скажешь, сам узнаю... если схочу. Так чьих же ты?

— Лагуновых.

— Лагуновых?— Витька наморщил гармошкой лоб.— Не врешь?

— А мне нет стати.

— Верно, нет стати тебе врать,— согласился Витька.— Я ж не милиционер. Я Виктор Нехода.

— Знаю.

— Меня все знают,— произнес он важно.

— Яшка рассказал. Рассказал, как вы его чеонопузозов...

Яша уцепился в мой бок, горячо и испуганно зашептал:

— Не надо... не надо... Они меня заставят землю есть...

Витька сделал вид, что не замечает волнения Яшки. Он поднялся, лениво потянулся. Витька был силен. Я чувствовал силу в его мускулах, заигравших над ребрами, у локтевого сгиба и на предплечье. Мне Витька пришлось по сердцу. Чувствуя, что ему даже при помощи своей оравы не одолеть меня с моими собаками, Витька не допустил своего поражения, свел дело к шутке.

— Витька, а головни? — тихо настаивал Пашка.

Виктор с пренебрежительным великодушием оглядел Яшку.

— Пойдемте! — скомандовал он. — Айда!

Пашка понял поведение вожака по-своему. Он крикливо завел:

К Яшке гузом не пойдём,  
Яшке пузо не проткнем!

Витька усмехнулся, повел бровью. Пашка не заметил недовольства вожака, повторил припев. Вожак ударил Пашку по затылку. Ребята пошли вдоль берсга. Мы остались снова вдвоем с Яшей.

— Они возвратятся, — шептал он, — не такой Витька, чтобы уступить. Отдать бы им чернопузов и головней. Они меня землю заставляли есть...

— Если что будет, приходи к нам! И я тебе защита и мой отец...

— Не надо, чтобы отец! — взмолился Яшка. — Тогда они меня утопят, как ябеду.

Я начал понимать железные законы берегов горной Фанагорийки. Собственно говоря, эти законы повсеместны. Нельзя вмешивать родителей в свои ребяческие дела. Мне хотелось подружиться с Виктором. Кто он? Яша рассказал мне, что Виктор живет бедно. Его мать работает сторожкой в школе. Родители же Фесенко живут посевами табака и доходами с сада.

— Богатый Фесенко? — спросил я.

— Какое там! — ответил Яша. — Пашка одни штаны пять лет уже носит.

Я распростился с Яшкой, пошел к дому Устина Анисимовича. Дорога шла берегом, а потом под прямым углом сворачивала в станицу.

По обочине дороги шли девушки, плохо одетые, боси-

ком. На плечах они несли мешки с орехом-фундуком и ладно пели:

Калинка, малинка, калинка моя,  
В саду ягодка, малинка моя...

Этот припев, повторяясь бесконечно, сопровождал меня до самой станицы.

### Глава шестая

## ПЕРВЫЙ ТРАКТОР

Отец возвратился из Краснодара с трактором. Машину осмотрели, почистили, смыли дорожную пыль и поставили под навес во дворе станичного совета.

Отец пришел домой оживленный. Устин Анисимович ранее обычного вернулся с работы и до глубокой ночи проговорил с отцом. Отправляясь спать, Устин Анисимович задушевно сказал:

— А что ты думаешь, Тихонович, в моем-то доме начинается исторический этап?

— Начинается, начинается, — довольным голосом отвечал отец. — Начало сделаем, а там не мы, так дети наши доведут до конца. Жена, приготовь на завтра мой самый лучший костюм.

— Гляди, каким вернулся: машина пачкается, — осторожно сказала мать. — А твой лучший костюм — один, первый и последний.

— Первый — верно, а последний? Еще поглядим! — весело возразил отец. — И приготовь рубаху... Обязательно белую. И знаешь что? Дай-ка мне искупаться! И чистое белье. Праздник так праздник!

Я засыпал в эту ночь в предчувствии чего-то необыкновенного. Илюша сказал мне вечером:

— Ты, конечно, проспишь, салаженок?

Проспать? А мое торжество! Ведь и Виктор Нехода, и Пашка Фесенко, и Яша Волинский должны увидеть меня рядом с первым трактористом — моим отцом.

Молодые мои читатели, откинем мои переживания, порожденные детским тщеславием. Оставим только самое существенное — впечатление от первого трактора. Мне

жаль, что вам не придется увидеть и почувствовать того, что пришлось на мою долю. Вы поймете меня и простите, что я вынужден прибегать к подробностям.

Я так много слышал от отца о тракторе, что представлял себе эту машину чуть ли не одушевленным существом.

Поутру я поднялся раньше всех, прошел в столовую и взглянул на стенные часы. Было около шести. Не скрипнув ни половицей, ни дверью, с дрожью в коленях, на цыпочках я выбрался из дому.

Мне представилось зрелище осеннего очарования, хотя стояли только последние дни августа.

Туман затопил соседние сады и колыхался ленивыми клубами, будто подтаивая под лучами невидимого мне солнца. В тумане стучали по дороге колеса повозок, фыркали лошади.

На фоне серой дымки пирамидальные тополя напомнили мне корабли с черными парусами, свернутыми на высоченных мачтах.

Пауки навесили паутину, соединив низкое деревцо сливы с отцветающей мальвой и махровые шапки циний со штакетным забором. Серые толстые нити походили на рыбачью снасть лилипутов.

Желтые гвоздики и кусты золотого шара высоко поднимались над шелковой травкой, придавленной тяжелой росой. Каждый листик был густо усыпан беловатыми холодными каплями воды, еще не выпитыми солнцем.

На соседнем огороде низко клонились корзинки гризого подсолнуха, обмотанного тряпьем от птиц, налетавших из лесу для поживы.

Я прошел к калитке по мокрой траве, испытывая тревогу: кто же рассматривает первый трактор в таком непроглядном тумане?

Кричал весновик-петушок, приветствуя утро и не находя его своими молодыми круглыми глазами. Из будки вышел Лоскут, вытянулся на передних лапах и подошел ко мне. Он потерся боками о мои ноги и вдруг прыгнул на меня, ударив в грудь грязными лапами.

В тумане по дороге скрипели колеса, шли и ехали люди, разговаривали, перекликались. Держась ближе к заборам, молодые пастушата гнали стадо. Козы шли с величавой важностью, оглядывая все на своем пути умными, прямо-таки человеческими глазами. Козлы-вожаки почуяли со-

баку, остановились в боевых позах, вытянув шеи и нацелив рога.

— Напусти кобеля! — крикнул мне один из пастухат.

— Зачем же?

Мальчишки засмеялись:

— Враз кишки твоему кобелю вылустят... Как подде-  
нет на рога! Интерес!

Стадо скрылось. В отдалении замирали колокольцы.

Вместе с Лоскутом мы пошли по саду. Ветви яблонь, когда-то отягченные плодами и поддерживаемые рогату-  
лями, теперь выпрямились. Лесная груша, оставленная на  
межнике, окружила по земле свою крону осыпавшимися  
плодами, а рядом с ней росла черная польнь.

Возле крыльца я увидел силуэт Устина Анисимовича.  
Он также заметил меня.

— Ты ищешь вчерашний день? — спросил доктор.

Устин Анисимович надвигался на меня из тумана, как  
великан.

— Отец уже на ногах, хватился тебя, — сказал он,  
остановившись возле меня.

Поздоровавшись с доктором, я поспешил к дому.

Отец успел умыться и побриться. Он сидел за сто-  
лом. Перед ним лежала тетрадка. В его руках был каран-  
даш.

— Ну-ка сколько будет семью восемь? — спросил он,  
взглянув на меня.

— Семью восемь?..

Мой метод умножения опирался на незыблемые, как  
гранитные обелиски, на зубок выученные ответы: пятью  
пять — двадцать пять, шестью шесть — тридцать шесть,  
семью семь — сорок девять. Прежде чем ответить на во-  
прос, я вызывал на помощь гранитный столб «семью семь—  
сорок девять», прибавил к нему недостающую семерку и  
через минуту торжественно выпалал:

— Пятьдесят шесть, папа.

— Ленив. Я уже три задачки решил, Серега... — Отец  
углубился в расчеты. — Старики в станице дотошные, обя-  
зательно спросят, сколько горючего идет на десятину, на  
запуск, на свой ход на версту... Так... А за сколько вре-  
мени он возьмет десятину? А как быстрее от коней будет  
бороновать? А как в посеве? Еще что? Молотить, — а ка-  
кие расчеты? Какие части быстрее изнашиваются и где  
их достать? Еще что могут спросить?



Отец не замечал меня, занятый своим делом, Я бесшумно зашел в другую комнату, приделся и появился перед мамой. Она осталась довольна осмотром моей одежды, намазала для меня пышки сметаной и отпустила.

Илюша, Николай и Анюта тоже приделались, словно на Первое мая. Вместе с ними, но попрежнему задорно дичась меня, была Люся.

Горячее августовское солнце расправилось с туманами, освободило травы от тяжестей рос, высушило паутину и порвало ее, раскрыло горы во всей их утренней красоте.

Только над Фанагорийкой текло облако. Казалось, между скалой Спасения и горой Абадзеха только что прошел пароход, оставивший после себя клубы дыма.

Станичники собирались к памятнику Ленину, где решено было показать трактор, а потом, в сопровождении всех желающих, мой отец должен был повести трактор за станицу, заложить первую борозду, на гулявшей под толокой земле.

Площадь была запружена народом. Мальчишки заняли места на крыше клуба и телефонной станции, на ветвях стручковых акаций.

Виктор Нехода и его приятели сидели на крыше в первых рядах, скрестив ноги, и, словно мыши, точили семечки.

Виктор меня узнал и показал своим друзьям, которые продолжали с прежней невозмутимостью лущить подсолнухи.

Возле памятника стояла наспех сколоченная трибуна, оббитая кумачом и цветами. На шестах у трибуны висел лозунг: «Каждый трактор — снаряд по старому быту».

По обеим сторонам трибуны висели еще два кумачовых плаката. Я привожу полностью текст, написанный на этих кумачовых плакатах:

«Если мы будем сидеть по-старому в мелких хозяйствах, хотя и вольными гражданами на вольной земле, нам все равно грозит неминуемая гибель» (Л е н и н).

Второй лозунг был взят из доклада товарища Сталина на XV партийном съезде:

«Где же выход? Выход в переходе мелких и распыленных крестьянских хозяйств в крупные и объединенные хозяйства на основе общественной обработки земли, в переходе на коллективную обработку земли на базе новой, высшей техники».

Трактор стоял, блистая свежей краской, палевой по корпусу и красной по шпорчатым колесам.

Бронзовый Ленин вытянул руку к востоку.

На веротах курорта возвышался портрет Сталина, обвитый венком из крупных циний. Взор Сталина был направлен туда же, куда смотрел Ленин, — на просторы кубанской равнины.

Люди поднимались на трибуну и произносили горячие, искренние слова.

Отец не выступал с речью. В новом костюме из тонкого шевьюта, в белой сорочке с широким отложным воротником, он стоял у трибуны и почти не отрывал глаз от трактора. Как ни старался отец казаться спокойным, я заметил его волнение: брови его поднимались, то одна, то другая, руки были в движении, и он часто прикладывал платок то ко лбу, то к затылку.

И вот митинг окончился. Секретарь партийной ячейки нагнулся к отцу и махнул рукой.

Отец кивнул головой, быстрыми движениями пальцев оправил полы пиджака и подошел к трактору.

Люди следили за каждым движением моего отца, и мое сердце переполнялось радостным волнением.

Отец провел широкой ладонью по тракторному корпусу, как бы лаская его, и прыгнул на железное сиденье.

Мне не было видно из-за толпы, что происходило дальше. Я услышал только громкий рокот мотора, звуки, похожие на стрельбу, и заметил черные клубы дыма.

Работая и головой и локтями, я все же во-время протиснулся вперед, не обращая внимания на пинки и подзатыльники.

Шпоры задних колес рванули траву, и трактор двинулся с места. Толпа расступилась, шум смолк.

Мальчишки с любопытством свесились с крыш и деревьев, боясь упустить хотя бы одно движение машины.

Трактор прошел вперед шагов на двадцать и остановился. Мотор продолжал работу. Народ напирал со всех сторон. Две молодайки подбежали к трактору из задних рядов и со смехом ощупали его. Они что-то весело прокричали в толпу и вернулись, горделиво оглядываясь и подтягивая концы платков.

Отец привязал руль веревкой и спрыгнул на землю. Толпа удивленно охнула. Еще бы!

Трактор без управления сам пошел по кругу. Теперь

люди образовали плотное кольцо, внутри которого, рокоча мотором и блестя шпорами, ходил и ходил новенький, поблескивающий крашеным металлом трактор.

— Сам идет, бабоньки!

— Как живой!

— Цоб-цобе-цоб!

— Третий круг!

— Прямо карусель!

— А пахать как? А может, только для забавы?

Сейчас кажется странной эта обычная для того времени картина. Но пусть читатель вспомнит о своей первой встрече с паровозом, автомобилем или самолетом. Пусть читатель поймет, какие особенные чувства владели сердцем крестьян, жизнь которых должна была изменить эта машина.

Отец остановил трактор, развязал веревку и с той же красивой ловкостью сел на сиденье.

Председатель совета и секретарь партийной ячейки сошли с трибуны. Мальчишки будто по сигналу посыпались с крыш, как воробьи.

Виктор оказался со мной рядом и толкнул меня локтем.

— Твой батько?

— Я гордо ответил:

— Мой.

— Хитро придумал, — сказал Виктор. — Ты, небось, тоже такой?

Люди шли за трактором по обеим сторонам улицы. Теперь уже почти не было слышно насмешливых выкриков и шуток. Трактор, пофыркивая, двигался к старинным наделам.

Мое мальчишеское сердце было полно невыразимой гордостью: ведь я был участником великого события; ведь над колышавшимися волнами казачьих шапок, картузов, над головами женщин, повязанными беленькими и пестрыми платками, поднималась фигура моего отца! Он сидел за рулем, откинув назад свой корпус, белыми крыльями лежал ворот рубахи на пиджаке, оттеняя его загорелую, крепкую шею. Смуглое, усатое лицо отца было исполнено торжественным достоинством.

Рядом с трактором шел Устин Анисимович. Он шагал уверенно и спокойно, с палочкой в руках и, улыбаясь, кланялся знакомым.

Когда наша процессия достигла окраины станицы, Устин Анисимович снял шляпу. Степной, пряный ветер шевелил его длинные волосы, лежавшие на плечах.

Моя мать шла рядом с доктором. Изредка, с тревожной улыбкой, она разыскивала нас в толпе глазами.

Илюшка строго приказывал мне:

— Показывайся хотя на глаза маме, pistolетный патрон!

Возле матери шли Аниота и Люся. Их головки с косячками иногда попадали в поле моего зрения.

За станицей был заранее подготовлен участок толоки—давно не паханной земли. На ней серели осоты, стояли татарники и виднелись светлосиреневые цветочки цикория, или питрова батига.

Отец остановил трактор, прицепил плуг, также празднично окрашенный, со сверкающими на солнце лезвиями лемехов. Комсомольцы расставили всех собравшихся вдоль поля, чтобы каждый мог видеть работу новой земледельческой машины. Люди растянулись цепью вдоль дороги почти до самого берега Фанагорийки.

— А ежели не возьмет толоку?—спросил меня Виктор.

— Обязательно возьмет, — уверенно ответил я, хотя и у меня в душе тоже копошились сомнения.

— Возьмет! — выпалила запыхавшийся Яшка, глядя на все широко открытыми и возбужденными глазами.

— Ну, раз Яшка поручился, молчу, — угрожающе сказал Виктор.

— Я... я... ничего, — залепетал Яшка. — Просто мне казалось...

Виктор посмотрел на него, ничего не ответил.

Двухлемешный плуг управлялся самим трактористом. Но за работой плуга следил молодой казачок в шапке с красным верхом. Не вынимая рук из карманов ластиковых штанов, не совсем еще снимая свое значение, казачок подмаргивал знакомым девчатам и скалил зубы. Ему, видимо, было лестно находиться в центре внимания, и одновременно казалось, что заставили его заниматься пустым делом, баловством, игрой. Поэтому-то он и не вынимал рук из карманов, подмаргивал. И так небрежно сдвинул кубанку на свою левую, каракулеву бровь.

Снова зарокотал трактор. Лемехи постепенно погружались в землю. Под рамой плуга татарники покорно нагнули свои малиновые чалмы. Трактор, как конь с норовком,

сделал рывок — и первые глыбы взрезанной земли перевернулись, накрыв придорожный шпaryш. Масляная полоса борозды потянулась за плугом. Молодой казачина теперь вынул руки из карманов и вприпрыжку бежал за плугом. Его шапка была сдвинута на затылок, а на лице появилось то же серьезное деловое выражение, как и у большинства людей, следивших жадными глазами за каждым взмахом тракторных шпор, за блеском лемехов, сверкавших в черной, первородной земле.

Падали бурьяны. Трещали терны. И гасли под колесами и плугом светлосиреневые удивленные глазочки штырова батига. Парной след поднимался от вспаханной целины. Не отставая ни на шаг, шла рядом с трактором моя мать, забрызгав полуботинки росой, исхлестав ноги желтым цветом донников. Каким счастьем светились ее глаза! Может быть, это была первая радость после смерти Матвея.

— Сколько же таких чертоломов пришло? — кричал какой-то степенный дядя с клинообразной бородой.

— Один напoказ, — отвечал ему Сучилин, тот самый казак, который переправлялся верхом у брода. — Будем на одного такого бога молиться, пока дотла лбы расшибем.

— Не тебя пытаю! — крикнул степенный дядька и протиснулся к борозде. — Сколько таких, механик?

Отец обернулся, и всем стал виден орден Красного Знамени на его груди. Он громко отвечал, чтобы слышали все:

— Сколько нужно!

— Каждому?

— В колхозы!

— Прямо в колхозы?

— Через машинную станцию... Там будет уход и ремонт.

— А кто придет? — кричали из толпы.

— Советская власть!

Испытания продолжались. Теперь даже скептически настроенные старики, увидев работу трактора, заинтересовались его способностями. Новая машина стала на глазах предметом практическим, полезным.

Казачи уже не пересмеивались. Они попросили провести вторую борозду, — как накроет? Вторую борозду трактор взял еще легче и точно, без промаха, накрыл жирный отвал первой борозды.

Потом старики измерили глубину пахоты, ширину захвата. Понравилось. Деловито полюбопытствовали насчет огрехов: как сводит трактор углы? Тогда же, посовещавшись между собой, установили: способней пускать под трактор большие массивы. Значит, к тому и артели. Ломай межники! А сколько мотор ест керосину? Какого сорта масло? А нельзя ли трактором молотить на шкивном приводе? Что? Может? И неужто потянет барабан-молотилку?

К этому отнеслись недоверчиво, но трактор утвердили молчаливым своим согласием.

Первый снаряд полетел над нашей закубанской степью — снаряд, направленный на прежнюю, узловатую крестьянскую жизнь.

Бронзовый Ленин стоял, протянув вперед руку. Великий Сталин закладывал в те дни фундаменты новых тракторных заводов, и, повинаясь его мудрой, целеустремленной воле, тысячи рабочих начали кирками и ломами рыть котлованы под ту индустрию, которая потом спасет отчизну.

Над землей зажглась заря новой, колхозной жизни...

#### *Глава седьмая*

### ЧЕТЫРЕ ПОДКОВЫ

После появления первого трактора я не мог избавиться от двух противоречивых чувств: мне было и радостно и страшно. Страшно потому, что я слышал недобрые разговоры в станице: что-то замышлялось против моего отца; радостно потому, что я верил — трактор поможет отцу одолеть все беды.

Несколько лет спустя я видел при большом стечении народа в поле работу комбайна, заменившего сразу и жнейки, и косы, и катки, и конные приводы, и молотилки.

Отец, как я уже говорил, в царицынских боях служил на бронепоезде Алябьева. Ему нетрудно было справиться с трактором еще потому, что в германскую войну пришлось повоевать на броневых автомобилях с моторами «Остин», принятыми тогда в царской армии. Дед же мой, как говорил отец, «боялся тележного скрипа». Мне же пришлось...

Вначале не мешает очертить несколькими штрихами свое детство и юность, чтобы понятней было дальнейшее. Нужно много забот и труда старших, чтобы у мальчика вырастить крылья, чтобы подковать его «на четыре подковы».

Я был трудным мальчишкой, особенно после приезда на Кубань, когда сошелся с ребятами-фанагорийцами. Родители пытались привить мне охоту к полезному труду. Но многие знают, как в юности трудно бывает пройти сто метров, выполняя просьбу родителей, и как легко пробежать десять километров по своей охоте. Как порой тяжело прочитать страницу из учебника, но как легко проглотить две-три книги про индейцев и пиратов.

Вот что осталось у меня в памяти.

Это было уже после того, как мы покинули дом Устина Анисимовича и переселились на свой участок, отведенный отцу по постановлению колхоза, где он работал трактористом.

Мы принялись устраиваться на новом месте. Колхозники привезли бревна, щепу, легкие столбы на стропила, помогли обтесать бревна, связать сруб.

Отделочные работы, рамы, ставни и кровлю отец решил сделать своими руками. Он заставлял нас помогать ему: подносить бревна, подавать щепу, исполнять роль подручных при плотничных работах, месить ногами глину.

Осенью с наружной отделкой дома было покончено. На нашем участке уже росло несколько старых яблонь, и плодов было много. Отец все же решил посадить новый сад, привить хорошие сорта крымки и белого налива. Помогаю отцу, я поддерживал тоненькую яблоньку над ямой и слышал призывной свист моего друга Виктора Неходы. Я знал, что вслед за этим свистом ватага мальчишек углубится в лес по каштановой тропе; в карманах друзей будут предметы для добывания огня по способу предков, за поясами ножи и даже за спиной у кого-нибудь мелкокалиберное ружье, а в руках удочки и котелки для ухи. Как запрыгала в моих руках яблонька, расставившая над ямой свои усаые корневища!

Может, окончить работу, а потом бежать к друзьям? Но я знал, что за посадкой идет поливка, а потом отец вздумает прививать дикие груши и заставит меня держать срезанные острым ножом черенки, а потом... Сколько дел могут придумать всего два человека — ваши отец и мать!

Свист Виктора повторился. Сейчас это был приказ: медленно появиться на сборном месте. Я знал, что в противном случае меня ждет презрение всей компании, притаившейся на островке.

Отец был занят своим делом и не обращал внимания на свисты.

Вскоре яблоня стала своими растопыренными корнями в приготовленном ей гнезде. Отец насыпал в яму земли, смешанной с перегоревшим навозом. Ствол теперь держался без моей поддержки. Казалось бы, и все. Но отец приказал мне примять землю ладонями, чтобы закрепить только что посаженное дерево. Стоит только опуститься на колени и приняться выполнять поручение, подспеют еще десятки других. Я решил схитрить. Изобразив на своем лице невнятное желание «проведать ветерок», я получил разрешение отца. Я подбежал к бурьяну и стремглав бросился к забору.

Можно было перебраться через забор по лазу, но этим я разоблачил бы свое намерение улизнуть. Я решил перемахнуть через забор там, где особенно сильны были заросли глухой крапивы.

Не поднимая головы, я перевалился через забор. Дурманящие запахи воли кружили мою голову. Я осторожно приподнялся, чтобы сделать прыжок. Мои ладони еще прикасались к земле, мои глаза с восторгом видели синюю гряду гор... Надо немного напряжинить тело, перепрыгнуть через бешенюку — колючий бурьян — и дальше... остров, заросли верболоза, где на условном месте сбора ожидают меня мои друзья. Ну, прыжок!

Чьи-то цепкие пальцы схватили меня за левое ухо. Если сильно рвануться, кто удержит? Ухо останется целым, погорит немножко, будто натертсе перцем. Но мое ухо находилось в пальцах почитаемого мной человека — Устина Анисимовича. С ним мне еще придется встречаться не один раз, да и ссориться с другом отца не входило в мои расчеты.

— Молодой человек, очевидно, отправился по поручению своего отца? — спросил Устин Анисимович, глядя на меня пронзительными, насмешливыми глазами.

— Откуда вы знаете, Устин Анисимович, что я отправился по поручению папы? — спросил я, решив хитрить до конца.

— Еще бы не знать, — насмешливо ответил доктор. —



Чтобы исполнить родительское поручение необходимо миновать калитку, приспособленную для нормального движения, пробраться сквозь крапиву и, рискуя наружными покровами своего живота, перевалить дубовый забор...

— Вы не задерживайте меня...

— Милый друг! Если я не ошибаюсь, вы хотели по-быстрее принести садовые ножницы, которые просил у меня ваш отец? — с вежливой улыбкой спросил Устин Анисимович.

Третий пиратский свист как бы прорезал прозрачный воздух. Третий свист, в котором было требование, угроза и самое страшное, что я боялся, — презрение.

Последняя фраза Устина Анисимовича навела меня на разумный выход из создавшегося положения. Конечно, отец посылал меня за садовыми ножницами, я тороплюсь за ними.

— Да, Устин Анисимович, — залепетал я, — действительно... меня просил папа сбегать, а я...

— Эти ножницы у меня в кармане, Сережа, — сказал Устин Анисимович с мягкой улыбкой, — вот они... — Ножницы щелкнули в его руке — раз-два. — Пойдем-ка со мной и поговорим дорогой.

Я подчинился Устину Анисимовичу и поплелся за ним. В пути я жалобно попросил доктора не говорить отцу о моем поведении.

— Хорошо, — сказал Устин Анисимович, — вообразим, что я постараюсь прикрыть тебя и сокру вместе с тобой твоему отцу, моему близкому другу. Как ты потом расценишь мой поступок? Ты скажешь своим друзьям: какой лживый человек Устин Анисимович, некий доктор с длинными волосами. Зачем же рядом с моей личностью в твоих воспоминаниях будут присутствовать такие нелестные для меня прилагательные? А? И дальше... Твой отец сумел уже догадаться о причинах длительного отсутствия. Если бы это было впервые. А то подобный трюк ты повторял уже, по-моему, четыре раза...

— Три, — поправил я.

— Тебе, конечно, видней, дружище, — продолжал доктор, — но ничего не получится из нашего сговора. Отец уличит нас обоих. И мне будет стыдно и тебе...

— Прошу вас, — клянчил я, увидев отца, державшего черенки в широко расставленных руках.

— Будь мужественным, Сергей, — серьезно посоветовал доктор, — не заискивай у других. Держись гордо. Эти ка-

чества потом пригодятся в жизни. Умей делать из каждого поступка выводы для себя. Что от тебя требовал твой отец? Очень немного. Поддержать яблоньку на весу, пока он засыплет ямку, верно же? А потом что? Притолочь землю ладонями? Ведь если не уплотнить яблоню у корня, ее распатает ветер — и засохнет деревцо. Зачем тебе слыть лоботрясом и нерадивцем? Отец завоевал тебе государство, построил новую жизнь, — доктор приостановился и уставился на меня своими испытующими глазами. — Кому же мы можем доверить и передать из рук в руки наше молодое и выстраданное государство? Ты понимаешь меня, Сергей? Кому мы можем доверить наши труды, наши слезы, наш факел, а?

Ухо мое горело. Нравоучительные сентенции доктора, обращенные к моей совести, казались мне напыщенными и немного смешными.

— Ага, вот где сорванец! — воскликнул отец. — Неужели я должен его привязывать за ногу? Опять двадцать пять! Спасибо, Устин Анисимович, что ты привел этого лоботряса за ухо... Жду, жду... Пропал!

Мы подошли ближе, остановились.

— Какие вопросы ты будешь мне задавать теперь? — спросил отец. — Сколько звезд на небе или сколько рыб на луне? Или опять будешь меня спрашивать, кто красит перья фазану?

Я виновато поглядел на отца и тихо спросил его:

— У меня есть один вопрос, папа.

— Говори, говори. Вот послушай, Устин Анисимович, что еще завернет этот мальчишка.

— Скажи мне, папа, — начал я, поглядывая с неприязнью на доктора, — откуда ты узнал, что меня привели за ухо?.. А может быть, вы сговорились меня поймать, когда я задумал убежать на остров?

Отец и доктор расхохотались. Отец положил на землю черенки и смеялся, ухватившись за бока руками.

— Ты гляди, гляди, Устин! — с трудом выговаривал он. — У нас, оказывается, только и дела устраивать засады на такую дичь, а? — Он приложил палец к моему уху. — Узнал по этому предмету, горит, как на пожаре. Никто не сговаривался ловить тебя. А если ты попытаешься еще раз удрать без спросу, я тебя...

Наш новый дом был уже накрыт щепой и обмазан пока только снаружи глиной, смешанной с крошеной соло-

мой. Так утепляли дома в предгорье, где менее суровые зимы, чем в степи.

Вечером я лежал в новом доме на свсей кровати. За дощатой стеной в соседней комнате разговаривали отец и Устин Анисимович. Они оба любили беседовать за стаканом крепкого чая.

«Уйти сразу же? Нет смысла. Ребята без меня сожгли свечи в Богатырских пещерах. Они теперь возвращаются домой берегом Фанагорийки. А может быть, даже остались на ночевку у Золотого источника, под старой ракитой.

Уйти к ним сейчас? Не будет ли это похоже на бегство? Накрыться одеялом и не слушать разговоры за дощатой стеной? Опять, вероятно, разговор обо мне?..»

Мое ухо горело до сих пор. Надо отомстить доктору. Но как? Я старался придумать способы отплаты. К обиду примешивался стыд, — так трусливо себя вести!

Я прислушался.

За дощатой стеной шел разговор о воспитании моей персоны.

Все услышанное мною в этот вечер навсегда запечатлелось в моей памяти.

— При большой семье тем более нельзя смотреть сквозь пальцы на проступки одного из членов семьи, Иван Тихонович, — говорил Устин Анисимович. — Семья ваша идет издревле. На таких простых семьях держалось и разбивалось русское государство. Подковывай мозги своим детям, Иван, на все четыре подковы. Чтобы ни в какую гололедку не скользили, не падали, чтобы искру высекали из кремня, чтобы, когда нужно, так бы отбрыкнулись, чтобы дух вон с нечистого...!

Потом я услышал голос отца.

— Раньше, не отвоюй мы на бронепоездах и в пехоте, впрягла бы тебя, в твоём положении, жизнь в непроходимую крестьянскую работу. — Он говорил, как будто обращаясь ко мне. — А теперь общество избавляет тебя от забот в детстве и требует от тебя самого главного — учиться. Книжки, по которым ты учишься, написаны для тебя умными людьми. Возьми от этих книжек все. А почему ты избавлен в детстве от непосильного труда? Потому, что есть советская власть. Нашей стране не нужны неучи. Советская власть изготовила и дала крестьянам машины, высвободила людей, организовала их совместную работу. Вот это ценить надо...

Чьи-то теплые руки прикрыли мне глаза. За спиной послышался сдавленный смех и частое дыхание.

Я был поглощен беседой взрослых и не ожидал нападения. Мне показалось, что я узнал ладони, прикрывшие мои глаза.

— Люся? — сладким шепотом произнес я.

В ответ я услышал злорадный смех.

Оглянувшись, я увидел Анюту, делавшую мне гримасы.

Вот когда загорелось и мое второе ухо. Я ненавидел себя в тот момент за свой дурацкий, сладкий шепот.

Анюта прыгала возле меня.

— Значит, Люся? Люся? — передразнила она меня. — Люся?

— Уйди отсюда. — пригрозил я, — убирайся!

— А мне ты не нужен, — обидчиво сказала она, — с тобой нельзя ласково... Иди.. тебя ждет рыболов.

— Нехода?

— Нехода? — Анюта покраснела. — Почему Нехода? Нужен мне Нехода.

— Поймалась, поймалась!

— Тебя ждет твой Яшка! — выкрикнула Анюта и исчезла.

Яшка поджидал меня во дворе. В темноте сверкали его глаза. Сегодня он выполнял задание Виктора, который вызывал меня к памятнику партизанам — нашему условному месту сборов.

— Что-то важное?

— Не знаю, не знаю, — быстро ответил Яша, — сам Виктор послал меня к тебе. Сам Виктор!

Я выскользнул на улицу. Яша подгонял меня.

С ним мы были в дружбе. Она завязалась еще с первой встречи на Фанагорийке. После моего заступничества, подкрепленного несколькими стычками и с Неходой и с Фесенко, Яша поверил в меня. Постепенно мальчишки перестали над ним смеяться, и он стал неизменным участником всяких игр, озорных забав и приключений. Я считал его преданным другом. Он был верен своему слову. «Сказано — сделано» — было его законом.

Над памятником павшим партизанам горела красная звезда. В темноте южной ночи этот свет был отличным ориентиром. Казалось, электрическая звезда висела в воздухе.

Мы подсилаи к памятнику.

— Ты почему не вышел на остров? — спросил Виктор.

Пашка стоял рядом и ухмылялся.

— Я помогал отцу сажать яблони, — ответил я.

Виктор свистнул, наклонился ко мне.

— Прилежный мальчик. Кто же из нас свободен, как ветер? Ты бы мог сбежать.

— Нет. Не мог...

— Почему?

— Не хотел.

— Не хотел? — Виктор нахмурился, присел у памятника. — А если было решено? Как же ты не хотел? Ты же подвел своих товарищей. Ты знаешь, мы не пошли без тебя. У нас пропал целый день... Ты слышал три свистка!

— Да.

— Он захотел кушать яблочки, — Пашка подхихикнул.

— Мой закон — выполнять до конца задачу, — сказал Виктор после короткого молчания, — никогда не отступать от намеченной цели.

— Я не понимаю тебя, Виктор, — сказал я.

— Не понимаешь? Страшно. Мы решили идти в Богатырские пещеры?

— Решили.

— Следовательно, надо выполнять решение.

— Мы решили идти днем, Виктор... А сейчас ночь.

— Но днем-то мы не пошли?

— Зачем сто раз меня упрекать?

— Я спрашиваю, а не упрекаю. Днем не пошли?

— Нет.

— Надо идти ночью.

— Ночью?

— Да.

— Это будет так интересно! — воскликнул Пашка.

— Тебя не спрашивают, — сбормал его Виктор. —

Я спрашиваю тебя, Сергей. Или ты бессилен?

— Я, право, не знаю... ночь... что скажут родители...

— Его надо привязать к маминной юбке, — сказал

Пашка.

— И тебя не спрашивают, — раздельно произнес Виктор. — Есть такой маленький гвоздь, который лезет в любую дырку. Не будь таким гвоздем, Пашка. — Виктор опять обратился ко мне: — Ну, как ты думаешь?

В этот миг у меня в душе боролась две противостоящие силы.

Итти ночью в Богатырские пещеры было заманчиво, не говоря уже о том, что совместный поход примирил бы меня с приятелями. Но приняв это предложение, я вступал на путь борьбы с родителями.

Как можно не выполнить слово, данное товарищам? Как уйти без спросу? Получить разрешение? Но кто позволит ночью итти в Богатырские пещеры?

Может быть, меня уже хватились? Анюта скажет отцу о приходе Яшки. Этого достаточно, чтобы рассердить родителей.

Но откажешься от похода — и навсегда потеряна моя честь в глазах приятелей. А с кем мне приходится больше делить свой досуг? Конечно, с ними.

Я обещал выйти на свист к острову? Обещал. Не исполнил? Нет. Не исполнил потому, что был позорно пойман за ухо. А если ребята узнают об этом факте? Хорошо, что в темноте никто не видел краску стыда, залившую мое лицо.

Я не мог отказаться от предложения, сделанного мне Виктором.

— Мы захватили свечи, ножи, спички, продовольствие, — перечислял Виктор, не глядя на меня. — А это! — Виктор перебросил с ладони на ладонь пистолет — нашу красу и гордость. — Ты волен решать, как угодно. Если ты откажешься, вместо тебя пойдет Яшка. Он смелее тебя и готов на любые поступки во имя дружбы.

— Я иду с вами! Иду!

— Я так и знал. — Виктор поднялся. — Так поступают сильные люди. Не будем терять времени...

## Глава восьмая

### БОГАТЫРСКИЕ ПЕЩЕРЫ

Мы уходили в пещеры. Яша оставался у места сбора — памятника павшим партизанам. Очевидно, Виктор считал, что мальчик еще мал для таких походов. Фраза: «Он смелее тебя и готов на любые поступки во имя дружбы», была произнесена Виктором из дипломатических соображений.

На прощанье, откатывая рукава сатиновой рубахи, Виктор приказал ему:

— Останешься при наших домах. В случае опасности, опасности для нас, сообщи на пятках.

— Я прибегу за вами, хотя бы у меня вырвалось сердце, — выпалил Яшка.

Виктор хмыкнул в ответ, и мы пошли по улице, обсаженной пирамидальными тополями. Вершины их, казалось, сближались с небом: мы шли по какой-то сказочной галлее.

Впереди шел Виктор. На плечах его висел рюкзак. За широким ремнем — духовой пистолет. Ножи в самодельных чехлах были у нас на поясах. Впопыхах я надел свои новые штаны и праздничные башмаки. Дальнейшая судьба этих вещей беспокоила меня больше, нежели самовольный уход из дому. Мы рассчитывали вернуться в станицу из Богатырских пещер сразу же после полуночи. Можно сказать, что задержался у Виктора. Такое объяснение правдоподобно. Если я изрву штаны и поцарапаю башмаки, — не оправдаться, не избежать наказания. Мне самому не хотелось портить вещи, с трудом приобретенные родителями. Что же делать? Башмаки можно было снять незаметно от Пашки, чтобы не поднимал насмех за скарденность. А штаны? Какой уважающий себя мальчишка сдернет штаны и будет ночью вышагивать в трусах из-за мелочных расчетов!

Конечно, ботинки сняты не были, также — штаны. Леса и горные тропы изобиловали разного рода пресмыкающимися. А грубая кожа башмаков, как известно, предохраняет от укусов змей.

Виктор возле почтово-телеграфной конторы свернул вправо. В освещенном окошке была видна сидевшая у аппарата сутулая телеграфистка.

Мы обошли почту, углубились в город. Окошки квартиры начальника почты светились красноватым огнем абажура. Казалось, среди стеблей кукурузы прилег для прыжка какой-то огромный зверь.

Стебли хрустели под ногами, будто дождевые черви, мохнатые нити кукурузных початков представлялись бородками. Отдаленный крик неясно леденит кровь. Эхо множило страшные птичьи крики.

Звезды сверкали в разрывах между облаками, натекавшими через хребет. Разреженный воздух заставлял еще сильнее колотиться наши детские сердца.

Виктор вел нас, презирая тропинки. Слева высилась гора, поросшая густым лесом. Снизу от реки (ее шум еще не был слышен) наполнил туман. Одежда отсырела. Хотелось, как зимой, потерять озябшую кожу.

Над горным подлеском, куда еще не дотянул туман, вспыхивали огоньки южных светлячков, крупных насекомых с брюшками, будто налитыми фосфором. С сухим шелестом перепончатых крыльев пролетела летучая мышь.

С туманом пришла холодная горная роса, прижавшая своей оловянной тяжестью даже густые пыреи. Башмаки промокли в пальцах, к подошвам прилипла сырая земля.

Ночное предприятие пока не приносило ожидаемых радостей. Из нас троих только один Виктор бывал уже в Богатырских пещерах. Его скупые рассказы возбуждали наше воображение.

Мы обшли подошвой горы санаторные службы, скотинники, конюшни и просекой, проложенной параллельно главной аллее для вывоза дров, вышли в так называемую Минеральную долину.

Долина наполнена отголосками эха от криков ночных птиц и настоена серными запахами горячих источников. Под нами по естественным подземным тоннелям текут и плавают подпочвенные породы горячие минеральные реки. Они частично заведены в трубы и подняты на поверхность земли. Эти давние источники «Мария» и «Принцесса» одним из своих двух раструбов выведены в цементированные бассейны-охладители. Бассейны прикрыты драпкой от непогоды, пыли, падающих листьев. Из них вода поступает в ванны, смешавшись с горячими шестидесятиградусными водами, непосредственно из скважины. Над бассейнами повисла большая чинара, расколовшая корнями скалы. В чинарах кричит как будто преследующий нас филин. Мне чудятся взмахи его тяжелых крыльев. От бассейнов удушливо тянет запахом тухлых яиц — сероволодором.

Под ногами теперь твердая почва. Мы идем по дорожке. В темноте журчит железистый источник. Слышно, как по стоку бьет звонкая капель. В траве шуршат либо ящерицы, либо уж. Может быть, они тянутся к водопою, к источнику. Я стараюсь быть ближе к Пашке, а тот — к Виктору. Пашка мне понятен вполне, неясно только, о чем думает Виктор. Его упрямство начинает злиться. В погоне



за сильными ощущениями он избирает путь к скале Спасения не огородами лодочника, а через Дантово ущелье.

Даже днем Дантово ущелье вызывало у всех щемящее чувство страха, стоило только войти под его мрачные своды. Дикое нагромождение камней узкой, безветренной и лишенной солнца щели почти физически давит на вас. Не покидает чувство опасности и тревоги. Кажется, в любую минуту все, что нависло над вами, рухнет и похоронит в этой огромной могиле. Камни осклизли, слезятся, покрыты плесенью, кладбищенскими побегамн ползучего плюща.

По дну ущелья, словно по каскадному каменному жолобу, бежал ручей, опускаясь с одной обомшелой вазы в другую, и так до выхода в Минеральную долину. В расщелинах жили ящерицы, попадались змеи. Говорили, что в Дантовом ущелье темнеет серебро, останавливаются часы, а стрелки компаса пляшут, как бешеные. Возможно, в подобных рассказах была какая-то доля правды.

Виктор вошел в ущелье, за ним исчез Пашка. Оскальзываясь на мокрых камнях, я догнал их. Виктор умел ходить быстро и бесшумно, а темная одежда скрывала его в темноте щели. Вырубленные ступени вели на гору.

Снова над нами прокричал проклятый филин. Его тень пронеслась над трещиной. Вверху закачались и зашумели чинары.

Туман, как в воронку, вливался в ущелье. Удушливая тяжесть давила грудь, дыхание учащалось. Ядовитые испарения Минеральной долины доходили сюда и долго не выветривались. Причудливые изломы камней казались одушевленными существами. Мои спутники молчали. Каблуки глухо стучали по плитам лестницы, как по замурованным подвалам таинственного замка.

Подъем продолжался удивительно долго. Наконец мы выбрались наверх, остановились. Черная пасть Дантова ущелья лежала у наших ног.

В сердце притекала храбрость. Мы перебросились несколькими незначительными фразами, окончательно восстановившими наше душевное равновесие, и пошли к скале Спасения. Перевалив ее, мы вышли на старинную пешеходную тропу, проложенную еще черкесами вдоль реки в верховье Фанагорийки.

Высокие дубы, чинары и карагачи колыхали над нами свои могучие ветви. Над головами в облачных окнах, буд-

то горстями, были разбросаны звезды. Такие хрустальные и блестящие бывают только в южном, горном небе.

Скала Спасения походила на заваленный вбок гребень бойцового петуха. Она на большую глубину уходила в реку, образовав на дне Фанагорийки каменную чашу.

Виктор перевалил через гребень. Мы осторожно спускались за ним по крутизне. Если бы не выдолбленные в скале ступеньки, при спуске нужно было бы прибегать к веревке.

После скалы Спасения тропа пошла над рекой. Черные стволы буков охраняли ее. Река шумела все больше и больше. Казалось, река течет по дну бездны. Через час шум сменился рокотом. Фанагорийка прорывалась в этом месте через каменную теснину, рыла берега, кипела, и поток падал на сланцевые террасы, постепенно переходившие в обычное долинное русло с песочком, землицей и камешками.

Над тесниной на стальных тросах висел пешеходный мост с дубовыми перилами. Мост раскачивался. Скрипели и стучали под ногами узкие доски. Мне хотелось пить. Сюда долетали крупные брызги и пресная водяная пыль. Я шел и жадно облизывал губы. На левом берегу Виктор подождал нас, сказал «дальше» и быстро пошел по дороге между ивами.

Наконец мы подошли к Золотому источнику. Осенью вокруг источника лежали золотые опавшие листья, и сама чаша его от железистых солей покрывалась красновато-ржавым налетом. Отсюда и пошло название источника.

Ручеек рождался у корней старой ракиты. Вода была чистая, холодная. Несколько раз я наклонился к источнику, сложив чашечкой ладони.

Пашка плашмя лег на землю и пил воду длинными хлюпающими глотками.

После привала у Золотого источника рюкзак переключал на плечи Пашки. Попрежнему двигались гуськом. До цели нашего путешествия оставалось около пяти километров по протоптанной, хорошей тропе. Виктор предложил не торопиться домой, но это противоречило моему желанию. Родители, видимо, уже хватились меня.

— Отец и мать созданы для того, чтобы беспокоиться о своих детях, — сказал Виктор, внимательно меня выслушав.

Я не стал спорить с Виктором: это дело безнадежное.

Река шумела все больше и больше. Если бы мы не свернули к пещерам, можно было бы в конце концов дойти до ее водопадных истоков, у Волчьих ворот.

Пришло время завернуть на тропу, ведущую к пещерам. Виктор пошел впереди. Пашка на ходу передал мне рюкзак. Теплый от пота мешок повис у меня на спине. Он был сделан из обычного зернового чувала, прихваченного по углам веревками.

Виктор остановился. Перед нами поднимались стены обнаженных известняков. На скалах щеткой стояли низкорослые, саблистые деревья, отлично видные снизу.

Виктор позвал нас и указал вверх, где виднелся черный треугольник расщелины.

— Там, — прошептал он.

— Почему ты шепчешь и таишься? — спросил я, взвешивая его театральными приемами. — Мы ночью здесь одни, нас трое, а держимся, как воры...

Виктор не ответил.

— Что ты молчишь? — тревожно прошептал Пашка, и глаза его внезапно округлились, как у птицы.

— Смотри вниз, — сказал Виктор.

Мне показалось, что между кустами и деревьями, нависшими над сухим руслом, заметался красноватый, как глаз зверя, огонь. Потом пропал. Я потерял глаза.

— Огонек, — сказал я.

— Верно, — подтвердил Виктор, — кто-то курит в кулак. Ложись!

Мы плашмя упали на землю, притаили дыхание, хотя сердце каждого из нас готово было вырваться вон.

От расщелин осторожно пробирались люди. Мы лежали в кустах и поэтому, несмотря на темноту, видели их на фоне неба, как перед этим видели на скалах саблистые деревья. Незнакомцы выходили из пещеры.

Первый из идущих поскользнулся на камне, взмахнул руками для равновесия, выругался. Второй, в бараньей шапке, засмеялся коротким, булькающим смешком.

— Гляди, Сучилин, раньше времени не сломай себе шею.

— Не сломаю, — ответил Сучилин.

Они вышли на полянку, остановились возле кустов, где мы притаились.

— Никита, небось, приспал у коней, — сказал Сучилин.

Его я разглядел хорошо. Впервые я видел его на фангорийском броде при моем первом знакомстве с Яшкой и Виктором. Он работал конюхом в колхозе. Отец отзывался о нем хорошо. Сучилин любил лошадей, хорошо ухаживал за ними, держал в чистоте конюшню. Что же могло его сюда привлечь ночью?

Сучилин тихо свистнул. Кто-то откликнулся со стороны сухого русла. Заржала лошадь. Завезело удильное железо. Слышно было, как стучали подковы о камни.

— Пойдем, — сказал Сучилин, — а то этот оборот Никита угадает с конями наверх...

— Лагунов, небось, спит, как ангел, а мы колобродим, — сказал один из спутников Сучилина, в белой шапке.

Его я видел впервые. Откуда же он знает моего отца?

У меня тоскливо заняло сердце. Теперь я старался не пропустить ни слова.

Сучилин пошел вниз, раздвинул руками кусты.

— Дадим жизни Ивану Лагунову, — сказал он, будто самому себе. — Ангел!

Виктор подтолкнул меня.

— Слышал? — прошепел он, обжигая меня дыханием.

Я ощущал под ладонями сырую щербистую землю, покрытую острыми камешками. Я прижался к земле и слышал всем телом, как скрипели подошвы сапог по камням, как ломко отдавалось похрустывание валежника; запахло махоркой и свежесмазанной дегтем юхтовой кожей.

Люди сели на неоседланных коней, — это нетрудно было заключить по звукам. Копыта застучали в направлении реки, захопали по воде. Всадники разделались — одна группа спустилась по течению, другая отправилась вверх.

Первым нарушил тягостное молчание Виктор. Ему так же было не по себе.

— Нам придется идти в пещеру, — сказал он.

— Все же идти? Даже несмотря на то... — Папка оглянулся, зубы его клацнули. — Может быть, там люди.

— Ну?

— Нас зарежут.

Мелкая, подлая дрожь билась меня изнутри.

— Мы должны осмотреть пещеру, — произнес Виктор по складам, будто забивая гвоздь.

К пещере вела каменистая тропа. Входное отверстие было достаточно для нашего роста. Можно было идти не сгибаясь. Пока огонь не зажигали. Двигались осторожно,

стараясь ступать на носки и не сбивать камешки. Из пещеры несло, как из плохого погреба. Стены были мокрые. Вход начал сужаться. Пришлось согнуться. Сколько мы шли таким образом, сказать трудно. Наконец я выпрямился, раскинул руки, но стены не достал. Я остановился. Дальше могла быть пропасть.

Виктор зажег свечу. Над головами пронеслись летучие мыши, поднялись под своды пещеры и закружились там, шумя крыльями и попискивая тоненькими жуткими голосками.

Пожалуй, мне никогда не приходилось так сознавать свою беспомощность, как здесь, в пещере.

Мокрые стены с натечными оплывами сталактитов, казалось, были исписаны какими-то древними письменами, — не прочитать их... Черная епадина, откуда несло мокрым холодом, уходила в глубину Богатырских пещер, — им нет конца.

Виктор сказал побелевшими губами:

— Не стройте таких рож. Вы нагнали и на меня папику.

Я попробовал улыбнуться.

Летучие мыши исчезли одна за другой в глубине пещеры. Теперь мы могли лучше оглядеться. Наши восковые толстые свечи освещали пещеру с высоким потолком, откуда сочилась вода. В углу, левее наружного входа, была вырублена ниша. Возле нее стоял стол — спиленный сталактит. Ясневые чурбаки, стоявшие у стола, заменяли табуреты. На столе были еще теплые оплывы свечи, на земле валялись обрывки газет, остатки круженок — козьих ножек, в нишу были брошены бутылки. Одна из них заткнута кукурузным початком, пропитанным самогонкой.

На сухой траве возле стены, как видно, недавно лежали люди. Стены были исчерчены разными знаками — следы пребывания экскурсантов. Из первой пещеры узкий коридор вел в следующую комнату. Мы решили осмотреть ее. Можно было передвигаться только гуськом. Виктор держал наготове духовой пистолет, мы — ножи.

Перед нами открывалось чудесное зрелище. Узорчатые, гнтые букетами колонны поднимались по стенам и углам и пропадали в темноте, где шумели черными крыльями летучие мыши. Посредине стояли причудливые статуи; одни из них готическими шпильями поднимались кверху, другие были похожи на каменных баб-идолов, что разбросаны по степным курганам.

Стены сочлились. Где-то в глубине пещер, скрытых от нас, загадочно шумела подземная река. Свечи дрожали в наших руках, и сталактитовые изваяния, будто отлитые из хрусталя, мерцали в каком-то красноватом фосфорическом тумане. Стоило сделать хоть шаг, и тени ползли, извивались.

— Дальше еще пещеры, — прошептал Виктор, — идут и идут бесконечно. Может, к Туапсе... никто не знает. Дальше не пойдем... Там течет черная речка.

Мы позернули назад и свободней вздохнули; в первой комнате мы были ближе к свежему воздуху, к жизни.

Виктор погасил наши свечи. Свою поставил на каменный стол. Наши лица были мертвенно бледны. Глаза обведены кругами.

— У меня есть предложение, — Виктор оглянулся, будто боясь посторонних ушей.

Мы тоже повернули головы. А вдруг чьи-то чужие глаза наблюдают за нами?..

— Надо подождать луну, — продолжал Виктор, — и тогда добираться домой.

— Луна взойдет перед рассветом, — сказал Пашка.

— Будем ждать, — сказал Виктор.

— Почему?

— Туман залил долину реки. Мы можем попасть в ущелье, в яму... и, кроме того, раз мы ввязались в такое дело, надо держаться вместе и крепко. И никогда не решать что-либо самовольно, без друзей... — Виктор глядел на нас своими глазами-занозами. — Один за всех, все за одного. Раньше люди давали клятвы... хотя... — его глаза остановились на свечке. — Чтобы никто из нас не изменил друг другу, мы можем дать клятву на свечке.

— На свечке?

— Да. На свечке... Вы слышали, что я говорил?

— Да, — ответили мы разом.

— Приближайте пальцы к огню. Не все, по одному указательному.

Мы соприкоснулись пальцами.

— Теперь спускаем ниже, к свече.

Наши руки опустились к огоньку.

— Ниже, ниже, на самое пламя! — командовал Виктор.

Огонь больно жег наши пальцы. Кожа покраснела, закипела. От острой боли выступили слезы. Пашка побелел, зашатался.

— Хватит, — скомандовал Виктор, — это была клятва. — Он подул на палец, усмехнулся. — Конечно, глупости, а больно, шут возьми. Только глядите, это всерьез... Чтобы ни гу-гу про наши похождения...

Мы молча подчинились вожаку.

Виктор развязал рюкзак, положил на стол круг овечьего сыру и связку сушеной тарани. Потом попробовал нож ногтем, нарезал хлеб, держа его по-крестьянски — у груди.

Мы поужинали.

Виктор взял в нише бутылки, вышел из пещеры, принес воды из ручья. Мы напились и улеглись на сухой траве, на полу.

— Туман закрыл все. Птицы и то не кричат, — сказал Виктор и заложил руки под затылок. — Вы спите, ребята, а я подежурю. Через два часа разбужу Пашку. А перед зорькой подежурит Сергей.

Усталость и пережитые волнения сломили меня быстро. Я будто провалился куда-то, крепко заснул.

### Глава девятая

## ВЫСТРЕЛ

Яркий, багровый свет заливал пещеру. Яшка стал перед нами с горящим факелом в руке.

...Мое отсутствие всполошило наш дом. Мать решила, что меня надо искать только на дне Фанагорийки. Она была убеждена, что я не перенес оскорбления, нанесенного мне Устином Анисимовичем. Меня искали повсюду. Всполошили доктора, сбегали к Фесенко, к матери Виктора.

Прибежала Люся, хотела сама разыскивать меня и осталась у Анюты. Отсутствие Пашки и Виктора немного успокоило всех, но мои родители тревожились попрежнему. Мать Виктора, застенчивая, бедная женщина, сторожиха школы, ночевала у нас. Отец Пашки, когда его тормозили, перевернулся на другой бок и сказал только одну фразу: «Дождался вожжей».

В суматохе, охватившей четыре дома, в самом лучшем положении оставался Яшка. Ему хотелось выдать тайну нашего пребывания, подмывало повести по нашим следам

целую карательную экспедицию из наших родителей, братьев и сестер. Он колебался, но, наконец, решил не выдавать нас.

Яшка бывал в Богатырских пещерах, вязываясь в экскурсии санаторных больных, путь сюда ему был известен.

Наш юный друг сидел оборванный, грязный, утомленный, сжимая в руках пылающий факел, и глядел на нас такими преданными, блестящими глазами, что хотелось его расцеловать.

— И ты не боялся?

— Некогда было бояться, ребята. Я так, так спешил...

— Спешил?!.

— У меня вырывалось сердце, ребята!

Виктор удивленно рассматривал Яшку новыми глазами, как бы раскрывая для себя какую-то плохо прочитанную страницу яшкиной души.

— А все же было боязно? Признайся, Яшка.

— Да.

— Видишь...

— Но я решил: бояться, но держаться как можно смелее.

— Храбро?

— Да, Витя.

— Словом, ты — храбрый трус? Есть такие?

— Значит, есть, — Яшка ткнул пальцем в свою грудь.

Виктор одобрительно улыбнулся, заложил в углы мешка камешки, завязал мешок плечевым узлом.

— Ты проходил Дантовым ущельем? — спросил Пашка.

Ему хотелось унижить Яшку, неожиданно очутившегося в центре внимания. В лице Яшки вставал новый, неожиданный для Пашки соперник.

— Нет, — просто ответил Яшка. — Зачем же идти Дантовым ущельем, крюком, когда есть прямой путь через речку?

— А там левым берегом, — подтвердил Виктор.

— А там левым берегом.

— Левым берегом, — пренебрежительно протянул Пашка. — Видишь? Левым не страшно. А вот Дантовым — спина холодает.

— Левым проще, — оправдывался Яшка, — я перешел вброд у кювета. Там плавают бычки и... змеи. Вероятно, ужи? Конечно, ужи...

Виктор погладил плечо Яшки. Тот заулыбался, чувствуя поддержку.



Белая известковая пыль на полу пещеры покрывалась сажей от факела.

Мы вышли из пещеры. Трепеща крыльями, провожали нас летучие мыши. Мы — на воле. Покинуты загадочные, таинственные и зловещие своды Богатырских пещер. Свежий лесной воздух наполнил легкие.

В тумане шумела Фанагорийка. Черные деревья стояли в молочном, колеблющемся море. Выше деревьев плыла луна. В траве трещали сверчки, кое-где фосфорическими пульками проносились светляки.

Мы возвращались домой, угнетенные предчувствиями наказания. Это печальное предчувствие, смешанное с угрызениями совести, заслоняло теперь от нас всякие ночные страхи.

К шести часам утра мы выбрались, наконец, на гору, возвышающуюся над станицей Псекупской. Мы вернулись другим путем. Виктор повел нас по прямому, более трудному пути, сразу же после всячего моста взяв в горы.

Мы отдыхали на скале, измученные переходом, вымазанные в песке и глине, с грязными руками, в размокших башмаках.

Я видел отсюда крышу своего дома и дымок над летней кухней, заплетенной виноградом «изабелла».

Солнце только что поднималось из-за низкого предгорья. На пастбище доили коров. Скот утробно мычал. Издалека доносился запах молока.

Лучи солнца просеивали золотой полосатый свет через листву яблонь, садовых груш, сквозь прорези гор, меж стволами тополей, покрытых, как броней, стариковскими наростами коры.

И самая чудесная картина, представшая нашим взорам, — это картина несравнимой нашей Фанагорийки. При свете солнца, при темных утренних тенях мы видели выходящий из пропасти гор дымчатый, медленно струящийся поток. Это текла вторая дымчатая сказочная река, подрезывая основание гор, похожих на мохнатые черкесские шапки. Ни малейшего ветерка, листочки неподвижны, а между тем из ущелья между скалой Спасения и хребтом Абадзеха текла дымчатая река, продвигаясь вместе с течением вод Фанагорийки до самой долины, уже озаренной солнцем.

Над хребтом далеко позади, может быть в тех местах, где неизвестные богатыри проточили пещерами горы, рас-

пластав перистые крылья, висело облако с человеческой головой и бородой, взъерошенной кверху. В небе висела побледневшая луна: солнце беспощадно ее обесцветило.

Неожиданно, чуть не сбив меня с ног, из кустов выскочил Лоскут. Он носился как бешеный.

Он лизнул меня и снова полетел вниз. Оттуда доносились два детских голоса:

— Сережа!

— Витя!

— Витя!

— Сережа!

Виктор поглядел на меня с усмешкой:

— Ваши.

...Трудно еще раз описывать извечную картину возвращения блудного сына. Зачем вспоминать ремень, угрожающе встряхиваемый в оливковых руках отца, заплаканные от радости глаза матери. Мать сохранит блудного сына от побоев, приведет в порядок, отутюжит брюки, вычистит и высушит обувь.

Отец уехал на тачанке в поле. Мама накормила меня оладьями со сметаной, напоила чаем. Илюшка незаметно от матери толкнул меня в бок кулаком, сверкнул глазами. Мои похождения вызывали в нем чувство отвращения. Его рассудительный ум и, конечно, чуть-чуть более взрослый, чем мой, не мог постигнуть прелести практически бесполезных поступков. Его фантазия уже обеднялась возрастом, и я не мог завидовать своему старшему брату.

Я жевал оладьи. После сметаны перешел на вкусный горно-лесной мед. Его собирали колхозные пчелы от цветов ажины, мать-мачехи и цветущих весной фруктовых деревьев.

Мои мысли, как пчелы, кружились у сухого русла, возле Богатырских пещер. Слова Сучилина и человека в белой шапке не давали мне покоя. Несколько раз мне хотелось подойти к маме и рассказать ей все по порядку. Но меня удерживала клятва на огне — родители так и не узнали, что мы ходили к Богатырским пещерам, — и Виктор сказал: «Не расстраивай своих. Мало ли чего Сучилины не набрешут языками». Как поступить?

— Иди погуляй, — разрешила мама.

Я вышел на улицу. На мне были надеты старенькие

штаны, перешитые из лыжного костюма, чуваки на белой подошве и ситцевая рубашка со стеклянными пуговками.

Конечно, я не был похож на королевича, о котором мечтала Люся. И, несмотря на это, я разыскал ее. Может быть, многие из моих безрассудных и необъяснимых холодным разумом поступков были совершены лишь для того, чтобы заслужить ее внимание.

Мы с Люсей сидим на горячем песке, истоптанном копытцами коз, и разговариваем. Наверху по дороге скрипят телеги. Изредка, когда потянет ветром, оттуда зносит в реку песчаную пыль. Медленно текущая вода шипит от упавшей пыли, будто остуживает ее. Берег перевит венами чугунных корней тополей-белолисток.

— Раньше писали о серебряных листиках тополей, — говорит Люся, глядя на трепещущие тополевые листья. — Знаешь, почему так сравнивали?

— Не знаю.

— Потому что не было еще алюминия, — сказала она, довольная своим открытием. — А посмотри на листья тополя, ведь они похожи больше на алюминий. Ну, как будто бы наплющили их под колесами поезда из маминных кострюлек...

Мне приходится признаться, что листья тополя напоминают больше алюминий, чем серебро.

— Надо говорить: алюминиевый тополь, а не серебряный, — сказал я, чтобы угодить девочке.

Люся окинула меня взглядом, который выражал полное пренебрежение к «глупым мальчишкам».

— Так некрасиво.

— Зато верно.

— Не все верное красиво.

— К примеру?

— Пыльный и грязный лошадиный хвост. — Люся улыбнулась уголками своих пунцовых припухлых губок.

Я промолчал. Мне не давали покоя слова, услышанные ночью. Перед глазами стоял высокий Сучилин, незнакомец в белой шапке.

— Если я полюблю кого-нибудь, — мечтательно сказала Люся, — то это будет, — Люся посмотрела на меня, я покраснел и принялся что-то рисовать пальцем на песке, — это будет королевич.

— Королевич? — с досадой переспросил я. — Советская власть, и вдруг какой-то королевич?

— Над любовью нет власти,—строго сказала Люся.— Только я полюблю молодого, очень молодого королевича. Чтобы он был обязательно похож на девочку. Чтобы у него были светлые-светлые волосы, вот до сих пор, — она притронулась пальчиками к плечикам своего пестрого сарафана. — Башмачки с алмазами... на пряжке алмазы, бархатная накидочка по пояс, — пальчики ее растопырились у пояса сарафана, охватывавшего ее тоненькую фигурку. — На пальцах обязательно колечки, очень много. В руках чтобы у него была маленькая свирель, на ней он должен играть, а ходить по ковровой красной дорожке. Светлые волосы и красная дорожка красиво, правда?

— Дорожку разостлать по песку?

— Песку? Нет, должен быть пол.

— Какой?

— Как в доме.

— Везде на улице? Пол, как в доме? — я недобро ухмыльнулся.

Этот королевич преследовал девочку уже давно. Мне хотелось своими руками придавить этого королевича, наступить на него и прижать башмаком, как дождевого червяка.

— Да, везде на улице пол, — упрямо ответила Люся.

— Этого не может быть.

— Поэтому я не могу увлечься ни одним вашим мальчишкой... Потому именно, что этого не может быть. Только Анюта может вздыхать по грубияну с грязными пятнами.

— Это ты про Виктора?

— Да, — вызывающе ответила Люся.

— Ну, ну, — угрожающе заворчал я.

— Что «ну, ну»?

— Не позволю при мне так отзываться о моих товарищах...

— Простите. — Люся встала, встряхнула сарафанчик и медленно пошла от меня. Вскоре цветной ситчик ее платья пропал за стволами белолесток.

Мне стало грустно. Я бродом поплелся домой через реку.

Одинокие бычки шмыгали у моих ног. Крякая, проплыла утиная стая. Разморенные зноем, спускались к реке козы. В небе кружились шулеки, высматривая на земле добычу.

В смутной тревоге прошли еще три дня. Тайна Богатырских пещер давила меня. Родители относились ко мне ласково, показывая, что они забыли мое ночное исчезновение.

Особенно был нежен отец. Он задавал как будто бы невинные вопросы, прощупывал меня — безуспешно. Законы детского товарищества святы. Запрет не был снят Виктором, и я не имел права выдать тайну. Молчал и Пашка. И, конечно, был нем, как рыба, Яшка, приближенный к себе Неходой. Пашка замкнулся, вначале держался особняком, а потом его видели в обществе мальчишек, совершенно противоположных нам по своему духу. Измена Пашки была дурным признаком. В воздухе пахло грозой.

Отец часто уходил в партийную ячейку. Там иногда просиживал до петухов. Придя домой, отец съедал оставленный для него холодный ужин, ложился спать, и часто ночью мы слышали его бред — он выкрикивал военные команды.

И вот случилось то, что я ждал со смутной тревогой. На четвертые сутки после нашей прогулки к Богатырским пещерам, вскоре после сумерек, возле нашего дома со звоном и стуком остановилась тачанка.

Кучер, рыжий и волосатый Никита, прибывший в станицу сравнительно недавно из сечевой степи, что-то прокричал во двор таким страшным голосом, будто его резали. Мать побежала к воротам, открыла. Тачанка въехала во двор, зацепила крылом яблоню, сорвала с нее кору, остановилась. Добрые донские кони повели опавшими боками. Мать бросилась к тачанке, вскрикнула. С тачанки сошел отец, положив большую и какую-то неживую руку на плечо матери.

— Детей прогони... Прогони детей, — сказал он сквозь зубы.

Мама прикрикнула на нас, и мы скрылись в доме, сбились у дверей столовой, прильнули друг к другу. Несчастье вошло в наш дом. Прерывистым, как от сдерживаемой боли, голосом, отец с трудом сказал:

— Сначала, Никита, привези Устина Анисимовича. Только его... Потом сообщишь в ячейку... Слышишь, Никита?

Тачанка унеслась со звоном и конским топотом.

Мы стояли в столовой. Вот скрипнула дверь, показалась рука отца, нашарила проем, уцепилась за него.

Анюта бросилась вперед, приникла щекой к руке отца. Пальцы отца разжались, опустились к голове дочери, провели по волосам два-три раза.

— Детей прогони, — еще раз попросил отец, — не надо...

Мы сжались в углу. Отец не замечал нас. Южная ночь затопила комнату.

— А ничего... не брошу... — твердо, как клятву, произнес отец. — Не сойду.

Отец опустился на табурет. Мать попросила спичек, их принес Илюшка.

Мама дрожащими руками сняла стекло с лампы, провела по фитилю спичкой. Лампа медленно разгоралась, закоптила узким черным языком. Мать прикрутила огонь, вынула из головы металлическую шпильку, повесила на стекло, чтобы не лопнуло, и снова обратилась к отцу.

— Ничего, ничего, Ваня, — сказала она, стараясь говорить спокойно. — Как же так ты неловко? Нога подвернулась?

— Не уйду... не дождетесь, — бормотал отец, прикусывая усы.

Черные от пыли капли пота скатывались по его руке.

И вот я увидел проступившую между пальцев отца густую, багровую, как пламя факела, кровь.

Я охватил лицо руками, чтобы не закричать, прижался всем телом к маленькому Коле, безучастно глядевшему на все, и сквозь пальцы, мучительно истязая себя самого, глядел на круги расползающейся крови.

Мама увела отца в спальню. Кто-то подбежал к нашему дому. Хлопнули наружные двери. Подкатила тачанка. Кони захрапели у черного крыльца. В столовую, с чемоданчиком в руках, вошел Устин Анисимович. Из спальни вышла мать, прислонилась спиной к стене и с надеждой посмотрела на Устина Анисимовича.

Доктор оглянулся, выразительно посмотрел в нашу сторону, что означало «уведите детей», приблизился к матери, прикоснулся к ее руке:

— Тоня... надо еще лампу, тазик воды, полотенце. Держи, держи себя в руках... Тоня...

Вскоре дом наполнился людьми. У отца было больше открытых друзей, нежели скрытых врагов.

Я вышел во двор. У тачанки столпился народ.

Никита задал лошадям сена, тут же у дышла отстег-

нул по одной построжке и завязал их на боковине украшенных медными бляхами шлей.

Никита был в центре внимания. Он присел на стремянку, громко говорил, размахивая папироской:

— Ехали мы с четвертой бригады, заречной, к броду, кони приморились, шли невесело. Ну, знаете тот лесок, что на мыску возле брода. Как поравнялись мы с тем леском, слышу, вроде ветка хрустнула, выстрел, пуля прсвистела и ушла. Я оглянулся и сказал Ивану Тихоновичу: «Стреляют». Ну, конечно, с тачанки, под нее, как иначе... А Иван Тихонович поднялся во весь рост, размахивает полевой сумкой и грозит в лесок: «Сволочи!» Оттуда опять раз-раз, не иначе — из обреза, и зацепило председателя. Беда...

— Надо было кнутом по коням и уходить после первого же выстрела, — сказал кто-то из темноты.

— Ишь ты, швидкий, уходить! Я же кажу, кони пристали... Это тебе не трактор... Да кто там?

Из-под яблони вышел начальник милиции с отцовою полевой сумкой в руках, с наганом на плечном ремне. Оказывается, он стоял под яблоней и вслушивался в разговор.

Никита узнал начальника милиции, привстал, прикоснулся пальцами к ухарски надетой кубанке.

— Не узнал вас, товарищ начальник.

— Темно, как узнать, — сказал начальник милиции и пошел в дом.

— Этот разыщет бандитов, — сказал один из слушателей Никиты.

— Разыщет... — Никита отмахнулся, и снова скрипнула под ним стремянка. — Ищи ветра в поле... Ау... Ау... Ну что ж, дончаки остыли, можно напувать.

Никита взял цыбарку, пошел к колодцу. Завизжал ба-рабан журавля, ведро глухо ударилось о воду. Кучер дергал за бечевку, пока ведро наполнялось, равномерно—скрип-скрип—заработал ручкой. Коня почувствовали воду, тихонько заржали. В темноте блеснули зелеными огоньками их влажные глаза.

Я вернулся в дом. Болезненная жена Устина Анисимовича, которую я недолюбливал, разобрала кровать, уложила меня. Она прикоснулась худой рукой к моему лбу, что-то прошептала.

Слезы потекли по моим щекам. Вдруг полуоткрылась

дверь из столовой, на пороге появился силуэт девочки. Это была Люся. Она неплотно прикрыла дверь, тихими шажками, на носках, подошла к моей кровати и присела на кончик стула. Я молчал и следил из-под полуприкрытых век за каждым ее движением. Люся посидела с минутой, потом положила свою руку на мою, лежавшую поверх одеяла. Я молчал, пораженный этой неожиданной лаской.

— Ты не спишь, Сережа, — сказала она, — почему же ты молчишь?

Я тихонько приподнял голову, чтобы не спугнуть этого легкого, как крылья бабочки, прикосновения ее нежной руки.

— Не сплю, Люся.

Девочка отняла руку, положила ее к себе на коленку. Я сел на кровати, вглядывался в Люсю, не различая лица, глаз. Только силуэт головки рисовался на фоне слабого света керосиновой лампы, проступавшего сюда из столовой, через неплотно прикрытую дверь.

Мне хотелось многое сказать этой девочке, но язык не повиновался. Да и трудно было мне в ту минуту. Она понимала мое душевное состояние.

— Тебе тяжело, — промолвила она. — Случись такое с моим папой, — она перевела дух, — я бы сошла с ума. Видно, утешать в чужом горе легче. Как ты думаешь?

Меня успокаивали ее слова, так не детски выраженные. Мне становилось легче от ее сердечного внимания. Я дал себе слово никогда не забывать ее искреннего порыва.

— Если хочешь, Сережа, — продолжала она, — я всегда буду помнить о тебе. Только прошу тебя, никому не рассказывай, особенно этим ужасным хулиганам — Виктору и Павлу...

Я кивнул головой, ее слова почему-то не вызвали во мне возмущения. Я думал: «Хорошо, что Люся пришла в темноте». Глаза мои были заплаканы. Мне не хотелось, чтобы девочка ушла.

В соседней комнате зажгли вторую лампу, в нашей детской комнате стало светлее. На своей кровати, повернувшись к стене, спал Коля. Кровать Илюши не была разобрана. Он помогал матери.

Я услышал, что кто-то вошел в спальню. По голосу я узнал: пришли секретарь партийной ячейки, чрезвычайно деловой и несколько суматошный человек, и председатель



станичного совета. Это был басовитый мужчина, коммунист, бывший партизан, вдоль и поперек иссеченный белогвардейскими шашками.

Лампа разгорелась. Теперь я хорошо видел Люсю. Она отодвинулась и, прихватив концы шелкового материнского платка, брошенного на плечи, рассматривала висевшую на стене аппликацию по басне Крылова.

Руками моей мамы был вышит журавль; он клевал красным клювом синюю тарелку, а лиса сидела на задних лапках и следила за гостем. Она почему-то напоминала Пашу Фесенко: у него были такие же жуликоватые глаза.

— Я пойду, — сказала Люся вставая.

Я не набрался смелости попросить ее побыть со мной еще немного. Я не мог придумать слов, которые задержали бы ее и заставили присесть на кончик стула. Я был готов просидеть с ней до петухов, но всегда странно робел в ее присутствии, и это доводило меня до злости. Обычно после ее ухода сам с собой я был находчив, смел, остроумен... Теперь все улетучилось, я сидел перед ней дурак-дураком...

Она ушла на цыпочках и притворила за собой дверь. Я привалился к стене горячим лбом.

### Глава десятая

## ДАЛЬНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

На другой день я сидел у стола начальника милиции.

— Итак, молодой человек, они разъехались на лошадах? — спросил он и уже вторично придвинул ко мне конфетку.

— Разъехались в разные стороны, — ответил я.

Начальник милиции не смотрел на меня. Его глаза были опущены. Он что-то чертил толстым карандашом на развернутом листе писчей бумаги.

— В какие стороны? — переспросил он.

— Одни поехали вниз по реке, другие вверх.

— А дальше?

— Копыта потерялись.

— Звук копыт?

— Звук.

Начальник милиции рисовал каких-то чортиков. Мое любопытство накалилось до крайности, я приподнялся, заглянул через чернильницу. Начальник ухмыльнулся уголками губ и своими смуглыми пальцами, замаранными фиолетовыми и красными чернилами, подвинул лист для моего удобства поближе.

— Хорошо получается? — спросил он.

— Так себе, — ответил я.

— Конечно, не Репин. А вот такой рисунок поможет разыскать преступников, стрелявших в твоего батьку.

У извилистой речки, повыше точно вырисованного висячего моста, был начертан треугольник входа в пещеру и тропы, расходящиеся от него. Маленькие лошади, напоминавшие бутылочки с хвостами, стояли близ пещеры. Затем на моих глазах рука начальника, замаранная чернилами, послала их в речку. Вскоре две бутылочки поплыли вниз, а три вверх — по течению.

— Их было пять? — спросил начальник.

— Пять.

— Одного звали Никита?

Я вздрогнул. Неожиданно догадка ошеломила меня.

— Он же не кулак, — сказал я растерянно, — он кучер. Возил меня на тачанке, давал вожжи, вырезывал мне пищики из вербы...

— Правильно. Вожжи, пищики... — Начальник тяжело вздохнул. — Кулаков-то натуральных мы давно вытурили. Тех узнать можно было ночью, наощупь, а вот подкулачников сложнее.

Начальник постучал по столу ручкой пресс-папье. В кабинет вошел молчаливый и хмурый, как зимняя туча, человек, которого мы почему-то очень боялись. Он занимался уголовными делами и не всегда ходил в милицеейской форме.

— Сучилина и Никиту-кучера взять немедленно, — сказал начальник. — Проверить в верховых колхозах, кто брал лошадей и выезжал ночью, от и до... Понятно? Черная борода и белая шапка... Надо разыскать, хотя у него приметы окажутся шиворот-навыворот... Понятно?

Начальник уголовного розыска кивнул головой и вышел из кабинета. Мой собеседник подвинул ко мне конфетку.

— Упрямый. Как буйвол. Не отравлена... гляди! — Он бросил ее в рот вместе с бумажкой, пожевал, выплюнул

бумажку, и леденец захрустел, как стекло, на его крепких, кишенных зубах.

— Теперь жалко?

— Нет, — буркнул я.

— Вижу, жалко. Меня, братец, не проведешь. Профессия не та.

Начальник хлопнул ящиком стола, достал оттуда горсть конфет, насовал насильно мне в оба кармана, подтолкнул к двери.

— Твой приятель Витька гораздо разговорчивей, — сказал он, — учись жизни у него, а не у буйвола. Молчал несколько дней... Пещерный житель. — Он потрепал меня за нос. — Когда будем проводить по улице бандитов, узнай. Ошибаться нам нельзя. А то зашлем их в тартарары. Понял?

Я понял одно: отец расплатился своей кровью за мое молчание. Следовательно, не всегда нужно молчать, если тебе что-либо известно. Я понял второе: Виктор нарушил свое слово и раньше меня рассказал обо всем начальнику милиции, не предупредив меня, не посоветовавшись со мной. Он тоже пришел поздно, но его показания помогли раскрыть преступление.

Виктор, конечно, поступил правильно. Но как же с товарищеским словом? Почему он первым нарушил его?

Нужно было во что бы то ни стало разыскать Виктора. И я его нашел в совершенно неожиданном месте — на базаре.

Краснея от смущения, Виктор прикрыл какие-то вещи, лежавшие на мешке, разостланном на земле. Возле него сидели люди, продававшие старые ботинки, гвоздики, ломаный будильник, молоток, бутылку с цветной этикеткой.

В это время какой-то горный казачина в свинных постолах и рваных ластиковых шароварах подошел к Виктору.

— А чем ты торгуешь, купец?

— Ничем. — Виктор вспыхнул.

— Как ничем?

Казачина нагнулся, откинул мешок, плюнул и пошел дальше. Я увидел какой-то старый хлам.

— Ты, значит, продаешь, Виктор?

— Мать послала.

— И ты согласился?

Тогда Виктор прикусил губы, зло уставился на меня:

— А если дома жрать нечего?

— Нечего есть?

Мне показалось, что Виктор пошутил. Мне припомнилось наше недавнее ночное пиршество: хлеба целый каравай, тарань, круг брынзы. Я напомнил ему об этом.

— Пашка принес, — сумрачно сказал Виктор, — там оставалось немного. Я завернул остатки обратно в мешок и отнес мамке. Ты же знаешь, при школе нет огорода, а мы... Так-то...

Мне показалось, что я увидел Виктора впервые, и мне стало стыдно. Всегда сытый и одетый, я ни разу не интересовался, как живет мой друг.

Я собрался уходить, совершенно забыв, что решил обвинить Виктора в измене слову. Виктор сам догадался и напрямик сказал:

— Не обижайся на меня. Пришлось рассказать про этих сволочей... опоздали только. Батьку твоего жаль...

Я вспомнил о содержимом кармана моей курточки, помялся и нерешительно предложил конфеты Виктору.

— Не собираюсь, — строго сказал он.

— Они даром достались, Витя. Начальник милиции сам напихал в карманы.

— Иди, иди, чиж.

Вернувшись домой, я высыпал в сахарницу все до единой конфеты, прожигавшие мне карманы. Мать застала меня за этим занятием, сделала вид, что ничего не заметила, ушла на кухню. Впервые я что-то положил в буфет, а не вытащил оттуда.

Отец лежал с обнаженными руками и забинтованной грудью в соседней комнате и наблюдал за мной с одобрителем вниманием. Уходя от него, мама не притворила дверь, а я, занятый своим делом, не заметил, что за мной следят внимательные задумчивые глаза...

Сучилина вели по улице со связанными назад руками, сообщников его не связывали. Позади Сучилина, след в след, с понуренной рыжей головой, без шапки, шагал Никита, старавшийся не глядеть на толпу, не отвечая на выкрики.

Я не мог понять, как этот человек, вырезывавший нам пищики в лесу, катавший на козлах, огромный, сильный, свитый из мускулов, решился на убийство человека, который ему ничего не сделал плохого.

Рядом с Никитой шли те самые люди, которых я навсегда запомнил на фоне кустов у Богатырских пещер.

Был воскресный день. Людей собралось много, не меньше, чем на смотр первого трактора.

У отца сегодня поднялась температура. Устин Анисимович утром вводил отцу сердечное. Об этом говорили в толпе, и ненависть к преступникам все нарастала.

— Эх, решить бы самосудом! — кричал какой-то старик в картузе, размахивая палкой.

Преступников окружали милиционеры, пять человек. Еще два конных ехали в конвое на иссиня-вороних орловцах с подседельниками — вальтрапами, расшитыми кумачом и камкой.

Арестанты шли с понурыми головами, стараясь не встречаться глазами с людьми. Только один Сучилин поглядывал с наглой самоуверенностью, откинув на затылок кубанку. Сатиновый бешмет был расстегнут на груди до самого пояса, сверкавшего серебряной с чернью насечкой. На ногах были мягкие, козловые сапожки без каблуков, подхваченные ременными шнурами у колен.

Сучилин явно разыскивал кого-то глазами, наконец отыскал, кивнул головой. В толпе истошно заголосила его жена, пожилая, степенная женщина.

Дети Сучилина держались около матери, озирались, как зверьки. Глаза у них были заплаканы и натерты кулаками. Странно, но мне их было жаль.

Преступников подвели к милиции и посадили на мажару, на которой обычно возят с поля снопы. Верховые проводили их немного и повернули к конюшням.

Вскоре мажара пропала за тополевыми стволами, и только небольшой столбик пыли еще долго держался на шляхе.

— Не жалеи их, — сказал Виктор, — они тебя не пожалуют...

### Глава одиннадцатая

## ПЕРВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Проносились годы, как метеоры.

Отец выздоровел. Его враги рубили леса на севере, трудом зарабатывая себе прощение. Старела мама на наших глазах, и нелегко было наблюдать ее увядание, хотя для нас она попрежнему была прекрасна. Тихо, как

свеча, истаяла жена Устина Анисимовича, и Люся, надолго уехала в Крым, к родным, которые взяли ее на воспитание.

После ее отъезда я долго не находил себе места, тоскливо бродил по знакомым местам, сидел на песчаном пляже, где бродили козы, летали яркие бабочки. Несколько дней я носил повязку на указательном пальце левой руки. Палец был сожжен на пламени свечки: я поклялся Люсе в верности.

Каким-то напоминанием об ушедших вместе с Люсей королевичах были фигуры шахмат. Играть меня научил Устин Анисимович. Я безумно полюбил шахматы и на время забросил турник и параллельные брусья; шахматы и спорт казались мне почему-то несовместимыми.

Доктор исподволь подогревал мою страсть, не подозревая, что приносит мне вред, однобоко развивая мои наклонности. Играли мы обычно в тихом и уютном месте, в станичной избе-читальне, где-нибудь на столике, возле сельхозуголка, где приятно пахли пшеничные стебли, кукуруза, травы.

Устину Анисимовичу приходилось все труднее и труднее одерживать шахматные победы. И вот однажды доктор начал проигрывать мне, своему ученику, первую партию.

Его глаза беспокойно бегали по шахматной доске, останавливались на моем кулаке, где в потной ладони была зажата похищенная в результате продуманного во всех деталях хода черная ребристая королева.

Нас плотным кольцом окружали мои сверстники, дрожавшие от азарта.

Волнение мешало сосредоточиться Устину Анисимовичу, и, наконец, он признал мою победу. У шахматной доски на миг возникло гробовое молчание. Устин Анисимович вынул платок, протер очки, глаза улыбались.

— Королеву-то снял, молодой человек, за «фука», — сказал он.

«Фуком» обычно называлась провороненная пешка в «плебейской игре» — шашках. Я предложил вторую партию — реванш. Устин Анисимович согласился. Игра продолжалась полтора часа. Доктор еще больше волновался, делал поспешные, непродуманные ходы. Он проигрывал снова. Не дожидаясь, пока я загоню его короля в мертвый угол, он положил его боком, хрустнул пальцами.

Он смотрел на меня удивленно и одобрительно.

— Ба, ба, Сергей Иванович, да ты уж вырос, братец. Геперь тебя не возьмешь за ушко, не вытянешь на солнышко...

Устин Анисимович ушел, повесив палку на руку, прикоснувшись на прощание только двумя пальцами к своей старомодной шляпе.

Накануне очень важного дня моей жизни — вступления в комсомол — я получил письмо из Феодосии от Люси. Письмо было написано в шутовском тоне, радовало и волновало меня.

Жизнь в портовом городе не прельщала девочку. Она вспоминала нашу Псекупскую, наши шалости и детские радости. Не забыла и о клятве на огне стеариновой свечки.

В конце письма она написала: «Ц — ю своего королевича».

Сотни раз я прочитал это письмо, спрятал в карман и задумался. Она была гораздо моложе меня. Я дружил уже с шестнадцатилетними девушками. В тетрадки я записывал разные изречения.

В кармане куртки я часто находил записки, где клятвы в любви переплетались с просьбами помочь решить задачу по математике или проверить ошибки в сочинении. И все же тайна первой привязанности, первой детской любви была сильней. Я готов был пойти куда угодно вслед своей, именно своей Люсе.

Жизнь позволила мне доказать свою любовь к ней, но это в дальнейшем...

Комсомольское собрание шло к концу.

Илюша встал, прикрутил фитиль, чтобы копоть не лизала своим черным маслянистым языком ламповое стекло, обратился к членам бюро:

— А теперь следующий вопрос... Прием в ряды ленинского комсомола Сергея Лагунова...

Мне казалось, я восходил на высокую гору: надо было пересмотреть свой багаж, от чего-то отказаться, что-то добавить. Сердце замирало. Ленин, поднимавший руку с броневика, завещал мне: «Учись!» Я давал себе клятву быть достойным членом комсомола, выполнять все возложенные на меня обязанности.

— Мы, ребята, все знаем права, данные нам государством, — сказал прикрепленный к комсомолу от партийной организации председатель райисполкома, иссеченный бело-

гвардейскими шашками, — а как мы понимаем свои обязанности перед социалистическим государством?

Его вопрос теперь не захватил меня врасплох.

— Учиться, учиться, дойти до всех наук, если можно, превзойти их и, если нужно будет, отдать свою жизнь и знания своей родине... отдать ей, — говорил я, будто произнося клятву.

— С завитками, но верно, — сказал предрайисполкома и забарабанил пальцами по столу. — Что ж, пора кончать, ребята. Посчитать, второй час его мурьжите...

Я вышел обновленным человеком с заседания бюро. Рядом со мной шел Илюша. Его сильные, крепкие плечи покачивались в такт шагам.

Мы перешли улицу. Собаки лениво тявкали из-под штакетных заборов. От тополей ложились тени. В небе висела луна, огромный расплавленный шар, будто ее только только горячими молотами отковали у огненных горнов. Тополя снова напоминали мне мачты бригов, в мечтах я плыл в будущее! Нужны только паруса, чтобы они наполнились ветрами и повесели.

Мое торжественное и мечтательное состояние Илюша долго не нарушал. Он, видимо, понимал, что происходит сейчас во мне. Он это сам переживал не так давно.

— Придется тебе дать нагрузку — «ю-пэ», — сказал он.

— Хорошо, — согласился я.

— А в школе возьми спортивный кружок. Там у вас худые дела. Почти развалился. Вместе с Витькой Неходой возьми.

— Хорошо, Илюша.

— Будешь проводить пионерские костры, только, ради аллаха, не лезь в центр станицы. Выводи пионерию в лес, сами рубите дрова, жгите костры до самого неба. Приучайте детишек к натуральной жизни, к природе, развивайте мускулатуру, смелость, не бойтесь простуды...

— Хорошо, Илюша.

— То-то, — сказал Илья, — а что не так — ко мне. Помогу.

Мы подошли к дому, может быть, впервые серьезно поговорив друг с другом.

Дома неожиданно для меня было организовано торжество. Даже отец привинтил орден Красного Знамени, старательно расчесал усы и подмаслил прическу. В доме собрались друзья отца из колхоза, тут же сидели басови-



тый предрика, секретарь партийной организации и мои приятели — Виктор и Яша.

Под окнами ходил Пашка Фесенко. Его тоже пригласили, и Пашка долго и заискивающе жал мне руку.

— Я твоему, понимаешь ли ты, Иван Тихонович, задал вопрос на бюро, — басил предрика, накладывая на тарелку пирога с мясной начинкой: — права-то вы свои понимаете, а вот как насчет обязанностей?

— Ответил?

— Ответил. Хорошо ответил, Иван Тихонович, — басил предрайисполкома, — а делами — посмотрим.

Неслись годы-метеоры, и, наконец, пришло время ответить делами на призыв своего государства..



**ЧАСТЬ  
ВТОРАЯ**

## Глава первая

### ВОЙНА

Война захватила меня в Крыму, на полевом аэродроме. Враг шел с запада.

Бомбили Севастополь. Немецкие бомбардировщики пришли с румынских аэродромов, расположенных близ Констанцы. Военные объекты не пострадали. Флот был настороже. Истребители черноморской авиации отогнали противника. Флот ответил ударом по Констанце. В Румынию ходили опытные бомбардировочные экипажи. Некоторые участвовали в финской кампании.

Я получил письмо от отца. Он писал, что Николай призван в армию и уехал в Краснодар на формирование. Илья находился в кадровых танковых частях в Киевском военном округе. Яшку не призвали по болезни, Виктора Неходу, оставленного в свое время по льготе, мобилизовали. Фесенко служил во флоте на действительной. Словом, почти все фанаторийцы, сверстники мои и друзья детства, ушли на войну.

Отец писал: «Уже начали косить ячмень на южных склонах, вывели на загоны из усадьбы МТС комбайны, скоро начнем убирать в массе озимые ячмени и пшеницы. Урожай, какого давно не видали. Начали цвести подсолнухи, кукуруза цветет, но еще не наливают початки...»

Вот так просто пришла война. Попрежнему мы занимались своими делами на аэродроме, принимали и провожали экипажи. Только теперь экипажи уходили на боевые задания. Иногда не возвращались. На опустевшем месте

ставили новый самолет. Аэродромный пес, преданный нашему полку, повоет, повоет на опустевшем месте и начинает привыкать к новым хозяевам и снова ждет их возвращения.

Самолеты рассредоточили с линейки, принялись строить капониры. Аэродром окружили линией противозвоздушной обороны: врыли пушки, зенитные пулеметы, перевели горючее в подземные хранилища, замаскировали их сверху землей и дерном.

Стояла жаркая, без дождей, погода. В воздухе носилась пыль. Мухи осаждали нас. Война в подлинном своем смысле, не ощущалась нами. Я раньше представлял себе войну совершенно иначе. Мне думалось, везде будет царить постоянная восторженность, войдут в быт новые, красивые, романтические фразы, по-другому сложатся отношения между командирами и подчиненными. А все стало строже, утомительней, будничней и настороженней. В природе ничто не изменилось. Как и раньше, ячмени созрели скорее на южных склонах, в положенное время наливались кукурузные початки, так же послушно следили за солнечным кругом шляпки подсолнухов.

Нас переводили в Сарабуз, на стационарный аэродром. Сюда же, на полевой аэродром, подвели истребители запасного авиаполка. Молодые пилоты весь день кувыркались в воздухе. Их переучивали на новых самолетах. На смену тупорылым машинам, когда-то считавшимся шедевром авиационной техники, пришли узконосые, тонкокрылые, быстрые истребители.

Мне не удалось еще повидать авиацию противника. Демонстративные и разведывательные полеты над Крымом не производили на меня впечатления. С каждым днем все сильнее и сильнее меня беспокоила мысль: разобьют немца, война окончится, и не попадешь на фронт, не повоюешь.

Эти настроения, очевидно свойственные юношескому возрасту, поддерживал мой друг, авиамоторист Иван Дульник. Маленький, юркий, похожий на сверло, он не давал мне покоя, разжигал меня. Не одну бессонную ночь мы проворочались на своих койках. В голове моей роились мысли о разных подвигах, которые так и не придется мне совершить. Каждый человек, побывавший на фронте, вызывал у меня сосущее чувство зависти. Я не мог оторвать восхищенного и одновременно досадливого взгляда от иг-

раюющих на солнце орденов, привинченных на гимнастерках хаки или на темносиних морских кителях.

В конце июля меня и Дульника отправили по делам службы на один из флотских запасных аэродромов в районе Херсонеса. По пути мы попали в Севастополь. Город внешне жил обычной размеренной жизнью, если не считать следов противовоздушной маскировки. Торговали магазины, в киосках продавалось пиво, по улицам двигалась оживленная толпа. На станцию приходили поезда, люди поднимались к панораме. Попрежнему стоял бронзовый генерал инженер Тотлебен, окруженный бронзовыми солдатами. Возле памятника играли дети. Няни вывозили на колясках младенцев. Зенитные установки были умело отъединены от гуляющей публики рвами и заборами из колючей проволоки, скрытой в кустарниках. Аэростаты воздушного наблюдения на день маскировались в оврагах и лощинках. Только опытный глаз мог заметить то там, то здесь серый, пблескивающий под солнечными лучами аэростатный шелк. Военные корабли приникли к пирсам, как бы слились с ними. По бухте ходила катера и шлюпки, приставали транспорты, пехота, направляемая на оборону Одессы, проходила по пристани, деловито грузилась. Уходили транспорты, сопровождаемые морским и воздушным конвоем. Мне казалось, что страна уже несколько лет воюет. Как-то быстро обвыкли люди.

Более внимательный глаз заметил бы многое, что отличало военный Севастополь от мирного: город наершился, вооружился, снял с себя белоснежно-кремовые тона и стал похож на один из ошвартованных у стенки крейсеров. Город закрылся контрольно-пропускными шлагбаумами, прощупывался матросскими патрулями. Ночью движение замирало, только шла и шла пехота, катили пушки и пулеметы. Через порт к южному крылу фронта проходили крупные силы. Ночью город был темен и тих. Изредка вспыхивала точка патрульного фонаря и сразу гасла, или поднимались вверх десятки голубых мечей.

Эти ощущения боевой красоты Севастополя пришли ко мне гораздо позже. Тогда же, потолкавшись в городе около часу, мы так и не нашли в облике крепости того, что соответствовало бы нашим понятиям о войне.

Грузовик стучал по камням. Мы молча продолжали путь к Херсонесу. Густая известковая пыль садилась на флаanelки, на бескозырки. На грузовике стоял токарный ста-

нок. Его приходилось поддерживать руками, так как он ежеминутно грозил свалиться на нас. Кроме станка, мы везли инструменты в плоских ящиках и два самолетных винта в деревянных футлярах.

На аэродроме при ночной посадке пострадали два самолета. Надо было срочно привести их в порядок.

— Не знаю, сколько это отнимет у нас времени, — сказал Дульник.

— Смотря, как разложили, а то поглядим и уедем.

— Раз вызвали — значит нужно будет потрудиться.

— Жаль машины. И так каждая на счету.

— Ночью садились на луч. Может быть, молодняк пилоты?

— Может быть, — согласился я.

Дороги пересекали многочисленные лощинки. Грузовик подпрыгивал, нас трясло. Виднелось плато Сапун-горы, вправо от нее синели скалы Балаклавы.

Низко над морем шли два морских разведчика, одномоторные воздушные черепахи с толкающим винтом и неуклюжими поплавками.

Теперь уже было видно море, на нем — точки сторожевых судов — охрана внешнего рейда. Сверкающее море лежало перед нами по всему горизонту до Балаклавских высот.

## *Глава вторая*

### ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ОТЧАЯННЫМ КАПИТАНОМ

Дульник, сидевший с правого борта, перешел ко мне, на левый. Я знал характер своего приятеля: ему не терпелось поделиться со мной какой-то новостью.

— Что узнал, Дульник?

Дульник прикоснулся рукой к курчавому затылку, хитро поглядел на меня черными глазами.

— Узнал кое-что в Севастополе, Лагунов, — сказал он.

— Именно?

— Видал, как меня остановил морячок береговой обороны?

— Видал.

— Мой приятель еще по Одессе, Ланжеронцы мы...

Мне показалось, что за этим вступлением начнется обычный восторженный рассказ Дульнича об Одессе. Я попросил быть ближе к делу.

— Организуются парашютно-десантные части для Одессы, — сказал Дульнич.

— Где?

— Недалеко, на Херсонесе. Приятель указал мне «позывные».

— Кто организует? Флот?

— Конечно.

— Кто именно из флотского начальства?

— Некто майор Балабан.

— Балабан? — переспросил я.

— Балабан, — повторил Дульнич. — Ты разве с ним знаком?

— Если только это тот Балабан, — сказал я, — отчаянный капитан. Морской пограничник.

— Он! — обрадованно воскликнул Дульнич. — Абсолютно точно, отчаянный капитан.

— Неужели тот самый отчаянный капитан?

— Совпадение исключено, — сказал Дульнич, — тот самый. Где ты с ним познакомился?

— Я с ним незнаком.

— Незнаком? — Дульнич округлил свои птичьи глаза. — Не представлен, что ли?

— Я его даже не видел. Я только слышал о нем.

— Кто не слышал про отчаянного капитана! Я помню на Ланжероне...

Я снова перебил Дульника:

— В детстве имя отчаянного капитана произносилось нами, как имя жюльверновского капитана Гаттераса, — сказал я. — Капитан Балабан задержал в море фелюгу контрабандистов и передал ее рыбацкой артели, где работал мой отец. Фелюгу официально переименовали в «Капитанскую дочку», но мы называли ее «Мусульманкой». Так было романтичнее.

— Слабое, конечно, знакомство, но использовать можно на худой конец. Не знаю я, каков майор Балабан, но, надеюсь, мы сумеем тронуть его сердце подобными воспоминаниями. Струны сердца!

— Не забывай разницу в звании, Дульнич, — сказал я ему. — Учитывая субординацию, найдем ли мы возможность добраться до этих самых струн? Я сомневаюсь...

Через три дня мы, закончив дела на аэродроме, разыскали штаб отчаянного капитана невдалеке от херсонесского музея. Дорога шла по оврагу, то там, то здесь виднелись остатки стен Корсуня Таврического, а выше, на фоне голубого свода, стояла башня Зенона.

В лошине укрывались от наблюдения с моря казармы. За колючей проволокой стояли грузовики, пушки. Бочки из-под горячего, снарядные и патронные ящики, тюки прессованного сена загромождали двор. Знойное солнце стояло в зените. Несколько чахлах деревьев не давали тени. Часовые изнывали от жары.

Владения отчаянного капитана были лишены романтической дымки.

Часовой пропустил нас во двор. Молодой морячок тащил вязку фляжек. Мы спросили его, как пройти. Он мотнул головой в сторону.

Мы пошли мимо бунтов военного снаряжения. Большими буквами на щитах было написано: «За курение — трибунал».

Возле одного из зданий, на солнцепеке, сгрудилась оживленная толпа моряков. Это были добровольцы, услышавшие о наборе и прибывшие в Херсонес к отчаянному капитану.

— Меня не примут, — сказал Дульник, пробираясь между мускулистыми высокими ребятами. — Телосложением не вышел. Никакие знакомства с «Мусульманками», пожалуй, не помогут.

Мы заняли очередь к Балабану. Дульник ушел выяснять обстановку. Через полчаса он вернулся, отвел меня в сторону. На его носу сверкали мелкие капли пота, спина под фланелевкой намочла, волосатые смуглые руки были увлажнены.

— Отбирают только тех, кто имеет парашютные прыжки, — весело улыбаясь, прошептал он. — Повезло нам, брат.

— Чего же ты радуешься?

Его лицо сияло. Смеялись его черные глаза, окруженные морщинками. Веселье так и искрилось на его загорелом, узком лице.

— Не понимаешь?

— Ничего не понимаю. Мы с тобой не имеем ни одного парашютного прыжка...

— Надо иметь голову, Лагунов. А человек с головой



должен знать, что парашютный прыжок — это нивесть что такое. Подумаешь, парашютный прыжок! Машина вытаскивает тебя на пять тысяч метров в небеса, умный человек снимет дверцу в центроплане, а тебе останется только нырнуть вниз и подчиниться механизму, который отлично работает без тебя. Я говорю о парашюте.

— Какой же механизм — парашют?

— Я не хочу отвлеченно спорить, — обдав меня своим жарким дыханием, заявил Дульник. — Надо иметь голову на плечах и постараться убедить майора Балабана, что мы прыгали с парашютом. Ну, не очень много, чтобы поверил. Ты можешь сказать примерно цифру... одиннадцать, чтобы не было ровного счета, я, ну, скажем, семь. Этих цифр и держаться.

— Он потребует документ.

— Какие сейчас могут быть документы? — возразил Дульник. — Отчаянный капитан поглядит нам в глаза, увидит отвагу и зачислит. А там не наше дело. Он сам снесется с полком, с командованием. Идем, идем, Лагунов. А эти молодцы нам почти не соперники. Мало кто из них имеет парашютные прыжки.

Итак, мы решили соврать. Когда я узнал, что набирают только двадцать человек, я больше уже не колебался.

Майор вызывал по одному. Наконец очередь дошла и до нас. Наше желание протиснуться вдвоем было мгновенно и молчаливо пресечено рослым моряком-автоматчиком, стоявшим на часах.

Первым вошел Дульник. Я через дверь слышал его громкое, четкое приветствие, хлопок ладошки по шву и удары каблуков по полу. Потом он прошел в глубину комнаты, и все смолкло.

Свидание продолжалось ровно десять минут. Дульник вышел сияющий и торжествующий. Я понял: ему удалось уговорить отчаянного капитана.

— Порядок, — шепнул он мне, — давай, давай, входи.

Дульник потерял ладошки, подбил с двух сторон бескозырку и направился во двор с видом победителя.

Я вошел в кабинет Балабана, щелкнул каблуками, отрапортовал по форме.

Балабан стоял у окна, чуть пригнувшись, и, казалось, глядел во двор, где группа моряков от нечего делать играла в «жука». На самом деле он искоса, но внимательно и как-то насмешливо разглядывал меня.

В комнате, кроме него, находились два флотских командира, но я сразу решил, что майор, стоявший у окна, и есть Балабан. Именно таким представлял я себе отчаянного капитана. Передо мной стоял человек ростом выше ста девяноста сантиметров и весом не менее ста двадцати килограммов. На нем ладно сидел флотский костюм, сшитый у хорошего портного, — вряд ли на его фигуру нашелся бы готовый мундир. На груди его я увидел ордена Ленина и Красного Знамени, потускневшие от времени и моря. Из-под полы кителя свисал пистолет в морской кобуре из плотной черной кожи.

— Документ, Лагунов, — раздался неожиданно тонкий голос Балабана.

Я шагнул вперед, протянул майору бумагу.

Балабач быстро взял ее, развернул. В его огромных руках, с такими толстыми пальцами, что, казалось, их невозможно сжать в кулак, моя бумажка показалась лепестком мимозы. Балабан помахал документом в воздухе, вернул мне, не читая.

— Сколько имеете прыжков, Лагунов?

— Одиннадцать, товарищ майор, — без запинки ответил я.

— А может быть, какой-нибудь пропустили, Лагунов? Может быть, двенадцать или тринадцать?

— Нет, одиннадцать, товарищ майор.

Балабан отошел от окна, прошелся по комнате. Половицы скрипели под его энергичными шагами. Он что-то сказал капитан-лейтенанту, сидевшему у стола. Тот наклонился к столу, записал. Когда он писал, на его новеньком нарукавном галуне мелькнули зайчики.

Теперь Балабан стоял передо мной. Я видел его насмешливые глаза, крупное, будто вырубленное из кряжевого дуба, лицо. Такой же крупный нос, выдающийся подбородок, большие мясистые губы, вероятно, безобразные в другом сочетании, здесь производили впечатление гармонии. Таким, таким должен быть отчаянный капитан, умеющий захватывать фелюги, рубить под корень мачты, орать в штормовые ураганы и крепко, как медный памятник, стоять на палубе своего судна.

— Похвально, Лагунов, что ты, как патриот, решил помочь осажденной Одессе, — сказал Балабан и сделал паузу.

Душа моя возликовала. Победа одержана. Я поступаю под начало к отчаянному капитану. Затаив дыхание, я сто-

ял перед ним, не спуская с него глаз, в которых, вероятно, сейчас горело счастье.

Балабан выудил из кармана малютку-трубочку, повертел ее в своих лапищах. Опять выдержал паузу.

— Давно ты дружишь с этим жуликом? — неожиданно спросил Балабан.

— Каким жуликом, товарищ майор?.. — Я запнулся.

— А вот с этим жуликом, который хвастался передо мной на этом самом месте?

— Дульником?

— Не Дульником, а жуликом. — Балабан приподнял брови, улыбнулся всем ртом. — Сколько ты сделал прыжков? А?

Слова не сходили с моего языка. Я молчал, подавленный его пронзительностью.

— Как же вы решили обмануть старшего командира, Лагунов?

— Я сделал одиннадцать парашютных прыжков, товарищ майор, — пролепетал я, чувствуя, что проваливаюсь в бездну.

— С печки на лавку? — спросил Балабан, подавив смех, играющий на его лице.

Я молчал.

— У тебя есть совесть, Лагунов, — сказал Балабан, — а Дульник, твой приятель, кажется, потерял ее по дороге к Херсонесу. Жулик он, жулик!

— Наш обман был продиктован самыми хорошими намерениями. — В моем голосе что-то дрогнуло.

Ноги уже окончательно не подчинялись мне, в глазах помутилось. Майор представлялся мне какой-то огромной, расплывчатой и колеблющейся массой. Я так сжал кулаки, что ногти вонзились в ладони, и пришел в себя.

Балабан понял мое душевное состояние.

— Ничего, Лагунов, — сказал он дружелюбно, — будем знакомы. — Он протянул мне свою лапищу с растопыренными пальцами.

— Иди, Лагунов, — Балабан изучал меня от пяток до макушки, — пока наш альянс не состоялся. Пойми, у нас нет времени сейчас подготавливать вас. Нам нужен готовый товар, понял? А в дальнейшем, милости прошу, не забывай майора Балабана.

Я вышел в каком-то тумане. Дульник поджидал меня у выхода.

— Ты рассказал ему про «Капитанскую дочку»? — любопытствовал Дульник. — Про «Мусульманку»?

Я не отвечал ему. Мы шли по двору, миновали часового, поднялись в гору. Свежий бриз овеял мое лицо. Ворота и стены древнего Херсонеса стояли, залитые ослепляющим солнцем. Море искрилось и переливалось, как бы засыпанное до дна драгоценными камнями. А там, далеко, сражалась Одесса. Сражалась и будет сражаться без меня.

Дульник правильно расценил мое молчание.

— Я вижу, ты не принял, но я?

— Балабан велел мне передать тебе...

— Ну, ну... — перебил Дульник.

— Что ты жулик.

— Все ясно. — Дульник сокрушенно вздохнул, присел на камень. — Ты не сумел до конца держать марку.

— Балабан видит на три сажени в землю. А ты решил его провести. Он всю жизнь имел дело с жуликами, с контрабандистами, с пиратами.

Дульник не мог скрыть своего разочарования.

Его одинаково печалили и несбывшиеся мечты и провал придуманной им хитрости. Мы вернулись в Сарабуз. На аэродроме мы решили ни с кем не делиться нашей неудачей. Эта первая тайна скрепила нашу дружбу.

В Сарабузе меня ждало письмо Анюты.

Благотворную радость и душевное спокойствие приносили мне письма сестры, дышавшие милым и неуловимым, как запах белой акации, девичьим очарованием.

О! Конечно, ей я опишу мою встречу с Балабаном. Она была слишком мала тогда, на Черном море, чтобы помнить об отчаянном капитане. Но сколько раз ей, Виктору Неходе и еще маленькому существу с белокурыми косичками я рассказывал фантастические истории, связанные моим воображением с именем отчаянного капитана.

Я не буду описывать Анюте своего позора. Я придумаю, что написать, призвав на помощь древнюю землю херсонистов — мореплавателей и виноградарей, алмазные волны Черного моря, омывающие Прекрасную гавань, как назывался Севастополь; воспользуюсь повестями Дульника об Одессе и все свяжу с образом Балабана. Пусть почитает Лукиана, его «Правдивые истории» и найдет в античном коне-коршуне, летающем на грифе, прообраз сегод-

няшнего Балабана. Кони-коршуны обязаны были облететь страну и, увидев чужеземцев, отводить их к царю. «Каким образом проложили вы дорогу, чужеземец, и явились сюда?»

«...Осиротел наш дом, Сережа, — писала Аня. — Нет тебя, нет Илюши, нет Коли. Мама крепится, но поддалась горю. Она тщательно следит, чтобы никто не трогал ваши постели, которые застланы так же, как в день вашего отъезда. Никто не прикасается к вашим вещам. Мама разрешила мне пользоваться твоими книгами, так как я уже подросла. Каждое утро мама рассказывает нам свои сны. Они у нее очень логичны. Мне же всегда снится какой-то сумбур. Вчера, например, мне снилось, что у нас дом из множества комнат, везде стеклянные двери, нет замков и тысячи воров врываются в нашу квартиру. Я вижу их, пытаюсь кричать, а голоса нет. Горло схватило спазмами. А воры комкают ваши постели, заворачиваются в ваши одеяла и проходят сквозь стеклянные двери. Я не могу вырвать из горла ни одного крика. И вот гляжу, надо мной наклонилась мама, теребит меня: «Аня, Аня, ты кричишь во сне. Страшно!» Я не стала рассказывать маме, что я видела во сне. Она придает большое значение снам. И трудно ее разубедить в подобных предрассудках. Не надо ее расстраивать. Советую почаще писать о себе. Ты не можешь представить, сколько радости доставляют нам твои письма. Илья важничает, скуп на подробности. Неужели он считает, что, поделвшись своими мыслями о нас, он раскроет военную тайну? А может быть, ему просто некогда, и я напрасно на него нападаю?»

Отец все время в поле. Урожай небывалый. Приходится всем нам заниматься уборкой. Пшеница курганами по всем токам. Над полями иногда пролетают немецкие самолеты. По-моему, разведчики. Идут на большой высоте, не бомбят и не стреляют. Видна ли им наша пшеница?

Виктор ушел в армию. Его мать частенько приходит к нам. Долго разговаривают две матери. Воюешь ли ты уже? Или попрежнему «хозяин» самолета? Фанаторийка пересыхает, но возле скалы Спасения попрежнему отличные купанья. Я научилась прыгать в воду с той самой вербы, с какой прыгал ты. Поздравь свою Анюту...»

## ПАРАШЮТИСТЫ

Если бы я мог писать Аняте, не считаясь с мнением военной цензуры, я бы писал так:

«Милая сестра!

Во мне все поет и ликует. Я вторично попал к Балабану, и он принял меня как старого знакомого. Наша встреча состоялась теперь не на Херсонесе, а на Каче. Вместе со мной был Дульник, мой добрый приятель-одедсит, с ним легче на войне.

Капитан-лейтенант, помощник Балабана, вызвал нас по списку, тому самому списку, что был составлен на Херсонесе. В списке были обозначены все те рослые ребята, которые хотели попасть к Балабану в первый набор. Мы встретились теперь не как конкуренты, а как добрые знакомые, с коими придется разделить не один боевой день и разломать пополам не один сухарь.

Сто человек было отобрано в парашютно-десантные части. Мы с Дульником попали в эту сотню. Ты посмотрела бы, что за молодцы, один к одному, эта сотня, отобранная отчаянным капитаном. Мне думается, он из-за своего высокого роста всех рослых ребят подбирает. Пожалуй, только один Дульник отличается от членов нашей парашютной сотни.

Когда мы выстроились на аэродроме в Каче и подошел Балабан, была подана команда «смирно».

Балабан оглядел всех, пройдя перед строем, скомандовал «вольно», улыбнулся и сказал вслух с большим удовлетворением:

— Дикая дивизия!

Завтра нас вывозят для парашютных прыжков. Время не ждет. Противник форсировал Днепр у Херсона и подошел к Перекопу. Нам сказали, что в авангарде идет 29-й горно-стрелковый корпус и танковый корпус «Великая Германия». Это отборные войска Гитлера. Танкисты «Великой Германии» используются для его личной охраны...»

Я говорю о письме, не посланном Аняте. Может быть, его просто некогда было писать. Противник оказался гораздо сильнее, чем мы, многие, предполагали. Армия отходила в глубь страны. Проводился глубокий завлекаю-

ший маневр, который был по плечу только сильному духом народу.

Бронетанковые и механизированные войска противника разливались по полуострову. Глубоких рек, пригодных для оборонительных рубежей, в Крыму нет. Горный кряж окантовывает только южное побережье и северными своими отрогами обрамляет Севастополь. В остальном полуостров — равнина.

В учебном классе перед нами были раскрыты эти особенности полуострова на макете.

Общей тактикой занимались с нами другие командиры. Балабан же проходил с нами исключительно тактику действий парашютных войск.

Сегодня был урок майора.

— Парашютно-десантные войска обычно используются при активных наступательных действиях, — говорил нам Балабан, расхаживая по классу, — или для диверсионных дерзких операций в тылу противника при устойчивой обороне. Парашютно-диверсионное дело чрезвычайно интересное, как я уже сказал, дерзкое, где и группе и каждому индивидуально предоставляется большая свобода действий. В наших войсках, особенно, найдется возможность испытать качества советского человека и применить его храбрость, отвагу, незнание страха в борьбе, инициативу, сметку. У нас боец не может быть нытиком, или трусом, или паникером, поддающимся на разные провокации. Вы должны воспитывать самые стойкие и боевые черты своего характера. Много значит и физическое развитие. Придется иногда вступать и в единоборство с врагом, умело используя холодное оружие, не производящее шума. Я говорю о кинжале, верном спутнике парашютиста-диверсанта. — Балабан вытащил кинжал. — Кроме парашютных прыжков, вы должны знать тактику ведения боя, а именно борьбу. Обращу ваше внимание на джиу-джитсу, бой невооруженного с вооруженным, владение кинжалом. Товарищ Дульник, как вы будете действовать своим кинжалом, если это понадобится из тактических соображений вашего боевого задания?

— Я буду бить врага прямо, — не задумываясь, выпалил Дульник.

— Куда прямо, Дульник?

— В грудь, товарищ майор.

— Грудь человека — крепкая штука, Дульник, — ска-

зал Балабан, посмеиваясь, — грудь напоминает природно сделанный щит.

— Я буду стараться бить его в сердце, — не сдавался Дульник.

— А он прикроет свое сердце рукой, поставленной вот в такое положение, — Балабан сделал быстрое движение левой рукой, вынеся локоть согнутой руки на уровень брюшных мышц.

Дульник внимательно наблюдал за ловкими движениями майора.

Ему представлялось непостижимым, как он справится своими короткими руками с этим колоссом. Дульник смущенно молчал.

Балабан приказал принести манекен, одетый в форму немецкого парашютиста. У чучела, набитого ватой, были руки, и оно вращалось на коренном винте.

— Надо целиться между ключицей, — сверху, — продолжал Балабан и ткнул туда своим огромным пальцем. — Вот так! — Балабан бросился к манекену и нанес два молниеносных удара кинжалом как раз в те места, куда только что указывал его палец. Из прорезанной материи вылезла вата.

— Если враг поднял левую руку, можно бить в сердце. — Балабан подозвал Дульника, приказал: — Подними-ка чучело левую руку. Подними и моментально брось.

Балабан бросился на пол и пополз, зажав в зубах кинжал. Мгновенно потерялось ощущение массивности его фигуры. Он пристально смотрел на чучело. Дульник следил за каждым движением командира. Вот Балабан моргнул, Дульник поднял левую руку манекена и отпрянул назад. Балабан прыгнул, взмахнул кинжалом, и рука чучела упала вниз. Кинжал майора торчал в области сердца.

— На этого мужчину уже фюрер не может рассчитывать, — сказал Балабан, отряхиваясь от пыли. — Прошу осмотреть прием, товарищи курсанты.

Мы подходили по одному к манекену, щупали кинжал, отходили. Удар был нанесен с математической точностью.

— Можно бить сзади — под лопатку, точно под лопатку, — продолжал Балабан, — можно бить и в грудь, Дульник. Только целить между ребер, а поэтому советую изучать анатомию. В живот попадешь, тоже не помешает. Только всегда учитывай пояс: лучше целить ниже. — Майор притворно вздохнул: — Если бы ваши мамы узнали, чему



вас учит майор Балабан, они бы никогда не пригласили меня на пирог. Война — дело кровавое, товарищи. Кончится все, отпустим вас по домам,— тогда забудьте все, чему сегодня учил вас майор Балабан. Прошу, Лагунов, к чучелу. Вынимайте свой ножичек... Э, что же вы его так оскоблили. Маскировочная краска, которой сверху потравлен ваш кинжал, безусловно для врага не гигиенична, но она делает кинжал незаметным. Я лично считаю, что блеск кинжала в старинных романах является упущением. Ваш партнер никогда не должен знать, какими именно средствами вы пользуетесь, отправляя его на тот свет. Кинжалы приказываю наточить, а потом потравить специальной краской, которую попросите у своего старшины. Итак, представьте, Лагунов, что этот мужчина очень ловок, знаком кое с какими приемами, изложенными вам выше; вам следует его в хитрости превзойти. — Балабан показывал на чучеле приемы рукопашного боя. — Бросайтесь на него! В таком положении можно допускать шестой прием джиу-джитсу. Не так! Не так! Теперь он увлекся, поднял автомат, его сердце свободно. Прыжок! Отлично!

Мой кинжал торчал в том же месте, откуда незадолго перед этим Балабан вытащил свой. Я тяжело дышал. Майор заметил и это. Он вынул из бокового кармана золотые часы, взял мою руку, подсчитал пульс.

— Ваша энергия пригодится на более полезную работу, Лагунов, — сказал Балабан. — Если вы так будете себя расходовать, вы испортите себе сердце. Так нельзя. Я думаю, война может затянуться, и советую вам расходовать свою энергию равномерно. Идите на место, Лагунов. Вы не краснейте. — Он указал на чучело. — Тетя вашего партнера может спокойно заказывать заупокойную мессу. Стало быть, товарищи, мы бегло познакомились с холодным оружием. Завтра мы познакомимся с огнестрельным оружием — автоматом, пистолетом. Нам предстоит еще изучить подрывное дело, тактику ведения боя после групповой сброски и многое другое.

После обеда продолжали рыть щели. Аэродром немцы уже бомбили. Земля плохо поддавалась лопате, казалась прессованной. Чернозем перемежался с мелкими камешками, и копать было очень трудно. Кто-то назвал эту землю «грельяж», за сходство по своему строению с известным сортом конфет. Рыть щели и траншеи называлось теперь «есть грельяж».

Солнце палило немилосердно. Таяли легкие облачка. Даже море не приносило прохлады. Мы шутили: эта погода заказана неприятелем для действий авиации.

Под руководством старшин мы рыли зигзагообразные щели. Аэродром постепенно пустел. Как обычно водится, вначале тронулась на колесах «земля», то есть наземное хозяйство. Уходили морем: проскочить сушей на Керчь было уже трудно.

Улетали самолеты. На аэродроме оставались истребители. Они должны были прикрывать эвакуацию, а затем перелететь на херсонесские аэродромы.

К вечеру страшно ныли кости. Ладони от работы покрывались волдырями. Досаждала липкая, мелкая мошкара, обычно с заходом солнца начинавшая массовые атаки.

Ночью долго не могли заснуть. Стреляли зенитки Севастополя. Небо по горизонту освещалось отдаленными зарницами. Раскаты орудийного грома создавали тревожное настроение.

Мы говорили о Балабане, о сегодняшнем уроке, о «пирогe». Каждая из наших матерей в страхе зажмурилась бы, увидев, как ее сын бросается с кинжалом в руке, чтобы поразить человека в сердце. Колыбельные песни их были полны ласки и нежности. И все же учитель Балабан, сменивший наших добрых преподавателей мирных наук, мог рассчитывать, что мы сумеем постоять за себя. Это знали и наши матери. Они будут рады, если в дом придет майор Балабан и на столе действительно появится пирог. Вряд ли наш грузный майор думал в ту ночь, что его первый урок вызовет столько разговоров.

Потом с пылом восприимчивой юности мы стали обсуждать детективные романы, о которых упомянул Балабан. Кто-то признался, что однажды прочел, не отрываясь, разбухшую, как опилки в воде, серию «Пещеры Лейхтвейса». Конечно, заговорили о графе Монтекресто, о сыщиках Ник Картере и Нат Пинкертоне, читанных украдкой от старших.

Большинство моих новых товарищей имели среднее образование, многие пришли на флот из высших учебных заведений. В специальные части отбирались крепкие, здоровые, грамотные люди.

В полночь налетели бомбардировщики. Поднятые по тревоге, мы спрятались в щели. Ожидали немецких парашютистов. Наши прожекторы торопливо скользили по не-

бу. Для борьбы с парашютистами предназначались мы. У нас еще не было обещанных автоматов. Кроме кинжалов, у нас были три пулемета «максима» и трехлинейные винтовки; некоторые из них требовали починки.

Освещенный прожектором, ринулся вниз пикировщик. Воздух прорезал свист бомб. Сильно трянуло землю. За первым пикировщиком — второй, потом третий. Прожекторы, вероятно, ослепляли пилотов: бомбы не попадали в цель. Безумолчно трещали крупнокалиберные пулеметы, а когда пикирующие самолеты опускались ниже, вступали счетверенные пулеметы мелких калибров.

Наконец бомбардировщики ушли. Их провожали зенитки. Пролетели цветные снаряды зенитных автоматов, погасли в воздухе, и наступила темнота. По аэродрому растопался дымок, пахло пылью и гарью. Под ногами звенели пустые гильзы, будто их сгребали железной лопатой. Меня немного пошатывало, болел затылок. Светящиеся точки электрических «карманок» вспыхивали и гасли, как светлячки. При помощи этих фонариков патрульные собирали сброшенные листовки.

— Еще будем есть пирог с начинкой, — сказал я Дулькину.

— Пронесло, — ответил он.

— Пошли в душ!

В душевой уже плескались ребята. Загорелые, мускулистые торсы обливала светящаяся пузырчатая вода. Под каждым рожком толпилось по несколько человек.

Ребята нервно пересмеивались, делились впечатлениями. Никто не признавался, что было страшно, но никто и не бахвалился. Мы уже понимали, что к войне надо относиться серьезно.

По мокрым деревянным решеткам, прикрывшим бетонный пол, шлепали босые ноги. В слабом свете электрической лампы, затуманенной испарениями, поблескивали намыленные тела.

Саша Реутов, подражая Яхонтову, которого мы слушали по радио, читал «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру». В Крыму после бомбежки, под горячим душем мы слушали Маяковского! Никогда не мог предположить поэт, что его стихотворение о мирных, будничных днях будет так уместно в военных условиях. Оно заставляло сильнее ненавидеть врага.

Саша Реутов, бледноватый, с немного раскосыми глазами моряк, был прислан к Балабану по рекомендации комсомольского бюро тяжелого крейсера «Молотов».

Мне удалось познакомиться с Сашей только на Каче, в первый день после моего зачисления в группу.

— Балабан — это сокол, — сказал тогда Саша.

— Медведь, а не сокол, — пошутил я.

— Я рассматриваю человека не только с фаса, — отшутился Саша, — внутреннее оборудование обычно стоит гораздо дороже.

Я спросил Сашу, почему он говорит о человеке, как о здании.

— Я готовил себя к другой профессии, — сказал он, — хотел быть архитектором. А теперь придется летать под шелковым зонтиком. Отсюда виден Севастополь. Ты знаешь, что сделали с ним англичане в 1854 году, а? Они убили у нас Нахимова, Корнилова, Истомина, десятки тысяч хороших русских людей — солдат и матросов. Вот и теперь Черчилль выступил по радио — будем поддерживать Советскую Россию, а где их поддержка? Англия сама на Севастополь зарится, — это мое убеждение. Севастополь мне дорог 1854 годом. И теперь мы всем покажем, что такое Севастополь. Я просил послать меня в Черноморский флот, потому что здесь Севастополь... У меня от одного имени — Севастополь — ползут мурашки по спине!

Дульник уверял, что Саша вяловат, слишком мечтателен и не способен на героические дела.

— Поглядим в деле, увидишь, что я прав, — говорил он. — Читать Маяковского — одно, а бить кинжалом в ключицу — другое.

По-моему, Дульник чувствовал к Саше неприязнь просто от дружеской ревности.

#### *Глава четвертая*

### НАВСТРЕЧУ ВРАГУ

В двенадцать часов дня проиграли боевую тревогу. Мы быстро построились. Ждали Балабана. Вынесли ящики с гранатами, коробки запалов: нам было приказано запастись «карманной артиллерией».

Такие приготовления не входили в цикл наших повседневных занятий. Сегодня намечались учебные парашютные прыжки с «ТБ-3». Зачем же гранаты?

— Кажется, запахло жареным, Лагунов, — сказал Дульник.

Лица у многих побледнели. Кое у кого выступили мелкие росинки пота.

— Взять бушлаты, саперные лопатки и «эн-зе», — приказал старшина Василий Лиходеев, черноморец, кадровый моряк, участник одесской операции.

Сомнения окончательно рассеялись — идем на фронт. К нам пристроились вооруженные винтовками несколько десятков человек из состава аэродромной службы. Им придали станковый пулемет, блестящий от свежей краски, и два ручных — системы Дегтярева. У наземников сохранился присущий младшему техсоставу полугражданский вид. Их руки и брезентовые робы были в машинном масле. Они смущенно переглядывались, недоуменно пересмеивались.

— Их смущает новое ампула, — сказал Дульник. — Они нацелились на Кавказ, на новые базы, а их — чорту в лапы.

— Неужели нас спаруют с ними? — спросил один из наших.

— Для контраста, — сказал Саша.

Лицо Саши попрежнему было бледно, но он держался спокойно и несколько скептически. Казалось, он смотрел на все как бы со стороны. И все же у меня было впечатление, что он раньше многих из нас был подготовлен к этим событиям. Он не будет крикливо выделяться, позировать, свои обязанности выполнит разумно и не хуже других. Свое маленькое дело он сделает хорошо.

Вышел Балабан. Я заметил, что он волнуется. Майор передал приказ о немедленном выступлении в район Бахчисарая.

— Я пожелаю вам успеха, — сказал Балабан, — и... до встречи.

Мы поняли: Балабана с нами не будет. Мы поступили в подчинение армейского начальства.

Прощай, Кача! Прощайте, голубые мечты, как называли мы свою будущую профессию. Из-под колес грузовиков летела галька, поднималась пыль. Ехали молча. Каждый думал о своем.

На Севастопольском шоссе наша колонна влилась в общий поток машин, орудий, бензозаправщиков, конных обозов. Густая едкая пыль держалась, как дым. Над шоссе на низких высотах патрулировали «петляковы». Последний раз я увидел залив Северной бухты, мачты и трубы военных кораблей, портовые краны, хоботы землечерпалок и море, ничем не отделенное от одноцветного с ним неба.

Я с грустью провожал глазами Севастополь, разбросанный, на посторонний взгляд, вероятно, неприветливый, каким он виден с Мекензиевых гор.

Я закрываю глаза и вижу поднимающуюся над Корабельной стороной шапку Малахова кургана, высоты Исторического бульвара, круглое античное здание Панорамы, каменные форты у входа в бухту, будто наполовину утопленные в воде. И образ Севастополя не оставляет меня, даже когда по обоим бокам бегут рыжие склоны Мекензии. Это охранные сопки, обветренные и загадочные, униженные скупыми кустами, которые кажутся маскировочной сетью, прикрывшей грозные форты крепости.

А вот и Дуванкой — унылое село, спрятавшееся в ложине среди низких ущелистых гор. Пожалуй, ни одного дома в этом татарском селе не увидишь из дерева, ни одного забора. Все камень, хороший камень, не нуждающийся в облицовке, а при кладке — и в цементе. Кажется, что это один из восточных фортов крепости, замаскированный под село, настолько странными кажутся мне люди, решившие поселиться и провести жизнь в этом безотрадном ущелье прямо у шоссе, на ходу и на виду прохожих и проезжих.

В Дуванкое находился внешний контрольно-пропускной пункт севастопольской зоны. Машины к фронту пропускали свободней, но идущие в город подвергали тщательной проверке.

Все вокруг было затоплено войсками, обозами. Кое-где на домах висели флаги Красного креста. Возле них сгружали раненых. Я видел забинтованные руки, перевязанные головы, землистые, запыленные, давно не бритые лица солдат. Медицинские сестры, девушки в зеленых гимнастерках, подпоясанные ремнями, иногда и с пистолетами у бедра, переносили раненых, отгоняли мух.

Прямо возле дороги, у фонтана, на котором была высечена фамилия строителя и изречение из корана, санитар песком начищал кастрюли. Его руки были в копоты, пи-

лотка торчала из кармана. Щуплый человечек с интендантскими петлицами раздавал из мешка табак. В руках интенданта была ученическая тетрадка, сложенная пополам, и цветной карандаш. Табак раздавался без веса, горстями. Многие просили подбавить, и интендант, занятый отметками в тетрадке, махал рукой, как бы разрешая. Тогда солдат со скаткой через плечо и с винтовкой в руке запускал пальцы в мешок. Его называли по фамилии, кричали: «И меня не забудь!» Интендант, заметив чрезмерное усердие, бросался к мешку, пытаясь отделить что-либо из горсти. Общий хохот сопровождал его действия. Солдат спрыгивал на землю, к нему тянулись десятки рук.

На горах, поднимавшихся над Дуванкоем, торчали стволы замаскированных зенитных орудий. У грузовика военторга толпились солдаты и офицеры. Покупали мыло, целлулоидные воротнички, крем для бритья, английские булавки, кисеты из дешевой ткани. Так же, как в любом мирном городе, приценились, щупали товар, обсуждали, платили деньги, которые продавец — чубатый, веселый парень — складывал кучкой на картонке.

Проехал генерал на открытом «личкольне», на котором еще сохранился флажок «Интуриста». «Линкольн» похозяйски покричал. Часовые контрольного пункта козырнули генералу. В задке машины сидел раненый полковник, закрыв лицо руками. Его голова была плотно забинтована. На груди было несколько боевых орденов. Молоденький лейтенант всячески ухаживал за полковником. Между коленями у юноши была зажата бутылка с боржомом, рядом лежал граненый стакан. За ремнями тента машины торчали пачки газет «Красный Крым».

Через Дуванкой шли войска к фронту. Я замечал бушлаты и бескозырки. Севастополь посылал морскую пехоту. Запыленные, увешанные гранатами, проходили моряки. Короткий привал у колодцев, и колонны выходили на изгиб шоссе и скрывались между обсыпанными пылью деревьями и каменными домами.

Никто не приветствовал войска, идущие к линии боя. Татары безмолвно и угрюмо следили за ними. Но это не было проявлением восточной сдержанности. Во взглядах, которые они бросали в нашу сторону, чувствовались недружелюбие и плохо скрытая радость. Некоторые женщины были одеты в бешметы с длинными и узкими рукавами, в платки, повязанные у пояса, и в широкие цветные

шаровары, стянутые у самой ступни. Татарки почему-то были одеты празднично и в татарские костюмы, будто стараясь отделить себя от русских женщин, вынужденных задержаться в Дуванкое, лежавшем на пути эвакуации.

Война предстала передо мной как тяжелая, каждодневная работа-ляпка: кровь, мухи, пыль, грубые шоферские окрики. И полководцы должны были эти будни, усталость, раны, недоедание и недосыпание обратить в победу.

За Дуванкоем мы слезли с грузовиков и двинулись походным маршем. Машины были отданы беженцам.

— Как дела, архитектор? — спросил я Сашу, шагавшего рядом со мною.

— Каждый воин тоже архитектор: он должен правильно построить войну.

— И завершить ее победой?

— Высокое здание начали строить, — сказал Саша. — до крыши далеко.

— Кончились шелковые зонтики, — сказал Дульник.

— Думал парить в поднебесье, а опустился на землю. — Саша с доброжелательной улыбкой поглядел на маленького Дульника. — Хотел оторваться от пыли, от земли.

— Я никогда не был похож на Антея, Саша.

— Не сомневаюсь.

— Меня интересует одно: получим ли мы обещанные автоматы? — сказал Саша.

— Мечтаешь об автомате? — спросил я.

— И о маленькой пушечке, — сказал Дульник.

— Тебе самый раз дотянуть гранаты.

— Гранаты — оружие ближнего боя, — философствовал Дульник. — Чтобы разгрузить свой магазинчик, надо еще иметь близко возле себя покупателя. А пойдя доберись до него!

Наконец мы дошли к указанному пункту. Это было где-то в долине реки Качи. Высокие пирамидальные тополя, видевшие, вероятно, еще екатерининский поезд, стояли у дороги.

В яблоневом саду расположилась армейская пехота. Деревья были аккуратно окопаны, на стволах подвязаны соломенные жгуты для предохранения от вредителей. Листья уже осыпали землю. Кое-где на макушках яблонь сохранились плоды.



Недавно сад бомбили. Виднелось несколько свежих воронок, как след от гигантского сверла. Сшибленные яблоневые кроны еще не завяли, из расщепленного ствола сочился сок.

Красноармейцы спали на земле, подложив под головы скатки, осыпанные известковой пылью.

Канонада стала слабее. Где-то впереди шла артиллерийская перестрелка. Нам сказали — у Бахчисарая. От солдат мы узнали, что в направлении Керчи отходит с боями 51-я армия генерала Крейзера, а где-то вблизи сражается Приморская армия генерала Петрова, известного нам по обстреле Одессы. Бойцы точно не знали, где действует Крейзер, где Петров и кто куда отходит. Батальон, расположившийся в саду, до этого квартировал в долине Бельбека и был предназначен для борьбы с воздушными десантами.

Солдаты рассказали нам, что у них тоже есть пулеметы, но нет минометов и бутылок с зажигательной жидкостью. Бойцы были обучены обращению с обычными пивными бутылками, наполненными бензином. Этой несложной премудрости они обучили и нас чрезвычайно быстро.

Бутылка, налитая доверху бензином, закрывалась паковой пробкой. Пакля быстро, как обычный фитиль, пропитывалась бензином. При приближении танка на расстояние броска надо было поджечь спичкой паклевую пробку и сейчас же бросить бутылку на танк. Бутылка разбивалась, бензин загорался, пламя охватывало вначале наружную обшивку, а потом через щели проникало внутрь. Команда танка либо погибала от взрыва находившихся в танке боеприпасов, либо из винтовок уничтожалась нашими солдатами, когда экипаж оставлял танк.

Солдаты обучились тактике борьбы с воздушными десантами, устраивали препятствия в местах, удобных для приземления транспортных самолетов: насыпи из земли, завалы из деревьев, колья. Пришлось, пришлось потрудиться этим солдатским рукам!

Бойцы, узнав, что мы готовились быть парашютистами, с состраданием оглядывали нас.

— Охотиться за вами будут, как за волками, — говорил скуластый боец, по фамилии Тиунов. — Против вашего брата, парашютистов, мотоциклы, самокаты, бронемашины, собаки. У вас что? Только личное оружие, азарт и свои ноги. Весь автотранспорт на ночь заводится в укрытия, под охрану, бензин из баков сливается, а бывает — сни-

мают и прячут колеса. Ну, каково? Что старается проделывать немецкий парашютист в первую очередь? Создать панику. Как? Находит телефон, начинает: «Симферополь взят! Бахчисарай взят! Керчь горит! Севастополь тоже». По телефону можно ужасную панику развести. Поэтому учили нас перехитрить любого. Нашим батальоном командует капитан Лелюков. Въедлив на всякие выдумки. Вот уж въедлив! На учениях столько вводных дает, ног лишишься. И всегда будь на-чеку, как суворовский штык. Стою я раз на посту, возле меня, конечно, аппарат. Слышу, пищит зуммер. Я снял трубку, слушаю. «Немедленно в штаб». Исполняю приказ: сломя голову — в штаб. Встречает на крыльце капитан: «Кто тебя вызывал?» Рублю в ответ по слогам: «Явился по вашему вызову, товарищ капитан!» — «Не снимал я тебя с поста и не имею на то права», — говорит капитан Лелюков. «Тогда кто-то другой из штаба, фамилия, помню, на «ов» оканчивается. Мне показалось, вызываете, вы, товарищ капитан». А он отвечает: «Трое суток ареста за самовольный уход с поста, за «ов» и за то, чтобы больше ничего не казалось. А при повторе — трибунал». Ведь оплошал-то я от переусердства. На «губе» уже продумал вину, учили же: подозрительные вызовы обязательно надо проверить...

— Как? — спросил Дульник.

— Обратным вызовом, — ответил солдат. — Не поленись, скажи «слушаю», а сам перезвони. Ведь Лелюков-то лично не вызывал, подстроил. Звонили-то мне на пост не из штаба, а из второй роты. А все капитан. Проверьте, мол, Тиунова, какая у него стойкость и внимание к урокам.

Строгая пожилая колхозница в чистеньком ситцевом платье принесла ивовую корзину яблок. Она опустила корзину на траву, сказала:

— Кушайте, ребятки.

Женщина стояла под яблоней, опустив жилистые крестьянские руки, покрытые сильным крымским загаром, и смотрела на нас. А мы с наслаждением ели пахучий крымский шафран с шершавой, как замша, кожей, с твердой и пряной мякотью.

— Я еще принесу, — сказала женщина и пошла по дорожке, протоптанной солдатскими сапогами, к постройкам, где расположились полевые кухни.

— Мы в этом колхозе, видать, за два дня уже тонны три яблок съели, — сказал Тиунов, раскусывая яблоко и

разглядывая сердцевину с черными зернышками, — и все вот так, корзинка за корзинкой. И все она, своими руками носит. Никто из нас даже во сне самовольно к яблоне не потянулся.

И вот подошел сам Лелюков, наш новый командир. Мы встали. Лелюков поздоровался с нами. Мы ответили. Капитан скомандовал «вольно» и как-то исподлобья, быковатым взглядом осмотрел всех нас. Казалось, из-под взгляда этих серых, навывате глаз, насмешливых и недоверчивых, не ускользнули даже те из наших товарищей, которые не успели надеть башмаки и стояли позади, стараясь спрятать босые ноги.

Передо мной стоял тот самый Стенька Лелюков, которого я видел последний раз на черноморском рыбацьем взморье. Лелюкову тогда было примерно двадцать пять лет, сейчас — лет тридцать семь. Он постарел: исчезла юношеская округлость щек, кожа загрубела, на лоб легли морщины, взгляд стал строже, злее, подозрительнее.

Видимо, Лелюков служил в армии еще до войны, раз он имел звание капитана и ему доверили командование батальоном. Обмундирование его было обношено и пригнуто, как у всякого кадрового командира. Пистолет в обтертой кобуре, планшет с захватанными кнопками у целлулоида, выцветшие петлицы и нарукавный галун подтверждали мои предположения.

Лелюков пытливо рассматривал нас, и в его взгляде можно было прочесть: «Хороши вы, ребятки, морячки. А как послушны? Не подумайте, что вот, если перед вами армейский капитан, так я вам позволю задираться. У меня руки крепкие, и я тоже не дурак в морском ремесле...»

Лелюков обратил внимание на Сашу: почему-то с первого взгляда, несмотря на свое отличное телосложение и приличный рост, он не производил впечатления военного человека.

— Ваша винтовка?

— Есть моя винтовка, товарищ капитан, — бойко отпартовал Саша.

Лелюков принял из рук Саши его трехлинейку, отжал затвор, вынул его, посмотрел глазом в ствол. Винтовки были выданы нам недавно из мобилизационных складов, и внутренность стволов не отличалась требуемой в армии безукоризненной чистотой.

— Винтовка пристреляна?

— Не знаю, товарищ капитан.

— А кто знает?

— Винтовки выданы нам без стрелковых карточек, товарищ капитан.

— Учебно-боевые стрельбы проводили?

— Нет, товарищ капитан. Мы готовились получать автоматы.

— Вы слишком много придаете значения автоматам,— сказал Лелюков.— Автоматы ведут огонь с ближних дистанций и ведут, как правило, бесприцельный, рассеивающий огонь. Русская трехлинейная винтовка не уступит любому автомату.

Лелюков обратился ко мне:

— Вы умеете обращаться с этой машинкой?— Его палец указал на станковый пулемет, прикорнувший у ствола яблони.

— Теоретически, товарищ капитан.

— Только?— Лелюков недобро ухмыльнулся.— Пулемет — сильное практическое оружие для ведения боя.

Женщина принесла яблоки, поставила поодаль корзину и ушла к дому.

Лелюков подошел к пулемету.

— Попробуйте выкатить его сюда,— приказал мне Лелюков,— и отдайте коробку с лентой.

Я выполнил его распоряжение. Лелюков сказал, чтобы мы расширили круг. Солдаты отошли в стороны. Расселись у деревьев. Кое-кто отправился к корзине с яблоками.

Лелюков расстегнул пуговицы гимнастерки, завернул обшлага. Ловкие руки Лелюкова быстро отщелкнули крышку коробки, выхватили оттуда ленту, вставили латунный язычок в приемник, продернули ее. Я уже имел дело с пулеметами, установленными на самолетах, и без особого труда разобрался в несложной системе наземного пулемета. Капитан показал, как пользоваться прицельными приспособлениями, обращаться с вертикалом при вертикальном и горизонтальном обстреле. Пулемет вертелся в его руках, как кинжал в руках Балабана. Капитан объяснил, что пулемет — капризная штука, требует внимания к себе, аккуратности, особенно при набивке лент патронами, — тогда не будет задержек и перекосов.

Лелюков приказал перетаскать пулеметы к реке, высладал бойцов батальона постовыми для оцепления стрельби-

ща, установил мишени. Учебная пулеметная стрельба в долине реки переполошила на шоссе шоферов, им показалось, что немцы зашли с тыла.

Вечером мы поужинали борщом и вареной бараниной, выставили караулы, улеглись спать на сене в сараях колхоза. Орудийная стрельба не умолкала.

— Кажется, передвинулась влево, значительно влево, — сказал Дульник.

— Это только кажется, — возразил я. — Стреляют в тех же местах, где и раньше.

Ребята спали тревожно, некоторые бредили. Ночью сменялись часовые. Дульник ушел на пост, возле меня лег Саша.

— Вы не спите, Лагунов? — спросил он.

— Как видишь, — ответил я. — Кстати, Саша, не называй меня на «вы». Это звучит странно.

— Хорошо, — согласился Саша, — не буду. У вас есть водичка?

— Опять у «вас», — укорил я.

— Не буду, не буду, — Саша беззвучно рассмеялся, выпил воды, отдал мне фляжку. — Конечно, смешно, когда человек спит с тобой на соломе, в сарае, вместе воюет и говорит на «вы».

### Глава пятая

## КАРАШАЙСКАЯ ДОЛИНА

Не знаю, сколько времени продолжался мой сон. Меня разбудил Саша толчком в бок. Он стоял на коленях и обвешивался гранатами. Во дворе еще было темно. В раскрытые двери сарая проникала прохлада октябрьской ночи. Во дворе строились люди, подкатывали пулеметы. Как и обычно, построение сопровождалось незлобной перебранкой, стуком котелков и саперных лопаток.

Во дворе было прохладно. Выпала роса, и земля прилипала к подошвам.

Я увидел Лелюкова. Он был в кожаной куртке, подпоясан тем же командирским ремнем. На груди висел бинокль.

К нам поставили армейских командиров. Молодые лейтенанты почти перещупали всех нас руками, пересчитали,

поделили. Все было буднично, неинтересно, слишком просто.

Мы тронулись в путь. В пути к нам влились солдаты. Вероятно, Лелюков остался невысокого мнения о наших боевых качествах и решил прослосить нас бывальыми людьми. Мы подчинились приказу, но ворчали. Вызвали в голову колонны парторга и комсорга нашей роты. Лелюков разъяснил, почему в наш состав ввели армейских пехотинцев. Я оказался прав.

Дорога шла перекатами. Мы держались обочины шоссе. Бесконечной вереницей, с потушенными огнями, двигались автомашины и конные обозы. Изредка проплывали верблюды.

Пыль попрежнему удушала. Бушлаты стали серыми. Ребята поседели от пыли.

К рассвету свернули с шоссе, пошли грунтовкой, проложенной в долине. Мы избавились от пыли, но испытывали гнетущее чувство одиночества. Кипящее жизнью шоссе осталось в стороне. Мы были разъединены теперь с людьми, путь которых лежал к Севастополю...

Скрипели подошвы по кремнистой дороге, колыхались винтовки, взятые на ремень. Разъединенные части пулемета — станок, ствол, щиток — несли попеременно на плечах.

— Где мы бредем? — спросил Дульник. — Не люблю играть в жмурки.

— Карашайская долина, — ответил солдат, молчаливо шагавший в ногу с нами.

Это был вчерашний наш знакомый, рассказчик.

— Карашайская долина? — переспросил Дульник и потянул своим острым носиком. — А с чем ее едят?

— С постным маслом, — ответил солдат.

— С растительным, — поправил Дульник. — Моряки постов-то не соблюдают. Не то что пехота.

— А мы тоже не против баранины, — сказал солдат.

— Что же впереди?

— Видать, бой, — ответил солдат. — Бой. Утрами зря не будят, морячок. А вон и окопы.

Мы поднялись на плоскую высотку, протянувшуюся по западной окраине долины. За высоткой лежала вторая, отделенная от первой неглубокой лощинкой с пролысинами, оставшимися от дождевых луж. Стояли прикрытые, засохшими ветвями автомашины. Виднелась 76-миллиметровая пушка в круговом окопчике, а рядом ящики со снарядами.

Артиллеристы поодаль от орудия рыли щели. А на востоке, в стрелковых окопчиках, похожих издали на крендели, виднелись пехотинцы. Сплошной линии траншей, какой мне всегда представлялась передовая, не было. Все внешне выглядело непривлекательно, слишком скромно и опять-таки буднично. Никаких дотов, стальных бункеров, оживленных ходов сообщения.

Сравнительно недалеко были горы. Близко стоял Чатыр-Даг. На склонах темнели леса. Виднелась шоссейная дорога, идущая меж холмов. Дорога была пустынна. Это производило странное впечатление. Потом я услышал звуки разрывов, увидел коричневые облачка, вспыхивающие над холмами и дорогой. Понял: дорога кем-то простреливается. Неужели мы, наконец-то, вступили в настоящую войну?

За холмами, у склонов, обращенных в нашу сторону, жались машины и виднелись люди. Вблизи нас стояла полевая пушка. Очевидно, здесь занимало позиции какое-нибудь подразделение. Какое именно, мы не знали.

Лелюков приказал рассредоточиться, чтобы авиаразведка не навела бомбардировщиков. Мы разошлись по двое-трое и залегли в невысокую траву, сильно тронутую солнцем и осенью. Трава была чистая, и лежать на ней доставляло удовольствие. Я вытянул уставшие от грубых сапог ноги, ослабил пояс, свободно вздохнул. Хотелось помолчать.

Я глядел на плоскую вершину Чатыр-Дага. Казалось, на высокогорных пастбищах кем-то поставлена огромная, длинная палатка, приют горных богатырей. Недаром же в переводе на русский язык Чатыр-Даг — Палат-гора.

— От Перекопа гора видна, — сказал Тиунов. — А чтобы не сбрехать, видна эта гора, пожалуй, уже от самого Херсона. Отходили Днепром, через Алешкинские пески к Перекопу, думали: не Казбек ли? Оказался Чатыр-Даг. Никак до него не дотянем.

— Осталось недалеко дотягивать, — сказал кто-то издалека.

— Вот ее оборонять легко. Туда, небось, ни один танк не дочапает, а? — сказал Тиунов, с восхищением оглядывая горную вершину, обернулся ко мне, спросил: — Приморская-то армия повернула на Севастополь или пойдет на Керчь?

— Я не знаю оперативных планов командования.

— Есть смысл-то Севастополь держать?

— А как же? Севастополь же.

— Я не в том смысле, матрос,— ласково сказал Тиунов.— Как местность-то там? Пригодная? Горы есть, аль при море равнина, как у Каркинитского залива?

— Горы есть, удобные для обороны.

— Лишь бы горы. Хоть бы небольшие, а горы.— Тиунов вытащил из кармана яблоко, потер его о штаны, разломил и половину протянул мне.— Ешь, пока жив.

Я взял яблоко, поблагодарил.

— Деньги-то за него не плачены.— Тиунов острием ножика аккуратно вытащил семечки, оглядел их и с сожалением бросил в траву.— Может, на этом месте яблонька прорастет. Ведь от семечка-то она прорастает. Можно, правда, и гилкой сажать. А семечко тоже возьмет. Как яблоньки-то сажают — под осень аль весной?

— Не знаешь, что ли?— упрекающе сказал черноусый боец, сидевший вполборота, но внимательно прислушавшийся к нашему разговору.

— Не знаю,— просто и весело сказал Тиунов,— я с Коми-Пермяцкого округа. Слышал про такой? У нас есть люди, старики даже, которые в жизнь ни одного яблока не отведали.

— Лесной же край...

— Лесной, а безъяблочный. Древо древу рознь. Из нашей елки бумагу делают, а бумажкой эгой вот такое яблочко заворачивают, а самого-то яблочка не видим. Тут только и удалось попробовать. Вот где яблока — до оскомина...

Лелюков вызвал к себе командиров. Через некоторое время командиры подняли батальон. Мы вышли из лощины и начали занимать крендельки — стрелковые окопы, а солдаты, занимавшие их раньше, ушли левее. Очевидно, командование сгущало войска на передней линии. Дульник сказал, что будет атака. Я разделял его предположение.

Впереди нас лежала лощина, а за ней в двух километрах невысокая возвышенность, желтевшая плешинами осыпей.

Наша передовая линия не имела проволочных заграждений. Линия обороны была организована наспех, подручными средствами. Проволочные заграждения должна была заменять обычная ползучка, раскатанная по траве и кое-где прихваченная железными костылями. Будто случайно оброненные, виднелись спиральные витки колючки.



Говорили, что левее нас, в секторе, прилегающем к шоссе, заложены минные поля.

Из окопа, где мы расположились, можно было стрелять стоя. Солнце и ветер успели подсушить землю бруствера, и он не был очень заметен. К нам прыгнула старшина Лиходеев и, увидев меня, мотнул головой в сторону.

— Лагунов, к пулемету! — Он снял фуражку, вытер пот. — Приметил тебя капитан. На стрельбах.

Старшине, видно, хотелось сказать мне еще что-либо приятное, но было не до разговоров. Лиходеев отряхнул пыль с фуражки и натянул на стриженную «под бокс» голову, потянул под козырек, сдвинул ее чуть набекрень — допустимое по форме щегольство. На козырьке запечатлелись отпечатки пальцев.

— Пойдем со мной, укажу место.

Дульник встревоженно следил за старшиной. Ему не хотелось отставать от меня в такой момент. Дульник глазами просил меня вступить за него, позволить ему быть вместе.

Лиходеев угадал его желание.

— Дульник с нами, — сказал он, — все едино уприсит, рано ли, поздно ли...

Поодиночке мы перебрались из нашего стрелкового окопа в пулеметное гнездо, расположенное в стыке стрелковых ячеек уступом в глубину.

Лагунов будет старшим, — приказал старшина. — Распредели номера и ждите. Как начнем, поддержишь атаку, а потом, когда пехота пойдет в открытую, будешь сопро-вождать.

Лиходеев ушел. Два солдата присели на корточки возле пулемета, с любопытством глядели на меня. Я распределил номера.

— Следует сначала ударить по тем высоткам, — посоветовал молодой солдат. — Рельеф подходящий, можно свободно бить над головами своих.

Впереди лежала лоштинка с чахлой травой и выходами наружу известковых пород. За этой лоштинкой на высотах расположился противник. И наблюдая за нами, там вспыхивали и гасли зайчики оптических линз.

Дульник лежал рядом, прикасаясь ко мне плечом.

— Как видишь теперь, у меня отличный нюх, — сказал Дульник. — Стычка оказалась неизбежной. Атака. А это

значит: бежать по этой тарелке, пока тебя не подстрелят, как воробья.

— Мрачно, не надо...

— Ты хочешь сказать — перед смертью не наговоришься?

Неожиданно начала бить наша артиллерия.

В ответ методично и обстоятельно заработала немецкая артиллерия, не трогая стрелковых окопов. Немцы нащупывали огневые позиции наших багарей. Появился тихоходный немецкий самолет-корректировщик, двухфюзеляжный одномоторный биплан с не убирающимися в полете колесами, и орудия немцев стали быстрее сжимать прицельную вилку.

Дульник толкнул меня:

— Гляди!

Влево от нас, там, где лежало шоссе на Севастополь, протянулись волнистые полосы пыли. Я увидел черные бегущие точки в голове клубящихся потоков.

— Танки, — тихо сказал Дульник.

Мы оставались в стороне.

Но все-таки я почувствовал, что мне стало холодно, хотя солнце жарко пекло.

Как во сне при страшной опасности отказывают ноги и сдавливает горло, так и сейчас я почувствовал, что сам не могу скинуть этого странного оцепенения.

Вдруг недалеко разорвался фугасный снаряд. Он явился внешним толчком. Я не видел сигнала атаки, но смутное чувство указало мне, что пора действовать.

Смутные руки Дульника перебирали быстро подгрызаемую пулеметом ленту. Стучали и звенели дымные гильзы. А пулемет, как живое существо, дрожал в моих кулаках, до хруста в суставах сжимавших шершавые ручки.

Ствол быстро перегрелся, вода закипела в кожухе и стала пробивать вентиль паром и шипящими брызгами, как это бывает в чайнике, поставленном на сильный огонь.

Молодой пехотинец, сильно толкнув меня, крикнул:

— Зачем длинными очередями?! Трата!

Я отпустил боевой спуск, пулемет смолк. Пальцы онемели.

Четыре спины в коротких бушлатах мелькали впереди. Змейками развевались ленточки бескозырок. Моряки были вместе с красноармейцами, но я видел сейчас только свих

ребят. Потерь пока не было. Я думал: «Может, немцы уже бегут?»

Атакующие достигли рубежа, намеченного Лиходеевым для нашего вступления в атаку. Это языки полынной крепости, протянувшейся по длинному осыпью известняка.

Дульник первым выпрыгнул из окопчика, стал на колени, помог нам выбросить пулемет. Наступил второй этап атаки, указанный Лиходеевым.

Мы покатали пулемет. Миновали ползучку. Побежали по дну той самой тарелки, о которой говорил Дульник. Лелюков быстро шел впереди цепи без тужурки, с биноклем, переброшенным за спину, с пистолетом в руке.

Мы пробежали больше пятисот метров. Несколько человек — среди них были и моряки — упали... Усилился огонь. Мы залегли. Отстреляли одну ленту.

Лелюков поднялся с земли, что-то крикнул и снова бросился вперед. Ременный шнур пистолета качался в такт его бегу. Лелюкова обогнали матросы, заслонили его. Я потерял из виду спину капитана. Черный клубок матросских бушлатов катился к высоте.

И затем в несколько коротких минут произошло драматическое событие. Его я никогда не забуду. Немцы открыли сосредоточенный огонь из оружия, которое они до сих пор не разоблачали. Падали люди в бушлатах и в зеленых солдатских рубахах, обрамленных шинельными скатками.

Вот теперь нужен наш пулемет. Я прикинул у щитка. Пальцы Дульника заправили ленту. Прошла короткая очередь. Я слишком упредил прицел. И когда цель была исправлена, вдруг заело ленту. Мы долго бились над ней, но безуспешно.

А в это время был решен исход атаки: мы отходили под сильным огнем. Два солдата волокли Лелюкова. Солдаты пережидали огонь и снова ползли, подхватив под локти своего командира. На его спине расплзались пятна крови. Пистолет Лелюкова был заткнут за пояс одного из солдат, бинокль висел на шее второго солдата.

Бойцы тащили Лелюкова, и сапоги его чертили носками по земле.

Мы прижимались к земле и ползли вслепую, стараясь во всем подражать их повадке. Пулемет мы не бросили, хотя он заглух и, казалось, никому не был нужен.

Мы ползли и ползли.

## ОТХОД К КРЕПОСТИ

После боя в Карашайской долине мы отходили к горам, стараясь миновать татарские села на шоссе, ведущем к перевалу. Активные бронетанковые разведывательные отряды неприятеля как правило продвигались по шоссе и занимали села, лежавшие на главных коммуникациях.

Из ста парашютистов-балабановцев осталось только сорок. В коротких стычках при проходе в горы было потеряно еще шестнадцать человек. Потери «наземников» были еще выше. Аэродромные команды отлично знали свое профессиональное ремесло, но воевать не умели. Кстати, к ним и не предъявлялось серьезных требований. При отходе они прилипчиво держались возле нас: теперь они были нам сродни после пролитой крови.

Нашего командира мы не оставили противнику. До подхода к лесу везли его на «пикапе». Когда «пикап» на горных тропах застрял, мы столкнули его с обрыва, а Лелюкова понесли на плечах.

Мое первоначальное мнение о капитане Лелюкове изменилось к худшему, несмотря на его страдания. Я невольно считал Лелюкова виновником поражения. Зачем нужно было вести нас в атаку без активной артиллерийской подготовки, тем более ясным днем? Полтора километра против огня противника в явно невыгодных условиях! Почему Лелюков не разъяснил нам положения, если атака вызывалась тактической необходимостью? С жестокой поспешностью молодости я сделал свои выводы и утвердился в них.

Отход, потеря товарищей, нераспорядительность старшего лейтенанта, заменившего Лелюкова, — все это укрепляло мое отрицательное мнение о капитане.

Зачем нас, не подготовленных для пешего боя, послали навстречу противнику, о военной организации которого было отлично известно? К чему все занятия Балабана, все эти «ножички», «пирог с начинкой»? Из моих друзей остались живы Дульник и Саша. Оба хорошо вели себя в атаке, не прятались, не пережидали, чтобы потом, поднявшись из кустов, повествовать о всех ужасах сражения и бахвалиться своей мнимой отвагой. Мы оказались в числе тех немногих, которые остаются в живых даже при самой большой катастрофе.

Саша как бы проверил высказанную им теорию. Карашайской долины теперь не забыть. Отныне она не просто кусок крымской земли, покрытой таким-то почвенным слоем и такой-то растительностью, а долина, политая кровью.

Мы дрались еще слишком мало, чтобы созреть, видели также очень немного и только открытое физическому взору, слышали то, что непосредственно достигало слуха. Естественно, мы могли ошибиться в оценке событий.

Лелюкова положили под высоким грабом. Возле капитана дежурила радистка Ася, низенькая девушка с сильными мужскими плечами, крепкими руками, с мальчишеским лицом, залитым рыжими пятнами веснушек. Несколько бойцов из батальона Лелюкова ревниво охраняли своего командира от наших услуг. Среди них был Тиунов. Солдат теперь угрюмо замкнулся, не вступал с нами в разговоры и старательно помогал Асе в заботах о раненом.

В ущелье сошлись бойцы и командиры разных частей.

Недалеке от меня лежал Дульник, смастеривший себе постель из сухой травы и листьев. К нему присоединился Саша. Свой пулемет мы устроили между камнями на обзорной огневой позиции. У пулемета дежурил один из номеров. Старшину Лиходеева мы потеряли в Карашайской долине. Заместитель комбата назначил меня старшим группы парашютистов. В группе оставалось двадцать четыре человека.

Я лежал на спине, спрятав лицо в полурасстегнутом бушлате. Так было теплее. В ущелье уже ощущался осенний холод. От реки и мокрых камней тянуло сыростью.

Глухо, вероятно во сне, стонал Лелюков. Голоса Аси не было слышно. Лес молчал: птицы не любят шумов войны и перелетели в более тихие места. На большой высоте по направлению к Севастополю прошло крупное соединение немецких бомбардировщиков. Теперь они летали часто. Я слышал звуки работающих моторов, и в сердце поднималась злость.

Возле меня присел лейтенант с перевязанной рукой, закурил. Я успел рассмотреть его красивое молодое лицо с румяными округлыми щеками. «Еще один неопытный командир», — подумал я. Спичка погасла. Лейтенант заговорил, обращаясь к своему соседу — капитану. Внешний облик лейтенанта, — румяные округлые щеки, женственно

красивая верхняя часть лица,— не вязался с его властным командирским голосом.

— Врага можно бить,— отрывисто произнес лейтенант.

— Всякого врага можно бить, только умеючи,— сказал капитан.

Капитана я заметил еще засветло. Это был человек лет двадцати пяти, энергичный в движениях, распорядительный и бранчливый.

— Враг нахален, уверен в своих силах, а поэтому беспечен,— продолжал лейтенант.

— Именно.

— По долине остановились на ночь его авангарды. Я наблюдал сейчас со скалы. Жгут костры на передовой.

— Вывод, лейтенант?— спросил капитан.

— Чувствуют себя хозяевами.

— А подумай лучше.

— Продумано тщательно, товарищ капитан.

— А может, жгут костры, потому что боятся нашей ночи, а? Встретились с врагом, так надо с ним знакомиться со всех четырех сторон. Ты откуда, лейтенант?

— Из Ленинакана.

— Армянин, что ли?

— Русский армянин.— Лейтенант засмеялся.— Отлично говорю по-армянски, и если прислушаться, у меня даже в разговоре можно услышать армянский акцент.

— Слышу,— согласился капитан.— А какое кончал училище?

— Бакинское пехотное.

— Хорошее училище?

Лейтенант отшутился:

— Могу разложить карту, найти компас Андрианова, прикрыть огонек плащ-палаткой, установить азимут.

— Так. А стойкость в вас воспитали? Вот, предположим, вся наша, к примеру, вот эта часть окружена. Держимся три дня до истощения боеприпасов, воды и продовольствия. И командир части дает приказ под таким-то азимутом прорваться, а тебе... как твоя фамилия?

— Семилетов.

— А лейтенанту Семилетову прикрывать отход, чтобы ни одного бойца не оставить врагу. Что ты будешь делать? Как учили в вашем Бакинском пехотном?

— Нас учили в Бакинском пехотном...— Лейтенант замялся и затем произнес с юношеской горячностью:— Я

был воспитан на святом выполнении приказа своего командира.

— Верно, — одобрил капитан. — Дай-ка прикурить, не затапывай.

Огонек папиросы осветил выжуклые, с краснотой по белку глаза капитана и падающий на лоб жесткий чубчик.

Вдали раскатились артиллерийские залпы.

Все прислушались.

— Опять немецкая дальнобойная? — раздался чей-то голос.

— Вроде нет. И на нашу корпусную не походит.

— Далеко.

— Может, наша «бе-че»?

— Береговая, по-моему, бьет, — сказал капитан. — Севастополь!

— По суше бьет? — спросил кто-то из темноты.

— Повернули, стало быть, на сушу, — ответил он.

Громче застонал Лелюков, попросил воды. Кто-то спустился к ручью. Звякнули котелки, из-под ног посыпались камешки.

— Шумит, — опасливо сказал Дульник, — где-то на шоссе шумит.

— Твой страх шумит, — сказал капитан. — Сейчас ящерица проползет, а тебе покажется танк. На войне многие не от пули гибнут, а от нервов. И себе навредит и, главное, товарищам. — Снова обратился к Семилетову: — Правильно вас воспитывали, бакинцев. Самое главное в армии — точное выполнение приказов своего командира. Примерно такой приказ: «Обеспечить подъем духа, атаковать противника, остановить его и держать, насколько возможно, в неведении своих сил. Земля твоя под подошвой. Позади ни сантиметра. Войти, как столбы в землю, чтоб клещами не выдрать. Никаких серафимов и херувимов не будет. Думаешь дожить до дня ангела — держись!»

— Вы извините меня, капитан, но подобный приказ состряпали не по уставу, — возразил Семилетов.

Капитан некоторое время молчал, казалось, он собирался с мыслями. Разговором же их заинтересовались многие, сгрудились, ждали.

Капитан зажег спичку. Осветилось его лицо, которое казалось теперь серьезней, старше.

— Моя фамилия Кожанов, — продолжал он, — запомни

меня. А то разойдемся ночью кто куда, по голосу потом не узнаешь. Бойцов у меня мало, Семилетов, потеряны в неравном бою, но отхожу честно, потому что война состоит не только из одного наступления... Слушай, вникай в опыт и свой опыт другим передавай. Учился — знаешь, что на войне надо не только к человеку прислушиваться, а к шуршанию травы, к древесному шуму, к птичьему крику, к сверчкам...

— Это верно, товарищ капитан, — вмешался чей-то голос. — Ночью у Бахчисарая держали мы оборону, в районе МТС, слышим, свистит и свистит неизвестная птица. Ну, птица и птица, чорт с ней. А потом глядим: утром лежит у сарая Федька Андриюхин без черепка, а птицы нет, улетела.

— Что ж за птица? — спросил Кожанов.

— Не знаю, товарищ капитан. Как в сказке. Места, сами знаете, рельеф.

— Могу продолжить, — сказал Кожанов. — Отходим мы от Перекопа. Танки противника прорвались в степь, а мы отходим в порядке. Генерала Шувалова кто знает?

— Слышали про генерала Шувалова, — отозвались голоса.

— Так вот, отходили мы с генералом Шуваловым. Преградил отход хутор Заветный. Проскочили немцы вперед нас. Поступил приказ от генерала Шувалова: нашей части сделать обходное движение по степи, зайти с флага и выбить противника с хутора. Удалось нам. Подошли на зорьке к хутору незаметно. У нас были, кроме стрелков, моряки, отходившие от Ишуня. Атаковали врага врасплох, захватили хутор. Три контратаки отбили. Мокрое по пояс речушку форсировали, не пивши, не евши, а гордые победой. Посылаем донесение генералу: «Заветный свободен!» Пошли войска через Заветный, полк за полком. Поступает нам новый приказ: «Прикрывать у Заветного отход. Дать возможность оторваться основным силам».

— Взяли хутор, выручили и еще прикрывать, — неодобрительно сказал Дульник.

— Приказ старшего командира должен выполняться свято, — сказал Кожанов. — Не успели мы оторваться сами. Отсекли нас. Начали бить в упор из пулеметов, а потом из пушек. Закуканили нас. Осталось нас четыреста человек. Командира батальона разорвало миной. Принял командо-



вание командир первой роты. Через пять минут его тоже наповал. Принял командование мой дружок капитан Осип Куприянов. Отошли мы к хутору, заняли круговую оборону. Ну, по-дружески, конечно, дал мне Куприянов сектор в сто восемьдесят градусов, а второй сектор — себе. Разделили мы поровну оставшихся бойцов. Раций нет, связи, как понимаете, лишены, пожаловаться некому. Послали связных пробиться, доложить. А пока, конечно, драться. За день десять контратак. Хутор не отдали. Приходилось ходить в атаку, Семилетов. Расстреливал немцев из автомата с тридцати — сорока метров.

Кожанов говорил серьезно, убежденно, даже зло. К рассказу капитана, вероятно, прислушивался и Лелюков, стоны его прекратились.

— Нервы были напряжены до крайности, — продолжал Кожанов, — поднимался в атаку не мускулом, а силой воли. Идешь в атаку, не трусишь. Кажется, гони на тебя танк или грузовик — не свернешь. Чугунным становишься, товарищи. Знаешь одно: ты должен идти, подниматься, подавать командирский пример. Видишь веер трасирующих пуль, уже знаешь — не столько убивают, сколько пугают. Бьют очередью, падаешь. Может быть, последний раз падаешь, может быть, последние шаги перед этим сделал в своей жизни. И главное — знаешь, когда упасть, когда подняться, инстинкт держит тебя. После атаки, когда вынимаешь из кармана табак и бумажку, руки трясутся, не скрутишь, а в душе рад. Душа рада, а нервы трясутся, ве успокоились. Ты остался жив, жив, жив! И переживаешь все, что с тобой произошло, вникаешь в суть не до, не во время атаки, а после...

— Верно, — подтвердил Семилетов.

— А хочешь знать, как переживают люди, когда неизбежность? — спросил Кожанов. Его зрачки сверкнули в темноте.

— Продолжайте, Кожанов, — сказал лейтенант.

— А дальше стало ясно. Весь хутор не удержать. Велика площадь. Надо сжиматься в удобном месте. Отошли к реке, к ферме. Там кирпичные строения, высотка, обзор лучше. На хуторе же не вмоготу. Подтянул противник крупнокалиберные, как ударит — восемь хат пробивает. Куприянов пересчитал людей, оружие, боеприпасы, говорит только мне: «Ну, Петя, доигрались. Но ничего, люди умирают-то всего один раз». Гляжу на него, не верю глазам:

улыбается мне, подмаргивает. Думаю — отработали шарики свое у Оськи Куприянова. Потрясен боем, бывает. А Куприянов нагнулся и постукивает по бочке, на которой сидит, рукояткой пистолета. Не понимаю его. Тогда он встал, подозвал к себе матроса Жоржа Марченко, — его на всю жизнь запомню, веселый такой, коком был на корабле, ему все нипочем: «Война войной, а кушать надо», — и приказывает ему: «Капитану Кожанову черпак за удачный день в своем секторе и всем его орлам по черпаку». Жорж весело: «Есть, товарищ капитан!» Оказался-то в бочке портвейн марки «три семерки». Выпили мы по черпаку портвейна, веселей стало, горло прочистилось. Бойцы тоже отведали, приободрились. Вот тут-то и пришла боевая задача, Семилетов. «Обеспечить подъем духа, атаковать противника, остановить его и держать, насколько возможно, в неведении своих сил». Так приказал генерал Шувалов с нашим связным, который вернулся-таки обратно. Обещал Шувалов выручить, если сами не сумеем пробиться. Приказал держаться двадцать четыре часа. Не буду рассказывать, скучно, как мы держались эти двадцать четыре часа. Расскажу о том, как переживают отдельные люди, когда неизбежность. А то хотел про неизбежность, а завел оглоблями в скирду соломы... Возьму крепкую натуру — старшего лейтенанта пулеметчика Грязнова. Один принимал на себя гренадерскую часть. Расстрелял все патроны, поднялся во весь свой страшный рост, ударил пулемет о камень и пошел к ферме, под огнем. Медленно шел, шаг не ускорил. Как начал одним темпом, ни разу не ускорил шага, удивительно. Ни одна пуля не тронула. Подошел к нам и сказал: «А что я должен был делать дальше? Патроны кончились, а прикладом драться не годится... никакого смысла».

— Молодец Грязнов, — похвалил издалика голос Лелюкова.

Кожанов поглядел в ту сторону, где лежал Лелюков.

— Знает, что ли, Грязнова? — спросил Семилетов.

— Может быть, — ответил Кожанов. — Все же из одной армии. Второй человек, в бою с ним и познакомились, бывший рыбак с Ак-Мечети, Степан Репетилов. Отваги беспримерной. На хуторе буквально впритык сходилась с немцами, грудь с грудью. Бешеный был в бою человек, удивительный, я бы сказал. Будто у него сто жизней впереди. И вот уже на ферме подползает ко мне, плачет. Уди-

вился я, спрашиваю: «Чего ты, Репетиллов?» — «Разбили немцы винтовку, а другой нет». Смотрю, пуля попала в магазинную коробку, и магазин не подает патроны. «А что у тебя с ногой, Степан?» Вижу, кровь залила все колено. «Не знаю», — отвечает Степан. А сам с винтовкой возится. Осмотрели колено, пуля попала в чашечку. И горюет Репетиллов не потому, что чашечки, а потому, что винтовки лишился. — Кожанов снова закурил.

Над плоскогорьем появился зарево. Вначале решили — луна, оказалось — пожар. В ущелье захохотала сова. Все, повернув головы, прислушались к ее отчаянному хохоту. Отдаленная канонада продолжалась.

— Еще был один, — продолжал Кожанов, — сержант Иван Криница. Ползает с разбитой лапой, кость торчит сквозь голенище, а он командует, сам с ручным пулеметом. И, представь себе, выжил. Вот что значит «обеспечить подъем духа»...

— А как потом? — спросил Семилетов.

— Выручил генерал, — ответил Кожанов, — ровно через двадцать четыре часа, тютельница в тютельную. Уже всю крышу на ферме сорвало, пули пролетали через стены, как сквозь решето, когда подполз ко мне и Куприянову Жорж-матрос и говорит: «Я кашу заварил рисовую, с салом, надо кушать, товарищи командиры. На том свете чорта с два такой кашей побалую». Вышли, Семилетов, мало, а вышли. Не только у вас в Бакинском пехотном училище учили свято выполнять приказ своего командира.

— А немцев много побили? — спросил Дульник.

— Как и полагается в стойкой обороне, один к десяти.

— Считали?

— Бухгалтера с нами не было, — резко оборвал его Кожанов.

Дульник обиженно сказал мне:

— Почему мое естественное любопытство этот капитан расценивает как выпад?

— Вопрос был задан в обидной форме, — сказал Саша.

— Оказывается, ты не спишь, Саша, — сказал я.

— Не сплю, но стараюсь заснуть.

— Не спится?

— Устал до крайности, а мысли не дают покоя. У тебя так бывает, Лагунов?

— Последние три дня — да.

— Мозг становится какой-то горячий, — продолжал Саша, — расплавленный. И голова диктует всему телу.

— В переводе на простую медицину — расшалились нервы, — сказал Дульник.

— Возможно, — тихо согласился Саша. — Только есть ли нервы в голове?

Ко мне подошла Ася, вполголоса меня окликнула и, когда я отозвался, нагнулась ко мне:

— Капитан просит вас к себе, товарищ Лагунов.

Я быстро поднялся, пошел за Асей.

— Ему лучше?

— В прежнем положении. Ему нужен стационарный режим. Серьезное ранение. Температура держится. Такой сильный человек стонет, бредит.

— Терял сознание?

— Нет.

Лелюков лежал на шинелях, спиной ко мне, на боку.

— Пришел Лагунов, — сказала ему Ася.

— Хорошо, — тихо отозвался он и, не поворачивая головы, позвал меня по фамилии.

Я опустилсь возле капитана на траву. Солдат, сидевший рядом, подвинулся в сторону.

— Я здесь, товарищ капитан.

— Имя-то твое как, Лагунов?

— Сергей.

Лелюков беззвучно рассмеялся. В темноте блеснули его глаза. Капитан смотрел на меня.

— Неужели Сергей Лагунов... Иванович?

— Иванович, товарищ капитан.

— А меня помнишь, Лагунов?

— Конечно.

— А какого чорта молчал, Сережка?

— Обычно считается неактивным навязываться в знакомые к начальству.

— Вот это дурень. — Лелюков силился приподняться на локте, его остановила Ася. Капитан пошевелил пальцами, пробурчал: — Угадала-таки Лелюкова германская пуля. Долго не могли познакомиться. — Снова обратился ко мне: — Неверно сделал, Сережка. Начальство начальству рознь. Вот убили бы меня, и не узнал бы я перед смертью что сынишка Иван Тихоновича Лагунова учился у меня уму-разуму на Крымском полуострове. Твой-то отец тоже кое-чему меня научил, Сергей.

Я молчал. Лелюков тоже смолк, прижался щекой к шинели.

— Поташнивает, — сказал он, скрипнув зубами. — Вот если бы мне сейчас холодного нарзана и... лимона. Ты не серчай на меня, Сережка.

— Я не серчаю, товарищ капитан.

— Меня не обманешь, Сергей. Шесть лет командирюг привык читать ваши мысли по вдоху и выдоху. Непростительно погибли твои друзья-товарищи... Учимся... И всю жизнь учимся... Новое дело начинаем часто с ликбеза... Врага свалим, верю... Слишком быстро прет, задохнется. Ася?

— Я здесь, товарищ капитан.

— Нарзанчику с лимоном, Ася.

Ася грустно улыбнулась и, приподняв голову капитана, поднесла к его рту кружку с водой. Лелюков жадно выпил, Ася вытерла ему губы бинтом.

— Вам бы надо заснуть, товарищ капитан, — сказала она.

— Верно, — буркнул Лелюков.

— Я уйду, — сказал я, чтобы слышала только Ася.

— Подожди, одно слово еще, — попросил Лелюков. — Нагнись ко мне.

Я исполнил его просьбу и ощутил его жаркое дыхание, близко увидел упрямые глаза и понял, что воля этого человека пересилит физическую немощь. Темнота не мешала мне видеть каждую черточку его лица. Сейчас Лелюков напомнил мне прошлое, радость неповторимого детства, молодых родителей.

Капитан понимал мое душевное волнение. Я услышал его облегченный вздох.

— Что я тебе хотел сказать? — сказал он, не выпуская мою руку. — Да... Если, не дай бог, придется когда-нибудь начинать такое дело снова, помните: не начинайте с ликбеза. Выходите на поле сразу с высшим образованием. Законченным...

Ася попросила меня уйти. Я высвободил свою руку из пальцев Лелюкова, поднялся и пошел на свое место. Дульник спал, а Саша поджидал меня, чтобы узнать, о чем мы говорили с капитаном. Я не стал ему рассказывать: мне хотелось помолчать, побыть наедине со своими мыслями. Саша понял это и больше не заговаривал со мной.

## СЕВАСТОПОЛЬ

Заросшие пастушьи тропы уводили нас от главной коммуникации, на высокогорные пастбища Яйлы.

Держась северо-восточной кромки горно-лесистого предгорья, можно было дойти до Феодосии. В чьих руках была Феодосия, мы не знали. Во всяком случае, оттуда можно было пробиться на Керченский полуостров, в сдачу которого никто не верил. Там, по слухам, был создан укрепленный рубеж по линии Турецкого вала и Акмонайских позиций. На одном из привалов мы разделились. Кожанов повел на Феодосию всех, кто стремился на соединение со своей 51-й армией, мы же, моряки и солдаты из батальона Лелюкова, решили продолжать более опасный путь — на Севастополь.

Лелюкова мы взяли с собой. С нами оставалась и Ася. Семилетов ушел с группой капитана Кожанова. В течение нескольких лет я не знал об их судьбе, а потом... хотя все, что случится потом, будет рассказано в своем месте.

От местных жителей и пастухов мы узнали, что по шоссе на Ай-Петри отходят войска Красной Армии.

Мы свернули к шоссе и на второй день подошли к нему южнее Орлиного залета.

Мы шли по грабовой роще. Под нашими ногами шуршали листья. Деревья, крепко вцепившиеся своими мощными корневищами в каменистую почву, были покрыты огнем увядания. Мы вдыхали запах пригретой солнцем коры, смешанный с осенними запахами прели и сырости.

Мы любовались чудесной картиной природы, совершенно не затронутой войной, природы, продолжавшей следовать своим законам жизни.

Саша стал на обомшелый камень, снял бескозырку и огляделся вокруг широко раскрытыми глазами. Очень бледные его щеки порозовели, он жадно вдыхал воздух.

Прибежал посланный в разведку Дульник.

— Наши!.. На шоссе наши!

Мы двинулись вслед за Дульником и вышли к обрыву. Грабовая роща кончилась. Дальше редкие дубы и ясени перемежались с кустами шиповника и боярышника. К горам лепились домики с плоскими крышами, белела стена Орлиного залета.

По шоссе, петлями уходившему в горы, двигались войска.

— Наши!

— Наши,— сказал Саша и широко улыбнулся.

Все облегченно вздохнули. Казалось, после длительной, опасной болезни, когда к больному прислушивались с тревожным сочувствием, наступил кризис. Хотелось присесть на землю, опустить руки, закрыть глаза. Теперь среди своих можно было отдохнуть. Никто не побежал навстречу нашему войску, никто не стрелял в воздух, как потерпевший бедствие. Запыленные, оборванные люди опустились на землю, улыбаясь друг другу. Казалось, многие впервые увидели друг друга близко и по-новому, чем в дни блужданий в поисках выхода. Мне припомнился «Железный поток», и я подивился мудрости писателя, который подсмотрел, как люди таманской колонны, пережив все страдания, как бы прозрели и удивились синему цвету глаз своего вожака.

На Севастополь отходила Приморская армия. Колонна шла в полном порядке со всеми видами охранения на марше. Арьергардные бои, как мне сказали, вели части дивизии, сражавшейся за Одессу. Черноморская и армейская авиация, как могла, прикрывала колонну на марше.

Мы влились в колонну приморцев. Теперь, в непосредственном общении со стойкими регулярными войсками, мы морально окрепли. Здесь все знали свои места — бойцы, командиры, политические работники. На привадах проводились летучие собрания коммунистов и комсомольцев, распространялись сводки Советского информбюро, газеты — была даже своя армейская; парторги и комсорги принимали членские взносы. К Севастопольской крепости двигалась регулярная, закаленная в боях армия.

Лелюкова мы передали в полевой госпиталь на попечение хирургов. Госпиталь имел медикаменты, инструменты и даже собственный полевой движок для освещения операционной. Милые, услужливые медицинские сестры, бывшие студентки Одесского медицинского института, прозорно и умело делали свое дело. Они по всей форме составили историю болезни капитана Лелюкова. В этой формальности не было ничего бюрократического, она умиляла нас, и мы обретали спокойствие и веру в то, что в будущем все будет хорошо, все обойдется, если только придерживаться установленного и освященного десятилетиями порядка.

Такое же чувство уверенности внушали мне и расклеванные на улицах Севастополя обращения городского комитета обороны и Военного совета Черноморского флота.

Существовали и действовали люди, полные сил и решимости. Сохранились учреждения Советов, партии и военного ведомства, ответственные за страну. Силе врага противостоит огромный, действенный организм советского государства.

Мы подошли к Севастополю по Ятинскому шоссе. Армейские радиостанции принимали Севастополь, и мы еще на марше знали, что немцы уже подошли вплотную к внешним укреплениям крепости и завязали с ходу сильные бои.

С немцами дрались армейские части, морская пехота и ополченцы. Вели огонь корабли Черноморского флота и береговая артиллерия Матушенко, Александра, Заики, Драпушко. На передовую линию выходил бронепоезд «Железняков» под командованием храброго Гургена Саакяна. Возле Дуванкоя пали смертью храбрых пятеро бесстрашных черноморцев.

Имена героев были названы позже: политрук Николай Дмитриевич Фильченков, краснофлотцы Цибулько Василий Григорьевич, Паршин Юрий Константинович, Красносельский Иван Михайлович и Одинцов Даниил Сидорович.

Они долго держали шоссе у Дуванкоя. А потом, когда иссякли патроны, обвязались гранатами и один за другим бросились под танки. Это был первый крылатый подвиг защитников крепости.

Подвиг у Дуванкоя называли бессмертным. Но кто узнает о шестидесяти моих товарищах, павших в Карашайской долине?

Приморцы сбили части противника, осадившие крепость, на этом участке перевалили Сапун-гору, находившуюся в наших руках, и появились на улицах города. Появление Приморской армии на улицах осажденной крепости было огромным событием. Приморцы, прославленные обороной Одессы, знаменовали собой высокий авторитет всей Красной Армии.

Население восторженно встречало приморцев. Моряки, сцепившие было зубы для борьбы почти один на один, теперь увидели своих будущих соратников и приветственно размахивали бескозырками. Мальчишки усыпали деревья



бульваров и орали от переполнившей их детские сердца отчаянной радости. Кто-кто, а они давно знали пленительную легенду об этих бойцах, шагающих сейчас по пыльным камням, мимо изуродованных домов.

Приход приморцев совпал с праздником Октябрьской революции. Это придавало еще больший, торжественный смысл их маршу.

Командарм понимал, что сейчас, когда противник блокирует крепость, важно поднять дух гарнизона. Современная война относилась к гарнизону все население осажденных городов. Надо поднять дух рабочих, они лучше будут готовить боевые припасы, ремонтировать оружие и изготавливать его. Надо вселить уверенность в сердца женщин, чтобы умножить подвиги Даши Севастопольской. Надо не забыть и пионеров, что облепили деревья. Ребята помогут обороне. И кто его знает, может быть, кто-нибудь из этих голыгузов, кричавших до хрипоты от мальчишеского восторга, будет адмиралом или генералом, продолжая великие традиции этих героических дней, так же как они, сегодняшние генералы и адмиралы, обязаны с честью умножить славу Нахимова, Корнилова, Истомина...

Впереди с развернутым знаменем шла Краснознаменная Чапаевская дивизия. Дивизия боролась под этим знаменем еще в гражданскую войну. Это знамя обдували ветры Приуралья, Оренбургских степей, к нему прикасались руки легендарного Чапая, Фурманова, его освятил своей полководческой мудростью и заботой Михаил Васильевич Фрунзе.

Теперь оно развевалось на улицах Севастополя, города русской славы, столицы Черноморского флота.

Оркестр заиграл марш. Звуки медных труб и удары барабанов как бы дополняли симфонию боя. Сейчас никто не прислушивался к тревожному, близкому грому береговой артиллерии, никто не следил за разрывами снарядов противника, все глядели только на приморцев. Многие плакали.

Впереди Чапаевской дивизии шагал командарм. Генерал был одет в обычную командирскую гимнастерку, с бинником на груди, в пенсне, с маленьким пистолетом на поясе.

— Им был предоставлен выбор, — сказал я, ни к кому не обращаясь, — либо идти на Керчь, либо в Севастополь.

— Они выбрали Севастополь! — воскликнул Саша, не сводивший глаз с торжественного марша приморцев.

— Да. Они выбрали Севастополь.

Дульник сорвал с головы бескозырку. Змейками взвились черные ленточки.

— Ура приморцам! — заорал он своим пронзительным голосом.

Он обернулся к толпе. Его поддержали мальчишки, за ними — остальные. Не помня себя от радости, не сдерживая переполнивших меня чувств, я кричал вместе со всеми.

— Куда они?

— Занимать оборону.

— Прямо с ходу?

— Прямо с ходу.

Колонна шла под гром канонады на передние рубежи.

Мы отправились в штаб, чтобы узнать о Балабане, получить назначение.

Здания и заборы были оклеены плакатами.

Мы остановились на улице Ленина у дома, сложенного из инкерманского белого камня. На стене висело обращение Военного совета Черноморского флота.

Мы читали:

«Врагу удалось прорваться в Крым. Озверевшая фашистская свора гитлеровских бандитов, напрягая все силы, стремится захватить с суши наш родной Севастополь — главную базу Черноморского флота.

Товарищи черноморцы!

В этот грозный час еще больше сплотим свои ряды для разгрома врага на подступах к Севастополю!

Не допустим врага к родному городу!

Черноморцы свято чтут боевые традиции героев севастопольской обороны, традиции моряков, отдавших свою жизнь за дело социалистической революции. Эти боевые традиции нашли свое яркое выражение в героических делах, в бесстрашных подвигах военных моряков Черноморского флота, дающих сокрушительный отпор озверевшим фашистским бандам.

Всем нам известны имена славных моряков-черноморцев: полковника Осипова, рулевого Щербачи, славных летчиков Цурцумия, Агафонова, Шубикова, разведчика Нечипоренко, политработников Митракова и Хмельницкого, котельного машиниста Гребенникова и многих других

верных патриотов Родины, прославившихся в происходящей Отечественной войне. Их подвиги зовут нас на новые победы, на новые героические дела во славу Родины.

— Мы знаем теперь, что нам делать, — возбужденно сказал Дульник. — Вот приказ! Надо было пристраиваться к чапаевцам и туда...

— У нас увольнительные до двух часов, — рассудительно заметил Саша, — и за это время нам следует пообедать и найти отчаянного капитана.

Мы пошли по улице Ленина к штабу Балабана. По пути зашли в ресторан. После всех перенесенных волнений хотелось посидеть за столом, покрытым скатертью, взять в руки карточку блюд, заказать вкусное блюдо.

В ресторане было прохладно и тихо. В зале обедало несколько командиров. Мы пошли в уголок, замаскировались фикусом, чтобы не попадаться на глаза начальству. Решили заказать водки. У каждого из нас было немного денег.

Подошедший официант салфеткой смахнул со стола крошку и сказал, будто бы обращаясь к фикусу: «Спиртное запрещено — приказ». Мы заказали скромный обед с биточками на второе.

И когда мы собрались уходить, в дверях, затемнив свет, появилась мощная фигура Балабана. На его плече дулом книзу висел автомат.

Он также увидел нас, сразу узнал, с тревожной и вопрошательной улыбкой пошел навстречу.

Балабан увел нас за собой в штаб формирования ополченческой пехоты. Здесь его знали, и командиры, с которыми он здоровался за руку, ушли, оставив нас с майором Балабаном.

— Выкладывайте начистоту, — сказал он, вынув свою игрушечную трубочку. — Общие сведения про карашайское дело имею, прошу уточнить, ребятки. Говорите хотя бы вы, Лагунов.

Я начал говорить.

Балабан сидел на табурете у окна, вполоборота ко мне, расставив свои толстые ноги. На его коленях лежал автомат с круглой дисковой патронной коробкой. Пальцы майора мяли залосненный ремень автомата, как мягкую тесьму. Я рассказывал об атаке, не скрывая возмущения по поводу бесцельности понесенных жертв. Майор не поддерживал меня, но и не слишком разубеждал.

Балабан вышел из комнаты и немного погодя вернулся с пачками писем, перевязанными шпагатом. Письма были связаны по дням поступления на полевую почту за время нашего отсутствия.

Балабан развязал пачку, и письма рассыпались по столу. Он взял наугад одно из писем, прочитал фамилию адресата, вопросительно взглянул на меня, как бы спрашивая: жив?

Я отрицательно качнул головой. Балабан повертел письмо в руках, отложил в сторону. Взял второе письмо, свернутое треугольником, прочитал фамилию. Я молча вздохнул, и письмо легло поверх першого.

Майор вытащил из груды еще одно письмо.

— А это?

— Тоже.

Еще письмо.

— Тоже, товарищ майор.

— А для них они еще живые, — тихо сказал Балабан.

Письма живым лежали маленькой кучкой, павшим — большой грудой, как скорбная и наглядная диаграмма потерь.

— Выпустишь из-под присмотра ребятишек, и вот... — сказал Балабан будто самому себе. Обратился ко мне: — Эти письма возьмите, раздадите. Там и ваши есть, ребята. А этим я сам отвечу.

Балабан встал. Его лицо как-то сразу осунулось, постарело.

— Я поговорю с начальством. Может быть, определяю вас к себе, в батальон морской пехоты. Только ножичками заниматься пока не будем. По-моему, придется все же всех в разведку... — Он протянул мне автомат: — Возьмите.

— Мне?! — обрадованно спросил я.

— Вероятно, вам, Лагунов, а вам, ребята, на месте выдадим. Стоим под Чоргунем.

Я крепко сжал в руках автомат. Наконец-то в моих руках очутилось заветное оружие!

— Пусть это будет как бы задаток, — сказал майор, — хотя начальство согласится. Куда же вас девать? Оборону сейчас держим крепко. С подходом приморцев совсем повеселели. Авнации маловато, правда, аэродромов раз-два и обчелся, зато артиллерия хороша.

— А боеприпасы?

— Ну, Севастополь-то — крепость перворазрядная, здесь запасов полагалось иметь в достатке. А не будет хватать — Большая Земля подкинёт. Флот-то заинтересован, подвезет... Итак, всех ребят ко мне, Лагунов!

### Глава восьмая

## ТЕПЛОХОД «АБХАЗИЯ»

Теплоход «Абхазия» — на него мы получили посадочные талоны — должен был уходить в море с наступлением темноты. Я и Дульник на попутном грузовике подъехали к угольному пирсу, где отшвартовался теплоход. За косоугом, прикрывавшим берег, вставало зарево. Город горел. Раскатисто гремела береговая артиллерия.

Угольная пристань была полна предметами военного снаряжения: зенитки, поступившие с Большой Земли, длинные ящики с винтовками и патронами, минами, толлом. Здесь же лежали морские буи, похожие на мины, стволы главных калибров, цемент в бунтах — подарок новороссийских рабочих осажденному городу.

Собирался дождь. В бухту задувал ветер. Быстро темнело. Зарево из розового стало красноватым, а затем багровым.

Быстро и без суеты по особому трапу с кормы принимали раненых. По второму, бортовому трапу принимали остальных — эвакуируемое население и военных. Теплоход не мог взять всех желающих, поэтому женщины и дети, столпившиеся в ожидании погрузки, шумели, волновались, теснились. Теплый пар поднимался из труб «Абхазии». Тихо работали дизели. Подрагивало рыхлое объемистое туловище корабля. Я привык относиться с доверием к бронированным корпусам крейсеров и эсминцев. Пассажирское судно, переименованное в транспорт и перекрашенное соответственно морским законам военного времени, казалось мне слабым и рыхлым организмом. Орудия, пришитые к палубам, мне не казались внушительными. Теплоход напоминал мне гражданского человека в пиджачке, в туфельках и фетровой шляпе, подпоясанного военным поясом с патронными подсумками и винтовкой на плече.

В житейских делах я привык доверяться моему прия-

телю — Дульнику. Никто лучше его не умел использовать в случае нужды атрибуты советского моряка — бескозырку, бушлат, лиловые полоски тельняшки. В чем другом, а в застенчивости или робости никто бы не посмел упрекнуть моего приятеля.

Дульник стремительно проложил дорогу, на минуту задержался, чтобы предъявить документы, и трап закрипел под его ногами.

— Куда вы? — рявкнул возле меня чей-то голос.

Пронзительные цыганские глаза глядели на меня из-под козырька фасонистой морской фуражки с гербом, потемневшим от соленой воды, что было признаком настоящего корабельного состава.

Наши бескозырки уже не давали нам никакого права. По трапу, впереди нас, уверенно продвигался флотский командир с маленьким чемоданчиком в правой руке. Левая его рука, с татуировкой по смуглой коже, умело перехватывала поручни трапа. На рукаве шинели блестели нашивки капитана третьего ранга.

— Просим извинить, товарищ капитан третьего ранга, — сразу же нашелся Дульник.

Пронзительные глаза смеялись. На загорелом, красивом особой мужской моряцкой красотой лице появилась улыбка.

— Еще успеют вас, буйные головы, засундучить к дельфинам в гости, — пошутил он. — Держитесь за мной, в кильватер, хлопцы.

Рядом с капитаном на борту парохода я заметил Пашку Фесенко, моего земляка со станицы Псекупской.

Фесенко, как правило, всегда должен был кого-то держать, кому-то услуживать, кому-то подражать. Склонности его всегда отличались непостоянством, но предпочитал он всегда более сильное плечо. Так, в свое время он прислуживал Виктору Неходе, был в нашей компании, потом откачулся от нас и приблизился к детям зажиточных казаков. После окончательного поражения кулачества он принес свою повинную голову снова Витке Неходе, который потом поручился за него при приеме в комсомол.

Над особенностями пашкиного характера мы подтрунивали, он не обижался. Никто из нас не пытался серьезно разобраться в пашкиных недостатках, никто не взялся ему помочь. Ведь не без влияния Виктора сформировался характер Яшки. Яшка воспитал в конце концов в

себе твердость и верность дружбе и с годами совершенно отрешился от неприятных черт, свойственных ему в раннем детстве.

Может быть, война — хороший воспитатель — успела выучить Пашку и совершила то, что не могли сделать мы, его товарищи.

Фесенко меня не узнал. Он поджидал капитана третьего ранга. Пашка, как понял я из его доклада, оказывается, успел заблаговременно пробиться на теплоход, отвоевал каюту, устроился там. Фесенко, захлебываясь, описывал капитану свою ловкость и изобретательность.

Капитан грубовато приостановил его излияния. Пашка выхватил чемоданчик из его рук.

— Я сам бы отнес, Фесенко. — Капитан поморщился. — Что я, барыня в пелеринке?

— Вы устали, товарищ капитан третьего ранга, — предупредительно сказал Фесенко, — разрешите, разрешите мне...

Да, это был все тот же Пашка, умевший, услужить сильным.

Мы отвалили в полночь: корабль задержала погрузка каких-то государственных ценностей, вывезенных из Симферополя.

«Абхазия», крадучись, с потушенными огнями вышла из Северной бухты и стала на курс к берегам Кавказа.

Зарево стойко держалось над городом. Рокотала артиллерия, полукружиями вспыхивали зарницы. Прожекторы обыскивали низкое, пасмурное небо.

У меня на сердце было тяжело, хотя я и понимал причины, побудившие командование накапливать силы для удара в удаленных от противника районах, и необходимость разумного расходования сил флотского народа, и целесообразность использования специалистов на сухопутье. Сердцу не прикажешь: доводы разума не всегда для него убедительны. Ухватившись за поручни, я не отрывал глаз от Севастополя: «По-сыновнему ли покидать тебя в такую пору?»

Всего двенадцать дней нам пришлось пробыть в батальоне майора Балабана на сухопутном фронте за селом Чоргунем, в одном из секторов обороны крепости.

Здесь мы увидели более организованную оборону, порядок, сплоченность. Мы с Дульником работали в батальонной разведке, успешно ходили в тылы противника, и вдруг нас отозвали как специалистов в авиационный полк

майора Черногая, передислоцированный на Кавказское побережье.

С Сашей мы простились в окопах батальона.

И вот теперь мы шли к Кавказу на теплоходе «Абхазия».

Потеряв из виду берега, мы спустились в каюты третьего класса к своим морякам, списанным тоже на кавказские базы: флот передислоцировался, нужно было кому-то оборудовать базы.

Матросы говорили о первых потерях во флоте. Их суровые, сосредоточенные лица тускло освещались электрической лампочкой.

Начали укладываться спать: в дело шли шинели, бушлаты и вещевые мешки. Не раздевались. В море предвидели всякие неожиданности.

Я прилег рядом с притихшим, сосредоточенно о чем-то размышляющим Дульником. В таком состоянии я видел его редко, решил не мешать ему и постарался поскорее заснуть.

Утром я вышел на верхнюю палубу. Пришлось перешагнуть через ноги скромно одетой девушки, лежавшей у иллюминатора. Голова ее, повязанная красной косынкой, лежала на груди болезненного паренька в кубанке. Оба они спали. Лица у обоих были мертвенно бледны.

Два матроса из экипажа теплохода стояли у поручней. Один из них играл на балалайке. Моряки внимательно следили за проворными пальцами своего приятеля. Его игру слушали люди, лежавшие вокруг. Измученные тревогами, качкой и ожиданием воздушного нападения, лица их светлели.

Недалеко от нас шел второй транспорт — пароход, выбрасывающий густые валы дыма. Три эскадренных миноносца, зарываясь в свежей волне, сопровождали нас.

Караван шел в открытом море. В неясной пелене серого неба я старался рассмотреть берега Крыма. Возможно, вот то плоское серое облако над горизонтом и есть Чатыр-Даг. Да, это Палат-гора! Она находилась теперь в руках противника, как и вся южная гряда полуострова.

Серые облачка держались над нами и, казалось, цеплялись за наши короткие мачты. Флаг с растрепанной бахромкой бился на корме. Три чайки следовали за кораблем.

— Хорошая примета — чайки, — сказал нам вчерашний знакомый, капитан третьего ранга. — Птица деликатная.



Капитан был выбрит до синевы. Вместо шинели на нем была легкая куртка с латунной молнией. Из-под нее виднелся воротник кителя с чистеньким, матерчатым подворотником.

Я козырнул капитану. Он приветливо ответил и, облокотившись о поручни, глядел в воду.

Серые, сырые облака обсыпали нас мельчайшей водяной пылью. За кормой вилась широкая кильватерная струя. Теплоход покачивало.

К капитану подошел моряк во флотской фуражке и меховой шторм-куртке, поздоровался с ним за руку, стал рядом, закурил трубку. Это был немолодой человек с глубокими морщинами на худом, узком лице, с каким-то недовольным, обиженным выражением глаз.

Между капитаном и вновь подошедшим человеком, видимо, возобновился прерванный разговор.

— А то иди ко мне, — предложил капитан, — ты у меня в дивизионе пригодишься. Вот начнем давать духу немцу.

— Не отпустят...

— Рапорт за рапортом — отпустят, — уверял капитан. — Не будет клевать обычным порядком, обратись по партийной линии к Стронскому, тот раньше Адама понимал моряцкую душу!

— К Стронскому тоже надо попасть!

— Стронский — человек доступный. Не какой-нибудь там морячок, что семь лет моря не видал. Стронский свой брат — старый марсофлот. Надо, брат, сработать эту войну так, чтобы никто после войны, если жив будешь, конечно, пальцем на тебя не указывал.

— Это верно, — согласился собеседник и выпустил клуб табачного дыма. — Умереть красиво, с толком тоже трудно. Вот ходим на этой посуде и ждем. Швырнут с любого борта торпедой, или на мину напорешься и обратишься вот в подобие этого дыма, Михал Михалыч.

О борта бились взлохмаченные, некрупные волны. Свежий ветер и ноябрьская морось не отяжеляли дыхания. Радовала беспредельность морских просторов, нетронутых войной и страданиями, не хотелось думать о пережитых лишениях и о том, что предстояло еще впереди.

Я напряженно прислушивался к разговору двух приятелей.

— Вот послал меня на интересную работенку Николай

Михайлович Кулаков, — продолжал капитан, — иди, мол, сработай. Севастополю помогать нужно не только от Инкермана или Сапун-горы, а больше всего снаружи. Тоже отковырял: «Слушаю!» И вот иду к своему новому месту. Надо воевать так, чтобы пришли к победному столу прежде всего с уважением своих собственных товарищей. На войне, брат, мы ничего не наживем, опять будет одна рубаха да одна тельняха, и слава богу. Самое главное на войне — нажить доброе о себе слово и хорошую память, ежели засундучат к дельфинам в гости.

— Если бы только меня отпустили к тебе, Михал Михалыч, мы бы лихо сработали. Кто-кто, а я тебя бы не подвел.

— А если бы я знал, что ты меня подведешь, на кой бы дьявол я стал динще о камни царапать, а? Я знаю тебя, Павлушка, фанатик ты моря, а это самое главное, — Михал Михалыч хлопнул его по плечу. — Ты мою Валентину Петровну-то помнишь?

— Ну, как же не помнить Валентину Петровну!

— Так вот, Валентина Петровна часто мне самому говорит: «Если бы ты, Михаил, не был фанатиком моря, не любила бы тебя ничем». Отвечаю ей, моей Валентине Петровне: «Началась война, и начал воевать твой Михаил серьезно, надолго, без дураков. Буду воевать, дорогая моя, учить других, сам учиться, а дома редко, очень редко бывать...»

— А как Валентина Петровна?

— Как? Раз фанатик, значит фанатик. Принимает мою программу, гладит по последним моим кудрям. А у меня знаешь какой характер, Павел. Как сойду на берег, сразу запсихую. Как стал на руль — все слетело. С каждого человека, когда он берется за свое родное дело, сразу всякая посторонняя чушь слетает.

— Везет тебе, Михал Михалыч, — сказал со вздохом человек, которого называли Павлом. — Ты всегда делаешь то, что любезно твоему сердцу. А у меня наоборот. Ежели, к примеру, прошусь на секретаря союза безбожников, меня метят в архимандриты, и наоборот.

— Не завидую. Из капкана выбирайся, Павел, — сердечно посоветовал Михал Михалыч. — И к нам в торпедную катерную. Малы, да удалы. А какие у нас ребята! Возьми Куракина Александра Афанасьевича, Шенгура Ивана Петровича, Проценко Виктора Трофимовича, Поды-

машина, Пелипенко, Сашу Местникова, — ведь это, увсрюю тебя, будут такие профессионалы боя! Как хорошие пилоты!

— Определенно. Надежные командиры.

— Эти уж знают, когда мотор лучше завести холодным или горячим. Новичок скажет: «Лучше горячий», а мы скажем: «Холодный». Почему? Да у холодного большие компресии, чем у горячего, ежели материальная часть подшошенная. Нужно будет — на самолюбии будем плавать, а не на материальной части. Завязали завязочку двадцать второго июня и не скоро развяжем. А кончим войну, — а мы ее обязательно хорошо кончим, — возьму кусок хромированной проволоки и сделаю себе серьгу в правое ухо.

— Серьгу? В ухо?

— На память сделаю. Вот можешь ты поверить, что я, известный тебе морской бродяга, когда немецкие танки прорвались к Севастополю, не утерпел, взял кинжал и сделал себе глубокий укол в левое плечо.

— Для чего же, Михал Михалыч?

— Чтобы опамятоваться, Павел. Танки противника с суши прорвались к нашей флотской столице. Течет кровь у меня по телу, а мне легче. Выстроил я своих орлов, сказал: «Помрем за Севастополь, а не сдадим! Зубами будем грызть танки, если придется, все ляжем, а не отдадим...» Хотя нечего вспоминать, обкаталось, — Михал Михалыч улыбнулся. — Пойдем-ка вниз, там у меня коньячишко имеется.

Я посторонился, и командиры прошли мимо меня.

К борту подошла девушка, та, что спала у иллюминатора. У нее попрежнему было бледное лицо, под глазами круги.

— Я никогда не плакала в открытом море, — сказала она, поймав мой взгляд. — Не совсем хорошо себя чувствую. А моего брата закачало совсем.

— Это ваш брат... в кубанке?

— Да. Я кое-как успела вывезти его из тубинститута, из Массандры, — ответила девушка. — Он очень серьезно болен. У него открытая форма туберкулеза. Двусторонний процесс...

— Вам неудобно на палубе: холодно, сыро...

— Мы были в каюте, — тихо сказала девушка. — Нас устроил начальник порта. Но еще до отхода в каюту влетел какой-то моряк и... попросил нас отсюда.

— Моряк? — переспросил я.

— Тише, — девушка оглянулась, — ничего не поделаешь. Военным, конечно, нужно получить лучшие условия. Ведь им после перехода по морю, может, сразу в бой.

— Кто же выбросил вас из каюты?

— Не надо, не надо...

— Скажите. Ведь стыдно нам всем. Не может так поступить настоящий моряк!

— Командир, который занял нашу каюту, — девушка приблизилась ко мне, — стоял здесь. В такой вот короткой кожаной куртке, красивый такой.

Я быстро, перепрыгивая через людей, лежавших на палубе, направился к пассажирскому люку.

На трапе я столкнулся с Дульником. Он приглашал меня завтракать. Я взял его за рукав и потащил за собой. Дульник, догадавшись, что произошло «чепе», то есть чрезвычайное происшествие, охотно последовал за мной, спросив о причине волнения.

Мы пробирались с ним по коридорам первого класса. Судно нудно скрипело. Сверху, на палубе, слышалось глухое лязганье подкованных железом каблучков.

Разыскав каюту капитана, я остановился, чтобы собраться с духом. За дверью вели громкий разговор.

— Сработать надо войну правильно, — слышался голос капитана, — никто пальцем на тебя не должен тыкать. И вести себя нужно с флотским народом мудро. Требовать требуй, но не шарлатань своей должностью... А то вот, к примеру, Павлушка, ты его знаешь (следовала какая-то фамилия, известная им обоим), подчинялся я ему полтора года. Пустой человек! Бесцельно может суетиться, кричать, обещать, хвастаться, свою копейку за рубль выдавать. Его суета всегда приводила к противоположным результатам. Пока его нет близко, все стараются, работа идет; появляется он, на шумит, нагремит, все разладит, уйдет. Люди после его ухода все сделают по-своему, а он после кричит взахлеб: «Я! Я! Я!» Стучит в грудь. Прямо бы его на дрянном шкертке удавил, а то засунул бы его в форпик, — плавай, учись жизни...

— Кто-то там ломится, Фесенко! Может, какой свой марсофлот? — раздался голос капитана. — Впусти!

Щелкнул ключ, дверь приоткрылась. В дверях стоял подвыпивший Пашка с аккуратно зачесанными назад волосами, во фланелевке, на которой висела надраенная до блеска медаль «За отвагу».

Фесенко, видимо, ожидая встретить командиров, приготовил почтительную улыбку. Увидев же нас, растерялся. Он смотрел на меня немигающими, удивленными глазами. И вдруг вместо того, чтобы поздороваться со мной, юркнул в каюту.

Я застучал кулаком.

— Да кто там, Фесенко? Пусти хоть самого дьявола! — закричал капитан. — Чего ты там ворожишь?

Фесенко снова приоткрыл дверь. Теперь на его голове была надета мичманка, а на поясе пристегнут морской пистолет. Я поставил ногу между дверью и нижним пазом филенки, нажал плечом.

— Фесенко, это я, Лагунов!

Пашка, изобразив на лице удивление, протянул мне руку:

— Сколько лет, сколько зим!..

Еле сдерживая негодование, я принялся укорять Фесенко за его грубый поступок с девушкой и ее большим братом. Моя взволнованная речь произвела на Пашку совершенно иное впечатление, чем я ожидал.

Все небрежней и небрежней становилась его поза, все сниходительней улыбка. Наконец, не дослушав до конца мои соображения о поведении моряков в море, Пашка посмотрел на часы и, взяв мою руку выше кисти, пожал ее и легонько подтолкнул меня от двери:

— Иди, брат, отдохни...

Тут я не стерпел и с силой оттолкнул его. Пашка отпрянул с внезапно посеревшим лицом, дверь в каюту с треском распахнулась. Из-за столика поднялся Михал Михалыч.

Капитан третьего ранга был без кителя, в одной тельняшке, открывавшей его сильные, волосатые руки. Пронзительные глаза уперлись в меня, и я увидел, что все его тело напрягается, на лице заходили желваки. Белки его глаз налились кровью. Вероятно, этот человек был страшен в гневе.

Не знаю, чем бы все кончилось, если бы на помощь мне не пришел Дульник. Он неожиданно очутился впереди меня и звонким голосом рапортовал по всем уставным правилам о причинах нашего вторжения. Дульник стоял в идеальном положении по команде «смирно», не опуская ладони от своего виска, с откинутыми назад плечами.

Михал Михалыч был поражен внезапным появлением

третьего лица. Его гнев прошел, глаза улыбались, вспотевшие пальцы забарабанили по стеклу столика, оставляя на нем пятнышки.

Внимательно выслушав Дульника, Михал Михалыч взял бутылку и налил две полные чашки коньяку, поставил чашки на ладонь, протянул нам.

— Эх, марсофлоты, марсофлоты, — со вздохом произнес он, — зеленые юноши! Давай-ка опрокидывай!

Михал Михалыч ласково и испытующе приглядывался к нам. Дульник попытался предложить было выпить за здоровье капитана, но Михал Михалыч решительно остановил его жестом загорелой руки.

— Выпьем, ребята, за то... — Михал Михалыч, не спуская с нас глаз, рукой нашарил бутылку, налил себе коньяку, — за то, чтобы и в пятьдесят лет у вас сохранился такой характер... чтобы... и в пятьдесят лет вы смогли делать так называемые необдуманные поступки, в самом хорошем смысле этого слова. — Он покусал свои темные губы. — Выпьем, ребята, чтобы в человеческих отношениях не было постоянного расчета, второй мысли, чтобы друг был другом по-настоящему. Поймите меня правильно, ребята. Желаю вам прожить сто лет, а ежели начнете румб за румбом отклоняться с такого курса, молитесь богу, чтобы отправил вас к дельфинам раньше, чем сделаетесь подлещиками...

Михал Михалыч залпом выпил коньяк и сквозь зубы сказал Пашке:

— Выматывай весь хабур-кабур из каюты.

Фесенко зло глянул на нас.

— Товарищ капитан третьего ранга, я думаю...

— Я люблю думающих людей, — оборвал его Михал Михалыч, — а сейчас наберись мужества и обдумай прежде всего свою ошибку...

Пряатель Михал Михалыча сидел на койке, прислонившись к стенке, и внимательно наблюдал за всем. Он не проронил ни одного слова. Его лицо сохраняло то же обиженное выражение, которое я заметил при нашей первой встрече.

Фесенко принялся собирать пожитки, стараясь все время оставаться к нам спиной. Михал Михалыч поправил пистолет на поясе, надел китель, застегнулся, вынул из кармана гребенку и быстро причесал свои редкие, черные, с небольшой проседью волосы.

— Мы, Павлушка, перебазируемся на твою площадь, — сказал Михал Михалыч, — а то этот услужливый балбес еще чего-нибудь набедокурит.

«Павлушка» молча кивнул головой, встал и вышел вместе с капитаном.

Мы остались с Фесенко, не окончившим еще сбора вещей.

Он заискивающе улыбался, поминутно вытирал пот со своего белого лба, полуприкрытого новеньким козырьком мичманки. Пашке хотелось получить наше прощение. Я решил не быть злопамятным. Перед его уходом мы условились встретиться и поговорить обо всем.

Девушка и ее брат не высказывали словами своей благодарности. Она чувствовала себя неловко и в чем-то оправдывалась. Вскоре брат ее натужно закашлялся. На платке, поднесенном к его рту сестрой, появилась кровь. Девушка нахмурилась, быстро смяла платок в кулаке, на ресницах ее появились слезы. Мы ушли, узнав, что фамилия этих молодых людей была Пармутановы. Ее звали Камелия, его — Виктор.

Люди лежали на палубе под морозящим дождиком, прикрывшись одеялами, шинелями, чехлами от орудий.

Тучи заволокли небо. Только в одном месте была видна бледно-голубоватая полоска, будто протянутая акварельной краской над потерявшимися вдали берегами Крымского полуострова.

Матросы шептались между собой. Оказалось, что радист пробежал из рубки к капитану теплохода с известием о появлении на нашем пути подводной лодки.

Мне было тоскливо. На теплоходе я чувствовал свою оторванность от Крыма, не знал, что меня ждет на Большой Земле. Хотелось с кем-нибудь поговорить, поделиться своими мыслями.

Я вздрогнул от чьего-то прикосновения. Рядом со мной, створачиваясь от ветра, стоял Пашка с виноватым выражением на лице.

Мелкие капельки дождя оседали на его шинель, серебрили черный ворс, дрожали на козырьке.

— Ты не сердчай на меня, Сергей, — сказал Пашка, — всякое бывает в жизни.

— А что мне сердчать на тебя? — ответил я.

Фесенко сразу понял мою недоверчивость и отчужденность, криво улыбнулся, вытащил из кармана пачку па-

пирос и протянул мне. Я отказался. Тогда он закурил сам, перешел на подветренную сторону, облокотился о поручни, помолчал. Если ветер нагонял дым на меня, Фесенко отгонял его рукой, искоса следя за мной зеленоватыми прищуренными глазами. Я вспомнил слова Михал Михалыча, произнесенные с такой искренностью. Мне показалось, что я слишком строг к Пашке: ведь мы оба участники битвы, завязавшейся всерьез и надолго — на жизнь и на смерть. И я притронулся рукой к холодной руке Фесенко.

### Глава девятая

#### «ТЫ НЕ ЛЮБИШЬ СВОЙ ПОЛК!»

Красноармеец из службы охраны ведет меня по аэродромному полю к командиру полка. Он не вступает со мной ни в какие разговоры, хотя знает меня хорошо, не так давно относился ко мне почтительно, а теперь я стал для него каким-то чужим, подозрительным.

Мне казалось, что причиной был найденный в наволочке разобранный автомат, который я должен был сдать по общему приказу для вооружения парашютистов, формируемых в Гудаутах. Считая себя парашютистом, я не сдал автомат.

Меня нашли возле самолета, посадили на гауптвахту — каменный амбар, примыкавший к вещевым складам. Прдержали на гауптвахте два дня и вот, наконец, меня ведут к самому командиру полка майору Черногаю.

Моя вина кажется настолько незначительной, что я не сомневаюсь в благополучном исходе разговора с командиром полка, несмотря на неустойчивый, грозный характер майора. Шагая впереди конвоя, я продумываю возможные вопросы комполка и мои ответы, поражающие даже меня своей логичностью.

Низкие облака подползают с моря в нашу долину, охваченную с трех сторон горами. Тучи подгоняет посвежевший к вечеру ветерок. Молодой, пухлый снег, лежащий на вершине хребта, не вяжется с зеленой травкой, застлавшей, словно ковром, аэродромное поле.

То там, то здесь виднеются недавно вернувшиеся из боя истребители. Кажется, машины чрезвычайно ус-



тали. Мы привыкли относиться к ним, как к живым существам.

Южная зимняя сырость пронизывает насквозь. Хочется спрятать нос в воротник, хочется потереть руки. Присутствие конвоира заставляет меня воздержаться от лишних жестов.

Возникшее в мозгу слово «арестант» заставило меня вздрогнуть от стыда. Возле самолетов — люди. Они знают меня, и мне хочется спрятаться от людских взглядов, скорее разъяснить все. Я невольно ускоряю шаги. Конвоир догоняет меня. Толстенный солдат в ватнике, перепоясанном ремнями, с соломенными ресницами, сутулыми плечами и озябшими большими кистями рук, торчащими из коротких рукавов шинели, недовольно ворчит:

— Тише! Куда бежишь? Успеешь еще, молодец! Командир злой сегодня. Три самолета не вернулись.

Комполка трое суток болел гриппом и ангиной, но, несмотря на болезнь, делал лично два-три боевых или патрульных вылета. Сегодня он потерял над Таупсе трех лучших своих пилотов и был раздражен до крайности. Красноармеец был безусловно прав. Не стоило сейчас попадаться под горячую руку майора.

Адъютант приказал мне подождать и пошел доложить обо мне майору. Через неплотно прикрытую дверь я услышал его доклад и сказанные в ответ неслестные слова по моему адресу. Кровь бросилась мне в лицо. За тонкой фанерной дверью, окрашенной краской для самолетов, уже было составлено обо мне мнение.

Адъютант предложил мне зайти к командиру. Я стиснул зубы, вошел в комнату, остановился у порога.

Майор Черногай сидел у стола в меховом комбинезоне и пил горячее молоко с боржомом. Его ноги в унтах были широко расставлены. На полу лежала карта, расчерченная квадратами и исписанная цветными карандашами. Здесь же на полу валялся летный планшет, краги. Шлем с прикрепленными к нему очками лежал на столе, прижатый локтем. Кожаные коробки телефонных аппаратов были сдвинуты к краю стола для удобства разговора. На столе лежал пистолет в кобуре с расстегнутой кнопкой. Морской китель майора висел на стене на плечиках. На кителе были привинчены боевые ордена и подшит чистенький подворотник. Большая карта Черноморского бассейна военных действий висела на стене от потолка до самого пола. Май-

ор пил молоко с боржомом, молчал, сопел, и поэтому у меня было время разглядеть его обезображенное ожогом лицо.

Майор недавно был писанным красавцем — так говорили его друзья, — с неистощимым проворством он разыскивал самолеты врага и сжигал их вместе с экипажами, скорострельными пушками и мудрыми приборами. Это было в районе полуострова Ханко, фактически над чужой землей. Майора выследили авиаторы противника, большой хищной стаей набросились на него и, вдоволь поиздевавшись, заставили его выброситься с парашютом из горевшего самолета, а потом кружились вокруг, пытаясь расстрелять из скорострельных офицерских «вальтеров». Сбивая ладонями пламя со своей одежды, майор опустился в море невдалеке от полуострова и нашел в себе силы доплыть до прибрежных скал крупной, русской саженкой.

Его сильная воля вступила в непримиримую борьбу со смертью, и он поборол ее.

Теперь майор Черногай носился, как огненный снаряд, над окровавленной землей. Почти каждый день техники подрисовывали на фюзеляже его самолета новые звезды — счет сшибленных самолетов врага. Самолет комполка даже враги называли «кометой», и сколько бы ни было немецких асов — при виде «кометы» разлетались в стороны, стараясь удрать от его неистребимого гнева.

Вот комполка поднял на меня глаза, окруженные изуродованной кожей.

— Ты что же хочешь? В трибунал?

— Разрешите объяснить, товарищ майор?

— Все, что мешает... — Его щеки, так же обожженные, как и глаза, и покрытые рубчатými складками, неравномерно покраснели, обезображенный кулак погрозил в воздухе.

Я видел обожженную кожу его кулака, розовые полосы, расходящиеся, как вожжи, от пальцев, и замолчал. Такой человек мог кричать и угрожать мне. И если он кричит, и угрожает, и не желает выслушать мои объяснения — значит все верно, и надо, не задумываясь, принимать наказание. И я замолчал.

Ладони моих рук вспотели, в глазах начинало расплываться.

Я очнулся от крика майора. Он стоял передо мной, глядя на меня своими страшными глазами с обнаженными

нижними веками, притянутыми почти к щекам розовой кожей шрамов.

— Почему ты молчишь?

— Простите, товарищ майор.

— «Простите!» — Его губы скрипелись в язвительной улыбке. — Ты с кем говоришь? С учителем танцев?

Мое молчание сердило комполка, гнев душил его.

— Ты не любишь свой полк! — выкрикнул майор. —

Сегодня в воздушном бою погибли три великолепных пилота, а ты молчишь. Пишешь заявления о переводе в другую часть. Тебя надо было предать трибуналу за равнодушные к своему полку.

Я молчал. Действительно, этот полк был для меня чужим. Мой дух бродил где-то над сопками Севастополя, в блиндажах у Чоргуня, на улицах крепости, где четко стбивали походный марш пыльные ботинки приморцев. Мне чудились сейчас упавшие вниз лицом мои друзья.

Зазвонил телефон. Майор взял трубку, поставил ногу на стул и приготовился слушать. Потом он сел, подвинул к себе лист бумаги, схватил карандаш и стал писать, повторяя время от времени: «Да, да, да». Я видел его курчавую густую шевелюру, спасенную от огня плотной кожей шлемофона, аккуратно подстриженный затылок, следил, как слегка шевелилось его плечо вслед за движением руки с карандашом.

Вот он бросил последнее «да», взялся за ручку другого телефона и бесстрастным, металлическим голосом, в котором не осталось и тени от недавнего раздражения, произнес:

— Атакован севастопольский караван... Да... Вылетаем всем полком.

Майор встал. Его глаза скользнули по мне, как по совершенно постороннему предмету.

Комполка быстро натянул шлемофон. Молнии комбинезона с сухим треском прошлись кверху. Он пристегнул пистолет, взял планшет с пола. Потом его слезящиеся глаза с удивлением остановились на мне.

— Адъютант! — крикнул он.

Вбежал адъютант.

— Его, — комполка пальцем ткнул в мою сторону, — на гауптвахту! Прилечу с задания — закончим разговор.

От моря дул соленый ветер, добирался до тела, знобил. Под ногами чавкало. Жизнь казалась отвратительной штукой.

И в это чудовищное зимнее месиво туманов, ветра и дождя, перекрывая рокот прибоя, ввинчивались с ревом и свистом металлические одномоторные машины.

Матово отсвечивали ртутью фугасные ямы, наполненные до краев водой. Над северными отрогами гор ветер, как жгут, крутил зловещую тучу.

Красноармеец, сопровождавший меня, потянул носиком воздух, сказал, сжимая и разжимая маленькие, обветренные губки:

— Туапсе досе горит. С Крыма летает, едри его на кочан. — Потер озябшие руки, подул на пальцы.

Навстречу нам быстро шел моряк в ватной куртке. Ленточки бескозырки были зажаты в зубах. Моряк наклонил голову, чтобы не поддаваться ветру. Из-под его сапог фонтанами разлетались брызги. Это был Дульник. Появление его здесь не могло объясняться случайностью.

Дульник поравнялся с нами и удивленно воскликнул, как бы встретивши меня невзначай:

— Лагунов!

Я остановился в нерешительности, не зная, как подobaет держаться в моем положении.

Дульник всплеснул руками:

— Вот у меня тоже так получилось, Сергей! Вдруг с моей подшефной машины начало пробивать масло. Самолет вернулся, и меня за шкирку... Ай-ай-ай, зачем же так невежливо?

— Иди, иди, ухарь, своей дорогой. Давай шагом арш! — сказал конвоир.

— Нельзя же так, — укоряюще сказал Дульник. — Не осужденный же... Встретились приятели.

Не обращая **внимания** на насупившегося красноармейца, Дульник потрогал ладошкой отросшие на моем затылке волосы, покачал головой:

— Не чешешься, Сережа. Ай-ай-ай! Гляди, как бы мудрость не завелась. На «губе» скушно? — Он глубоко запустил руку в карман своих ватных штанов и извлек оттуда обыкновенный частый гребень. — Вот тебе мой подарок, почитай... тью... почешись! — Он кивнул мне многозначительно и обнадеживающе, зябко передернул плечами, прикусил ленточки и быстро пошел по своему пути.

Когда громко щелкнул замок амбара, я вытащил гребешок, пощупал его в темноте: поверхность была шероховатая. Я зажег лампу, сел спиной к окну и прочитал выре-

занные на гребешке слова: «Камелия встречалась со Стронским, который им знакомый. Жди. Не хнычь душой».

Витиеватая буква «Д», похожая на старинный дворянский герб, заключала послание Дульника.

Я невольно улыбнулся. Опять мой друг Дульник не мог даже в таком деле обойтись без выдумок. Можно было предупредить меня гораздо проще. Обязательно гребешок, выпарапаннные слова...

Я второй раз перечитал неуклюжие буквы, задумался. Камелия, конечно, — девушка с «Абхазии». Стронский? О нем говорил Михал Михалыч: «Не будет клеветать обычным порядком, обратись по партийной линии к Стронскому, тот раньше Адама понимал моряцкую душу».

Мне припомнился пришедший в наш рабочий домик худощавый, лысоватый человек с внимательными, решительными глазами, с поразившими меня татуировками на матросских руках. И мне представилось, что именно эти руки притащили на наш водоплеск, притихший после гибели «Медузы», моторные баркасы «Завет Ильича» и «Боец коммунизма». Стронский! Даже сочетанием звуков его фамилии вызывалось представление о чем-то возвышенном.

Море, казалось, колотило в стены амбара. У затуманенного окна маячил силуэт часового, будто вырезанный из дымчатого картона. Солдат сторожил не только гауптвахту, но и склады, а я думал, что он приставлен специально ко мне. Тело начинает непроизвольно дрожать мелкой, мерзкой, не зависящей от моей воли дрожью.

И самое страшное для меня то, что я не понимаю своей вины. Мне думается, что я не нарушил присягу, данную мной на Крымском полуострове первого мая сорок первого года.

Да, я писал письма в отдел кадров флота с просьбой перевести меня в парашютно-десантные части. Но формально я мог, имел право проситься о переводе в другую часть, непосредственно действующую на фронте. Да, меня влекло только туда, и, пожалуй, я не отдавался целиком своей работе и не так сильно, как полагается, любил свой полк. Да, я не сдал автомат, несмотря на приказ, но мне казалось, что я поступаю правильно: мне так не хотелось отрывать от себя то, что я считал частицей города, имя которого было для меня дороже всего, — Севастополь!

В ушах настойчиво звучал голос Михал Михалыча: «Сработать надо войну правильно, никто пальцем на тебя не должен показывать».

Низко над амбаром проревели самолеты. Я представил себе их узкие тела, как шпагами, рассекающие упругий, набрякший осадками воздух.

Вот сейчас над шиферной крышей пролетел изуродованный комполка, только что отстоявший севастопольский караван. Безусловно, он отстоял его. Он не может худо выполнять поставленную перед ним задачу. Если вернулась «комета», значит боевая задача выполнена.

Я вскочил с койки, прильнул к стеклу разгоряченным лбом. Море зловеще атаковывало берег. На площадке зажмурился яркий глаз прожектора. Чугунная темнота навалилась на поле. Медленно прошагал часовой: я увидел его профиль.

Сейчас Черногай отбросил колпак, вылез на крыло и тяжело спрыгнул на землю. Зашуршали змейки молний, содран с мокрой головы шлем. Ночью никто не видит лица командира, и он шутив и находчив. А хотя бы и вспыхнули тысячи ламп! Изуродовано лицо, а не душа! Недаром его боевые друзья не замечают его уродства, а художники попрежнему пишут с него картины.

Я проснулся, разбуженный самим командиром полка.

— Тебя, Лагунов, требует к себе высокое начальство, — сказал Черногай дружелюбно. — В случае чего, теперь я буду защищать тебя, Лагунов. Погорячились — и ладно...

### Глава десятая

## РЕШЕНИЕ ГЕНЕРАЛА ШУВАЛОВА

— Что же у него? — Короткие пальцы генерала Шувалова выудили из груди бумажку, потрясли ею в воздухе. — За месяц шестого. Кто-нибудь этим интересуется, Стронский?

Генерал обращался к человеку в военно-морской форме, который стоял, заложив руки за спину, у широкого итальянского окна, выходящего в сторону порта.

— Вот поэтому и поставлен вопрос перед вами, — ответил Стронский, не вынимая рук из-за спины и глядя на

генерала спокойными, а может быть, усталыми глазами. — Формально он прав.

— Формально! — Руки Шувалова не отпускали бумагу. — Выявлять надо недостатки подчиненных и наказывать прямые преступления. Это же не суп варить и так это легкошко накипь снимать шумовкой и — в локанку. Так в конце концов...

Стронский устало улыбнулся, передернул плечами, что могло означать и возражение и согласие.

— Геронческий командир полка, — тихо сказал он. — Много испытанный, злой... Как солдат безупречный. Подтягивает полк.

Шувалов положил бумагу на стол, прошелся по комнате быстрыми шагами, остановился возле меня, застывшего навтыжку у дверей кабинета.

— Ишь, какие юнцы! У него еще в голове... — генерал покрутил возле редких волос пальцами. — Из комсомола, от мирной работы, от забав сразу швырнули в такой... в такой... водоворот.

Шувалов подсел к столу, снял с бутылки перевернутый стакан, налил нарзану, залпом выпил.

— Правильно, — подтвердил Стронский.

— Отцы и матери нам их доверили, — продолжал генерал, — отдали напригляд. Надо душевней воспитывать молодежь, а не пинками.

В этот момент я мог бы выпрыгнуть из окна за генерала Шувалова. Мгновенно какие-то цепкие канаты прикрепили меня к этому порывистому человеку, на первый взгляд такому холодному, а оказывается, душевному, благородному.

Так вот каков генерал Шувалов, известный мне еще по рассказу капитана Кожанова там, в крымском горном лесу!

— Поэтому я и решил лично обратить ваше внимание на дело Лагунова, — сказал Стронский, поднес худую татуированную руку ко рту, кашлянул. — Дело такое, как повернуть... Точка зрения командира полка вам известна.

Шувалов посмотрел на меня пытливыми, добродушно-хитроватыми глазами.

— Командир обязан знать всех не гамузом, а в одну точку, — сказал он хриповатым голосом. — Знать моральные и физические качества каждой доверенной ему индивидуальности и соответственно требовать с каждого по его

моральным и физическим силам. А ты, Лагунов, знаешь, кто твой командир? Научился уважать его как личность, как человека, а не только за нашивки на рукаве?

— Наш командир полка майор Черногай — герой полуострова Ханко...

Шувалов остановил меня:

— Этому вас выучили. Знаю утвержденную для работы биографию вашего комполка. А знаешь ты, к примеру, как погиб отец вашего комполка?

— Нет, товарищ генерал!

— То-то, юноша! — Генерал поднял палец. — Отца твоего командира полка погубили колчаковцы в Сибири в гражданскую войну. Страшно погубили. Колчаковцы привязали его голого к лиственнице и оставили на съедение мошкаре, гнусу. Есть на Енисее такая мошка, маленькая, как mosquito, эта мошка ходит тучами днем. Она не пьет кровь, как комар, а садится на тело и вгрызается в мясо. — Генерал ущипнул себя за шею, скривился, как от физической боли. — Сядет, вопьется, выест кусочек мяса и улетит. Так и разнесли отца твоего командира, истого коммунара, по кускам, сточили до костей, оставили скелет на веревках... А сына, то есть вашего командира полка, немцы сожгли. Гонялись, гонялись и догнали. Сожгли... Остальное ты знаешь. Вашему командиру не нужно бумажками отчитываться, у него уж действительно биография налицо... Вот какие люди двух сменяющих друг друга поколений. Отец и сын. За что же они претерпели такие муки? За родину, Лагунов. Самих до костей съедал гнус, самих до костей сжигали, а родина целехонька оставалась и останется... Такие вещи надо впитывать в кровь, а не только зубрить по шпаргалке. У тебя чем занимается отец? Жив?

— Жив, товарищ генерал, — ответил я.

— Я знаю его отца давно, — Стронский подошел к столу, — его отец председателем колхоза в станице Пескупской.

— Отец председатель колхоза, а сын против коллектива? — Генерал приподнял бровь и с нарочитым удивлением округлил свой синий глаз, набрякший нездоровым отечным мешочком.

Я молчал, подавленный новым обвинением.

— Три миллиона парашютистов-диверсантов, нож в зубы, прыгай, режь, коли! Рокамболи!



Я вспомнил злополучные мои заявления о переходе в группу Балабана. Да, я писал о необходимости глубокого проникновения в тылы противника, чтобы парализовать его смелыми и решительными действиями небольших групп и одиночек.

Стронский внимательно следил за мной и видел, конечно, мое волнение. Он подошел ко мне и спросил, стараясь смягчить суровый смысл слов добрыми интонациями голоса:

— Генерал спрашивает... почему твой отец был вожаком колхозного движения, первым трактористом, а ты против...

— Против коллектива, — добавил Шувалов.

— На войне, — ответил я.

— Подумай, — посоветовал Стронский. Лицо его и шея покраснели.

— погоди, Стронский, — вмешался Шувалов, чрезвычайно заинтересованный. — А разве есть разница?

— Да, товарищ генерал.

Стронский безнадежно махнул своей татуированной рукой и, стоя к окну, сел на подоконник, заложив ногу за ногу.

— Какая же разница? — допытывался Шувалов.

— В сельском хозяйстве коллектив созрел и дает результаты, а на войне, я думаю, обратное...

— Ну-ну, продолжай, не заикайся.

— Как один — хорошо, как два — хуже, как десять — разброд.

— Так, — генерал прошелся по кабинету с довольной улыбкой, осветившей его лицо откуда-то изнутри. Он помолчал, соображая, и снова обратился ко мне: — Сколько мы воюем?

— Полгода, товарищ генерал.

— Так... — Генерал облегченно вздохнул. — А коллективное сельское хозяйство... сколько воюет?

Хитрые огоньки запрыгали в его глазах. Губы растягивались в улыбке.

— Если считать с расцвета колхозного движения, то есть с двадцать девятого года, то...

— То?

— Тринадцать лет, товарищ генерал.

— Тринадцать лет, — подкрепил генерал. — Видишь, какой разгон? — Он поймал язвительную улыбку Строн-

ского, взъерошил волосы, обратился к нему: — Ты, думаешь, Стронский, что я предполагаю и в войне брать такой разгон? Нет, нет, батенька, так не размахнемся щедро. А разгон нужен. А вот такие мыслишки, столь смело выраженные этим юношей, надо быстрее вытравить. — Он снова обратился ко мне: — Один-то в поле не воин. Ничего так не получается. Какая сила у одного человека? — Шувалов огляделся, всплеснул руками: — Сейф-то опять на том же месте стоит! Зимнее-то, зимнее солнце, а юг все же сквозь стекло палит, мастику на печатях плавит... Лагунов, извини меня, перебыю разговор, подвинь-ка сейф в тот, прохладный угол.

Мне показалось, что генерал решил надо мной пошутить, и я не двинулся с места. Шувалов повторил приказание.

Я подошел к шкафу, но сдвинуть его с места, даже чуть-чуть приподнять не было сил. Мне не за что было ухватиться, руки скользили по полированным стальным бокам.

— Не поддается, шут его задери, — сказал генерал, наблюдавший мою возню. — Ну-ка, я помогу, Лагунов. — Он подошел с другой стороны, обхватил шкаф широко расставленными руками, покряхтел. — Стронский, чего любишься? Давай сюда...

Стронский не понимал еще, что затеял генерал, поддел шкаф снизу своими руками, разогнулся, оглядел ладони с приставшей к ним паутиной.

Шувалов же, видимо, довольный своей затеей, покричал в приемную:

— Заходите, кто там?

В кабинет быстро вошло несколько человек командиров, среди них был Михал Михалыч. Генерал глазами указывал им, что нужно делать.

Первым догадался Михал Михалыч. Мешавший ему пи-столет он передвинул за спину, подмигнул своему другу, известному под именем Павлуши, налег на сейф, как бы приклеившись к его бокам крепкими, бронзовыми от загара руками.

— Ну, взяли! Еще раз взяли! — крикнул он весело.

Шкаф был поставлен на указанное Шуваловым место. Запахавшиеся командиры вышли в приемную. Я, смущенный, стоял на ковровой дорожке посредине комнаты.

— Практическое обучение наглядным способом? — прищурившись, спросил Стронский.

— Просто к месту пришлось, Стронский, — весело ответил генерал. — Сейф давно прошу переставить поближе к моему креслу. А ты не дотянешься до секретных документов, а в войну ведь все документы секретные... — Шувалов снова налил нарзану, выпил весь стакан. — Видишь? Лагунов. Никакие серафимы и херувимы не помогли. Взятся один, тык-мык — и ни с места. Взятись вдвоем — только дыхание развели, и третий почти не помог. А налетели гуртом — и на месте стоит такое стальное чертило. А Германия? У них Рурский бассейн, Силезия и еще немало всяких бассейничков и бассейнов. Они смерть строили, а мы жизнь, коллективы, тракторы, комбайны, сенокосилки, гидростанции, не мешали никому. И теперь решим всем коллективом. Один ничего не сработает. А ты хочешь единоличником войну смастерить и добиться победы... Вот что самое главное...

Пароходный гудок наполнил воздух густыми октавами. Шувалов подошел к окну, остановился, уперся растопыренными пальцами в окрашенную белилами раму. Стронский также повернулся к окну. Они смотрели на порт, который мне отсюда не был виден.

— Караван благополучно дотянул до Севастополя, — сказал Шувалов. — Раз, два, три, четыре, пять, семь... А те «эс-ка», видно, здесь подстроились. Как позашмурьгали красавцев! Плавает это себе корабль в мирном море, белый, как лебедь, глаз отдыхает, а приходит проклятая война, и так все мрачно, а тут еще снимаем все веселые тона, маскируемся под ящерицу, под гадюку, под землю...

Шувалов подошел к радиоприемнику, накрытому в углу скатерткой с вышитыми птичками, включил его.

Вскоре зазвучал плотный мужской голос. Теперь он спокойно скандировал официальную передачу: «...На подступах к Севастополю на всех участках фронта в течение дня продолжались ожесточенные бои. Части нашей армии стойко отражают натиски врага, нанося ему огромный урон в живой силе и технике. В районе Ч. наши подразделения в двухдневных боях истребили до половины состава дивизии и много материальной части».

Генерал подошел к карте, дернул шнур. Шторка сошлась сборочками.

— В районе Ч. — Шувалов пожевал губами. — Вероятно, здесь? Чоргунь?

— Чоргунь, товарищ генерал, — выпалил я.

— Откуда знаешь?

— Дрались там, товарищ генерал.

— После Карашайской?

— После, товарищ генерал.

— Верно, верно, дрался...

Генерал нагнулся к ящику стола, вытащил красную папку с завязками из шелковых ленточек. Его пальцы немело развязали бантики. Стронский подошел к генералу, посмотрел туда, куда указывал палец Шувалова.

— Его к награде представили. — Генерал скользнул по мне испытующим взглядом. — Видишь, за Чоргунь... Боевым. Отличился. Думал задержать представление, а теперь не знаю...

Из эфира доносился тот же голос:

«...Наша часть перешла в контратаку. Завязался кровопролитный бой, перешедший в рукопашную схватку, в которой немцы понесли большие потери. Только один боец Александр Редутов убил одиннадцать немецких солдат и одного офицера».

Саша! Александр Редутов! Я на минуту забыл обо всем, что меня так волновало и беспокоило. Я слышал произнесенные из самой Москвы слова о моем друге Сашке, который лично убил одиннадцать немецких солдат. Сашка! Он готовился стать архитектором, а сейчас воюет под селом Чоргунь, на подступах к Севастополю... Представил себе эти облитые кровью высоты, нумулитовые скалы со следами лопат и кирок, обрызганные мелкими кусочками снарядной стали, расклеванные пулями.

— Пусть посидит пока в приемной, — сказал Шувалов. — Распорядись, Стронский... Отца-то близко нет... Приму еще несколько посетителей, а потом с ним договорим. Это же ему на всю жизнь. Может, из него настоящий человек выйдет.

В приемной я присел на мягкий диван. Михал Михалыч подвинулся, с любопытством посмотрел на меня.

— Э, брат, видно, сработался у этого моториста последний ресурс, — обратился он к приятелю. — Шел бы он ко мне в дивизион «тэ-ка», сразу бы на ветерочке окреп. Там, брат, на ножках не пошатаешься, начнешь шататься...

Адъютант громко вызвал Михал Михалыча.

А когда он вышел из кабинета генерала, вспотевший и сияющий, подхватил хмурого Павлушу и повлек за собой, меня вызвали снова.

Генерал и Стронский сидели на кожаном диване и, видимо, только что закончили оживленный разговор, доставивший им взаимное удовольствие.

— Садись, Лагунов, на стул и быстро отвечай мне на вопросы, — сказал генерал.

Я примостился на кончик обитого желтой кожей стула.

— Ты «Капитанскую дочку» читал?

— Читал, товарищ генерал.

— Сочинение на эту тему писали в школе? Да ты сиди, не вскакивай.

— Сочинение именно на эту тему не писали, товарищ генерал.

— Жаль. — Генерал приподнял брови. — Ты помнишь эпитафию в этой повести? «Был бы гвардии он завтра ж капитан. — Того не надобно: пусть в армии послужит. Изрядно сказано! Пускай его потужит...» Так вот, что написано перед этим посвящением в уголочке справа, а?

— «Береги честь смолоду», — жарко выдохнул я врезавшиеся мне в память слова.

Генерал встал, нажал, наклонившись полным корпусом, кнопку, находящуюся под крышечкой стола. Вошел адъютант, весь какой-то прилизанный, будто только сейчас изпод утюга, остановился у двери, вонзив в генерала свои бархатные глаза.

— Нарзанчику, — приказал Шувалов.

Адъютант круто повернулся, щелкнул каблуками, вышел, и не успел латунный маятник старинных кабинетных часов сделать несколько взмахов, возвратился с двумя бутылками нарзана. Он ловкими жестами сорвал плоским ключиком штампованную пробку с одной из бутылок, зажал ключик в руке и, теми же бархатными глазами безмолвно спросив разрешение, удалился с таким суровым видом, будто шел в бой. Генерал проводил его пронзительным взглядом, выпил нарзану, промакнул губы платочком, кивнул на дверь:

— Вот выработалась же подобная адъютантская формация, Стронский. Ненавижу всей душой такие повадки. Чувствую себя иногда каким-нибудь там Май-Маевским от услуги вот такого хлыща. Чорт его знает, что за

неистребимая подлость все же вварена в человеческую душу.

Стронский усмехнулся, похрустел пальцами. Генерал снова усадил меня, присел на диван.

— Итак, береги платье снову, а честь, честь смолоду. — Генерал сложил руки на животе, впился в меня пытливым взглядом. — Видишь, Лагунов, нам пришлось вместе с давнишним другом твоего батьки представлять собой что-то вроде гусарского офицера Зурина во второй его ипостаси.

Шувалов помолчал и строго сказал, обращаясь ко мне:

— Если уж во времена Пушкина важна была честь смолоду, то теперь, особенно в войну, охватившую мир, особенно. Теперь особенно важно хранить советскую честь нашей молодежи, сохранить честь нашего советского отечества, его независимость. Тебе представляется возможность закалить характер, стать человеком. Если будет так, к тебе потом не подступись, будешь откован, закален и отточен, как булатный кивжал. А ты что делаешь, Лагунов? Родина в опасности, а ты митингуешь. Много болтаешь...

— Товарищ генерал, разрешите?

— Пока не разрешаю. — Генерал пожевал губами. — Армия должна исполнять приказы, как подобает, хорошо исполнять, драться, если прикажут, не на жизнь, а на смерть. Судя по некоторым данным, — Шувалов заглянул в мое дело, лежавшее у него на столе, — ты недоволен отступлением. Вас научили критиковать в мирной жизни. Отлично. А вот в армии не может быть подобной критики. Да. А что ты знаешь? Какая у тебя-то колокольня?

Стронский вытерся платочком, скосил глаза на генерала и мягко возразил:

— Мне думается, и сейчас наши рядовые должны, конечно, строго и неукоснительно выполнять военные приказы, но доводить их своими сердцами, даже, пожалуй, не сердцами, а точными знаниями, политическими знаниями...

Генерал остановился.

— То есть ты думаешь, Стронский, что, я против сознательности? За слепое выполнение приказов? Я против критики этих приказов, против митинговщины.

— Это вопрос не спорный, — сказал Стронский, — не в этом дело...

— И если говорить о ленинизме, могу утешить тебя.

Стронский, — продолжал Шувалов, видимо, задетый замечанием Стронского, — скажу: многое непонятное в сегодняшней стратегии удастся мне прояснить хотя бы для самого себя именно ленинизмом как наукой. К примеру, многих берedit наше хроническое отступление, особенно вот таких молодцов с желтыми ртами...

— Ну, генерал? — сказал Стронский, наклонив голову, и его глаза попали в тень от его крутых надбровниц. — Слушаю...

— А что слушать? Перечитай внимательно Сталина. Все тебе ясно станет, как на высокой горе в светлый майский день. Что он говорил об основах политической стратегии? Хочешь, повторю своими словами. При неизбежности отступления, когда враг силен, надо отступать, маневрируя резервами. Надо отступать, если принять бой, навязываемый противником, заведомо невыгодно или когда отступление при соотношении сил становится единственным средством вывести авангард из-под удара и сохранить резервы. Цель такой стратегии, как говорил Сталин еще в двадцать четвертом году, — выиграть время, разложить противника и, слушай-ка, Стронский, накопить силы для перехода в наступление. Разумнее, обстоятельнее ничего не придумаешь для объяснения нашего сегодняшнего стратегического положения. В каких бы военных учебниках, изысканиях генштабистов ни копался, ничего не подберешь, уверяю тебя, как никак, плохо или хорошо, успели-то академии кончить, перегрызли немало всяких Клаузевицев, Мольтке, Шлиффенов, да и некоторых наших военных теоретиков... Собственно, стратегический замысел остается неизменным, а именно: выиграть войну. А тактика меняется в зависимости от обстановки. Можно разными путями выиграть то или иное сражение, ту или иную кампанию. Тактика только часть стратегии, ей подчиненная, ее обслуживающая.

Эта длинная речь, повидимому, утомила генерала: пожелтели стариковски опущенные щеки, резче выступили глубокие складки у рта и ушей. Шувалов, по-моему, чувствовал себя неловко оттого, что свои соображения высказывал в присутствии рядового.

Стронский глядел перед собой, сложив руки ладонь к ладони и зажав их между коленями. Это как-то сразу делало его очень гражданским человеком и одновременно милым, семейным. Он напоминал мне почему-то Устину

Анисимовича, несмотря на разницу в годах и полное внешнее несходство.

— Стратегия революционной борьбы, — сказал Стронский вполголоса, не изменив позы, — сродни стратегии военной, тем более что и война-то сейчас ведется тоже фактически за сохранение революции, война-то классовая ведется. Фашизм — противник не только военный, но и классовый...

— Тем он и опаснее, — сказал Шувалов. Повернувшись ко мне, строго добавил: — Делай выводы. Послушай, другим передай. Секретов здесь никаких не говорилось, и пойми: настоящий боец не тот, кто проявляет мужество при победных боях, но тот, кто находит в себе силу и в период временных неудач, отступления не ударяется в панику и не впадает в отчаяние. Это, брат, не мои слова. До меня они были сказаны... — Шувалов одернул китель, приблизился к столу. — Если перейти к твоему делу, ты много болтал, будоражил мозги.

— Я никому не болтал, товарищ генерал... Я...

— Не отказывайся, — Шувалов нагнулся к столу, перелистал дело в желтой обложке, остановил взгляд на какой-то бумажке, написанной каллиграфическим почерком. — Вот... нашел... На теплоходе «Абхазия», отвалившем от Севастополя двадцать первого ноября, ты собирал группами матросов и гражданских лиц и говорил им, что воюют не по-твоему... — Генерал сердито постучал по бумажке твердым ногтем.

Догадка, как молния, пронзила мой мозг.

— Это Фесенко, товарищ генерал. Фесенко!

— Как говорится, подпись неразборчива. — Генерал вчитался. — Так ловко выписано, а вот подпись завихляла. Да. Кажется, Фесенко. А что? — Он строго взглянул на меня. — Значит, было дело, раз узнал автора.

— Я говорил ему только одному, как близкому другу. Я хотел отвести душу... — сбивчиво начал я и глухим голосом, с пересохшим ртом, пересказал смысл моего разговора с Пашкой.

Шувалов не перебивал меня. Горло мне сдавило от волнения и обиды, я замолчал.

— Следовательно, разговор происходил с глазу на глаз? — спросил Стронский.

— Да, — сказал я, — с подветренной стороны, в кормовой части, примерно в... тридцати милях от берега.



Стронский наклонился к генералу и тихо говорил с ним.

Квадратные световые клетки от оконного переплета, прожитого скучными лучами зимнего солнца, лежали перед моими ногами. Казалось, очень далеко кричал паровой гудок осипшим, простуженным баритоном. По улице протаскивали пушки. Тяжело тянули тракторы. Натужно били лепехи траков о булыжники, так что подрагивал фундамент. В открытую форточку потянуло знакомыми аэродромными запахами сожженного лигроина и автола.

Стронский отошел к окошку.

— Решение такое, Лагунов, — сказал Шувалов: — тебе надо учиться. А так как самоучкой в такое время до толку не дойдешь, определим тебя в военное училище. Выучишься, сделаешься командиром, грамотно повоюешь, разберешься, передашь другим свои знания, опыт... — Шувалов присел к столу, почистил перо о щетинку. — А все эти парашютисты, диверсанты, джиу-джитсу, кинжалчики — хорошо, конечно, не вредно, но все же для тебя это паллиатив. Да и политически тебя в училище подкуют. В военно-пехотных училищах комсомольские организации, как правило, — сильные организации, верные помощники партии. Там тебя обкатают. Нет, нет! Матросскую шапочку придется снять, — как бы угадывая мое желание остаться моряком, с усмешкой сказал генерал.

Кончив писать на своем именном блокноте, генерал с треском оторвал листок, перечитал, сунул в конверт.

— Хорошее имеется пехотное училище. Перевезено на Кубань с Украины. Отличный там начальник — Градов, вдумчивый полковник. Формальности с флотом я беру на себя, Стронский.

Стронский кивнул головой.

— А лжеца, — генерал постучал ладошкой по желтой папке, — послать ближе к настоящему делу. Довольно ему в тылу отсиживаться. Всю жизнь не любил клеветников! В корпусе бывало мы их заворачивали в одеяло и били сапогами. Брали сапог за голенище и молотили. По-моему, Стронский, отправить этого Фесенко к майору Балабану, и пусть он научит его, как надо вести себя на войне. А ты, Лагунов, можешь идти. Нет, нет, меня не благодари, не надо... — Шувалов указал глазами на Стронского: — Его благодари... Ладно, что тебе такой вот Савельич попался...

После соблюдения необходимых формальностей мне разрешалось до двадцати четырех часов распоряжаться собой по своему усмотрению. Встретив в штабе Михал Михалыча, я сразу подумал, что Паша Фесенко тоже в городе. Я надеялся разыскать пирс, у которого забазировались «тэ-ка» Михал Михалыча.

Мне хотелось разыскать Фесенко, прямо посмотреть ему в глаза и выяснить: что же произошло? Зачем он оклеветал меня, сообщил о моих необдуманных словах, пусть неверных? Почему он тогда, на корабле, не объяснил мне, что я неправ, а пожал руку и заставил меня снова считать его своим другом?

Возле штаба ходил часовой — моряк с пухлыми щеками, в широком клеше, хлопающем, как парус, в такт шагам. Часовой старался отогнать стаю мальчишек, целившихся разрисовать угольными звездами ярко выбеленные камни фундамента штаба.

На противоположной стороне, у жестяного знака — места стоянки автотранспорта, я увидел наш потрепанный «ЗИС-5», увешанный немецкими баками для бензина, лопатами и веревками, скрученными у бортов.

— Мне подписана увольнительная до двадцати четырех часов, — дружелюбно сказал я конвоиру. — Передай дежурному.

Солдат моргнул желтыми ресницами, позвал шофера, пившего сидро у окошка «американки».

— А как доберешься? — спросил меня бывший конвоир.

— Не ваша забота.

— Попутные идут к югу, — сказал он.

Я пошел по тротуару. За моей спиной заохал развезенный мотор грузовика.

По поперечной улочке, уходящей к подошве горы, пронесся сырой ветер, принеся с собой запах плесени. С моей головы сдуло бескозырку. Я водрузил ее обратно ударом ладони.

Я шел к порту. По пути попадались обгорелые стены недавно разрушенных бомбежкой домов, воронки, повсюду кирпичная пыль, рваные бумажки. Мне встречались по пути плохо одетые люди, нагруженные домашним скарбом.

На развалинах густым клейстером были прикреплены плакаты, призывающие к борьбе с врагом.

Море шевелилось, словно кто-то ритмично поднимал его снизу могучими ладонями. Через протараненный авиабомбами мол заходили волны и быстро рассасывались в бухте. Близ берега догорала широкая, ржавая баржа, набитая пшеницей. На барже копошились вымазанные сажей люди. Запах пригоревшего зерна устойчиво держался вместе с запахами преющего дерева, веревок и ацетоновой вонью кипящего вара.

У деревянных пирсов стояли пароходы, посапывающие незагаженными машинами. Возле пароходов струился поток людей. Кто-то сказал, что караван снова идет на Севастополь и сейчас принимает закавказскую пехоту.

— Ты что же, тикаешь от нас? — налетая на меня, закричал возбужденно Дульник. — Еле врезались на твой курс.

Мой друг тормозил меня своими хваткими руками и глядел такими радостными глазами, что хотелось здесь же расцеловать его.

— Я сейчас обрадую тебя. Здесь Камелия.

— Камелия? — Я поправил бескозырку, откинул за спину упавшие на грудь ленточки.

— Я действительно здесь!

Передо мной стояла девушка. Я с трудом узнал Камелию — она очень похорошела. Почти ничего не осталось от того бледного, болезненного существа, которое мы выручили на борту теплохода «Абхазия». Очень смущенный, я неловко прикоснулся к ее узкой руке.

— Я хочу вас поблагодарить, Камелия, — начал было я, — за то...

— Довольно, довольно, — перебила она меня. — Просто напросто я немного, на полмизинчика, отблагодарила вас... А потом, мне это ничего не стоило. Прибежал ваш друг, разговорились, составили план действий...

Приморский ветерок откидывал от ушей ее мягкие, длинные волосы, на аленьких мочках сидели зеленые камни, как козявки с длинными золотыми усиками. Дульник не сводил взгляда с этих сережек, и я увидел: в его глазах сквозило безмолвное обожание.

— Все же ваш «полмизинчик» пришелся так кстати, Камелия.

— А может быть, мой гребешок, — лукаво сказала

Камелия, откинув назад головку. Ветер снова подхватил ее волосы, и зеленые камешки засверкали на солнце, на миг появившемся из-за сизой осенней тучи.

— Мы предполагаем вместе провести остаток дня, — шепнул мне Дульник. — Если ты хочешь предложить что-либо пооригинальнее, выкладывай.

— Мы разыщем Пашку Фесенко, а потом...

— Зачем тебе Пашка Фесенко?

— Пашка меня оклеветал.

Дульник подпрыгнул на месте.

— Ага, что я тебе говорил? — торжествующе крикнул он.

Дульник принялся развивать теорию о пагубности обростания большим количеством друзей, ибо настоящие чувства в человеке, которые он может отдать другим, не так уж обильны, чтобы распылять их по крошкам. Дульник был сторонником ограниченного круга близких друзей, но за них готов был, если нужно, на куски разорвать свое сердце.

— Неужели ты решил устроить с ним расправу? — спросил Дульник. — Не советую, Сергей. Подобное представление днем, на свежем воздухе грозит повторением кирпичного амбара.

— Я хочу одного — глянуть ему в глаза и определить: что же в них? Зачем он решил оклеветать меня? Что побудило его поступить так?

Часовой не пропустил нас в расположение дивизиона, хотя мы козыряли своим знакомством с командиром. Нам был виден недавно сколоченный пирс, дощатая постройка на нем, откуда доносились звуки патефона и запахи кухни. Там, видно, расположилась столовая военфлотторга.

Над пирсом возвышались поставленные на сторожевых катерах пулеметы и мелкие пушки. На пристани готовили к погрузке дымовые корабельные шашки и известные мне плоские ящики с трассирующими снарядами для эрликонов.

Из столовой выходили люди. Палуба дощатого пирса скрипела под их грубыми сапогами. Я проглядел глаза, чтобы не пропустить Пашку. И вот, наконец, он вышел из столовой с кульком подмышкой, держа об руку толстенького моряка в командирской фуражке и боксовом реглане. Я подбежал к будке часового у калитки, позвал Фесенко.

Пашка остановился, пригляделся, что-то покричал мне и юркнул за кухню.

— Видишь, — сказал Дульник, — догадливый человек, весьма продуманно, разумно избежал неприятности.

Наш путь пролегал вдоль вытасненных на берег баркасов, фелюг, моторных лодок. Клепалось, заваривалось, ремонтировалось пловучее хозяйство, может быть, подготовляемое к десанту. Быть может, среди этих рыбацких суденышек находились памятные мне баркасы отцовской вагаги.

Дульник сказал:

— Если у тебя есть деньги, надо бы по пути купить чего-нибудь.

— Нет, Дульник, милый, мне, да и тебе надо спешить в полк.

— Успеем.

— Мне не очень-то хочется попасть в руки патруля.

— Что же будем делать?

— Простимся с Камелией, посемафорим у шоссе и с попутным грузовичком доберемся в полк.

— Нет, нет. Мы должны весело провести вечер. Может быть, на радостях разоьем бутылку вина.

Громоздкие облака прижимались к горам. Над морем, как в вагранке, горело предзакатное пламя. Черными птицами прошли патрульные истребители. Где-то резко пробили склянки.

— На радостях? — переспросил я. — Ты знаешь, нам придется расстаться.

— Нам? Расстаться? — Дульник сдвинул на затылок бескозырку.

— Да.

— По каким же причинам?

Я взял его под руку и пересказал разговор с генералом.

— Так... — протянул Дульник. — Теперь я понимаю пошлое выражение: «Кошки заскребли на сердце». Ты не сумел замолвить за меня словечко. Есть на свете, мол, такой маленький, преданный, неказистый дружок, некто Дульник... Он, мол, готов расшибиться в доску за приятеля и только с принципиальных позиций... Он никогда не совершит подлого поступка вразрез со своей комсомольской совестью... Он тоже должен учиться этому проклято-

му военному ремеслу... Он очень неграмотный и неразумный, он только восприимчив сердцем, а сердца у него хватит на... Ты не мог, конечно, этого сказать им, Сергей. Тебя так окружили, где было вспоминать о маленьком чортике... Что же, я не оставляю тебя, не променяю даже на девушку, которая вонзилась в мое сердце навеки. Пойдем, Сергей, и весело проведем последние часы, отпущенные нам. Не будем изменять дружбе.

...Двухмоторный бомбардировщик «Ил-4» нес меня через горы, охваченные снежными метелями. Мы поднялись с аэродрома на границе Абхазии.

В штурманской кабине сквозь покрытый инеем плексиглас я пытался рассмотреть извилистые очертания горной дороги, по которой когда-то переваливал через хребет наш семейный фургон. Передо мной на полу полулежал в шлемофоне, меховой куртке и унтах из меха кавказской овчарки прославленный штурман, воевавший над Пиренеями, Желтой рекой, Халхин-Голом, Финляндией и теперь продолжавший сражаться там, куда посылал его приказ командования.

Пулемет также покрылся инеем. Самолет задрожал. Продувая окошко в стекле кабинки, я видел белые мохнатые от инея машины, набиравшие высоту вслед за флагманом, почти не отрывая крыло от крыла своих соседей по строю.

Где-то там, далеко за нами, на поле аэродрома, у зеленых банановых листьев остался мой верный друг Дульник. Встречусь ли я с ним еще когда-нибудь, или нет?

Непривычная армейская форма колом сидела на мне. Все топёрщилось. Я остановился перед зеркалом, в которое смотрелись когда-то девицы Маринского института, — и по тем же полам, где носились их легкие девичьи ноги, я простучал сапогами к кабинету начальника училища полковника Градова.

Малоразговорчивый, внешне суховатый, с ломким, отрывистым голосом, привыкшим к пехотным командам, Градов не вызывал к себе расположения. Я стоял перед ним навтыжку, у меня перехватывало дыхание от неприязни к этому человеку, с немигающими, необыкновенно светлыми глазами. Брови и губы его при разговоре двигались одновременно.

— Генерал-майор Шувалов просил обратить на вас

особое внимание, — закончил Градов разговор со мной. — Ну что же, постараюсь сделать из вас хорошего командира. Все, курсант Лагунов!

В казарме меня поджидал Виктор Нехода, попавший в это училище на две недели раньше меня.

— Ну, как? — испытующе спросил меня Виктор, по-прежнему относясь ко мне покровительственно.

Я молча отмахнулся.

— За полковника Градова любой курсант, если только он, конечно, не олух, готов броситься с седьмого этажа на булыжную мостовую. Понял?

— Нет, не понял, — ответил я. — Чем же он может обворожить?

— Абсолютной порядочностью, партийностью, отсутствием любимчиков, фанатическим презрением к подхалимам всех тонов и оттенков. Мало тебе? Градов — грамотный в военном деле человек, любит инициативу. Мало? Скажу еще, что его видели в бою при отходе школы. Полное презрение к смерти. Его обожают курсанты...

— Чорт знает что, — не сдавался я. — Почему же он сразу не открывается?

— Заметь, Сергей, люди, которые сразу кажутся идеальными, редко остаются потом такими. Сколько еще людей мягко стелют, а жестко спят!..

— Попадались такие, попадались, — согласился я.

Виктор криво улыбнулся, подтянул голенища сапог. Я видел его стриженный «под бокс» белесый затылок, загорелую шею, плотно охваченную воротом отлично сшитой гимнастерки. Тоненький кантик подворотника пришит Виктором с аккуратностью, воспитанной у него с детства матерью.

— И еще будут попадаться, — сказал он.

Виктор вытащил из кармана пачку с папиросами.

— Ты стал много курить, Виктор.

— Да... Как видишь.

— Мы, помнишь, давали зарок не курить.

Слабая улыбка тронула губы Виктора.

— Мало чего. Детство, особенно наше, — это сплошная фантастика. Расскажи лучше о себе, все, без утайки, по порядку. У нас есть сегодня время. Тебя сегодня трогать не будут, а я дневальный.

Я рассказал Виктору все, что произошло со мной за эти годы.

— Сколько пришлось пережить, Виктор, — закончил я. Он окинул меня серьезным взглядом и после продолжительной паузы сказал:

— А я видел, как горела П о л т а в а...

— Ну?

— Делай сам вывод...

### *Глава двенадцатая*

## ПРОЩАНИЕ

Стоял жаркий июль с короткими дождями. Пшеничные поля изнемогали под ношей урожая, золотом отливал подсолнух...

Мы заканчивали военно-пехотное училище, нам, курсантам, присваивали командирское звание.

На западе темнели горы, будто омытые у подошв своих миражами знойной закубанской степи.

За горами угадывалось море. Там, после оставления нами Севастополя, временно затихли кровопролитные бои.

У подножья хребта, где-то совсем недалеко, затонувшая в струйчатом мареве, лежала моя родная станция Псекупская.

Родительский дом был так близко! Когда я разворачивал в боевые порядки свой взвод и полз, обдираясь о кусты тернов, я думал, что приближаюсь к моему дому.

Я получил отпуск на двадцать четыре часа. В отлично пригнанном обмундировании, с двумя кубиками на петлицах, с орденом Красного Знамени на груди (награда за бои у Чоргуня), с пистолетом в желтой кожаной кобуре и сшитых по ноге хромовых сапожках я сошел с автобуса и направился домой. Я любовался своей формой: мне нравился цветной кантик шаровар, белый рант подошв, новое снаряжение и, в особенности, пистолет. Пилотка лихо сидела на моих волосах, подстриженных «под бокс» лагерным парикмахером Тиграном.

Мне хотелось появиться дома внезапно. Я не думал, что этим могу взволновать родных. В моем распоряжении было всего-навсего двадцать четыре часа, отпущенных мне на свидание. Мне хотелось использовать это время как можно полнее. Вместо того чтобы итти по главной улице,



я надумал попасть домой со стороны реки. Свернув влево, я достиг Фанагорийки, прошел над ее берегом, а потом уже завернул к своему саду. Старая, искривленная груша попрежнему стояла на глухой, непроезжей улице, желтенькие плоды усыпали землю. Я потрогал ладошью шершавую кору дерева, заглянул в дупло, где когда-то оставались записки, вздохнул от нахлынувших на меня воспоминаний. Дойдя до нашего забора, я остановился в раздумье. Вспомнил, как мы строили этот забор с Илюшей, как обжигали на костре и заваривали смолой дубовые столбы, как сбивали кожу на руках, вгоняя гвозди в твердую древесину. На перелазе виднелись следы засохшей грязи. Может быть, это мама проходила с бельем к реке.

Я видел аллею, любовно выхоженную моими руками. Приветливо встречали меня разноцветные георгины, раскрывшие от одного щедрого стебля десятки цветов, и резные листья еще не раскрывшегося дубка, цепко охватившие тугие, незрелые бутоны, и яркие канны — не поймешь даже, что лучше в них: просторный экзотический лист или смело брошенный вверх багряный цвет. А как пленительно и мягко, узорами афганской шали раскинулись панычи, смешанные с пахучим мелкоцветом фиалки-медовки!

Из той колючей акации и шарово подстриженных тернов мы, пионеры, с барабанным боем и резкими призывами горна шли в поход на осиное гнездо.

Над норой мы зажгли костер мести: ведь осы не давали поднести нам ко рту ни одного сладкого кусочка. Осы кружились, сгорали и падали.

И мы трубили в горн, били в барабан — Витька Нехода, Яша Волинский, братишка Коля и даже Илюшка... А когда продолбили дыру, притаившиеся в норе осы вылетели роем за нами. Я упал в кусты, и осы пронеслись надо мной, преследуя остальных. Как они разделили илюшкин затылок и спину Витьки!

...Я вдруг увидел в саду, между яблонями, светловолосую девушку.

Незнакомке, пожалуй, было не больше шестнадцати лет, хотя она старалась казаться взрослой.

Но не скрыть ей угловатых движений подростка; еще как-то по-детски расставлены локти и взлохмачены волосы.

Лучи полуденного солнца, проникавшие через листву, положили на ее фигуру мягкие лапчатые тени.

Я люблю цветы цикория, или питрива батига, как его называют на юге. Питрив батиг все лето цветет светлосиреневыми цветами. Присмотритесь к этому удивительному, легкому, как полет бабочки, цветку, и покажется вам, что из темной травы глядят на вас широко раскрытые, чистые и не знающие еще горя глаза девушки.

Вот такие глаза, глаза, полные немного удивления и неспорченной душевной чистоты, глядели на меня.

Девушка удивленно смотрела на меня. Она, видимо, не понимала, почему я так долго рассматривал каждую травинку сада.

— Может быть, вы угостите меня яблоками? — сказал я.

— Я не имею права распоряжаться в этом саду, — ответила она, потупив глаза.

Ее пальчики начали перебирать оборочку ситцевого платица, легко облежавшего ее развившуюся фигурку. Перламутровые с красным отливом пуговицы, нашитые от выреза груди до красненького пояса, то опускались, то поднимались. Ее глаза все же искоса наблюдали за мной и, конечно, видели мой пистолет в апельсиновой коже кобуры. Недаром я старался стать так, чтобы мое оружие было доступно ее взору.

— Итак, девушка, если вы категорически отказываетесь угостить меня яблоками, я возьму сам.

— Как хотите, — девушка вспыхнула. — Яблоки не ваши и не мои. Есть хозяева, надо спросить.

Но я принялся рвать самые спелые яблоки и укладывать их в чемодан.

— Я не разрешаю вам рвать чужие яблоки! — сказала девушка и сделала ко мне первый храбрый шаг.

Выйдя из-под дерева, она попала на солнце, и ее светлые волосы, завившиеся на лбу, засветились, как венчик. Очарованный этим новым видением, я замер, но девушка повернулась и быстро пошла к дому, который виднелся сквозь деревья своими ярко побеленными стенками.

Я зашагал быстрее и у беседки, увитой виноградом «изабелла» и розами, остановился, чтобы перевести дух. Пилотка подрагивала в моих руках. У летней печки я увидел маму. Она слушала прибежавшую девушку, держа в руках глиняную тарелку и полотенце.

— Антонина Николаевна, — быстро говорила девушка, — какой-то молодой человек яблоки рвет... в чемодан

кладет... А еще командир, два кубика здесь... У него револьвер, Антонина Николаевна...

Из дому вышел отец.

— Револьвер, говоришь? — переспросил шутливо отец. — А может, и в самом деле он хотел подстрелить тебя?

— Антонина Николаевна, поспешите, — просила девушка.

Наблюдая с глубоким волнением за этой сценой, я видел, как дрогнули мускулы на лице матери, как мгновенно остановились ее руки, вытиравшие тарелку, как ее беспокойный взгляд устремился в сад.

Материнское сердце! О, как далеко оно чувствует!

Не отрывая глаз от заплетенной виноградом стены, мама медленно направилась ко мне. Мне хотелось броситься навстречу, поскорее обнять ее, но ноги меня не слушались.

Вот мама приостанавливается, смотрит на меня, и тарелка со звоном разбивается о землю.

— Сережка!

Я подбегаю к ней, обнимаю ее. Я целую ее впалые щеки, глажу ее плечи в ситцевой кофточке.

А отец сидит за столом. Он не хочет мешать встрече. Он тоже растроган, отворачивается и грубым кулаком вытирает слезы.

— Серега, а ты совсем вояка! — восклицает отец, подавив свое волнение.

— Папа...

Я называю его, как в далеком теперь уже для меня детстве. Больше я не могу ничего вымолвить. Мои губы еще кривятся, и комок катается в горле.

Отцова ладонь поглаживает мой орден Красного Знамени. Я знаю, он не совсем хорошо видит без очков. Отстранив меня одной рукой и откинув голову, он издали рассматривает мою награду.

— Сравнялись, сынок, сравнялись, — говорит отец. — Вишь, аккуратней стали их делать. «Пролетарии всех стран» также, а внизу, вместо того как у нас — РСФСР, теперь — СССР... У Илюшки уже два таких, а Колька-то, Колька получил Красную Звезду. — Отец садится рядом со мной, кладет на мое колено свою тяжелую, горячую ладонь.

— Лишь бы были живы, — говорит мать, — лишь бы были живы.

— Будут живы, мать.

— А где же Анюта? — наконец спрашиваю я. — Может быть, тоже отпустили на фронт?

— Пусть посидит дома, — с каким-то испугом шепчет мать, — нельзя же воевать всей семьей.

— Анюта пошла на речку, — отвечает отец, уже успевший вернуться из дому с бутылкой вина. — Кому же теперь купать собаку?

Я оставал дома старую Мальву и ее дочь, тоже Мальву, отличную черноморскую овчарку. Лоскута, столько раз предохранявшего меня от всяких опасностей, давно нет. Его загрыз матерый волк, пришедший за добычей к колхозной овчарне.

— Сколько же времени ты не был дома? — спрашивает отец, хотя я знаю: он отмечает в клеенчатой записной книжке каждый день моего отсутствия. — Рядом же была твоя школа, а зайти не сумел. И из Туапсе не потрафил никто самолета? Ведь летают уже сейчас через перевал такие козявки. Мог бы сесть у станицы, на толке.

Беседа перескакивает с одного на другое. Так бывает всегда при кратковременных встречах. Хочется переговорить обо всем, а окажется — сказать ничего не успели. Отец с горечью сказал, что Илюшка отходит со своей танковой частью по Южному фронту. А потом встряхнулся и сказал:

— Может, будет так, как пришлось нам: отгрызаться от немца до Царицына, а там окружить город железной подковой и молотить чистого и нечистого, собираясь с большими силами. Хотя далеко еще до Сталинграда. Не дай бог, если немец появится у Волги! Вот тут, у горла, есть такая артерия, Сerezка. Перехвати ее — и «тамом болды», как говорят узбеки, — конец. Вот это Царицын, или Сталинград. Займут этот город — и начнется мамаевское царство. Вон и Устин Анисимович говорил: держал Мамай у Царицына, у Ахтубы, свою столицу...

— Да где же Устин Анисимович? — спрашиваю я.

Отец предостерегающе помаргивает мне, показывая глазами на девушку, стоящую поодаль.

— Устин Анисимович-то попал, бедняга, — тихо говорит отец, наклонившись ко мне.

— Куда попал?

— Вздумал перед самыми черными днями проведать

своего брата в Феодосии, там, где воспитывалась дочка. А туда немцы. О нем ни слуху теперь, ни духу, Сережа. Может, жив, а может... кто его знает. Ведь коммунист. Хотя в Феодосии могли и не знать, что он коммунист. Может, как-нибудь перебьется до наших. Стар только он стал, болезненный. А эта девочка, что тебя встретила,— дочка его Люся.

— Люся?!— воскликнул я.

Люся громко расхохоталась.

В это время вошла мама с блюдом, вывершенным пирожками, как хороший стожок.

— Как же ты не узнал Люсю?— с улыбкой сказала она.

— Как же ее узнать, мама? Ведь Люся была вот такая...

— Верба идет, верба растет,— мать поставила пирожки на стол.— А помнишь, как вы в детстве царапали друг другу щеки?

— Как же ты выросла, Люся!— сказал я, близко подойдя к ней; я слышал ее дыхание, видел легкий пушок на мочке зардевшегося уха.

Мы сидели за столом рядом. Иногда наши локти соприкасались. В беседе Люся обнаружила острый ум, умение быстро схватывать и связывать невидимым узелком тонкие нити беспорядочно высказанных мыслей. Она казалась слишком рассудительной, взрослой для своих шестнадцати лет. Но вдруг она заливалась громким смехом, для которого не было причины. И вдруг эти шестнадцать лет брали верх, и тогда куда девалась и рассудительность ее и выдержка: Люся становилась тем, чем она была, то есть девочкой-подростком, непосредственной и милой своим чисто ребяческим, угловатым озорством.

И вот, наконец, наш гонец, соседский мальчишка, привел Анюту. Она вбежала во двор с лучистыми, широко раскрытыми глазами, с протянутыми вперед руками. В светлокаштановых ее волосах, оплетенных косичкой по лбу, торчали полевые цветочки.

Анюта плавала в реке, когда раздался истошный крик нашего посланца. Она накинула кофточку, на ходу застегнула корсажик юбки и полетела сломя голову к дому.

Все это она взахлеб рассказала, и все время глаза ее смеялись, а по щекам текли слезы.

— Ты не смотри, Сережка, так на меня, на дуру,— бор-

мотала она, плача и емеясь.—Наслушаешься, прочитаешься... во сне даже такого насмотришься, как в кино... Ну что же, что же ты молчишь?—затеребила она меня.—Нужка, дай я тебя осмотрю. О, какой ты новый... замечательный, Сережка.

— Покажи язык, Анюта.

— Нема, нема детства, Сережка. Как гляну иногда на наши карточки, что мы снимались, помнишь? Какие мы были все смешные! Да я сейчас принесу.— Она побежала в дом и вернулась с альбомом. Быстро перебросав листы альбома, остановилась на снимке нашей компании перед путешествием к Черному морю.

— Какие смешные! Мальчишки. Не узнать. Тогда у меня была голубенькая майка,— сказала Анюта.

— А это кто?—спросила Люся.—Илюша?

— Конечно, Илюша,—грустно сказала мать.—Помнишь, отец, мы купили ему эти баретки на краснодарском базаре.

Илюша стоял, важно прислонившись к скале, перекинув ногу за ногу, видимо, стараясь показать новые ботинки. В руке он держал папироску, это в те времена было для нас верхом шика. Мои сверстники в то время курили в тайниках и при встрече со взрослыми зажимали окурки в рукаве.

Возле меня сидел Витя Нехода в беленькой майке, обнажавшей его угловатые руки, в сандалиях на босу ногу и в узеньких штанах. За ним стоял Фесенко, подняв правую руку, а левую положив на бедро. Возле девчат стоял Яша Вольнский, вытянув шею и вытаращив глаза. Брат Николай получился плохо, махнул головой и так дернул рукой, что она стала похожа на веер. Все мы казались какими-то маленькими, худенькими, с выдающимися ключицами, с большими локтями и слишком длинными шеями.

— И все они воюют,—сказала мать.—Давно ли...

— Да... А где Яша Вольнский?—спросила я.—Так и не взяли его в армию?

— Не взяли, сколько ни просился,—ответила Анюта,—да и куда ему в армию.

— И куда же его занесло?

— Уехал вместе с Устином Анисимовичем в Крым,—сказал отец.—У Якова там дядя, директор средней школы. Решил уехать к нему.

— Зачем же?

— Ближе к фронту, — сказала Люся.

— Это он тебе сообщил? — спросил я, глядя на Люсю.

— Да. Перед отъездом. Я даже провожала его до автобуса.

— А меня.. проводишь, Люся? — шутливо спросил я.

— Конечно.

— А Витя не мог приехать? — спросила Анюта.

— Его не отпустили.

— Жаль, — сказала Люся и что-то тихо шепнула

Анюте.

По нашей просьбе отец вынес из дому баян. Мы тихо подпевали его игре. Это была грустная украинская песня, перекочевавшая на Кубань еще с Запорожской Сечи.

Отец снял с плеча расшитый ремень, отложил баян в сторону.

— Твой черед, Анюта! — сказал отец.

Анюта взяла гитару, запела. При повторе припева сестра замолкала, только аккомпанируя. Тогда я не видел ее лица.

Я так и не знаю, до сих пор не знаю, кто написал эту песню, которую слышал потом много раз.

Ее мы называли песней Анюты.

И зимой и весной аромат полевой  
И цветочная пыль в магазине.  
Ни кузнец, ни пилот от меня не уйдет  
Без фиалок в цветочной корзине.

Сероглазый танкист и лихой футболист —  
Все спешат в магазин за цветами,  
Потому что цветы, и любовь, и мечты —  
Это счастье, возвращенное нами.

Как-то ранней весной лейтенант молодой  
Взял корзину цветов в магазине.  
Взором, полным огня, он взглянул на меня  
И унес мое сердце в корзине...

Зайдите на цветы взглянуть —  
Всего одна минута,  
Приколет розу вам на грудь  
Цветочница Анюта.

Там, где цветы, всегда любовь,  
И в этом нет сомненья,  
Цветы бывают ярче слов  
И краше объясненья.

Трогательно и задушевно зарокотала гитара в анютиных руках при последних словах песни.

Без любимого я вся сама не своя,  
Так томительно время проходит,  
Я не знаю причины, только к нам в магазин  
Молодой лейтенант не заходит.

И вдруг Анюта громко зарыдала, охватила руками лицо и побежала к дому. За ней бросилась Люся. Хлопнули двери.

— Что такое? — спросил я, хотя догадка уже мелькнула в моем мозгу.

Мама махнула рукой, скорбно улыбнулась:

— Ничего, пройдет, Сереженька.

Отец наклонился к моему уху:

— От Виктора-то ничего ей не привез?

Обрадовавшись отпуску, я не мог дожидаться Виктора, который был занят в артиллерийском классе. Я не мог ожидать даже несколько лишних минут. Часы на моей руке безжалостно быстро отсчитывали отпущенное мне время.

Я не подумал о сестре. Я был занят только собой. «Эгоист», — ругал я себя.

— Сейчас куда, Серега, после отпуска? На фронт? — с тревогой спросил отец.

— Останусь работать в училище, папа.

— Преподавателем?

— Нет... просто... может быть, командиром взвода.

— Как же так? — недоверчиво сказал отец. — Молод больно. Со мной не хитри, Серега. Решил соврать, что в училище остаешься, ну и что же. Соврем и матери сообщая. Пусть утешается...

Утром меня провожали. Анюта передала Виктору письмо в маленьком конверте.

Я увидел слезы на глазах Люси. Тоска сдавила мое сердце, когда моя рука, крепко пожавшая подрагивающую руку девушки, почувствовала задерживающее движение ее пальцев. Мне было тяжело покидать родные места, дымок над летней кухонкой, вершины акаций у дома. С них по октябрьскому ветру сыпались мелкие пожелтевшие листочки на крышу из дубовой щепы. Еще сильнее заняло сердце, когда за последним поворотом у реки скрылись и дымок и акации, и только попрежнему, в вечной невозмутимости, стояли темные горы.



Я сошел с автобуса у дороги в лагерь. Мне хотелось сейчас же увидеть Виктора. Но что же произошло? Я не верил своим глазам. В мое отсутствие лагерь снялся и ушел. Кольшки палаток, следы автомобильных шин, вмятины маршевого похода, вытопанные кулиги с пожелтевшей по краям травой.

Я быстро вернулся на шоссе. По дороге катилась с сеном машина нашего училища. Я остановил ее.

— Где же наш лагерь? — спросил я шофера.

— В город ушли.

— Давно?

— Ночью. Срочный приказ, товарищ лейтенант.

— Чего бы вдруг?

— Жмет немец. — Шофер пригласил меня к себе в кабинку. — Мне тоже в город. Добирали остаточный фураж, товарищ лейтенант.

Мы мчались к городу по шоссе.

В городе я застал училище, готовое к погрузке. И курсанты и выпускники — аттестованные командиры — были «в котомке». Я явился к комбату, переделался и тогда разыскал Виктора.

Он возился с упаковкой оптики орудий своего огневого взвода.

— Хорош, нечего сказать, бродяга, — пожурил меня Виктор, — не мог забежать на секунду.

— Виктор, дорогой, прости, — говорил я другу. — Бывает же так, Виктор. Вдруг прирастут к твоим плечам крылья, и понесли и понесли...

— Что ты держишь руку в кармане? Письмо? Неужели письмо? — Виктор вскочил, почти вырвал из моих рук записку от Анюты, прочитал первую строчку. — Иди, иди, Серега. До встречи в эшелоне.

— Не знаешь, куда мы едем?

— Известно только одно, — ответил Виктор: — есть приказ грузиться и отправляться. А куда — когда тронем, в дороге прикинем... Иди, иди...

Оглянувшись у порога, я увидел Виктора, жадно читавшего письмо.



**ЧАСТЬ  
ТРЕТЬЯ**

## Глава первая

### КУРСАНТЫ

Наше училище, вооруженное по последнему слову техники, прошло двумя эшелонами Тихорецкую и повернуло по Сталинградской ветке на Сальск. Теперь не нужно было расспрашивать друзей и гадать о маршруте: мы шли на Сталинград. Туда же двигались вместе с частями Красной Армии прекрасно вооруженные и экипированные Краснодарское, Орджоникидзевское, Грозненское военно-пехотные училища.

Курсанты были одеты в новенькое летнее обмундирование, яловые сапоги на толстой подошве, шинели в талию, с разрезом, пилотки с алыми звездами.

У нас было много оружия: автоматы «ППД», винтовки обычные, винтовки со снайперскими прицелами, ручные пулеметы, станковые «максимы», «ДШК», пулеметы «ДС» со скорострельностью в тысячу выстрелов в минуту, личное оружие — пистолеты «ТТ».

У нас были минометы, полковая и полевая артиллерия, средства связи вплоть до полевых радиорепродукторов, военно-медицинское имущество, саперные вспомогательные части и многое другое.

На бой двигались выученные, веселые, решительные молодые люди, горевшие желанием не допустить врага к великому городу.

Безлунной, глухой ночью мы высадились на одной из степных станций.

Полинные запахи шли от степи, еще не остывшей от дневного зноя, — неясные запахи больших и беспасдных пространств.

А где-то вдалеке вспыхивали и гасли зарницы, как далекая гроза. Приложившись ухом к гулкой земле, можно было слышать отдаленный рокот орудий и чувствовать дрожь земли, как сейсмические колебания земной коры.

С потушенными огнями уходили опорожненные поезда.

Мы получили приказ закапываться в землю.

Начальник училища полковник Градов вызвал нас, командиров, в здание багажной станции.

Сухим, отчетливым голосом полковник прочитал нам приказ и погасил электрический карандаш.

Из анализа приказа можно было вывести заключение, что мы прикрывали как бы щитом левый фланг фронта, чтобы не дать противнику распространиться в просторы Ставрополя и западной Прикаспийской низменности. Конечно, задача выполнялась не одними нами.

Смыкаясь плечом к плечу, протягивались войска до самой Волги. Таким образом, нижнее течение реки тоже прикрывалось железными цепями батальонов, полков и дивизий.

Паролем нашей борьбы был Сталинград.

Виктор покинул меня. У нас были разные тактические задачи. Мне, как командиру разведывательного взвода, начальник училища приказал находиться при нем, Виктору же — готовить огневые позиции для орудий.

Уходя, Виктор сжал мою руку выше локтя и тихо пропел:

Ах, как бы дожить бы  
До свадьбы-женитьбы!

На зорьке мы уснули в неглубоких и еще не разветвленных окопах. Курсанты, утомленные фортификационными работами, тревожно спали, расстегнув крючки воротов и ослабив пояса.

Полковник прилег на полыни, наломанной нашими руками. Градов был неразговорчив. Его природная молчаливость теперь очень успокаивала наши возбужденные нервы.

Вторая половина ночи прошла для нас, а особенно для начальника училища, беспокойно. Связисты подключали флажки. Полковник лично проверял подход соседей, отмечал на карте их расположение. Тонкий луч электрического карандаша освещал карту, и я видел только белые пятна поверх шинели — кисти рук полковника.

До утра по цепи полков, протянутых на десятки километров, человеческие голоса сталкивались короткими, как шифр, фразами. Почти зримо начинала ощущаться эта цепь вышедших на боевые рубежи частей, скрытых под разными позывными.

Утром курсанты продолжали рыть окопы в грунте, крепком, как камень, спекшемся под знойным солнцем, прогревом на большую глубину. Разветвлялись ходы сообщения, углублялись траншеи, закатывались на огневые позиции орудия, минометы. В овраги ставились автомашины, прикрывались масксетями, унизанными пучками полыни, почти единственной травы этих мест. Полынью маскировали выброшенную землю.

Знойное солнце, не положив ни одной тени, быстро поднималось вверх. Я, не отрывая бинокля от глаз, запомнил все, что представлялось моему взору.

Ничто пока не радовало меня. Степь только кое-где была покороблена неглубокими складками.

Вправо я видел неясную гряду холмов и необычный для этих мест лесной массив. По карте я удостоверился— это было лесничество. Вблизи него были удобные для обороны, господствующие над степью высоты и даже озеро.

Днем не унимался рокот артиллерии. Дорога к Волге пока еще была прикрыта. Оперативная сводка с фронта, полученная нашим полковником, говорила о стойкости наших войск, выдержавших натиск сильных авангардов полумиллионной немецкой армии.

Советская Армия наращивала сопротивление. Был приказ родины, подписанный Сталиным. Этот приказ мы знали наизусть. Мы дали клятву под отдаленный рокот артиллерии сохранять в чистоте знамя нашей школы.

И вот пришел памятный нам всем августовский день.

Мы учились отражать танковые атаки. Боевые гранаты летели во «врага», танки утюжили окопчики-щели, где засели истребители этих машин. Курсанты привыкли к шуму моторов, к стрельбе пушек, к разрыву гранат, к короткому хозяйскому голосу «регулирующих» противотанковых ружей: ду-ду-ду.

Во время короткого отдыха мы слышали приближающийся гул. Это было похоже на шум норд-оста, перевалившего горы и не успевшего еще обрушиться на землю.

Гул приближался со стороны врага. Многие из нас знали, что такое воздушные налеты. Новичков можно было

пересчитать по пальцам. И все же, бросив недокуренные папиросы, курсанты, как по команде, повернули головы к западу. Теперь доходили уже нарастающие звуки авиационных моторов, как заглушаемый коротким расстоянием шум штормового прибора.

Воздушная армия тяжелых бомбардировщиков, прикрытая комариными стаями истребителей, шла на Сталинград.

Около пятидесяти километров отделяли нас от великого города.

Мы были подготовлены к взрывам, к столбам дыма, поднявшимся над городом. Мы были подготовлены к доносившимся до нас выстрелам зениток, много раз опоясавших подступы к городу. И все же наши сердца обливались кровью.

Мне казалось, что рушатся не только стены Сталинграда, а рушится и вся наша жизнь.

Приказ вождя жег мое сердце.

Курсанты сжимали оружие до хруста в суставах. Раздавались громкие голоса: «Туда! На защиту Сталинграда!»

Седой полковник, наш командир, поднял курсантские батальоны, прошел перед строем и затем, повернув по команде нас всех лицом к горящему городу, торжественно произнес:

— Клянемся! Мы отомстим!

Градов отдал команду, и мы двинулись в поход. Мне казалось, что мы быстро пройдем степь и появимся у стен города. Мне казалось, что при нашем подходе зазвучат какие-то серебряные трубы, будут плакать жигели города от радости и благодарности к нам, сыновней силе, пришедшей на помощь. Мы оправдаем их надежды...

Подошвы сапог поднимали вверх пыль. Невольно, без взаимного сговора, мы шагали быстрее.

В пути мы повстречали машины нашей хозяйки, ездившие в Сталинград за продуктами. На привале мы узнали подробности воздушного нападения. Город в пожарах: горят не только деревянные дома, но и большие здания. Горят приволжские нефтесклады. Шоферы выбирались из горящего города с раскрытыми дверцами кабинок, чтобы можно было в любую минуту выпрыгнуть. Население уходит за Волгу, по речным переправам, на Красную Слободку и острова... Подступы к городу занимает пехота, танки, артиллерия. Выходят организованные в боевые дружины

рабочие сталинградских заводов, причалов, перевалочных баз.

После привала мы двинулись в путь. Впереди нас стоял поднимающийся вверх огромным столбом черный дым. Мне казалось, что я чувствую запах гари.

У меня не было подавленного настроения, предшествовавшего бою в Карашайской долине. И если крещение огнем в Крыму привело меня к выводам, что мы не умеем воевать коллективно, то теперь мне хотелось прижаться своим плечом к плечу товарища, теперь я понимал: сложение — залог победы.

На дороге нам повстречалась остановившаяся на привал часть сибирской пехоты. Сибиряки, коренастые парни с веселыми глазами, заняли оборону рядом с нами. На таких соседей можно было опереться.

Мы, отбивая шаг, проходили мимо гвардейского знамени. Сибиряки уже успели кое-кому наломать рога. Возможно, это части из отважных сибирских корпусов, разбивших под Москвой фон Бока и Гудериана? Нам некогда было их расспрашивать.

Вскоре голова колонны достигла леса, который я видел еще в бинокль и принял за мираж знойной степи. Здесь росли дубы, сосны берест с густым подлеском и кустарниками. В ложине текла речка-малютка, кое-где расширенная искусственными озерами. Ни одной птицы не пролетело над нами: птицы ушли на восток, за Волгу.

Границы леса проходили по высотам, будто самой судьбой приготовленным для обороны.

Придя на место, мы сразу, с марша, взялись за работу.

Обманчива песочком прикрытая сверху сталинградская земля. Много веков высушивали ее ветры и прокаливало солнце, пока она не стала такой крепкой, будто цементом схвачена.

Тяжелы были земляные работы в этих крепких грунтах. Даже привычные ладони покрывались волдырями. Они лопались, и кожа прилипала к тонким черенкам саперных лопат. Невыносимая жара, сухие пыльные ветры, недостаток воды значительно усиливали наши физические страдания. Но я не слышал ропота по ночам, когда в южном небе зажигались звезды. Ребята устало откидывались к стенкам траншей и молча глядели вверх на эти звезды, жадно ловили чуть-чуть посвежевший к ночи воздух. Потом мы забывались коротким, беспокойным сном.

У нас был приказ генерала Шувалова, в котором были такие слова: «Совершенствуя оборону, вы не только выполняете приказ своих командиров, но предохраняете сами себя от глупой, пустой смерти. Стать насмерть не означает умереть. Если вы умело станете насмерть, вы победите, а смерть найдет враг».

Разведывательные самолеты противника заметили нас, но, занятые Сталинградом, не беспокоили. А потом ежедневно стали приходить шестерки «юнкерсов». Они бомбили наши расположения. Мы не стреляли, чтобы враг не обнаружил наши огневые точки, хотя трудно было удержаться, располагая сильным оружием, не ответить врагу.

Авиация зачастую приходила ночью, чтобы засечь систему и характер обороны. Огневые вспышки — анкета обороны. Мы не заполняли для немцев этой анкеты.

С Виктором мы виделись редко. Но при встречах, уставшие от постоянного напряжения сил, мы долго беседовали, делись самым сокровенным.

Последняя встреча перед первым боем происходила на «пяточке» наблюдательного пункта, на обзорной высотке, выбранной полковником, с удобными выходами к штабным землянкам, вырытым в крутом овраге. Этот разговор не принес облегчения. Горел Сталинград. К вечеру черный столб дыма постепенно сливался с небом. Он распластался по небу и тек по слабому ветру, как грозовая, курчавая туча. К вечеру особенно сильно полыхало зарево, окрашивая багрянцем нижние слои дыма.

Виктор, сняв пилотку, прилег на шинель рядом со мной. Он был грустен и неразговорчив. Мне тоже хотелось молчать. В тот момент и не особенно были нужны слова. Хорошо было находиться просто близко друг от друга. Я смотрел на белобрысого, стриженного «под бокс» Витьку, на его затуманенное лицо, на сильные, загорелые руки, на пистолет в такой обношенной кобуре, будто он век его таскал на своем бедре, и сравнивал своего друга с предводителем озорной оравы на берегу Фанагорийки.

— А почему ты до сих пор ни разу не поинтересовался, что же мне тогда написала Анюта?

— Считал неудобным спрашивать.

— Почему?

— Если бы от посторонней девушки, а то от сестры. В этих вещах надо быть деликатным.



— Может быть, — раздумчиво протянул Виктор и снова вполголоса: — А ты знаешь, она мне не написала ни слова... Своего ни одного слова. Она мне прислала песню.

— Какую?

— «Песню Аниюты».

— Но это ее задушевная песня, Виктор. Как она заплакалась, когда пропела ее!.. Убежала в дом вся в слезах...

Виктор приподнялся, сжал мою руку. Близко, возле своего уха, я услышал его сдавленный шопот:

— Почему же ты, Сергей, раньше мне не сказал об этом?

— Повторяю, неловко как-то было. Сестра... А потом, разве было до этого, Виктор?

— До этого, до этого, — Виктор отпустил мою руку, — пойми еще раз — до этого. Я очень, очень люблю твою сестру. Она хорошая девушка. Я буду хорошо драться, чтобы победить, остаться жить и встретиться с ней. В этой любви, Сергей, заключена для меня частица большого понятия — Родина. Ты должен меня понять. Я знаю, меня не все поймут.

По ходу сообщения послышались чьи-то шаги: кто-то поднимался на наблюдательный пункт. Виктор умолк.

Снизу, от балки, доносилось пофыркивание подъехавшей машины. Послышался знакомый шуваловский, отрывистый, хриловатый голос:

— Ваша земля под подошвой, полковник, позади — ни вершка. Войти, как столбы, в эту землю, чтобы никакими клещами не вырвать. Что? Э, нет, братец, никаких серафимов и херувимов не будет. Не волен над ними генерал Шувалов. Думаешь дожить до дня ангела — держись...

— Судя по разговору, убраться надо, — проворчал Виктор. — Прощай, Сережа. Я проскользну вниз вот этой тропкой, чтобы дожить до дня своего ангела.

Виктор не успел скрыться.

Генерал Шувалов поднялся на наблюдательный пункт и преградил своим полным телом моему другу пути отхода.

Мы стали во фронт по всем правилам строевой выправки, которой добивался у нас полковник Градов.

— Кто? Кто же будете, молодцы? — спросил Шувалов, приостановившись, чтобы перевести дух.

Я отрапортовал тихо, но достаточно отчетливо, чтобы генерал меня услышал. Начальник училища, стоявший по-

зади генерала, мог не краснеть за выпускников. Уж мы не подведем нашего полковника!

— Лагунов?.. — удивленно протянул генерал. — Ишь, где мы с тобой повстречались! Здравствуй, здравствуй, Лагунов.

— Здравия желаю, товарищ генерал!

— Не так официально, Лагунов. — Генерал подал мне руку, и я увидел совсем близко его умные, с хитринкой, играющие глаза. — Ну, как дела, индивидуалист?

— Отлично, товарищ генерал.

— Еще бы... Уже произвели? — Генерал пригляделся к знакам различия на моих петлицах. — Поздравляю, лейтенант. Не забыл Карашайскую долину?

Вопрос звучал испытующе, без тени насмешки.

— Всегда буду помнить Карашайскую долину, товарищ генерал.

— Не забывай, верно. — Генерал обратился к Градову: — Севастополь! Крымец!

Шувалов помолчал, посмотрел в сторону зарева над Сталинградом, пошевелил губами.

Тревожные тени прошли по лицу генерала, и, может быть, я один заметил, как вздрогнули его тяжелые веки.

На компункте попискивал зуммер. В темноте, левее нас, звенели лопаты. Генерал снял фуражку, вынул платок, вытер им шею, как-то лениво, почти по-стариковски промакнул лоб.

— А это тоже твой орел, полковник? — Генерал указал фуражкой на Виктора.

Градов назвал фамилию Виктора и его должность по боевому расписанию.

Шувалов наклонился к Виктору, внимательно изучая его лицо.

— У меня-то двое сорванцов, — сказал он грустно. — Вот таких же ребятшек. Ведь недавно же, вероятно, среднюю школу кончали? Недавно в тапочках ходили, в майках? Мои тоже на фронте, в двух разных местах. Один... он и стишки пописывал, Коля. Вот там, где и ты, Лагунов, дрался. А сейчас сведений не имею... Второй-то жив, вот письмо, — генерал поднес свою короткую, полную руку к карману кителя. — А Коля... Не встречал, Лагунов, нигде Николая Шувалова?

— Никак нет, товарищ генерал. Не встречал.

— Да что человек в войне? В такой войне! Как иголка

в стое сена. — Генерал еще раз вздохнул, обернулся к сопровождавшим его командирам, столпившимся в узком зигзаге траншеи. — Я даже стишки стал читать. Везде, где только увижу журнал, газету, ищу стихи. А вдруг стишок-то сыном написан?

Генерал пошел вперед. Мы притиснулись к твердой стене траншеи. Проходя мимо нас, Шувалов поднес к козырьку генеральской фуражки свою полную руку.

Виктор крепко сжал мою ладонь.

— Что там наши, Сережа?

— О ком ты?

— Ну, девушки.

— А... ты вот про что.

— А ты не стесняйся. Не стесняйся. Люся, значит, уж Люся. Посмотрит другой на наших любимых, скажет: «А что тут особенного?» А потому так он скажет, Серега, что не воспитал высокого чувства любви и, если хочешь, преклонения... — Виктор невесело рассмеялся. — Солдатская лирика. Прощай...

### *Глава вторая*

## ПЕРВЫЙ БОЙ У ЩИТА СТАЛИНГРАДА

Утром на Сталинград прошли крупные соединения бомбардировщиков. Раскатистые звуки артиллерии усилились. Попрежнему над городом поднимались тучи дыма.

Командир отделения моего взвода разведки Ким Бахтияров разделал на капустных листах выданные взводу мясные консервы. Это были остатки провизии, полученной еще в Сталинграде. И этот завтрак я оставил нетронутым. Меня вызвал к себе полковник, и я направился к нему на наблюдательный пункт.

Градов сидел на патронном ящике у стереотрубы. Он посмотрел на меня внимательно, оценил, конечно, и мою подчеркнутую выправку и тщательно вычищенные сапоги.

— Посмотрите, лейтенант, — сказал полковник. — Помните, вы делились со мной... Не похоже ли это на... предлюдю Карашайской долины?

Я взялся за рычаги и направил линзы на указанный полковником сектор обороны.

С наблюдательного пункта открывалась полярная степь, прорезанная балками, перпендикулярно расположенными к линии обороны. Балки простреливались нами и потому не годились для накопления вражеской пехоты. На горизонте было видно степное село, похожее издали на овечью отару, ветряные мельницы казались задремавшими чабанами.

По степи от села к нам протянулось несколько белесых полос, удлинявшихся на моих глазах. Глядя на эти полосы пыли, я вспомнил картину из далекого детства — мальчишки с криками «ту-ту» бежали по дороге, изображая паровозы. Здесь наяву я вглядывался в далекие черные точки — головные машины — и характерные для быстроходных танков линии пыли, накрывавшие колонну.

— Наконец они вспомнили о нас, — сказал Градов. — Они хотят серьезно над нами поработать.

Я убедился, что тактика противника не изменилась. Как год назад, он рассчитывал прежде всего воздействовать на психику. И я снова вспомнил своих товарищей, вооруженных винтовками, пулемет с перекошенной лентой и впереди высоту... Так было тогда, в Карашайском ликбезе.

Теперь схема нашей обороны лежала передо мной, как на рельефной карте учебного класса. Я угадывал впереди себя минные поля, заложенные в двойном шахматном порядке и замаскированные под сусличьи норы. Я мог мысленно определить позиции противотанковых орудий и ружей, так и не рассекреченных воздушной разведкой, лисьи норы с запасом «ка-эс», траншеи стрелковых рот и скрытые за ними танки «Т-34».

Позади нас искусно врыта в панцирную почву артиллерия разных калибров: там стоит артиллерийский командир Виктор Нехода со своими четырьмя скорострельными пушками.

Градов отдавал приказания по телефону. Начальник штаба лежал спиной ко мне, на шинели, и тоже говорил по телефону. Потом они о чем-то переговорили между собой, не отпуская от глаз биноклей.

Танки подошли сравнительно близко. Линзы стереотрубы могли, отражая солнце, выдать наблюдательный пункт.

Градов больше не задавал вопросов, хотя мне страстно хотелось сказать ему, что сегодняшний день никак нельзя сравнить со сражением в Карашайской долине. Мне хоте-

лось многое сказать своему начальнику училища, мысли беспорядочно нахлынули.

Но полковник молчал, и я не мог сам вступать в разговор. А потом уж и времени не было...

— Вы останетесь здесь, лейтенант, — сказал полковник, — постарайтесь спокойней раскрыть систему противника. Ваш взвод пусть находится здесь, в резерве.

Я отдал приказание Бахтиарову подтянуть взвод ближе к наблюдательному пункту и остался с полковником.

Танки развернулись в боевые порядки в степи против высот и пошли в атаку. Немцы, очевидно, рассчитывали на легкую победу.

За танками двигались машины, транспортирующие пехоту, зенитные установки, полевая артиллерия на механической тяге.

— Они презирают нас, — сказал Градов, криво улынувшись, — они не желают даже проводить артиллерийской подготовки.

Он отдал короткое условное приказание по телефону. С флангов поднялись ракеты. По танкам противника, достигшим минных полей, ударили пушки. Шквал огня был неожиданным для врагов. Несколько танков остановилось, высыпав черные фигурки, другие подорвались на минах. Остальные повернули назад. Наши противотанковые орудия с сухим, ломким, автоматическим стуком били по слабой бортовой броне. Прорезая воздух, ложились и жилились снаряды, отсекая от головной группы танков вторые эшелоны атаки.

Дежурный вцепился пальцами в землю и что-то приговаривал.

— Так! Так! Так! — бормотал он, и слезы текли по его щекам.

Земля глухо подрагивала от разрывов. В ушах стоял грохот, прослоенный неумолкающей трескотней пулеметов.

Противник отходил, нарушив свои строгие штурмовые порядки. Степь, покуда хватал глаз, была покрыта пылью и дымом.

Градов положил фуражку рядом с собой, расчесал седые волосы и взялся за телефон.

— Ожидайте артиллерийский налет, — неизменно предупреждал он.

Через короткий промежуток времени немцы начали артиллерийский обстрел наших позиций. А ровно через час

появились немецкие бомбардировщики, приходившие группами по шесть — двенадцать машин в течение всего дня. Наземные атаки не возобновлялись.

### Глава третья

## РАЗВЕДКА

Пришла звездная, южная ночь. Бомбардировщики оставили нас, наконец, в покое. К полынным запахам примешивались запахи сгоревшей краски, резины, жженого железа и разбрызганной по травам клейкой выхлопной гари.

Сегодня училище осталось без горячего ужина. Курсанты доедали консервы и сухари из неприкосновенного запаса. Воду к переднему краю подносили ведрами из лесных родников. По ходам сообщения выносили тяжело раненных, санитары помогали тем, кто мог идти.

Я последний раз инструктировал свой взвод перед разведкой. Дневные наблюдения на «эн-пэ» позволили мне установить систему немецкой полевой обороны, расположение огневых точек, изучить топографию местности, примерно установить схему боевого охранения. Но замыслы противника можно было выяснить только при более близком с ним знакомстве. Нам было приказано проникнуть в глубину обороны, разведать силы, постараться добыть «языка».

Начальник школы приказал не зарываться, в бой не вступать и вернуться без потерь. И кроме того: «Донosite то, что вы видели, а не то, что вам показалось».

Мы гуськом спустились к речушке, перешли ее и балочкой дошли до окраины села. Мы легко проскользнули мимо танковых дозоров. Отброшенные на исходные рубежи, немцы не учли урока. Они попрежнему небрежно построили боевое охранение. Если в Крыму мне приходилось испытывать безотчетный страх перед неизвестным врагом, то сейчас я шел на выполнение задачи с чувством своего превосходства над противником.

В танках немцы беспечно, подключив аккумуляторные лампочки, принимали своими рациями фокстроты. Строгий приказ не позволял мне воспользоваться беспечностью врагов.

Черные тени разведчиков следуют за мной. Мы бесшумно достигаем домика на окраине села и через огороды подходим ко второму дому.

Я высылаю вперед дозорную тройку и приказываю расположить ручные пулеметы на дороге возможного отхода. Со мной остается четыре человека. Это выученные и смелые курсанты, призванные из сечевых станиц Краснодарского края. На них можно вполне положиться. Я слышу вблизи себя их дыхание. Я называю это в разведке мореходным термином — «розой ветров». Мне кажется, что меня одновременно обдувают четыре ветра. По этому морскому коду я называю своих спутников: «Норд», «Вест», «Ост» и «Зюд». Не знаю, может быть, кто-нибудь и посмеется над этим.

Четыре «ветра» окружили домик. В сфере наблюдения — четыре стены, угловые стыки и все, что за спинами разведчиков.

В разведке до крайности обострены все чувства и восприятия. Иногда кажется, что ты чуешь запах следов человека и машины.

Озверевшие враги хотят возвратить нас к временам варварства, нас, познавших благородство и радость труда. Когда же остальной мир поднимется до нас?

Я, сжимая в руке пистолет, стучу в дверь колхозного дома.

Дверь открыла старая женщина, с накинутой на плечи шалью. Не посмотрев на меня, старуха направилась в комнату, где горела коптилка.

Я переступил порог и негромко окликнул хозяйку. Она быстро обернулась ко мне, приподняв коптилку, вглядываясь в меня. Я увидел радость и страх на лице женщины.

— Сынку... тут немцы... сынку... — прошептала она.

— Где? — Я притворил дверь, чтобы не привлекать внимание к свету.

— У нас. В этой хате... только-только вышли.

— Куда?

— Не знаю куда. Закололи кабана, велели готовить ужин и вышли. Обещали вернуться.

— Вашего кабана?

— Нет. Тут рядом баз. Сотни две свиней. Приготовили колхоз гнать за Волгу, к Ахтубе, а тут танки...

Из кухни доносились запахи варившегося мяса. Я проглотил слюну. Мои голодные ребята сейчас быстро бы рас-

правились с кабаном. У меня созрело решение — взять свиней. Выслушав меня, старушка подошла ближе и сказала:

— Их много, дюже много. Свинья идет не швидко.. Гоните, сынку! Дай, боже, вам удачи!

Выйдя во двор, я вызвал трех шустрых курсантов из пулеметного заслона и рассказал им, что надо делать.

Ребята отлично меня поняли и побежали открывать ворота база.

Стадо свиней, тихонько хрюкая, повалило из загона. На наше счастье, невдалеке началась балочка, приведшая нас к этому дому.

Мы подождали, пока ребята отошли от села, и продолжали разведку.

Мы огородами проникли в село. В огородах росла кукуруза. Я шел впереди по росистой траве, раздвигая стебли, чувствуя то под ладонью, то под локтем тугие, надломившиеся початки.

Так, огородами, мы прошли до квартала, примыкавшего к главной площади.

Вот дом под светлой крышей из оцинкованного железа. Поодаль дома — службы, амбар и длинный лабаз, как называется на Ставропольщине сарай для хранения повозок и сельскохозяйственных орудий.

Во дворе было тихо. Перед домом по улице ходил часовой. Мы слышали его равномерные шаги у забора.

Я рассредоточил своих людей, а сам вместе с «розой ветров» подполз ближе к забору. Рядом со мной был «Вест» — надежный Ким Бахтиаров, рядом с Кимом глядел в щелку забора «Зюд» — Данька Загоруйко, сын предколхоза из Каневского района, смысленный, невысокий курсант, а левее меня, за кустами сирени, залегли плечо к плечу два брата Гуменко, Кирилл и Всеволод, призванные в училище из приазовской станицы. Они как бы дополняли друг друга отвагой, решительностью и каким-то вихревым напором. Им вполне подходили их позывные — «Норд» и «Ост».

Луна поднялась выше акаций, которые росли по обеим сторонам улицы. Деревья напоминали высокие скалы, обросшие темным мхом.

И вот я услышал слева мерный шаг приближавшейся к нам пехотной колонны: туп-туп-туп, топ-топ-топ.

Колонна приблизилась. Впереди шел офицер.



Немцы шли в стальных, поблескивавших под луной шлемах, в черных мундирах, проклеянных эсэсовскими шевронами — белые черепа и накрест берцовые кости.

Скрипели их сапоги, пояса, ружейные ремни, и казалось, скрипели опущенные под подбородки ремни крупновских касок.

Колонна прошла: топ-топ-топ.

Часовой снова зашагал возле забора.

Если этот дом охранялся, значит в нем остановилась важная персона.

Оставив «четыре ветра» наблюдать за солдатом, я осторожно пробрался к неохраняемому черному крылечку.

Сквозь затемненное окно кухни пробивался свет. Я знал, что офицеры устраиваются в парадных комнатах, и тихо постучал в окно.

Через дверь я услышал молодой женский голос:

— Кто там?

— Свои, — тихо ответил я.

— Ты, Петя? — Дверь приоткрылась, и голос радостно и в то же время испуганно зашептал: — Ой, боже ж мий, Петя! Уйди, уйди, швидче, Петя. Ой, боже ж мий! У нас на квартире офицер.

— Дома он?

— Нема, зараз ушел. — Женщина, видимо, поняла свою ошибку. — Да кто это вы такой? Вы не Петя!..

— Откройте, — тихо попросил я: — мы русские, красноармейцы.

Двери полуоткрылись, и на пороге появилась девушка с нерасплетенной косой, лежавшей по обнаженному белому плечу, со скрещенными на груди смуглыми руками. На безымянном пальце правой руки светлело наивное серебряное колечко, в мочках ушей виднелись дешевые сережки.

Я коротко объяснил девушке, что нас интересует. Она близко наклонилась ко мне и, обжигая меня своим дыханием, рассказывала, где стоят зенитные пулеметы и орудия, сколько вчера и сегодня прибыло немецких машин и какие на них были нарисованы поразившие ее знаки. Она многое узнала, разыскивая своего Петю, пропавшего сразу же с приходом немцев.

Она отважилась искать его в Подсолнечной балке, — а там стояли танки, она искала его среди пленных, согнанных к ветрякам, и запоминала, сколько там врыто зенитных орудий.

Попросив ее позорче наблюдать, пообещав, что еще наведаюсь в село, я сказал «до свидания» и отошел от крылечка.

Вдруг она сбежала с крыльца и сунула мне в руку записку. Я сунул бумажку в карман и, наполненный какой-то гордой радостью, проскользнул на прежнее место, стараясь держаться в тени сарая и высоких грушевых деревьев.

Часовой медленно, вразвалку прошел к дому.

— Надо брать его, «Вест», — сказал я Бахтиарову.

— Мне нужен напарник, — прошептал мне на ухо Бахтиаров, — я возьму «Зюда».

— Хорошо.

Бахтиаров стал у кустов сирени, перебросившей через забор свои ветви. Эти темные ветви и падающие от них глухие тени скрывали Кима.

«Зюд» — Загоруйко — присел у ног Кима.

Правее Бахтиарова, застывшего, как чугунная тумба, лежали братья Гуменко. Часовой приближался. Вот он почти у сирени. Сделай он шаг в сторону — и схватить его будет трудней. Еще одна секунда, и «Вест» ударяет ребром ладони по горлу немца. Это прием джиу-джитсу. Ким напрягается всем своим сильным телом, будто свитым из стальных тросов, поднимает фашиста и бросает его на землю, у корней сирени. Ким тяжело дышит, сопит, придавливая часового коленом. Проворный Данько быстро и плотно заталкивает в рот пленника паклю.

Луна побледнела. Скоро рассвет, пора возвращаться.

Днем мы не сумеем вернуться той же дорогой. Танковые дозоры нас не пропустят. Возвращаемся удлиненным маршрутом — через болотистую низину степного озера Цаца, примыкающего к нашему району обороны.

Бахтиаров несет пленного. «Язык» весит не меньше восьмидесяти килограммов. Ким молча тащит его и только изредка, когда после минуты привала нужно перебросить «языка» на другое плечо, толкает в бок кулаком.

Если мы замечаем движение вблизи нас и вынуждены остановиться, Бахтиаров кладет пленника лицом к земле и коленом придавливает его спину, придерживая связанные ремнем руки немца.

Впереди идущий дозор обнаружил проволоку, которую немцы успели навить на подходе к камышам. Проволока задержала нас. По моему приказанию Загоруйко режет ее.

Слышится характерный щелк ножниц. Слева поднимаются ракеты. Неужели нас заметили? Распластались на земле, почти не дышим. Ракеты освещают местность. Надо брать правее, к камышам, и тогда держаться круто на восток, чтобы попасть к своим высотам.

Погасли ракеты. Мы побежали к озеру и быстро достигли берега. Позади нас заработали пулеметы. Несколько разрывных пуль фыркнули у кустов зеленоватыми, магниевыми огнями.

Мы выбрались к озеру.

Где-то вдали, будто подражая звукам пулемета, заквакала лягушка, смолкла. Легкий, холодноватый туман поднимался над водой. Хотелось пить и есть.

Мы двигались в камышах вдоль берега по тропке, очевидно, промывая охотниками. Пленник шагал вместе с нами.

Отрывисто, сварливо залаяли овчарки. Мы прилегли. Лай доносился оттуда, где за выкошенной осокой виднелась приозерная высотка. Мы заметили контуры зенитных срудий, пригнувших стволы к земле.

У батареи, вероятно, расположился сторожевой пост полевого караула.

Собаки — самое неприятное для разведчика. Их очень трудно провести.

Продвигаемся вброд, осторожно раздвигая камыши, чтобы не сломать. Последним идет «Зюд» — Загоруйко, так как мы идем на север.

И тут я вспоминаю о записке.

Что может писать мне незнакомая девушка? Я вспоминаю влажные, испуганные глаза, блестящие, словно смородинки, обмытые теплым дождем. А потом я вспоминаю другие глаза — полевые цветочки, образ, запечатленный в моем сердце!

Я бреду по воде, с трудом поднимаю ноги. Мои мысли снова и снова возвращаются к записке.

Мы остановились у камышовой просеки. Перед нами была протока. Я сбил щелчком каплю, прилипшую к стеклу компаса, и определил по закрепленному азимуту, что нужно пересечь протоку.

Я раздвинул молодой камыш. Трава на берегу была затоптана и пожелтела.

Кругом никого не было видно. Но мне казался подозрительным крутой пригорок. Место было удобным для установки пулемета.

Как же пройти около двадцати метров открытой водой?

Я вспомнил детские годы и интересные рассказы Устина Анисимовича. Мои предки, древние славяне, по словам доктора, умели обманывать врага и не задыхались под водой, держа во рту полуогу камышинку. Вокруг нас стоял старый, твердый камыш. У каждого из моих ребят были острые ножи и ружейные шомполы. Мы очистили камыш изнутри. Подготовка к переходу протоки была завершена быстро.

Я решил первым перейти протоку.

Прежде чем погрузиться в воду, я снял пилотку и зацепил за пояс: она могла всплыть. По цепи был передан мой приказ — идти следом за мной, как только я достигну противоположного берега, идти не разом, а по-двое.

Погрузившись с головой в воду, согнув колени, я двигался по дну. Камышинку прикусил зубами за косо срезаемый конец и плотно сжал губы, чтобы не наглотаться воды. Я двигался с открытыми глазами и видел темно-зеленую воду, речную траву — чмару, причудливыми кустами поднимающуюся вверх. Несколько раз из-под моих ног выскакивали черепахи, какая-то мелкая рыбешка испуганно промелькнула возле ствола моего автомата. Очень длинными показались мне эти двадцать метров подводного перехода.

Наконец я дошел до осклизлых палок камыша, затем камыш погустел, встал стенкой. Я сделал еще несколько шагов, высунул голову и жадно глотнул воздух.

Молоденький тритон, сидевший на поверхности речной травы, изумленно приподнял головку и нырнул в воду. Несколько пиявок успели присосаться к моим рукам и шее. Я отодрал их и отбросил в камыши.

Мои разведчики уже переходили протоку. Я видел срезаемые концы камышинок и пузырьки воздуха.

«Язык» совершенно точно исполнял все требования могучего Кима. И вот в приозерной низине, у ветл, мы увидели огни бездымных костров, которые умели разводить наши училищные кашевары. Мы были у себя дома. У двух раки, напоминавших мне пристань на Фанагорийке, стоял караул. Курсанты тоже заметили нас и следили за нашим передвижением в высоких осоках. Я поднял руку и крикнул:

— Свои!

Кто-то схватил меня сзади и гаркнул над ухом:

— Пароль?

Виктор держал меня в своих объятиях.

— Сережа, милый, — говорил он радостно. — Сережа!

Виктор довел меня до берега, усадил на траву и, с трогательным вниманием рассматривая мое лицо, расхохотался:

— Ишь, как тебя измордовали черти в болоте!

Мы смотрели друг на друга и, кажется, не могли наглядеться.

— Еще в полночь твои ребята пригнали свиней, — рассказывал Виктор. — Всполошило трофейное стадо вторую роту. Успели ребята прихватить по кабану. Мои артиллеристы тоже не растерялись. Сейчас видишь костры? Жарят свинину.

— Не попадет ли мне от полковника, Виктор?

— За свиней, что ли?

— Мне было приказано не отвлекаться.

— Но задание, я вижу, выполнил? — Виктор указал на немца.

Я вспомнил о записке. Надо скорее выгащить ее из кармана и просушить. Солнце уже выглянуло, и редкий туман быстро испарялся. Потянуло ветерком, зашептали листики приозерных тополей.

Я осторожно развернул записку.

Виктор с любопытством потянулся ко мне.

Чтение меня разочаровало. Девушка обращалась к какому-то товарищу Каратазову с просьбой о том, чтобы... Хотя зачем своими словами передавать содержание записки, если эта записка лежит передо мной.

«Товарищ Каратазов, — писала девушка, — прошу принять мое письмо и дочитать его до конца. Мне письмо это писать важно, немец на постое и каждый час глядит на меня. Простите, товарищ Каратазов, ежели што не так написано, пишу ночью, при лампочке. Я бы не стала к вам обращаться, кабы вы не проехали перед отступом по нашему саду и не сказали речь. Вы сказали: немец — явление временное, мы скоро возвернемся, будьте на-чеку. Мы остались потому, что не было коней забрать все с кошары, а бросить нельзя было. А шпанку угнали за Ахтубу, как нам объяснили. А потому, как угнали овечек, угнали все показатели моего звена. А вы, наверное, знаете, что мы собирались в этом году на выставку в Москву. Вот мы, девчата, боимся, что разойдутся наши показатели по-за Ахту-

бой, по степу, бо степ там великий, и возвратесь вы после немца, а как же с выставкой? Пишу мелко, разберете, бо керосину мало и нема бумажки на письмо. В точности все знает Антон Перехватов, которому поручена наша отара второго звена. Если помните меня на слете в районе, так пишет вам Катерина Протасова из колхоза «Семнадцатого съезда».

Я сидел мокрый и грязный. Я испытывал голод. Мне хотелось спать, но светлые мысли волновали меня. Я думал о девушке, которая верила, что скоро снова откроется выставка в Москве и в просторных стендах вывешат для обозрения всей страны показатели ее труда.

И это письмо, просыхающее на прикладе моего автомата, напомнило мне о радости крестьянской, колхозной работы. Далеко был мой дом. Не знал я, что стало с моими родителями, с крышей, с яблонями, возвращенными нашими руками. Но знал я: здесь, у малоизвестного озера Цаца, у высот, которые после по праву крови пусть назовут высотами храбрых курсантов, что семя жизни не затоптано в прах.

Глядя на простую бумажку, вырванную из ученической тетради, я вспоминал своего отца, пошатывающегося от огнестрельной раны, и снова услышал его клятву: «А ничего... не брошу... не сойду».

Виктор взял меня за руку.

— А ты знаешь, Серега, она-то нам верит... Я советую, передай это письмо нашему замполиту... Он сумеет этого самого Каратазова разыскать и использует письмо в обороне и в наступлении.

Меня потребовали в штаб. Туда уже был отведен пленный. Полковник встретил меня стоя, подал руку.

— Молодец, — сказал он и ласково оглядел меня с ног до головы. — Когда пригнали свиней, напугал, Лагунов. Думал, увлекся. А теперь ничего, оправдался. Садись.

Я сел против Градова за дощатый стол, уставленный телефонами. На каждом аппарате был наклеен бумажный ярлык — цифра роты. Ярлыки были сделаны аккуратно. Края бумажек обрезаны ножницами. На столе лежала известная мне папка «к докладу» с выгисненными на ней золотыми буквами — названием нашего училища, янтарный мундштук полковника и футляр от очков. Очки полковник держал за ушки в руке и пристально глядел на меня.

— Вот и опять вижу тебя, — он запнулся, поиграл очками, — Сережа.

Никогда меня так не называл наш начальник. Услышав в его устах свое имя, я вздрогнул от неожиданности, смутился и, очевидно, покраснел.

— Мой возраст и положение позволяют мне называть тебя именно так... — И словно оправдываясь, полковник добавил: — Иногда. — Он встал, прошелся по землянке и, положив мне руку на плечо, сказал: — Сейчас ты расскажешь, что видел. Но только то, что видел, а не то, что тебе показалось.

Я описал полковнику картину ночного похода эсэсовской части. Градов поднял на меня глаза.

— Действительно ли солдаты держали шаг? В самом деле, скрипели у них сапоги и ремни? Не показалось ли вам? — спрашивал полковник.

Он, внимательно взвешивая мои ответы, одобрительно кивал головой.

— Еще один вопрос. Вот тебе, именно тебе, молодому человеку, когда ты близко видел их... не было тебе страшно?

— Нет, товарищ полковник.

— Подумай. Ты слишком быстро ответил.

Я снова перебрал все в памяти.

— Нет, — твердо повторил я.

Градов кивнул головой.

— Это все рассказывай людям. Всем людям, не только товарищам... Чем больше, тем лучше. А сейчас, — он подал мне руку, — иди. Приведи себя в порядок и отдыхай. Это что у тебя в руке?

— Письмо девушки, о которой я говорил, товарищ полковник. Может быть, передать его комиссару? И еще я просил бы наградить Бахтиарова. Он изловил «языка».

В землянку вошел начальник штаба — высокий, сутуловатый майор.

— «Языка» поймали добротного. Первый класс! — сказал он, помахивая полевой сумкой. — Словоохотливый господин.

Это было в восемь ноль-ноль. А ровно в десять немцы снова атаковали наши высоты.

## ПОБЕДУ НАДО ГОТОВИТЬ

Ночью, пока мы были в разведке, училище усилили тремя дивизионами реактивных минометов — «катюш». Кроме того, по распоряжению генерала Шувалова прикрепили к нам еще один артполк из резерва Главного Командования. Шувалов ожидал повторного удара именно на нашем участке.

Тягачи, доставившие тяжелые орудия, скрылись в отвесах мертвых пространств. С «катюш» сняли чехлы, и в блиндажах артиллеристов на боевых планшетах-столах расположились приборы точной механики, спокойные регуляторы артиллерийского боя.

Подул сильный западный ветер. Немецкие танки, поднимая косые пенные гребни, катились на нас по степи.

Бронеколонны построились для атаки: немцы стали осторожней. Были оставлены интервалы для маневра танков. Вот и опять, как в детстве у моря, я вижу гребни шторма. Но это шторм войны. Я видел штормы. Мне известно, что не надо страшиться этой отдаленной угрозы. Я знаю, как подкатывает к берегам волна с седым завитком, кружит стальными ребрами.

Если тогда, у грозного моря, я был бессилен, то сейчас мне слышны голоса наших орудий: как будто чьи-то огромные руки играют на туго натянутых струнах гигантской гитары.

Потом всем показалось, что откуда-то с тыла пришли самолеты, сбросили бомбы на наши окопы. Даже Ким Бахтияров испуганно прижался к земле, а глаза его воззилились в меня.

— «Катюши!» — кричу я Киму. — «Катюши!»

Лицо Кима расплывается в улыбке. Ему немного стыдно за свой испуг. Я вижу, что начальник тоже прислушивается к этим клокочущим звукам. Он нагибается к микрофону, откуда идут нити репродукторов на передовые траншеи, снимает фуражку и громко кричит:

— Курсанты! Работают наши гвардейские минометы!

Его голос сейчас услышала вся оборона. Везде стоят мощные усилители. Полковник звонит в штаб, и микрофоны передают через адаптер песню Исаковского «Выхо-



дила на берег Катюша». Мы слышим звуки музыки, улыбаемся друг другу.

Гром умолк. Поле покрыто черными клубами. Когда дым рассеялся, кажется, что по полю прошли тракторы. А облака дыма? Так могут гореть заросли сухого будяка, верблюжатника и песьего цвета.

Сделав залп, «катюши» меняют огневые позиции. Все это делается незаметно даже для нас. Там, где они стояли, еще висит густое облако, белое поверху и темное снизу. По облаку идет бомбежка. Шестерка пикирующих самолетов ходит по кругу и один за другим бросаются книзу.

Их метко прозвали «козлами». У «юнкерсов» усилена лобовая часть, и штурманские кабины напоминают головы козлов, приготовившихся к прыжку, когда они кладут рога почти параллельно туловищу. Пикировщики фактически бьют по пустому месту, так как «катюши» уже давно переменили позиции. Дважды крутится пластинка в радиорубке. Снова гремят реактивные установки. «Юнкерсы» уходят. Вслед им мчатся наши истребители. Это новый тип «яков». Сюда доносится пение их моторов. Белые полосы за самолетами, разрезающими воздух, как буквы, прикрывают небо.

Противник продолжает атаку. Загоревшиеся машины подняли в небо факелы дыма. Танки наступают, держась плотным строем. «Язык» не обманул при допросе. А вон танки-макеты. Их на ходу бросают буксирные машины и уходят зигзагами, не давая пыли спокойно осесть на землю. Позади идут простые автомашины для счета. «Язык» сказал, что враг решил нас запугать обилием техники. Нас, владельцев тысяч машинно-тракторных станций!

Начальник предупреждает курсантов по радио. Его слова должны слышать все:

— Машины для счета! Их можно жечь, как свечки!

Пехота противника идет в атаку на высоты. Ее накрывает сосредоточенный пулеметный огонь. Ведут огонь отличники-курсанты, первыми в училище сдавшие зачеты на значок «ГТО» 2-й ступени. У них сильные мышцы и в карманах билеты ленинского комсомола. Клятвы, подписанные пулеметчиками, лежат в полевом сейфе комсорга, у знамени нашего училища.

Пехота не выдерживает шквальных очередей. В бинокль видно, как немцы падают, прижимаются к траве, взмахивают из-под локтя саперными лопатками, пытаются

окопаться. Но взять землю трудно. На наших лопатах оставалась кожа наших ладоней, пока мы прикрылись этой бетонной землей. Саперной лопаткой с такого положения ее не возьмешь.

Курсанты продолжают огонь из скорострельных пулеметов «ДС».

На поле остаются трупы. Я жду атаки эсэсовцев. И вот появились черные мундиры. Эсэсовцы идут в атаку на вторую роту. Еще и еще прыгивают с танков. Атака производит внушительное впечатление. Фашисты пытаются восстановить тот самый шаг, которому их учили на плацах для вступления в чужие, завоеванные города.

Атака становится все напряженней. Полковник подробно договаривается с номером «тридцать», командиром дивизиона «катюш». Градов педантично выясняет, не зацепит ли залп расположение второй роты.

Окончив разговор, полковник принимает к брустверу. Я вижу его сильную спину, сбжавшиеся гармошкой рукава, чистые манжеты шелковой рубашки и позолоченные запонки с зеленоватыми камешками яшмы.

Черные мундиры рассчитывают на психическое воздействие. Градов верит второй роте. Там хорошие, смелые ребята, спортсмены, взявшие первенство по снарядной гимнастике и прыжкам.

Я заражаюсь волнением полковника. А что, если ребята из второй роты подведут и дрогнут? Они должны принимать противника с близких дистанций. А с близких дистанций курсанты разберут все: и каски с ремнями, и новые сапоги, и амуницию, и мрачные шевроны СС.

Полковник придвигает к себе квадратик микрофона, охватывает его руками и разделяло, спокойно приносит:

— Я Градов! Я Градов! Курсанты! Их всего триста двадцать рядов по четыре!

Полковник повторяет свою информацию, на минуту смолкает, смотрит в стереотрубу и снова говорит в микрофон:

— Огонь!

Рокочущий голос «катюш» заглушает залповый винтовочный и шквальный пулеметный огонь. Градов машинально вынимает из кармана янтарный мундштук и кусает его.

— Они добрые ребята, — тихо говорит он о второй роте.

Атака отбита. Над степью дымятся черные костры.

Еще день штурма высот и... тишина.

Звонил генерал Шувалов. «Спасибо, курсанты!»

И на утро четвертого дня над нами появился заблудившийся в шуме и грохоте сражений подорлик. Он парил над расположением нашей военно-пехотной школы.

— Птица! — кричали обрадованные курсанты. — Птица!

Подорлик долго парил над нами.

Через час птицу отогнал от нас немецкий самолет.

Самолет сбросил листовки:

«Курсанты! Вы храбро сражались с немецкой армией. Мы видим теперь, что из вас будет толк. Но только не на стороне Советов. Вас посылают на смерть, не сделав из вас офицеров. У нас вы уйдете в тылы. Закончите образование и примете командование сообразно вашим талантам. Мы сделаем из вас полководцев!»

Позвонил Шувалов:

— Гвардейцы-сибиряки получили приглашение поступить в немецкие военные школы. Как ты думаешь, полковник, не плохо ли у них дело, раз они вербуют себе офицеров с Волги?

Мы хоронили убитых в мертвых пространствах наших высот.

Мы хоронили их в курсантских шинелях, сшитых в талию, с высоким фасонным разрезом, с пилотками на груди, так, чтобы они могли прижать последний раз своими руками красные звезды. Мы не плакали над могилами убитых. Нам нельзя было плакать. Мы не давали салютов, чтобы не спугнуть тишину. Так мы хоронили своих друзей, погибших у щита Сталинграда.

А враг уходил. Коловорот крутился вдоль берега своими стальными ребрами. Немцы старались провертеть в нашей обороне дыру. Сибиряки их не пустили. Не пустили их и курсанты Грозненского и Краснодарского училищ, не пустили курсанты города Орджоникидзе! Но немцы стремились к своей цели, где-то прорвали стыки и начали обтекать нашу оборону.

Ночью мы покидали высоты и походным, форсированным маршем, рассчитанным на встречный бой, уходили ближе к Волге, чтобы включиться в сталинградский оборонительный пояс внешнего обвода.

## ВЫСОТА КОММУНИЗМА

Если кому-нибудь угодно будет искать высоту 142.2 по военно-топографической карте, определяйтесь левее Песчанки, что близ Сталинграда.

Здесь дрались наши дивизии. Здесь немало погибло советских людей.

Бои у Песчанки отсасывали силы врага от Сталинграда. Этот подвиг совершался во имя родины, во имя боевого товарищества, по продуманному в мельчайших деталях сталинскому стратегическому плану. Мы честно выполнили там свой воинский долг и не нарушили присяги.

Я расскажу теперь обо всем по порядку.

Из сводок Информационного бюро мы знали, что противнику удалось форсировать Дон и выйти в пределы Краснодарского края.

Виктор сообщил мне, что наша станица упомянута в сводке. Противник, занявший Краснодар, перешел Кубань и подошел к восточным отрогам той части Кавказского хребта, которая тянулась в пределах Кубани. Мы были отрезаны от своих семей линией фронта. Немцы шли к Моздоку — Грозному — Орджоникидзе. Это был путь на Баку и Тбилиси.

Мы с Виктором ничего не знали о судьбе родных и серьезно тревожились. О чем бы мы ни говорили с Виктором, дело заканчивалось предположениями: что там?

Наша дружба еще больше окрепла от общего горя. Не проходило дня, чтобы мы не встречались. Если же мы не могли увидеться, тянуло к телефону — услышать голос друга.

Бахтияров и Гуменко тоже потеряли связь с семьями. Загоруйко получил письмо от своего дальнего родственника, воевавшего у Моздока. Он сообщал, что семья Загоруйко не успела уйти. Шаланды с эвакуированным гражданским населением были перехвачены где-то у Приморско-Ахтарской. Загоруйко написал в Бузулук, в правительственную комиссию по розыску, но там ничего не знали.

Я не мог найти места от горя. А тут еще военно-пехотные училища перевели в резерв фронта. Из оставшихся курсантов сформировали сводный полк. В бой пока нас не вводили. Из курсантского полка, как из резервуара, гене-

рал Шувалов черпал офицерский состав. Мы ждали и томилась.

В то время как другие дрались на фронте, мы занимались строевой, тактической и политической учебой.

Решение уйти на передовую созрело не только у меня. Над этим задумывались и Бахтиаров, и Загоруйко, и братья Гуменко, и Виктор. Конечно, нас в конце концов двинули бы в бой, пришло бы свое время. А когда оно настанет?

Я был уполномочен для переговоров с полковником. Градов принял меня в глинобитной кибитке. Как и всегда, на столе стояли телефоны. На патронных ящиках, сложенных в углу, лежал кожаный несессер, полотенце в сумочке и стояла бутылка узбекского красного вина.

Полковник держал в руках книгу. Жестом пригласив меня сесть, он отложил книгу и во время нашего разговора изредка в нее заглядывал, как бы используя каждую удобную минуту для чтения.

Градов внимательно выслушал мои соображения. Он не перебивал меня. Потом задал несколько вопросов,—они касались семьи. Когда я сказал, что о переводе на передовую просят мои разведчики и Нехода, Градов остановил меня словами: «С ними я переговорю отдельно».

Я сидел близко к столу и во время беседы мог заглянуть в книгу, которую читал полковник. Это был «Хаджи Мурат». Мне казалось, что он перечитывает эту повесть с какой-то тайной мыслью. Я увидел подчеркнутые места и очень заинтересовался.

«На душе было бодро, спокойно и весело. Война представлялась ему только в том, что он подвергал себя опасности, возможности смерти и этим заслуживал и награду, и уважение здешних товарищей, и своих русских друзей. Другая сторона войны: смерть, раны солдат, офицеров, горцев, как ни странно это сказать, и не представлялись его воображению. Он даже бессознательно, чтобы удержать свое поэтическое представление о войне, никогда не смотрел на убитых и раненых».

Заметив, что я читаю подчеркнутое им, полковник улыбнулся уголками губ, отодвинул свою руку с длинными пальцами и старательно вычищенными ногтями.

— Поэтическое представление о войне, — произнес он, как бы отвечая каким-то своим мыслям.

Снова легкая улыбка скользнула по его тонким губам.

Мы молчали. Градов встал, откупорил штопором перочинного ножичка бутылку вина, налил два стакана, один пододвинул ближе ко мне.

— Выпьем за твою удачу, Лагунов, — тихо сказал он.

Я выпил вино залпом и отставил стакан. Полковник отпил несколько глотков и продолжал наблюдать за мной.

— Ты слишком взвинчен для передовой, — сказал полковник, — так легко совершить опрометчивый поступок. А на войне всякая ошибка — кровь. А необдуманный поступок командира — кровь его подчиненных.

— На передовой я успокоюсь, товарищ полковник.

— Нашел бромистый препарат, — сказал полковник, опустив глаза. — На передовую надо приходиться спокойным, разумным и немного обозленным. — Полковник налил мне еще стакан и немного долил в свой. — Я знаю, что ты далек от поэтического представления о войне. Ты слишком близко познакомился с ремеслом, каким вынуждены были поневоле заниматься наши молодые люди. У меня тоже была семья, Лагунов. — Градов прикусил губу, лицо его нервно вздрогнуло, но он, видимо, взял себя в руки, прямо глядя мне в глаза, добавил: — Моя семья захвачена в Риге. Я коммунист. — Градов закурил от зажигалки. — Я разрешу вам уйти от меня... тебе и твоим товарищам. Но я должен в одиночку поговорить с каждым из них. Я давно командую школой. Так повелось: наступает момент, и, как из осеннего гнезда, навсегда вылетают птенцы, укрепившие свои перья и клювы. Может быть, эта привычка обязательно расставаться с учениками и помогает мне теперь. Хотя сейчас хуже... Я лишился семьи, а с вами я сжился, ребята. Каждого, почти каждого как бы усыновляя своим сердцем... Особенно после боевого крещения у высот Тингугты.

Я был растроган. Мне хотелось много, очень много сказать этому человеку, которого мы несправедливо считали суховатым. Спазмы сжали мое горло, и я не мог вымолвить ни слова.

Градов глянул на меня и понял мое состояние. Он встал, я поднялся вслед за ним. Полковник лодал мне руку.

— Желаю удачи, — сказал он. — Я уверен, что ты не подведешь своих преподавателей. Мне кажется, ты сумеешь командовать ротой.

И вот я у высоты 142.2.

Я командую стрелковой ротой обычного стрелкового полка, не имеющего еще ни одного ордена на своем знамени, не имеющего звания гвардейского, — обычного стрелкового номерного полка.

У меня в подчинении много разных людей. Есть молодые ребята, каспийские рыбаки, сильные, загорелые, с особыми привычками жителей приморских поселений, все равно, будь это ребята из Ланжерона, порта Хорлы, Керченского полуострова или Дербента. Это смелые парни, даже излишне смелые, певцы и балагуры, любящие носить пилотку так, что кажется, ее вот-вот снесет легким ветерком. Они говорят на особом приморском жаргоне, выработали походку враскачку, обязательно обтягивают свои мускулистые торсы тельняшками, стремятся подражать подошедшим к нам на стыки морякам Тихоокеанского флота.

Наряду с этими молодцами можно встретить степенных колхозников, спокойных и рассудительных, с пшеничными, выгоревшими усами, с аккуратными сундучками в обозах, с вышитыми рушниками в вещевых мешках, в удобно пригнанном обмундировании, добротной починенных сапогах. Эти люди по колхозной привычке держатся вместе, ведь они привыкли и в мирной жизни к бригадам, к звеньевой цепи, к взаимной поддержке друг друга, к доброму и надежному чувству сильного локтя. Они пришли под Сталинград, как на косовицу или на молотьбу. Они посмотрели из-под своих заскорузлых ладоней на клубы сталинградского дыма, безустали поднимавшегося к небу, определили: нефть уже не горит, а горят дома, и то редко. Они прощупали пальцами землю, помяли ее в жмени, установили: родит трудно, копать долго, но, зарывшись в нее, можно не бояться вражеского металла, прикроет от врага матушка, выручит и сейчас, в бою.

Они тщательно смазали свое оружие, пригнали ружейные ремни — сейчас сидим, а может, пойдем и пойдем. Помогли освоиться в этом деле молодняку. Они правдами и неправдами заполучили побольше патронов, перетерли их, смазали и снова уложили в картонные пачки.

Любопытство привело их на батареи — посмотреть пушки, можно ли и на них иметь надежду? Оглядели огневые позиции пушкарей и кое-что посоветовали своему брату — рядовому. Ведь что-то, а машины, стоящие на земле-матушке, им близки. Крестьяне умели в мирной жизни применяться к разным местностям, чтобы поставить

щиты для задержки снега, чтобы посадить курагу против суховея, чтобы раньше комбайнов косами убрать быстрее созревающие по южному припеку пшеницы.

Если они увидят танк, проверят обязательно у командиров и товарищей: а сколько у него лошадиных сил, а на каком топливе работает, а как его завести на холоде, не вымотан ли моторный ресурс?

Люди эти вполне доверяют технике. Кто же их привел к счастью? Не эти ли заводы, вынужденные делать танки, раньше снабжали их тракторами — снарядами, разорвавшими кабалу чересполосицы. Этих крестьян в шинелях сталинградских воинов не нужно долго убеждать держаться возле танковой брони в атаке, пусть даже потом поноют ноги, побитые на долгой крестьянской работе. Они знают: танк предохранит от шальной пули, от разрывной гранаты и проложит дорогу, подмяв на своем пути и пулеметное гнездо и навиток толстой германской проволоки.

Воины эти надежны и дальновидны. Они мечтают поскорее возвратиться в свои колхозы, быстрее заняться полезным трудом, — уж они не будут мямлить в бою и тянуть дело победы.

К ним присмотрятся ребята-лихачи и кое-чему научатся у них, так же как эти разумные колхозники позаимствуют у каспийцев и резвости и веселости в предчувствии смертного часа, от чего никто не застрахован в бою.

Эти мудрые политики всё взвесили на своих мозолистых ладонях. Они разобрали германское трофейное оружие до винтика-шплинтика и похвалили наших рабочих, приславших им оружие лучше, чем у неприятеля: «Ишь, ты, бисовы дети, не только вилы, комбайны, тракторы, плуги умели мастерить, а готовили всякую зброю!»

И надо было видеть, как внимательно они обучали простому, но одновременно и сложному делу молодого осетина или аварца, попавшего в стрелковую роту. Привыкшие к земледельческому полевому инструктажу, колхозники находили слова и понятия, чтобы доходчиво все объяснить, чтобы в конце концов загорелись надеждой глаза потомка Шамиля или Хаджи Мурата, чтобы они также поняли силу своего оружия, силу боевого коллектива — людей разных наций и языков, но одинаковой мысли.

У каждого из них были свои радости и еще больше горя. Но стоило мне закручиниться, сейчас же кто-нибудь из них постарается рассеять мои мысли о родных, попав-



ших в неволю, либо соленой каспийской шуткой, либо крестьянским, разумным и весомым, как золотое зерно, словом.

По соседству с нами, в траншеях, подрывных чуть ли не у самой подошвы высоты 142.2, была первая рота. Но командир первой роты Андрианов сразу не пришелся мне по душе. Ему было около тридцати трех лет. Пользуясь правами старшего в звании, капитан Андрианов пытался поучать меня. Вначале я решил прислушиваться к его советам. Училище воспитало нас в духе уважения к старшим командирам, к нашим довоенным кадрам офицеров. Постепенно я понял сумбурность его советов, хотя подносились они неизменно громким голосом, в безапелляционном тоне. Я с молчаливой тоской выслушивал голос. Может быть, в военном деле он разбирался и лучше меня — он шел с армией от самого Днестра. Но меня поражило в капитане отношение к подчиненным. Я ни разу не слышал, чтобы капитан ровным голосом отдал какое-нибудь распоряжение. Все приказания он, как правило, подкреплял нецензурной бранью. В первые дни я хотел сблизиться с ним, поделиться впечатлениями о моих бойцах. Не дослушав моих последних слов, он раскатисто захохотал, вытащил фляжку, алюминиевый стаканчик и сказал: «Давай-ка лучше тяпнем по одной».

С детства мне прививалось отвращение к водке и к людям пьющим. Мое отвращение к водке служило предметом постоянных язвительных насмешек со стороны капитана Андрианова.

Даже внешний облик Андрианова не внушал чувства симпатии. Представьте себе неряшливого черноволосого человека, с короткими ногами, в широченных галифе, с непропорционально удлиненным торсом, с глубоко запавшими глазами. Они никогда не смеялись, хотя капитан всегда хохотал больше и дольше всех. Мне казалось, что глаза капитана Андрианова всегда зорко выискивали повод для насмешек.

После короткой встречи с капитаном Виктор сказал:

— Трудно работать рядом с таким человеком.

— Я не видел еще его в бою, — сказал я Виктору. — Может быть, в бою он орел?

Виктор внимательно посмотрел на меня, покачал головой:

— Перья у него не той расцветки.

Нехода командовал батареей 76-миллиметровых пушек, занимавшей позиции позади нашего полка. Виктор доказывал необходимость при штурмовых действиях стрелковых рот выдвигать полковую артиллерию к переднему краю и, маневрируя огнем и колесами, оказывать поддержку пехоте. Подобный метод был не нов, о нем записано и в уставах. Но командир нашего полка был осторожным человеком. К тому же на личном примере, как говорили старожилы полка, ему хорошо было известно, что потери пушек чреватые для комполка неприятностями чисто служебного свойства.

Все же боевое рвение своего командира батареи он не гасил и обещал в следующем, «настоящем» бою, разрешать для артиллерии более близкие дистанции.

Я заметил, что Виктор внимательно присматривается ко мне как к командиру роты. Он частенько задавал мне тактические вопросы разного характера. В них проглядывала озабоченность друга: как справляюсь я со своей новой ролью.

Виктору приходилось умерять мою горячность при товарищеском обсуждении кое-каких тактических проблем. Он пытливо изучал мои способности и даже мои знания. Мне не приходилось задумываться над тем, как Виктор командует своей батареей. Его предположения, адресованные командиру полка, не встречали никаких моих возражений. Может быть, я не задумывался: а правильно ли тактически мыслит мой приятель, не совершает ли он оплошность?

Однажды Виктор сказал:

— Мне хотелось бы быть ближе к тебе, Сергей, в бою... Моя батарея — сильная штука. Посильней твоих ротных минометов.

— Ты же будешь поддерживать нас в бою, Виктор.

— Я хочу, чтобы ты был жив, Серега. Понимаешь? Поэтому придумываю возможности, не нарушая устава, практически помочь в трудную минуту именно тебе, своему другу. Поэтому я внимательней приглядываюсь к вашему Андрианову.

— Ты успел уже обменяться с ним «любезностями»?

— Успел. Он говорил тебе?

— Товарищи говорили, командиры.

Виктор задумался, молчал. Мы выпили с ним крепкого чаю.

— Мне кажется, Сергей, — задумчиво говорил он, — что при назначении комсостава командный отдел должен был все же учитывать и психологические моменты в комплектовании частей. Примерно я бы на их месте вот в подобной комбинации Лагунов — Андрианов поступал по-другому...

— Отдел командных кадров должен был бы тогда изучать не военную администрацию, а психологию и, пожалуй, иметь что-то вроде термометров для измерения дружеских предрасположений.

— Нет, я не шучу, Сергей, — строго сказал Виктор. — Может быть, я не сумел объяснить тебе мою мысль. Коротче сказать, побольше настоящих людей. А в таком деле, как война, люди должны быть кристально чисты и перед государством, и перед партией, и перед самими собой.

И вот наступил день, когда обычные перестрелки и поиски разведчиков, продолжавшиеся в течение недели на нашем участке, должны были смениться наступлением.

Снова должна была штурмоваться высота 142.2.

Сталинградцы просили сшибить противника с этих высоток и оседлать дорогу, питающую правобережную группу войск противника.

После разбора задачи у командира батальона мы, командиры рот, и наши замполиты возвращались к себе. Рядом со мной, поминутно задевая меня кобурой своего пистолета, шагал Андрианов. Сегодня он был молчалив. По пути он несколько раз спотыкался. Еще на совещании Андрианов подсел ближе ко мне и, обдавая запахом спирта, шепнул:

— Серега, держи хвост морковкой.

Сейчас, накануне важного дела, когда решались вопросы жизни и смерти, когда бойцы должны были видеть своего командира в состоянии полной духовной и физической собранности, его поведение меня глубоко оскорбляло.

Я старался не говорить с ним, чтобы хоть этим выразить свое презрение к нему.

— Э, брат, молодой ты, — пожурил меня капитан на прощанье, — еще как привыкнешь к зелью. Попал бы ты, как я, посчитать, десять раз в окружение — азотную кислоту стал бы глотать...

— Послушайте, товарищ капитан, вы хорошо запомнили смежные ориентиры? — спросил я, боясь, что у него из головы выветрятся результаты тщательной подготовки боевой задачи.

— Серега, за меня не волнуйся: капитан Андрианов — не Суворов и не Ганнибал, но свое дело знает. На полсантиметра не выбьюсь из створов своих ориентиров... Война — это, брат, как карточная игра. Условились на казенных не прикупать — и держись... Пока... Я тебе позвоню, Серега. Подбодрю... Держи хвост морковкой!

Мы расстались с ним на развилке хода сообщения. Он ушел к себе по своей фосфоресцирующей стреле, я — по своей.

Я обошел свою роту. Я забыл сказать: по распоряжению полковника Градова «роза ветров» была отпущена со мной. Произведенные в лейтенанты, мои сметливые разведчики работали в роте.

Бахтиаров принял первый взвод, Данька Загоруйко — третий, братья Гуменко разделились — Всеволод, длинный и гибкий, как хлыст верболоза, командовал пулеметчиками-каспийцами, молодыми парнями, с полуслова понимавшими своего командира-приазовца. Кирилл Гуменко попросился к ротным минометам. Я исполнил его просьбу, поручившись за него перед комбатом. Я был уверен, что этот свитый из мускулов крепыш будет в новой должности на месте.

В расположении первого взвода я увидел бойцов, столпившихся возле худого и длинного капитана интендантской службы, начфина полка. Служебное рвение и собственный беспокойный, рачительный характер привели его на передний край. Бойцы столпились возле начфина с единственной целью: связаться, может быть, последний раз со своими родными. Кто сдавал ему деньги, тщательно пересчитывая их, кто передавал письма.

— Кто организатор этого похоронного бюро, Бахтиаров?

— Так принято в этом полку.

Мы подошли к пожилому красноармейцу в деловито нахлобученной пилотке, в хорошо пригнанной поношенной шинели.

Это был известный мне Якуба, ставрополец, из села Надежды. У солдата были большие короткопалые кисти рук, знакомых с чепигами аксайского плуга, умевших правильно зацепить тройчатками навилень и умело вывершить любой скирд. Такие руки хорошо берут г л у д к у земли, дают ее, проверяя на сырость, на россыпь.

В этих руках теперь были деньги — две пухлые пачки.

— Ты что делаешь, Якуба? — спросил я.

Занятый подсчетом своих сбережений, солдат был захвачен врасплох. Ему хотелось вытянуть руки по швам и отрапортовать, но он боялся перепутать разложенные по купюрам деньги.

— Треба сдать гроши, товарищ командир, — смущенно ответил Якуба.

— А что, у тебя их так много, что от них тяжело в карманах?

— Ни, — виноватая улыбка скользнула по его небритому лицу и исчезла.

— А что?

— Немец силен, товарищ командир. Как на его выйдем, сплошняком начнет ставить огонь. Грошам-то не пропадать... Семье тоже двойной убыток... А товарищ начфин душевно и аккуратно все доведет.

— Что же, ты не думаешь выйти целым из боя?

— Каждый думает выйти, — уклончиво ответил Якуба, поглядывая на солдата, втиснувшегося к начфину без очереди. Якуба подтолкнул бойца кулаком с зажатыми в нем деньгами. — Спешит к богу в рай... Так ось как, товарищ командир. — Якуба смущенно мялся. — У вас-то, мабуть, никого нема сродствия, товарищ командир?

— Почему же ты так решил, Якуба?

— Ни письма не пишете, ни завета, ни гроши не сдаете. Некому, выходит, товарищ командир. — Якуба не вытерпел, прикрикнул вперед: — Нестеренко, я за тобой, а то втискался в борщ якой-ся овощь... — и прибавил, обращаясь ко мне: — Люблю, шоб во всяком деле порядок.

— А вот в самом себе ты не ищешь порядка, Якуба.

Вокруг нас собрались заинтересованные разговором бойцы, и это начинало смущать Якубу.

— Як так, товарищ командир?

— Обрекаешь себя раньше времени на смерть.

— Чему быть, тому не миновать, товарищ командир. Кабы в орлянку играли — другое дело, а то по всему видать — лобовая атака.

— Ты спросил меня, почему я не пишу завещания, не сдаю деньги, не готовлюсь, стало быть, отправиться на тот свет?..

— Был такой вопрос...

— Я не думаю помирать, Якуба.

— Слово знаете?

— Уверен в том, что останусь жить... даже в лобовой атаке.

— Оно так-то так, товарищ командир, — уклончиво начал Якуба. — Вы — дело другое...

— Почему «другое»?

— Командир роты все же не взводный командир, тем более не рядовой.

— А вот я пойду в атаку рядом с тобой, Якуба. Хочешь? А хочешь, пойду впереди тебя? Первая пуля моя. Почему же я буду итти впереди тебя и не думаю о смерти, а ты будешь итти позади и думаешь погибнуть? Ведь не может же пуля пробить сразу двух человек?

— А може, две пули у них найдутся, товарищ командир, — отшутился Якуба, окончательно расстроенный тем, что очередь потеряна и начальник финансовой части, чувствуя, что приближается время атаки, старается свернуть свои операции и скорее убраться подобру-поздорову.

Я вспомнил, что у меня во фляжке есть водка, на всякий случай припасенная ординарцем.

— Давай, Якуба, лучше выпьем с тобой по глотку, — предложил я, — а вторые два глотка сделаем после атаки.

Окружившие нас бойцы оживились, пересмеивались. Нестеренко подтолкнул Якубу под бок, крикнул, расправил усы.

Якуба спрятал деньги в карманы, руки его были теперь свободны.

— Никто не бачив, шоб вы пили, товарищ лейтенант.

— А вот с тобой выпью глоток... Гроши спрячь, Якуба. Будем, может, в рукопашном. Я знаю случай, как немец пырнул штыком одного бойца и угодил в бумажник. Застрял в деньгах штык, ни с места... Спасли вот такие бумажки, Якуба, жизнь человеку.

Якуба успел приложиться к моей фляжке. Он чувствовал себя лучше и улыбался.

— Та хай им бис, тим грошам, товарищ командир, — говорил Якуба совсем другим голосом. — Сколько тих грошей? Миллиен чи шо? А заколют на той высотке — шо, сто лет мне жить?.. А семье поможет колхоз. — Вы чули, мабуть: до войны гремел на Ставропольщине колхоз «Новое життя»? А для чего вам итти попереду? И кто же вас пустит попереду, товарищ командир?

Я не хотел умирать. Мне казалось, что это будет несправедливо. Я не представлял себе, что здесь, на виду полы-

хающего огнем Сталинграда, в таинственной предгрозовой тишине, закончится мой жизненный путь. Я обязательно должен увидеть степь, увидеть восход солнца с высоты 142.2.

Я вырвал из полевой книжки бланк полевого донесения. Там, где стояло «место отправки», я написал: «Близ высоты 142.2». И дальше: «Прошу принять меня в ряды Всесоюзной коммунистической партии большевиков, партии Лезина — Сталина... Клянусь мужественно выполнить свой долг перед родиной. Если суждено погибнуть в бою, прошу считать меня коммунистом...»

В оперативном отношении бой за высоту 142.2 нес все функции прорыва обороны противника.

Основная тяжесть решения задачи лежала на пехоте. Мы должны были быстро и безостановочно продвигаться вперед и как можно скорей вступить в бой с резервами противника, находившимися в глубине обороны.

Для ведения огня прямой наводкой были выдвинуты артиллерийские батареи. Поэтому Нехода уже четвертые сутки находился недалеко от меня. Нами были изучены разминированные проходы, по которым должны были пехотинцы идти в атаку, намечены наблюдательные пункты, произведена тщательная разведка.

Командир полка старался тщательно подготовить полк. Неудачи первого наступления на высоту 142.2 заставили тщательно изучить всю систему вражеских укреплений, силы и средства противника и возможность маневрирования огневыми средствами и резервами.

Для проведения боевой подготовки комполка выводил нас в ближайшие тылы. Мы подбирали участок местности, сходный с тем участком, на который мы должны были наступать. Таким образом, у нас в тылу появилась дублирующая высота 142.2 со всей системой обороны противника, которую мы должны были преодолеть. Здесь мы проходили тактику наступательного боя с боевой стрельбой, с участием приданных и поддерживающих средств усиления — артиллерии, танков.

Командир полка наблюдал, чтобы пехота врывается в траншеи противника вслед за переносом артиллерийского вала на следующий рубеж, чтобы не получалось разрыва, используемого обычно противником для выхода из укрытий и открытия шквального огня по приближающимся нашим цепям. Для предупреждения таких явлений график

артиллерийской подготовки разрабатывался с расчетом, чтобы противнику трудно было определить время переноса артиллерийского огня. Мы отрабатывали бесшумную атаку, без криков «ура», с броском, не превышающим ста пятидесяти метров от нашей траншеи исходного положения до переднего края противника.

Особое внимание уделялось броску автоматчиков, их стремительности, их уменью пускать в ход ручные гранаты и без задержки достигать вторых траншей.

Разведка доносила, что немцы ввели установку минных полей не только впереди, но и позади своих траншей первой и второй линии. Таким образом, они создали как бы межтраншейное минное предполье, что осложняло задачу стремительного продвижения в глубину обороны.

Пленные румынские саперы объяснили систему минных полей. Чтобы не рассчитывать только на саперов — их было маловато, — мы обучали своих бойцов приемам разминирования.

Война требовала большого мастерства. Одной лишь храбрости становилось недостаточно. Верховное командование требовало, как никогда, совершенствования войск, командиров, боевой выучки.

Генерал Шувалов следил за нашими учебными атаками, заставлял повторять их и на наши сетования говорил: «Был, товарищи, один штабс-капитан в старой армии, двадцать лет на маневрах брал одну и ту же горку и все время ошибался».

Сорок танков «Т-34» заняли исходное положение. Еще были открыты люки, чтобы наполнить воздухом стальные коробки: скоро танкисты должны были вступить в бой. Их машины залегли в земляных укрытиях, положив на землю стальные стволы своих орудий. Сила Урала пришла на поле сражений.

И когда загремела сталь, заговорила уральскими пушками, когда застонали снаряды, выточенные на заводах Сибири, когда фейерверком взлетела взрывчатка, мы пошли в атаку на высоту 142.2.

«Слава тебе, рабочий, великий народ! Слава тебе, партия, вдохновившая массы на борьбу за независимость родины!» И с этой мыслью я поднимаю роту в атаку.

Якуба бежит впереди. Но я моложе и вскоре обгоняю его. Вижу его шинель, заложенную концами за пояс. Я бегу налегке, без шинели, с пистолетом в руке,



Я мельком увидел Даньку Загоруйко. Его взвод, наступавший правее, должен вступить в бой с третьей ротой. Левее меня наступает Андрианов. Моя рота атакует в центре и пока точно выдерживает ориентиры. Мой приказ командирам: «Как можно быстрее на высоту!» — выполняется точно. Мы движемся, прикрытые артиллерийским огнем, танковой броней, пулеметами роты Всеволода Гуменко, через наши головы летят мины Кирилла Гуменко. Пулеметно-минометный «норд-ост» исправно делает свое дело.

Моя рота атакует, не снижая темпа. Я смотрю на часы: мы точно выполняем расчеты штурма. Первая и третья роты отстают от нас, они с опозданием в полторы минуты выбрались из траншей и не успели вплотную за артиллерийским валом. Мы вышли вперед и остались в одиночестве. Вторая рота вдруг оказалась в острие какого-то непроизвольно образовавшегося клина.

Андрианов, повидимому, решил не спешить. Правобанговая рота неожиданно для нас залегла. Противник открыл артиллерийский огонь. Намерение фашистов было очевидным — врезаться в стыки. Это был проверенный прием при отражении штурма на высоту, неизменно приносивший им удачу. Сегодня этот прием не дал результатов: мы не снижали темпов атаки и выходили на сближение в центре.

Немцы начали постепенно передвигать огневой вал с расчетом накрыть мою роту. Огневой вал приближается. Это густой, стремительный шквал 88-миллиметровых снарядов.

Что делать?

Продолжать идти в своих ориентирах? Эти ориентиры лежат передо мной, как на планшете. Сколько раз приходилось ломать голову над ними! Все казалось ясным на макетах и на учебной местности. Как отлично срабатывались роты! Как великолепно, почти в полный рост, шел в атаку Андрианов, невысокий, мускулистый, черный. Теперь его не видно. Андрианов подвел. Андрианов опоздал. Огневой вал приближается к нам. Еще мгновение — и огонь сметет мою роту. Вот вспыхнули вилочные разрывы мелких калибров, обозначающие границы переноса огня.

Надо спешить!

Я отдаю приказ: войти в ориентиры андриановской роты и, несмотря ни на что, идти к своей цели.

Рота уклоняется влево, как бы маскируясь дымовой завесой — снаряды фугасного действия поднимают много пыли.

Противник накрывает огнем прежние ориентиры моей роты и, не имея артиллерийского наблюдения, не изменяет прицела. Мы бежим вверх в пыли, скользя по земле.

Автоматчики достигли противотанкового рва. С глухими звуками, как будто кто-то бьет ладонью по картонной коробке, рвутся гранаты. Мы тоже поднимаемся на бруствер и соскальзываем вниз.

Я вижу немецкого офицера. Он сидит на ящике, расставив ноги. Возле него стоит санитар и помогает офицеру обвязать вокруг головы — на ней кровь — широкий бинт. И офицер и санитар застыли в неподвижных позах. Санитар так и не сделал очередного взмаха вокруг головы командира, а офицер, вероятно, хотел поправить повязку и теперь замер с поднятыми руками.

Мне некогда заниматься пленными.

Бахтиаров недалеко от меня. У него запыленные ноги, на спине от воротника до пояса разодрана гимнастерка; видна кирпичная шея и синяя спортивная безрукавка.

Подбегаю к Бахтиарову. Коротко приказываю: достичь по рву линии основной обороны и атаковать сбоку. Остальное доверяю сообразительности и исполнительности Кима. Оборачиваюсь, чтобы проверить «хозяйство» атаки.

Немецкий офицер, не сходя с ящика, схватил гранату, а санитар уже держал у плеча приклад автомата.

Я быстро бросился на землю, прицелился и выстрелил в офицера. Он упал навзничь. Санитар уже вскинул автомат. Я выстрелил в немца дважды...

Якуба, вновь оказавшийся впереди меня, ворвался в траншею вместе с Бахтиаровым и бойцами первого и второго взводов.

Я мог видеть теперь с высоты 142.2 долину, до этого скрытую холмом, рокадную дорогу, обозы на ней, высокое дымовое облако над Сталинградом.

Я прислонился потной спиной к стенке траншеи и начал писать донесение.

Мое сердце как-то обмякло, ноги дрожали, во рту пересохло. Моя рука, напряженно державшая тяжелый пистолет, устала, пальцы не повиновались мне. И всё же в моей душе что-то торжественно пело и рос восторг от только что одержанной победы.

Чей-то грубый крик вывел меня из этого восторженно-го состояния.

Передо мной стоял взбешенный Андрианов.

— Наконец-то я разыскал тебя, мальчишка! — кричал он, сжимая свой волосатый кулак.

— Я не понимаю вас, товарищ капитан.

— Ты меня заставил людей потерять! — заорал Андрианов. — Выскочка! Карьерист!

— Объясните, товарищ капитан, — сказал я, — почему вы кричите в такую минуту?

— Ты влез в мои створы, и меня накрыли огнем!

— Не отставай, — сказал я, угрожающе приблизившись к нему.

— А ты не беги вперед. — Капитан сделал шаг в сторону, одернул гимнастерку. — Что тебе здесь, — он потопал ногой, — медом намазано?

Тогда я подошел к нему еще ближе и, еле сдерживая закипевшую во мне ярость, сказал ему:

— Не мешай мне выполнять боевой приказ. Понял?

— Я тебе не прошу, Лагунов.

— Не мешай мне, капитан Андрианов, — произнес я, глядя в упор в его глаза.

Андрианов ответил мне злобным взглядом, хотел что-то еще сказать, махнул рукой и быстро пошел от меня к своей роте.

Чувствуя невыносимую усталость, я сел на землю. Ко мне подошел радостный и возбужденный парторг роты Федя Шапкин, чудесный, скромный паренек, бывший рабочий Ростовского сельмаша. Федя заметил кровь на моем лице.

— Что с тобой, Сергей?

Федя разорвал индивидуальный пакет, сделал мне перевязку.

— Тебя довольно глубоко поцарапало осколком. По моему, тебе надо немедленно отправиться на перевязочный пункт.

— Нет... Я не оставляю сегодня позиций! Вдруг дела осложнятся?

Мне хотелось сразу же рассказать ему о ссоре с Андриановым. Я, может быть, и поговорил бы по душам с Шапкиным, но тяжелая боль наливала голову свинцом. Я не мог сосредоточиться.

Вернулся связной. Он передал мне записку командира

батальона: «Благодарю, Лагунов». А ниже: «Звонил генерал, присоединяется».

Три дня мы закреплялись на высоте 142.2.

На третий день после штурма, вечером, меня вызвали на партбюро, в штаб, расположенный в овраге близ Бекетовки.

Я шел туда с большим волнением. Со мной рядом шагал Якуба, уполномоченный бойцами сделать покупки в полевом отделении военторга.

По пути, повинувшись неудержимому желанию встретиться с другом, я завернул в землянку Неходы.

Виктора я застал за чтением «Красной звезды». Отложив газету на столик, уставленный кожаными коробками телефонных аппаратов, Виктор прищурился на меня своими острыми глазами.

— Андрианов — скверный человечиска. Он успел, где только возможно, оговорить тебя, — сказал он. — Пятьдесят, мол, человек потерял из-за Лагунова убитыми и ранеными.

— Война — карточная игра, — сказал я. — Условились на казенных не прикупать — и держись.

— Чьи это афоризмы? Андрианова? По запаху чувствую!

Виктор сбросил чевяки, натянул хромовые сапоги, аккуратно заложил ушки за голенища.

— А ты куда собираешься, Виктор?

— Пойду с тобой...

— Ради меня?

— Ну, пусть не ради тебя, а ради истины. Если только Андрианов отстоит свою карточную теорию, придется отказаться от всякой разумной инициативы. Мало ли что решено перед боем! Бой-то — быстро текущая и быстро изменяющаяся штука. В бою не только надо учесть свои ориентиры и замыслы противника. Ты-то так решил вначале, а необходимо найти мужество быстро подыскать другое правильное решение, вытекающее из изменившейся обстановки и оправдывающее конечную цель. А какая у нас конечная цель? Победа... Главное — тебе не нужно ни перед кем извиняться и признаваться в мнимых ошибках. Держись твердо. Ведь ты уже заколебался, уже думаешь: «Может, и в самом деле я спутал карты, испортил наступление?» Думаешь так?

Мне пришлось ответить утвердительно. Трехдневное раздумье действительно поколебало меня.

Но, припоминая картину атаки: как отстали роты и залегли, как вперед ушли танки, как было потеряно прикрытие — артиллерийский вал, как приближалась ко мне огневая завеса противника, — я думал: «Нет, я не мог подставить под огонь своих бойцов».

Присутствие друга помогло мне утвердиться в своей правоте и, главное, — спасибо Виктору! — найти оправдание своим поступкам. У порога, который предстояло мне переступить, я хотел быть чистым.

Я вошел в землянку, где собралось партийное бюро батальона. Здесь был и Андрианов. Он писал что-то, положив блокнот на колено. При моем появлении он не поднял головы.

Федя Шапкин приветливо кивнул мне, покраснел. Возле нашего пожилого комбата я увидел благородную седоватую голову полковника Градова. Начальник училища приветливо на меня посмотрел, что-то сказал, но слов я не расслышал от волнения.

Присутствие начальника училища на партийном бюро ободрило меня.

Комбат взгляделся в меня, приподняв над головой настольную аккумуляторную лампу.

— Батенька ты мой, — сказал комбат, — он же ранен! Дайте-ка сначала лейтенанту умыться. Человек дрался, а не в бирюльки играл. Серьезная рана, Лагунов?

— Царапины.

— Царапины! — проворчал комбат, продувая усы. — Прямо-таки Печорины какие-то!

Я сел на лавку, снял пилотку. Рядом со мной, касаясь коленом, сидел Виктор. Через дощатую дверь доносились звуки стрельбы нашей дальнобойной артиллерии, работавшей с левобережья, с Волжско-Ахтубинской поймы.

Шапкин, заменявший убитого в последнем бою секретаря, стал у стола, открыл заседание бюро, прочел мое заявление и сказал:

— А теперь мы хотим знать: как ты сдержал свое обещание мужественно исполнять свой долг перед родиной?

Я встал и дрожащим от волнения голосом стал рассказывать, как командовал своей ротой в бою.

Во время моего выступления и полковник Градов и комбат подбадривали меня репликами, утвердительными кивками головы. Мой искренний, хотя и сбивчивый, рассказ, вероятно, расположил в мою пользу и большинство членов партийного бюро.

Конечно, мне нужно было остановиться и закончить на этом выступление. Но я увидел пренебрежительный взгляд Андрианова, устремленный на меня, искривленные в улыбке губы, услышал какое-то слово, оброненное по моему адресу. Я не сдержался и с жаром высказал все, что накипело у меня на сердце. Кровь бросилась мне в голову...

Виктор дернул меня за руку, стараясь остановить. Разноцветные круги носились перед глазами, все погрузилось в туман.

— Довели беднягу, — сказал комбат, — довели до белого каления.

— Он ранен, — сказал Градов беспокойно, — вы видите, он ранен.

Шапкин подошел ко мне, взял за руку.

— Сергей, ты ранен, может быть, перенесем на следующее заседание? Ты плохо себя чувствуешь...

Мне дали воды.

— Прошу тебя не откладывать, — сказал я. — Если отложишь, мне будет гораздо хуже!

Слова попросил Андрианов.

— Не перебивай его, — шепнул мне Виктор, — ты и так наговорил всякой околесицы. Имей выдержку.

Андрианов поднялся с места, огляделся по сторонам и раскрыл исписанный блокнот.

Я запомнил этот оранжевый блокнот, согнутый пополам, желтенький черенок карандаша, которым Андрианов для убедительности помахивал в такт своей размеренной, спокойной речи.

Андрианов ни разу не упрекнул меня, ни разу не повысил голоса, но в его освещении мой поступок выглядел мальчишеским зазнайством. Он говорил о моей недисциплинированности, о моем неумении командовать ротой.

— Я чрезвычайно удивлен, — закончил он, — что командование нашими советскими замечательными бойцами доверяется малышам, думающим, что на войне также играют в бабки... Жизнь человека — это не костяшка, товарищи. Ее нельзя швырять об землю, каков бы кон впереди ни был. Война — это не карточная игра, где дело только твое, прикупил ли ты к семнадцати туза или остановился на казенных...

Впоследствии, знакомясь с жизнью, я замечал, как убедительно действуют такие речи, направленные к разгрому своего личного противника, но построенные формально на самых лучших пожеланиях ему и общему делу.

Вслед за Андриановым выступил Виктор. Он неторопливо отводил удары, нанесенные мне капитаном. Я вслушивался в слова Виктора, и мне казалось, что он высказывает то, что я думал, но не сумел изложить сам.

Виктор говорил о методике наступательного боя мелкими соединениями, о шаблоне и инициативе, о быстроте и натиске, о впереди идущих и уваливающих.

— Что же, выходит, надо судить меня? — выкрикнул Андрианов. — С больной головы на здоровую перекалывают?

Виктор, показав на мою перевязанную голову, ответил:

— Именно с больной головы на здоровую.

Все улыбнулись.

— Мальчишки! — воскликнул Андрианов.

Виктор побледнел, прищурил глаза, с трудом сдерживая гнев.

— Я не советовал бы никому называть мальчишками строевых командиров Красной Армии, товарищ Андрианов, — раздельно сказал Виктор. — И мы, так же как и вы, товарищ капитан, командуем людьми. И никто не делает нам скидок на молодость.

— Погудел бы ты подошвами от западной границы, понял бы, что такое ответственность! — сказал Андрианов. — Мало каши поеми.

— И это не довод, капитан, — спокойно возразил Виктор. — Мул Евгения Савойского прошел вместе с ним двадцать походов, а так и остался мулом...

Градов наклонился к командиру батальона, сказал:

— Запомнили. А насчет мула я ведь мельком им сказал...

В мою защиту не пришлось выступать. Кроме Неходы, меня отстаивали заместитель командира полка по строевой части, командир третьей роты.

Командир батальона взял слово только для того, чтобы объявить всем о моем награждении за овладение высотой 142.2 орденом Красной Звезды и о присвоении мне очередного звания старшего лейтенанта.

Это было как бы заключительным аккордом той чудесной песни, которую оборвал грубый крик капитана Андрианова на высоте 142.2.

Я был взволнован до слез. Виктор с шутливой напыщенностью сказал:

— Слезы полились из твоих глаз и поскакали, не впитываясь задубелой материей твоей военной рубахи.

Я не стыдился своих слез. Я шел окрыленный и счастливый к военно-топографической точке 142.2 — к высоте коммунизма, как я назвал ее в час моей радости, потому что здесь я стал коммунистом и отсюда увидел грядущее.

### Глава шестая

## ЕСТЬ НА ВОЛГЕ УТЕС..

Хуже нет затишья, когда сменяют наш батальон и обжитые траншеи, где знакома тебе каждая вмятина от локтя, молчаливо и деловито занимают бойцы другого полка, а мы уходим на отдых. От войны нельзя отдохнуть. В свободное время сильнее точит душу тоска, и нет ей ни конца, ни краю... Где родные? Какие тяготы переживает мать? Да жива ли она? Как примирился с несчастьем отец? Оставил ли свою землю, или борется на ней?

Припоминается все: и гибель баркаса «Медузы», и рыдания матери, постаревшей после безвременной смерти старшего сына. Представляется червонный закат у Черной скалы, глухие удары волн о скалы и такие же глухие удары кирки. Неодолимы воспоминания детства в часы затишья, когда остаешься наедине с самим собой.

Перед глазами моими голубой сверкающий камень утренней звезды. Низкий туман, поднявшийся от Фанагорийки, затопил тополя, яблони, закрыл хребет Абадзеха. Роса покрыла седой влагой травы, и они склонялись под тяжестью. Бьет резкие трели древесная лягушка, и, как бы отвечая ей, трещит сверчок.

А у домов, что прилепились к хребту, захлебываются тревожным лаем кавказские овчарки, почуявшие приближение волка.

Скоро выйдут на водопойную тропу олени заповедника. Заметив на тропе медвежьи следы, они будут пугливо перепрыгивать их, красивые, тонконогие и с ветвистыми рогами.

Неясыть почувствовала приближение утра. Я слышу, как она воет и хохочет. В отчаянном испуге, будто проснувшись от жуткого птичьего сна, вскрикивает птица ракша...



Впереди меня деловито вышагивает Якуба, сняв пилотку и заложив кончики шинели за хлястик. Я вижу его изрытую глубокими морщинами крепкую шею, затылок, заросший недельной щетиной. Гордо несет свою большую голову Бахтиаров. Позади я слышу говор пулеметных колес. Солдаты подхватывают на руки пулеметы, чтобы перевалить через дождестоки.

Чем дальше в лощину, в тылы, тем разговорчивей люди. Они рады тому, что на сегодня избежали смерти.

Я завидую Якубе: вчера почтальон вручил ему серый конвертик, склеенный из оберточной бумаги. Якуба сказал: «Не от жены... Небось, опять чего-сь перевыполнили в колхозе. Отчитываются...»

От жены Якуба получает письма в треугольных конвертах. Жена пишет Якубе чистым почерком, закругляя каждую букву. Она кончила семилетку, работает звеньевой, и колхоз, отчитываясь перед Якубой, рассказывает подробно о трудовых подвигах его «солдатки» в гребенском селе, у равнинного течения Терека.

Якуба затеял стирку, спустившись к берегу Волги по дюралю сшибленного немецкого самолета. С ним пристроились еще бойцы, чтобы отмыть подпалыны окопного пота; тут и балагуры-каспийцы, и потомки Хаджи Мурата, и абхазец, с тоской наблюдающий мутные, с нефтяным накатом, воды великой русской реки.

Мы сидим с Виктором у Волги, играем в «дураки». Быстро надоедает бездумно и безазартно швырять толстые, замасленные карты. Смотрим на небо — плывет рваная тучка, пригнанная московским прохладным ветром. Левее от нас, у завода «Баррикады», шестерка «юнкеров» пытается накрыть цель. Ее атакуют: ревут яковлевские истребители. Эскадрилья яковлевцев лихо играет с «юнкерами». Иногда «ястребок» исчезает в клубах сталинградского дыма, и тогда с тревогой думаешь: «Не обожгло ли его легкие крылья?»

— Мне иногда кажется, Серега, что все сон, — говорит Виктор серьезно, со страдальческой прихмурью. — А потом треснет над тобой земля, посыплется с потолка, — понимаешь, наяву...

Виктор как будто читает мои думы.

— Иногда не верится, Виктор. Часто задумываюсь... Думаешь, думаешь: так это же война! Война! А когда-то только в кино смотрел или папа рассказывал. А теперь на

глазах смерть, могилы, наши родные места оккупированы... А мы с тобой в сталинградских степях нюхаем польнь, дышим гарью и запахами трупов... А потом, знаешь, Виктор, хочется снова ощутить материнскую ласку. Ты не смеешься?

— Нет... не смеюсь... говори.

— Разве можно передать свои переживания?.. А потом накипает такая злоба. Кто, кто виноват? Возьмешь снайперскую винтовку, заляжешь и вдруг заметишь его! Одного стукнешь, а из-под земли еще лезут. Сколько их?

— А ты втихомолку... плакал? — вполголоса спросил меня Виктор.

— Я?

— Только не таишь, Сергей. Плакал?

— Да. Только для себя. А если чуть рядом шорох, сразу глаза просохли...

— И у меня так было...

— Но тогда я даже не замечал... Ты согласишься мне? Не почувствовал слез. Это ощущение крови из раненой головы во время атаки, я решил, что пот... пот часто заливает глаза, вероятно, потому...

— Вероятно.

Виктор сидел, обняв колени, замасленные от постоянного лазанья в узкую горловину батарейного блиндажа.

Много обломков несла тогда Волга: обгорелые доски и хлопок; целлулоидные куклы; а то вдруг вверх ножками вынырнет стул, а его догонит ящик или набухшая туша коровы, похожая на огромный винный бурдюк; мелькнет в волнах пилотка красноармейца, оторванный шинельный рукав со звездой политрука или обращенный к донным глубинам лицом труп немецкого гренадера.

Катит Волга свои воды мимо нас, недалеко от Ахтубинской поймы, за ней степи и засыпанные пеплом веков дворцы татаро-монголов, решившихся именно здесь поставить дворцы степной столицы покоренного мира.

...Мои бойцы заметили что-то черное, плывущее по течению. В руках у Якубы очутился багор. Таким же багром, только подлиннее, вооружился и Бахтиаров. Два дагестанца побежали вдоль берега, чтобы перехватить плывущую по реке бочку. Да, это бочка, и не пустая. Вот волна обкатила бока. Бочка плыла, играя клеймом на дне и железными обручами.

— Цепляйте навкидок, товарищ лейтенант! — слышится азартный голос Якубы.

Бахтиаров надвизал пожарный багор канатом и мечет его, как гарпун. Багор с брызгами падает в воду, не долетев. Бочка вяло перевертывается на другое, тоже клейменное дно и продолжает свой путь.

— Не тратьтесь, хлопцы! Волной прибьет! — уверяет кто-то зычным голосом.

— Кому только? — мрачно выкрикивает Якуба.

Он бежит, быстро перебирая босыми ногами, на ходу стягивает вместе с белем гимнастерку, бросает ее своему приятелю, сумрачному солдату Артюхину. Только минута остановки.

— Гляди, Артюхин! — кричит он громко. — На гимнастерке медаль, в штанах — тыща сто тридцать. — Якуба топчется на месте, по-петушьи дрыгает ногами, собираясь нырнуть в воду.

— Гляди там, где-сь «мессер» упокойник! — кричат ему зенитчики, привлеченные суматохой.

— Башку разломишь! «Мессер» туда нырнул.

Якуба уже в воде. Его расчеты перехватить бочку на мелком месте не оправдались. Якуба плывет, быстро работая крепкими руками. Видно, как играют мускулы на спине и предплечье. Тело у Якубы совсем белое. Черны только кисти рук, лицо и шея. Отсюда кажется, что Якуба плывет в перчатках. Вот он шлепает рукой по дну. Грудью Якуба ведет добычу к берегу. Артюхин хочет бросить конец каната. Якуба уже на отмели, придерживает бочку.

— Попалась курица! — визгливо кричит он.

Дагестанцы что-то кричат Якубе гортанными голосами.

Бахтиаров шурует багром, помогает Якубе вытащить добычу. Сбегаются бойцы из нашего полка, и зенитчики, и тихоокеанцы-матросы, изучавшие под навесом лесопилки «пехотный самовар» — миномет.

Через полчаса к нам поднимается веселый Бахтиаров. Помятое пальцами масло лежит глыбой на его ладонях.

— Бочка масла, — басит Бахтиаров. — Рыбье счастье на отдыхе, а!

— Проследи, Ким, чтобы зря не разбазарили, — говорю я.

— У Якубы не выпросишь. — Бахтиаров смеется, наполняет котелки маслом. — И вам принесем на батарею, — говорит он, обращаясь к Неходе.

— Хорошо, Бахтиаров. Еще не раз огоньком подержу.

Приошествование с бочкой рассеивает наши дурные мысли. Или, вернее, они снова подавлены, прячутся в тайники души.

Пришедший из-под Сталинграда на отдых стрелковый полк располагается в землянках. Я вижу молодых бойцов в летнем обмундировании, вымазанном глиной и копотью; скатки шинели напоминают мне обручи только что выловленной бочки. Люди нервно пересмеиваются, жадно курят, спрашивают соседей, как у них. Распустив пояса и сняв гимнастерки, расстилают шинели, чтобы погреться на скупом сентябрьском солнце.

Медленно, будто обнюхивая рельсы, ползет бронепоезд. Он только что отработал на поддержке из всех своих орудий. На броне — вмятины, на балластных платформах лежат раненые; их вечером, чтобы не выдавать переправ, перебросят на ту сторону, на левый берег Волги, где зеленеет деревьями пойма.

Бойцы из сталинградского полка собрались у двух баянов. К нам доносятся слова популярной песни. Мы знали только два первых куплета этой песни, занесенной солдатами 62-й армии генерала Чуйкова. Виктор вынимает полевую книжку.

— Ты запоминай вторые строчки, я — две первые, — говорит он.

Песня начиналась голосистым дуэтом, сотни голосов подхватывали ее дружным хором. Пели ее люди, только что пришедшие с линии боя, и пели ее то как торжественный и устрашающий гимн, то как песню печали, то как песню великой радости и веры в победу. Хорошо ложатся на сердце такие песни.

Есть на Волге утес,  
Он броней оброс,  
Что из нашей отваги куется.  
В мире нет никого,  
Кто не знал бы его.  
Тот утес Сталинградом зовется.

На утесе на том,  
На посту боевом,  
Стали грудью орлы-сталинградцы.  
Воет вражья орда,  
Но врагу никогда  
На приволжский утес не взобраться.

Там снаряды летят,  
Там пожары горят,  
Волга-матушка вся почернела,  
Но стоит Сталинград,  
И герои стоят  
За великое, правое дело.

Там, в дыму боевом,  
Смерть гуляла кругом,  
Но герои с постов не сходили.  
Кровь смывали порой  
Черной волжской водой  
И друзей без гробов хоронили.

Сколько лет ни пройдет,  
Не забудет народ,  
Как на Волге мы кровь проливали,  
Как десятки ночей  
Не смыкали очей,  
Но врагу Сталинград не отдали.

Бойцы, взволнованные словами песни и только что пережитым, будто по команде, повернулись к Волге.

Эй ты, Волга-река.  
Ты сильна, глубока,  
Ты видала сражений немало,  
Но такой лютой бой.  
Ты, родная, впервой  
На своих берегах увидала.

Песня звучала, как клятва, и неугасимой верой светились мужественные лица солдат исторического сражения.

Мы покончим с врагом,  
Мы к победе придем.  
Солнце празднично вам улыбнется.  
Мы на празднике том  
Об утесе споем,  
Что стальным Сталинградом зовется.

На другой день после встречи с Виктором я получил письмо от брата Илья.

Радости моей не было конца. Он не мог назвать место боевых действий своего танкового полка. Но существует армейское подсознательное чувство, которое по ряду второстепенных намеков может подсказать точный адрес части.

Я не сомневался в том, что Илья находился в районе Сталинграда.

Теперь я не мог равнодушно пропустить ни одного танка. Я всматривался в надежде чутьем узнать: не там

ли Илья? Если танки приходили к нам на поддержку, я расспрашивал танкистов. Да, Илья находился здесь, под Сталинградом. Илью знали многие... Его полк стоял за Волгой: переформировывался, пополнялся, подготавливался. Второе письмо от Илюшки было проникнуто наступательным духом. «Идем в бой с надеждой, что разгромим наглого врага».

Теперь я не оставлял без осмотра ни одного подбитого танка. Часто, обнаруживая там обожженных до неузнаваемости танкистов, я проверял документы погибших. И всегда дрожало мое сердце: «А если он, Илья?..»

Иногда мне приносили документы танкистов разведчики поисковых партий. Нет, Илью хранила судьба.

Илья спрашивал меня в своем письме о судьбе родителей. Я не мог ничем его успокоить. Я знал, что бои идут на перевалах, в районе нашей станицы, в верхнем течении Фанагорийки, где река делала позиции немцев и советских войск, прикрывших подступы к морю.

...Кончился краткий отдых. Нам прислали пополнение. Многие были выписаны из госпиталя. Это были бывалые воины, державшие оборону Ленинграда, сражавшиеся в волховских болотах, под Москвой, под Ростовом.

Среди новых бойцов были люди, которым я годился в сыны. Замечал — ко мне присматриваются с удивлением: «Молодой командир. Как?» Спасибо моим старым боевым друзьям. Они поддерживали мой авторитет, хвалили.

Ко мне пришел Якуба, чтобы выяснить вопрос: «Есть ли английские войска под Сталинградом?»

Якуба держал письмо в руках от жены и смотрел на меня лукавыми своими глазами, ожидая ответа.

— А ты видел англичан под Сталинградом?

— Нет. А на что они тут? Це ж нам обида.

— Я тоже так думаю, Якуба.

— А може, за Волгой? Каспием подались из Персии, через Гурьев.

— Откуда ты это взял? — удивленно спросил я. — Даже указана трасса?

— Пишут из дому. Листовки немец бросал на станицу, на Терек, товарищ старший лейтенант.

— Кто же листовкам немцев верит? Ведь они наши враги. Их подпирает писать всякую брехню. Остановили их, бьем, вот и начинают оправдываться.

— Я тоже так думаю, а вот из колхоза пытаются.

— А как же жинка узнала, что ты воюешь именно под Сталинградом? Писал ей?

— Ни. Разве можно?

— А как же?

— Просто, товарищ старший лейтенант, — ответил с улыбкой Якуба, — по догадке.

— Как же она могла догадаться?

— Простым путем. Мыслью. Осъ я ничего еще не знаю, а могу сказать точно: поступил приказ нашей роте выходить на передовую.

— Откуда ты знаешь, Якуба? Кто сказал?

— Кто сказал? Сам догадался.

— Каким же образом ты догадался, Якуба?

— А таким, шо вы переобули хромовые сапожата на юхтовые — раз...

— А два?

— А два? Бумажки лишние из карманов выкидываете. Известно... Ежели якое несчастье, для чего давать немцу надругаться над нашими думками и заботами. Я тож ни одного письма с собой на передовую не тяну. Медаль начищу и гроши возьму... и все.

— А деньги зачем?

— После того случая, товарищ старший лейтенант. После разговора с вами, перед высотой 142.2. Може, штыком пырнет — и в гроши. — Якуба подмигнул мне и рассмеялся коротким смехком. — Разрешите итти, товарищ старший лейтенант?

— Иди, Якуба. Начищай медаль, выкидывай из кармана лишние бумажки. Через час туда...

— Есть!

Чтобы не повторяться, я не буду описывать еще один бой. Может быть, противник решил, что на смену подошли менее стойкие части, может быть, уже тогда Манштейн, находившийся на Кубани — Ставрополье, пробовал пощупать огнем и металлом стенки сталинградского «котла»?

Заняв передовую перед рассветом, мы выдержали до вечера шесть крупных атак, поддержанных артиллерией и авиацией. Моя рота понесла небывалые для нее потери — больше двадцати процентов состава. За весь день мы не брали в рот маковой росинки.

Немцы сумели вклиниться в наши позиции на участке андриановской роты, на бахчу. Раздавленные белокорые

арбузы атели под ногами. На бахче вкопались в грунт штурмгруппы немецкой пехоты. Андрианова нервировало такое близкое соседство с противником. Он звонил мне. В сухом тоне его голоса, принятом им в служебных разговорах со мной, сегодня проскользнули тревожно-просительные интонации. Я понимал положение капитана Андрианова и подбодрял его от имени всей роты: не подведем, примем удар по-товарищески, как и подобает сталинградцам. Сочтемся обидами после победы.

Я не мог переносить личные отношения на служебную почву. Мне кажется, нет человека в коллективе, более достойного презрения, чем тот, кто сводит личные счеты.

Федя Шапкин, слышавший мой разговор с капитаном Андриановым, молчаливо одобрил сказанное мною. Я научился понимать его по глазам.

Немцы редко наступали ночью. Они боялись наших ночей. Отдав необходимые распоряжения, я пошел с обходом. Люди крепко вымотались за этот день. Уже не определишь глазом, были ли они на отдыхе. Они снова приобрели окопный вид. Санитары выводили раненых. Старшины не успели доставить продовольствие. Пожилой человек в новенькой, помятой складками шинели, в новом поясе и новых, вымазанных глиной обмотках угрюмо приветствовал меня.

Я остановился, ответил на приветствие. Боец, не мигая, смотрел на меня. Тусклый блеск его глубоко запавших глаз ничего не выражал. Вяло подняв худую руку со следами смолы на ладони, солдат что-то смахнул со щеки, опустил глаза, прикрыл веки.

— Что, отец? Чего голову повесил? — спросил я.

Человек чуть-чуть улыбнулся, устало, лениво отвел глаза в сторону траншейного внутреннего среза, поврежденного снарядом. Еще не успели оправить бруствер, не доверху загребли ямку, не успели затоптать следы смерти.

— Чего же ты пригорюнился? — повторил я свой вопрос.

— Да что, товарищ командир, — ответил он вполголоса, — деремса, знаете... недавно из госпиталя. Весь день не ел... В госпитале, может быть, отвык... там режим...

— Желудок свое просит?

— Конечно, товарищ командир. — Опять вялая улыбка



прошла по его лицу. — Вымотанный человек на что гожд. А ежели опять начнет?

— Не начнет немец ночью. А начнет — встретим. Встретим же?

— Уставший человек хочет отдохнуть, товарищ старший лейтенант.

Меня начинала раздражать его растерянность от одного боевого дня. Но солдат был вдвое старше меня. Мне не хотелось его обидеть.

— Ничего. Сейчас подвезут горячую пищу. — Я прятнул ему фляжку. — На, выпей, отец.

Боец взял фляжку, сделал несколько глотков, под морщинистой кожей задвигался выдающийся кадык. Он вернул мне фляжку, поблагодарил.

Я попросил у связного сверток с пюре, развернул бумагу, подал солдату.

— Закуси.

— Что вы! — Солдат изменился в лице. — Я не потому... Еще можете плохо обо мне подумать, товарищ командир. Я под Москвой два ранения получил.

— Кушай, кушай, дружище. У меня еще есть.

Боец взял предложенное.

— Спасибо, товарищ старший лейтенант. Кабы в госпитале не приучили...

— Привыкнешь, дружище, — сказал я. — На сталинградской передовой только ночью живем. Ночью и завтракаем, и обедаем, и ужинаем. Днем кукуем с противником. Он ку-ку, и мы ку-ку...

Боец жадно ел. Быстро справившись с пищей, он смотрел на меня со смущением и благодарностью.

Передо мной, вытянувшись, стоял Якуба. Я не заметил на его лице следов усталости после сегодняшнего страшного боя, когда нам пришлось выдержать шесть контратак, поддержанных с воздуха «хейнкелями», «юнкерсами» и «мессершмиттами».

— Как дела, Якуба?

— Без англичанки управились, товарищ командир, — весело ответил Якуба, вытянувшись по всем правилам натурального солдата. — Только мертвяки дух дают, товарищ командир. Фрицы... Може, обратиться к ним по радио, хай уберут?..

— Этого нельзя, Якуба.

— Жалкую. Який баштан занавозили! Дивлюсь и не пойму, де кавун, де фрицевский гарбуз, что они на своих плечах носят.

— Настроение у тебя, я вижу, боевое?

— А шо нам впервой, товарищ командир? Надо як-нибудь выкручиваться.

— Влияй на остальных, поддерживай дух. Харчи подвезут, патроны доставят, а вот дух, самое главное — дух.

— Духу хватит, товарищ командир, — серьезно, с чувством ответственности сказал Якуба. — Я договорился с командиром взвода: бочку масла, что в Волге поймали, подслам и старослуживым и пополнению...

— Правильно, Якуба. Только не делитесь на старослуживых и пополнение. Они тоже повоевать успели. И под Москвой, и под Ленинградом, и в других местах.

— Тут добрый в нашем взводе сержант, молдаванин Мосей Сухомлин. Був под Ленинградом. Як зачнет балакать про Ленинград — спина холонет. Месяц без росы прожить можно... Какие там страсти, товарищ командир! — Якуба наклонился ко мне и полушопотом произнес: — Чудете, вин Мосей Сухомлин. Бачите, як билая его народ скучковался?..

Якуба буквально за руку подвел, подтянул меня к кучке людей, скруживших рассказчика.

Я всматривался в лицо сержанта. Где же я видел его? Где слышал этот правильный, тягучий, немного гортанный говор?..

Да это же тот самый молдаванин, который перевез нашу семью на фургоне через хребет!

Да... Это был он, человек, искавший пути в жизни. Вспомнилось, как он, сидя у костра, спрашивал у моего отца: «Кто же повернет жизнь? Коммуны?» И гордый ответ отца: «Колхоз».

Этот сержант был самым дорогим мне человеком: ведь он хорошо знает моих родителей. С ним говорил мой отец в горной ночевке, тогда еще молодой и сильный. С ним говорила моя мама, у которой тогда были веселые, милые глаза рыбачки.

— А потом мне пришлось на фронте сопровождать товарища Сталина, — продолжал Сухомлин ровным голосом. — Товарищ Сталин ходил по окопам, по болотам, был на передовых позициях. Видел, что не поломать немцу наш

народ. Это точный факт, — сказал твердо Сухомлин, — точный факт.

В разговор вмешался молодой солдат и, напирая на букву «о», горячо заговорил:

— А слышали, в Москве было заседание по случаю годовщины Октябрьской революции в метро, на станции «Маяковская»? Там выступал товарищ Сталин и говорил с народом. И радио разносило его слова. Вы эти слова знаете все... Съезжались тогда на заседание в поездах. Я сам строил станцию «Маяковская», облицовщиком был. Для меня нет больше чести: на моей станции сам товарищ Сталин выступал.

Молодого перебил пожилой солдат, видимо, из рабочих:

— А потом на параде что сказал? Немец кругом, в бинокль глядит, а товарищ Сталин ему в ответ: ржавая у тебя машина... На годик хватит, а там погорят коренные подшипники...

— Не так же говорил товарищ Сталин! — строго сказал пожилой колхозник из далекой Умани.

— А я так, как понимаю. Я моторист.

— Моторист! — укоризненно покачал головой Якуба, обратив ко мне свое лицо, выражающее неодобрение. — Оди ж мини мотористы!.. «Коренные подшипники».

Опять вырвался звонкий голос моториста.

— Каждый понимает товарища Сталина сообразно, — убежденно сказал Сухомлин.

— Сообразно?

— Сообразно своей жизни. К своей жизни применяет, к своей профессии, к своему мускулу, — так я понимаю...

— Так и балакай, — утихомирено согласился колхозник из Уманщины, — а то «коренной подшипник, коренной подшипник»...

### Глава седьмая

## СМЕРТЬ ВИКТОРА

Если бы слабый человеческий разум знал хотя бы на двадцать четыре часа вперед, что произойдет с ним и с его близкими! Сколько бы тогда великих подвигов самопожертвования прибавилось к повести о величии человеческого духа! Разве я не закрыл бы телом своим моего дру-

га Витю Неходу, сверстника детских забав и юношеских страданий?

Еще лежали на бахчах белобокие арбузы, еще не завяла резная огудина, еще цвели малиновые чалмы татарников, но пчелы не собирали пахучего меда, так как далеко по округе война уничтожила пчел.

Передо мной лежит последняя, шутовская записка Виктора: «Ах, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы?». На столе у меня фотография нашего школьного похода на Джубгу и увеличенный с карточки на партийном билете портрет Виктора с внимательными, умными, задорными глазами. Губы его плотно сжаты — больше никогда они не вымолвят ни одного слова. Смелая грудь его перехвачена ремнем портупей, и два кубика на петлицах.

Мой замечательный друг! Какими словами может плакаться моя пораженная смертью твоей душа? Как сковаан язык человека, как мало ему отпущено слов на радость и еще меньше — на горе.

Снаряд 88-миллиметровой пушки пришелся на батарею, которой командовал Виктор. Этот снаряд легко ранил двух артиллеристов, погнул броневой щит, отсек панораму и смертельно ранил в грудь и живот командира батареи Виктора Неходу.

Его смерть скрывали от меня до ночи.

И вот, возвращаясь в землянку после удачно отбитой последней атаки, я узнал, что меня вызывает командир полка. Я знал: полковник звонит по своему телефону в исключительных случаях. Обычно он связывался с нами через комбата.

Я пришел в землянку, предчувствуя какое-то несчастье. Сел.

Телефонист протянул мне трубку:

— Командир полка, товарищ старший лейтенант.

Я не мог поднять руки и остановившимся взглядом смотрел на трубку. Из нее слышались хрипы.

— Нате трубку, вас вызывает командир полка, — повторил телефонист.

Я делаю над собой усилие, и трубка у меня в руках. Полковник Медынцев говорит мне:

— Сережа... — И умолкает. Это бывает, когда у него пробуждаются отцовские чувства, когда мы для него уже не подчиненные, с которых нужно жестоко требовать во имя присяги, а ребята, его собственные дети.

Я не слышу, не понимаю слов утешения. Я слышу только одно... Это одно гудит, как колокол: что-то случилось с Виктором. Что же, что? Рука, сжавшая трубку, немест. Пальцы не разжать. Я слышу:

— Сережа, Виктор Нехода убит.

Сегодня мы должны были говорить. Виктор, переступив порог этого блиндажа, нагнулся бы под накатным бревенчато-рельсовым сводом и снял пилотку со своей белобрысой, стриженной «под бокс» головы.

Пришли товарищи: Федя Шапкин, Ким Бахтиаров, Гуменко, Загоруйко.

«Виктор убит», — думал я, и в голове моей мгновенно созрел план мести.

— Я веду роту, — сказал я себе, сжимая кулаки. — Я веду ее независимо от приказа. Мы сделаем вылазку с гранатами «РГД». Мы ворвемся к врагам. Я дорвусь до их подлых сердец, я буду бить из пистолета в правый, в левый глаз, в сердце, в затылок. Я доведу свою роту до их артопозиций!..

Федя Шапкин не дал мне взяться за пистолет. Он выслушал мое бессвязное бормотание и спокойно сказал:

— Ты так не должен поступать, Сергей.

— Нет... не мешай мне!.. Я так должен поступить... Именно так! Мы мало их бьем, мало душим, мало уничтожаем. Они прекратили атаки, и мы тоже... Что мы работаем, как в заводской смене... Это тебе не Сельмаш, Шапкин!.. Уйди от меня...

— Ты хочешь повести людей в бой?

— Да... Не мешай мне.

— Это же люди, Сергей.

— Я обращаюсь к их чувствам... Не мешай!..

— Но где же рассудок, Сергей! У твоих людей есть отцы, матери, дети, жены. Они доверили тебе своих любимых, своих кормильцев. Ну вот, пойдём мы в бой мстить за Виктора Неходу. Погибнет Бахтиаров, упадут вниз лицом брата Гуменко! Ведь они хорошо исполняют твой приказ и будут свирепо сражаться... Ты безрассудно бросишь в бой сержанта Сухомлина, а у него, ты знаешь пятеро детей... Сергей, что же ты делаешь? Сергей!

В землянку входят Медынцев и наш командир батальона. Они молча усаживаются. Повинуясь приказу командира полка, из землянки уходят все, кроме Феи Шапкина.

При свете копилки видно, что полковник Медынцев взволнован.

— Сергей, — обратился ко мне командир полка, — так нельзя. Если бы мы переживали так все, у нас не оставалось бы ни сердца, ни соображения, ни физических сил для борьбы с врагом.

— Но...

— Не говори, Сергей, — продолжал полковник, не повышая голоса. — Враг только этого и желает, чтобы возле одного павшего геройской и правильной смертью свалилось в результате необдуманных поступков с десятков его слишком нервных друзей...

— Товарищу полковник...

— Помолчи. Я знал, что произойдет после моего звонка. Потому и пожаловал в гости. Ты хотел бросить роту в бой? Не отвечай. Хотел, конечно. Нехода был спокойней тебя, а ты слишком горяч. Ты знаешь, как поступил бы Виктор Нехода на твоём месте, Сергей? Виктор Нехода, — а мы его знаем все, — не проронил бы ни одной слезы. Он сжался бы весь, как стальная пружина. Он сохранил бы свою месть на долгое время, на годы борьбы. Он проверил бы вначале самого себя всего, как проверяют механизм, а потом уже принял бы решение. Он нашел бы коэффициент полезного действия своей ненависти и использовал бы каждый грамм ее разумно и точно, без паники, без смятения души, как и полагается коммунисту... Молчи... Выходит, мы зря тебя принимали в партию, а? Может быть, прав капитан Андрианов? Молчи... Завтра мы решили похоронить Неходу в Бекетовке... Сегодня ты можешь проститься с ним. Он у меня на «ка-пе», а завтра мы отсалютуем в Бекетовке... — Полковник встал. — Пойдем-ка, Сергей. Пойдем со мной...

Я вышел за командиром полка из блиндажа, споткнулся на дощатой ступеньке. Остановился, прислонившись плечом к земляному траншейному срезу. Мне нехватало дыхания, хотя здесь, в узкой щели траншеи, стоял прохладный сентябрьский воздух, наполненный степными запахами. Полковник дал мне отдышаться, а потом осторожно повел меня за собой.

Я шел, ощущая это властно-отцовское прикосновение, и чувствовал, как к запахам степи примешивается запах табака, ременного снаряжения.

— Вот здесь отдохни, — сказал полковник, — в коренном траншейном ходе.

Над нами лежал вал бруствера и поверху стеблевая сетка поlyingного дерна.

Ярко светила луна, неподвижной и холодной тяжестью повисшая над нами. Бойцы моей роты, сидевшие на окопных завалинках, поднялись.

Я заметил, что солдаты внимательно и понимающе глядели на меня. У каждого из них были свои личные заботы, но они сочувствовали горю командира. Я видел это по взглядам, по поворотам голов, по коротким, красноречивым жестам и ощущал содружество нашего боевого коллектива здесь.

Мы шли по ходам сообщения к полковому наблюдательному пункту. Прикрытые возвышенностью соединительные траншеи позволяли идти в полный рост. Теперь я видел лежавшую вправо от нас высоту, занятую немцами, срезанную артиллерийским огнем рошу и развалины каменных стрелений. А Виктор никогда больше не увидит ни этого звездного неба, ни своей старой матери, которая ждет и будет ждать своего сына долгие годы.

Неподвижно лежали трое, прикрытые плащ-палатками. Мне никто еще не объяснил, кто из этих трех человек, опрокинутых навзничь и прикрытых зеленым грубым хаки, лейтенант Виктор Нехода.

Я сам узнал его и сбросил набрякшую от росы плащ-палатку.

Вот он, мой друг!

Виктор лежал вверх лицом, с полузакрытыми глазами, в разорванной и залитой кровью гимнастерке, с темными пятнами на тех местах, где раньше он прикалывал орден и значок «Отличному артиллеристу».

Одна его рука была согнута в локте, и сжатый кулак лежал на груди, вторая рука вытянута вдоль туловища.

На загорелой и, показалось мне, худенькой, тонкой, как у выпускника-десятиклассника перед экскурсией в Джубгу, шее светлела узенькая каемка подворотника.

— Витя! Витя! — позвал я, все еще надеясь, что он откроет свои задорные, смелые глаза.

— Сергей, — прикоснувшись ко мне, строго сказал полковник, — держи себя в руках.

## О «ЧУДЕ» НА ВОЛГЕ

Войска Сталинградского фронта готовились к контрнаступлению, готовились тщательно, упорно, накапливая мощные силы для смертельного удара.

В декабре пришли стойкие континентальные морозы и метры. Здесь сходились карские циклоны, как бы скользящие по кромке Уральского хребта, и среднеазиатские шурганы, эти своеобразные бураны степного океана, раскинувшегося от Памира до Волги и от Волги до предгорий Кавказа. Для нас это была зима-матушка, противнику она казалась зимой-генералом.

Но хотя зима была нам знакома и добра к нам, и у нас зябли руки, носы, плохо заводились моторы танков и самолетов, обледеневали дороги, и продвижению автомобильных колонн мешали глубокие снега. Но мы чувствовали заботу о нас благодарных соотечественников.

Если ко мне в теплую землянку приходил рядовой боец Якуба, я видел его краснощекое лицо, улыбку отлично отобедавшего человека. Вместо шинели он носил теперь ватную фуфайку с поддетым под нее меховым жилетом; под гимнастеркой — теплое белье; стеганые штаны заправлены в голенища сибирских валенок. Вместо пилотки — шапка-ушанка из дугейки, а на шее шарф.

...Машины с провиантом буксуют по глубокому снегу. Ничего! Им мигом подсобят солдаты. Везут эти машины хлеб, мясо, колбасу, «горючее» внутрь, консервы, шоколад, табак и даже апельсины.

Выходя на «пятачок», утопанный возле наблюдательного пункта, я видел расставленные за снеговыми буграми орудия разных калибров, начиная от батальонных пушек до осадных орудий, нацеленных с заволжских позиций, с такими стволами, что каждый из них, пожалуй, вместит великана Бахтиярова.

Надо мной летают истребители, неумолчно гудят пикирующие бомбардировщики, с методической точностью долбящие притихшего противника. Иногда я слышу радиоразговоры летчиков. В самом тоне их чувствуется теперь хозяйская уверенность, отсутствует горячность первых месяцев войны. Я слышу этаким спокойным басом:



«Саша, придется разменять фрица. Наждем на гашетки».

Вон, взметая снежную пыль, будто торпедные катера в пенном море, несутся на исходные рубежи окрашенные белым танки. Пусть будет счастье Илюше! Ведь где-то в этой снежной метели идет и его танк.

Эти грозные машины присланы нашими помощниками: колхозниками Иркутска, Джамбульской области, Грузии, Армения, Подмосковья, Вологды, учеными Академии наук, комсомольцами и пионерами Поволжья и Свердловска, артистами Большого театра, художниками, шахтерами Кузбасса... Их адресами расписана бортовая броня боевых машин.

На дымных конях подходили казаки в полубубках из белой овчины, а впереди конных колонн гарцовали на ахалтекинцах и донских скакунах командиры в маковых башлыках поверх черных бурок.

По железнодорожной линии ходили бронепоезда поддержки.

Ночью вереницами, будто связки бус, тянулись к передовой автоколонны. Машины везли и везли и заваливали балки реактивными снарядами, прозванными «Иван Грозный». А когда тихо подошли полки трехсок «катюш», или, как их сейчас еще шуточно называют «раис», мы поняли: приблизилось время, когда, проминая подошвами отбитую землю, мы пойдем вперед и вперед.

Эпизоды первых боев у щита Сталинграда и заключительного сражения, в котором мне посчастливилось быть участником, позволили мне притти еще тогда к следующим выводам:

Отход к Волге был совершен планоно, чтобы завлечь противника, истрепать его небольшими силами маневренной обороны, приблизить свои и удлинить коммуникации неприятеля, проходящие по враждебной ему территории, а потом бить врага наверняка, подтянув мощные стратегические резервы, скрытые в опорных пунктах советского тыла.

Некоторые очевидцы, находившиеся на излучине Дона при отходе от Лисск и Миллерова, склонны были уверять, что отход совершался беспорядочно, что якобы наши армии были деморализованы быстрым, рассекающим движением немецких наступающих армий. Конечно, у нас кое-где были тогда тогда неудачные военачальники, допустившие

панику в своих войсках, среди некоторых неустойчивых частей. Рассказывали о путанице, якобы происходившей в наших войсках.

У нас в полку, во втором батальоне, был кашевар Мирон Апушкин. Люди, видевшие его во время отхода дивизии, рассказывали о нем много разных историй. Стоило только услышать ему, что где-то наступает противник, или почуять артиллерийскую стрельбу не впереди, а сбоку, как он немедленно бросал свою большую ложку и кричал: «Окружили, продали!»

У этого кашевара быстро менялись настроения. При удачах он переходил от крайней паники к экзальтированной храбрости. Я невольно вспоминал кашевара Мирона, когда вслушивался в мнение некоторых очевидцев. Так и чувствовалась у них спрятанная где-то за спиной длинная поварская ложка.

Но, присматриваясь к таким рассказчикам, я вспомнил наше сражение на Тингутовских высотах, отход к Волге, вспомнил таких командиров, как генерал Шувалов или полковник Градов.

С нами впритык стояли сибирские полки. Они подошли по незнакомой им местности, ловко вкопались в землю, заложили минные поля, раскатали звонкие катушки провода, прирастили свои провода к нашим и стали нашими соседями.

Слаженно и солидно подошли моряки Тихоокеанского флота. Я любовался этими здоровыми, загорелыми парнями, похожими на моих дорогих черноморцев. В их руках бесперебойно работали «машины», как называли они пистолеты-пулеметы или «самовары» — минометы.

Потом появились теоретики, писавшие о «чуде» на Волге. Стараясь снизить значение сталинградской победы и оперируя историческими аналогиями, любители чудес вспоминали о «чуде» на Марне.

На Марне, с точки зрения этих теоретиков, произошло чудо. Там стратегия воюющих сторон зашла в тупик и, потеряв разумное управление, начала подчиняться случайностям. Выпавшие из рук безвольных, растерявшихся полководцев вожжи стратегии были подобраны неким «высшим существом», — и совершилось «чудо».

На Волге не было чуда. Здесь было все заранее продумано, подготовлено и решено. Не в один час и не в один месяц появляются в резерве Главнокомандующего десятки

свежих дивизий, обученных, экипированных, стойких, не в один день и месяц изготавливаются тысячи орудий, не так скоро изготавливается танк. Танк и орудие — конечное производное сотен заводов, домен, вскрытых руками человека недр — результат напряженной работы миллионов тружеников.

Людские вооруженные массы и материалы все же не решают сами дело победы. Надо сочетать их разумно и предусмотрительно: когда необходимо, — быть скупым, когда потребуется, — стать щедрым.

Что было бы, если бы разум вождя не предугадал того, что складывалось у нас в результате десятков лет созидательной работы мускулов и ума, способного к высокому философско-политическому обобщению и предвидению?

Что было бы с нами, если бы у нас не было во главе государства дальновидной коммунистической партии и ее вождя?

Уроки этой войны пригодятся и на будущее. Пусть народы садятся за парты и изучают пройденный нами курс.

У Германии даже ко дню нашего генерального похода на Берлин было в достаточном количестве бензина, стали, редких металлов, алюминия, взрывчатки, оружия. Теперь известны данные Шпеера, доложенные Гитлеру. Союзники не причинили серьезного, губительного ущерба промышленности Германии. Они также не оттянули на себя достаточно сил, и германский генштаб гнал войска только к востоку, почти не поворачиваясь на запад.

Что же произошло? Живая сила немцев была разгромлена еще до нашего подхода к их жизненно важным центрам. Советский урок, преподанный врагу под Сталинградом, не был учтен. В нужную минуту у полководцев врага не оказалось необходимых для контрнаступления дивизий. Насколько несравнимо выше оказалась сталинская стратегия консервативной стратегии германского генштаба с его порочной стратегической доктриной, построенной на шаблоне.

В блиндажах, оборудованных в родной земле, мы, офицеры Красной Армии, спорили и горячились, доказывали и опровергали, казнились от досады, если что-либо ускользало от нашего понимания, но мы всегда помнили, что нашим спасением, нашим будущим мы обязаны великому человеку, который воспитывал нас в великих сражениях у высот коммунизма.

АТАКА

...Незадолго до зимнего рассвета меня разбудила ору-  
дьяная канонада.

Стальной пояс окружения начал сжиматься. Пришедшее из древности понятие «Канны», сотни лет не сходявшее со страниц военных учебников, уступало место новому синониму стратегического окружения и разгрома — «Сталинград».

Через несколько часов к нам поступило первое сообщение: взято в плен тринадцать тысяч солдат и офицеров. Итак, «непобедимая» армия, прошедшая Европу, маршировавшая по Антверпену, Брюсселю, Парижу, начала разрушаться под ударами советских войск.

Мы целовали друг друга. Мы не стеснялись наших чувств. Успех наступления был налицо, и мы торжествовали.

А потом в бой вступила и наша дивизия. Наконец-то прекратилось тягостное затишье!

Командир батальона собрал командиров рот и их заместителей по политической части в своем блиндаже и, покашливая, тихим голосом объявил нам приказ. Комбату было за сорок пять. В последнее время он часто прихварывал. А тут еще случилось несчастье: где-то в Средней Азии, в эвакуации, умерла его старшая дочь. Но комбат, как всегда, деловито и спокойно провел совещание.

Этой же ночью мы повели свои роты к исходному рубежу, в лошину. Сразу же после выхода из траншей попали на материковые снега. В таких снегах мы должны были скопиться перед броском. Глухая ночь помогала нам. Красноармейцы были одеты в маскхалаты, оружие прикрывали, чтобы оно не чернело на снегу. Противник не ожидал именно здесь, на нашем участке, активных боевых действий. «Языки» — обычно румыны — показывали на допросах, что немцы уверены в стабильности нашего направления.

Оставив условные проходы для танков поддержки, командиры рот собрались ко мне. Первой ротой командовал Бахтиаров. Андрианова перевели в другой полк. На третьей роте стоял Загоруйко. Четвертой ротой командовал кадровый капитан, умный и хладнокровный узбек, которого мы называли «Атаке», то есть «отец».

Еще перед выходом на исходный рубеж мы надели маскировочные халаты. Здесь, в снежной ложине, продуваемой ветром, мы зябко поеживались, склонившись головами друг к другу; мы обсуждали, кому из нас выпадет честь встать первым во весь рост, крикнуть: «За родину! За Сталина!» — и броситься вперед, увлекая за собой весь батальон.

Бахтиаров сказал своим баском:

— Пожалуй, придется мне, товарищи.

— Почему же тебе? — недовольно возразил Загоруйко.

— Ты очень высокий, Ким, — сказал я, — тебя сразу убьют. Ишь, какая заметная цель для немцев.

— Не пугай Кима, — заметил Атаке, — его все равно не испугаешь. А потом артиллерия начнет, «раисы» начнут, танки начнут, минометы начнут. Куда там вглядываться в разные пехотные фигуры ошалелому немцу!

— Поэтому должен начинать я, — сказал Ким, обрадованный поддержкой Атаке.

— Что ты за персона, Бахтиаров! — нахохлился маленький Загоруйко. — Если бог дал тебе рост, это не значит еще, что он прибавил сюда же и удачу. Батальон подниму я.

— Объясни причины! — горячо возразил Бахтиаров. — Не балагурь, Загоруйко!

— Я маленький, увертливый — это, во-первых. А вторых, недавно командую ротой. Надо же мне перед своими бойцами отличаться...

Мне тоже хотелось поднять батальон. Настало время, наконец, для того, чтобы отомстить за смерть Виктора Неходы и за страдания семьи, за все, что принес враг в мою жизнь. Мне казалось, что где-то на высоком кургане в морозном утреннем рассвете будет стоять и смотреть на нас человек, имя которого я должен буду произнести перед атакой вместе с именем родины. Я был уверен, что он близко.

— Нельзя так, товарищи, — серьезно сказал Атаке. — Мы сделаем по-другому. Мы сделаем, товарищи, справедливо: бросим жребий. Согласны?

Получив наше одобрение, Атаке разорвал на четыре части листок, вырванный из записной книжки, начертил на одной бумажке крестик и положил в шапку. Взмахнув своей курчавой головой, мгновенно обвинившейся паром, Атаке сказал:

— Руки!

Четыре руки опустились в шапку. Я нащупал бумажку, развернул. На моей бумажке был крест.

— Вот и решили, — сказал Атаке, надевая шапку. — Поднимать Лагунову. Сережа, ты встанешь на полсекунды раньше нас. А потом поднимемся все мы, как на пружинах. Пусть пуля тогда ищет тебя среди всех...

Федя Шапкин, теперь мой замполит, которому я рассказал о жеребьевке, поглядел на меня из-под поднятого воротника шинели, закрывавшего его от бокового ветра.

— Ты-то теперь не робеешь, Сергей?

— Конечно, нет... А почему ты задаешь такой вопрос?

— Обычно так получается: хорохоришься, хорохоришься при людях, а внутри... Как внутри, Сергей? Холодно или жарко?.. — Не дожидаясь моего ответа, Шапкин уверенно сказал: — Ничего, и на этот раз повезет, Лагунов.

Шапкин посмотрел на часы.

Томительно тянется время. Волнение проходит. Я думаю не о том, что произойдет. Я думаю о Викторе, о моем погибшем друге. Я чувствую, что именно эти мысли помогут мне подняться без страха и без страха идти вперед. Меня воспитали в любви к человеку, но мое сердце сейчас полно ненависти, созревшей в дни моего горя. Я поднимусь сейчас в атаку не только против Н-ского батальона, Н-ского пехотного полка какой-нибудь там Вестфальской или Баварской дивизии, — я поднимусь против мрака и злобы, против будущих войн. Я поднимусь против убийц Виктора.

Я готовлю гранату «РГД» 1942 года. Она дает светлый столб пламени, прослоенного мельчайшими осколками. Я хитро, по-звериному, вкопался в снег, притаился. Я долго лежу в снегу, заматаемый снегом. Но близится рассвет, близится час возмездия.

Ветер дует нам в спину и несет снежный поток в лицо немцам.

И вдруг словно тысячи южных гроз разразились — бьет артиллерия всего кольца. Близкие громы сливаются с дальними. Рокот сталкивается, расходится, и снова звуковые волны ударяются друг о друга — гремит симфония войны: только медь и барабаны, барабаны и медь.

Залпы «катюш» прикрывают нас.

Мы ползем в снегу ближе и ближе к траншеям врага. Вал огня впереди нас. Мы ползем, разрывая своими телами наматаемый косыми валами снег. Каждый спешит.

Нет отстающих. Это не принуждение, не слепое исполнение устава,—это подвиг тысяч по велению собственного сердца.

Вверх взвиваются две ракеты: зеленая — это цвет наших полей, и красная — цвет нашего знамени. И я, поднявшись во весь рост, кричу: «За родину! За Сталина!» и бегу вперед, туда, где бушует огонь. «За друга Виктора!»

Федя Шапкин уже впереди, с пистолетом в руке — коренастый, небольшой, но сейчас он кажется мне великаном.  
— Бей! — кричит Шапкин. — Бей!

Якуба бежит в белом халате, не поворачивая головы. У него в руках винтовка, нацеленная трехгранным штыком вперед. Сибиряки-зверобой ходят так на медведя и бьют его в сердце, пронзая твердую кожу, заросшую густой шерстью.

Я одновременно с Якубой проваливаюсь в занесенную снегом траншею. Черные тени немцев сбились вправо, уходят. И я кричу Якубе и подбежавшим к нему солдатам:

— Ложись!

Я бросаю гранату и падаю в снег грудью.

И вслед за глуховатым треском разрыва быстротечная траншейная схватка. Мы добиваем тех, кто продолжает сопротивляться.

Федя Шапкин кричит в ухо:

— Сережа! Комбат приказал не задерживаться в траншеях! Траншеи промочит вторая волна! Танки уже впереди, Сергей!

Федя почти тащит меня. Мы обходим труп нашего бойца с расплывающимся пятном крови на маскхалате, перепрыгиваем через пулеметное бетонированное гнездо с кучей гильз на снегу и свистками собираем роту для броска.

Нас обгоняет лыжный батальон—физкультурники-комсомольцы, прибывшие под Сталинград по специальному отбору.

Веселые, краснощекие ребята проносятся лыжным, еще не сломанным строем мимо нас, как озорной ветер.

Это они — хлопотуны и спорщики, танцоры и певцы на вечерах самодеятельности, недавние пионеры, шумные посетители стадионов, кино, литературных вечеров.

У них пистолеты-пулеметы на груди, диски с мелкими автоматными патронами, как семечки в шляпке подсолнуха.

Лыжники несутся по степи, словно буера под белыми парусами.

Высокий, веселый, в развевающемся белом халате обращивается ко мне, может быть, и не ко мне, и кричит:

— За Сталинград!

Лыжные батальоны врезаются, как ракетные снаряды, в глубину вражеской обороны. Вот высокий, веселый свалился, упал на спину. Парус-халат сорвало порывом ветра. Пятно крови на парусе покрывается по краям щетиной инея.

— Вперед!

На лыжах несутся девушки-санитарки, собравшие пучками косы на затылке, с глазами-фиалками. Ишь, какими цветами расцветает сталинградская вьюжная степь! Девушка-санитарка бросается к упавшему. Вот парус снова поднят над снежным ветренным морем. Шатается, обвисает в милых девичьих руках. Не умирай, паренек! Ты еще должен увидеть в своей жизни фиалки! Открой глаза!

Вперед!

Вперед, чтобы скорее притти к труду, чтобы скорее сбросить маскировочную одежду, чтобы вытряхнуть из кармана патроны, чтобы омыть, омыть руки! Чтобы омытыми руками принести солнце родине. Пусть вечно нам светит!

В первой траншее румыны. Они поднимают руки. Мы знаем, что основной удар надо нанести по второй траншее: там сидят спешенные танкисты дивизии «Викинг». Оттуда шла стрельба по румынам и по нашей атакующей пехоте.

Я знаю, как сражаться с эсэсовцами. Ни за что не доверять поднятой руке: вторая нацелена на тебя. Ни в коем случае не доверять! Если он повернулся спиной, не думай, что он не следит за тобой. Это прием, уловка хитрого, вымуштрованного зверя. Это сделано для того, чтобы отвлечь твоё внимание, обмануть.

Якуба держится вблизи меня, отстреливается скупко, сберегая патроны. Он явно охраняет меня. Если я что не замечу, заметит Якуба. Если мы вдвоем что-либо проглядим, поможет молдаванин Мосей Сухомлин. Он считает меня как бы своим сыном, после того как мы вспомнили путешествие с фургоном.

Нам трудно достаются танкисты «Викинга». Ко мне подбегает Федя Шапкин, говорит, что ранен Бахтияров, на его глазах свалился замполит батальона, что рота Загоруйко еще дерется во второй линии траншей. Федя кричит на ходу. Его рваные, хриплые фразы вылетают вместе с паром.

Атаке опережает нас. Его рота молча добывает вторую линию, растекается по ходам сообщения в глубину обороны.



Я один раз увидел Атаке. Он стоял на белой вершине бронебункера, взорванного прямым попаданием, и энергично махал рукой, направляя бойцов по ходам сообщения, покрикивая по-узбекски, и улыбался.

Подражая Атаке, я тоже вскочил на бруствер, чтобы направить людей в глубину. Шапкин сбил меня с бруствера. Я упал рядом с ним под свист пуль, обметавших бруствер: работал скрытый до этого пулемет. Пошла лента разрывных пуль.

Если ночью рвутся «дум-дум» — красиво: разноцветные по коронке разрыва букетики. Днем же только короткий хлопок и пискливый разлет крошечных, ядовитых осколочков.

Траншеи сообщений вывели нас к ложине. Мы достигли балки Купоросной. Не нарваться бы на минные ловушки! Поэтому мы достигаем третьей линии вслед за отходящими немцами. Мы выдавливаем их из соединительных траншей, как из тубика, и завязываем рукопашный бой в стрелковых и пулеметных ячейках — осиновых гнездах, напеленных в норах балки Купоросной. Хорошо, что здесь уже поработали наши авиация, артиллерия и минометы. Снег почернел, обрызганной землей, выброшенной взрывами. Много свежих трупов, лыжных следов и звездочек лыжных разворотов. Попадают убитые лыжники. И вон — я отворачиваю глаза, и сердце мое становится, как комок железа, — девушка-санитарка... Глаза-фиалки залиты кровью, губа рассечена. Кровь заливает обнаженную девичью шею.

...Высокий, с сильной проседью немец, с погонами младшего офицера, будто прикованный к размятой глине войлочными на деревянной подошве ботами, с блеском золотых зубов из-под приподнятой верхней губы, с автоматом в обмороженных руках, с вьевшимися в пухлое мясо перстнями...

Я загляделся на секунду дольше, чем нужно было, на убитую девушку. В секунду можно сделать два выстрела; одной секунды достаточно, чтобы нажать спусковой крючок автомата. Я почувствовал, как пуля ударила в мою правую ногу, — и нога мгновенно онемела, и какое-то гнетущее состояние неизвестности пришло ко мне.

Я выстрелил из пистолета.

Немец покачнулся, опустился на колени и упал лицом вниз. Я видел его голову, спутавшиеся волосы, оборванный хлястик шинели.

Я хотел приподняться, но не мог.

Возле меня никого не было.

Неподалеку слышалась татакающая дробь магазинных немецких винтовок, характерные, отличные от нашего, разрывы ручных гранат.

Я попробовал поползти. Онемение прошло. В ногу вступила боль. Хотелось кричать. Может быть, и крикнул. Возле меня очутился Якуба. Подполз, разлепил забитые снегом губы:

— Товарищ старший лейтенант, як же так?

— Кажется, ранен, Якуба.

Я сиделся подняться.

Якуба навалился на меня. Я почувствовал запах махорки и чеснока. Якуба держал меня за плечи, а мою грудь придавила его винтовка.

— Нельзя. Пристрелялись... Лежите...

Якуба не выпускал меня, одновременно пытаюсь наощупь определить мое ранение. Я почувствовал выше колена резкую боль, пальцы Якубы дошли до раны. Я застонал. Якуба сразу отпустил руку и тихо, опять обдавая меня своими теплыми запахами махорки и чеснока, пробормотал:

— Пуля. Бо, если осколок, порвал бы шинель. Самому вам не дотянуть до сестер.

— Доползу, Якуба.

— Ни... Давайте лягайте на мене. Я вас дотяну до бабочки. Ни... ни... не подымайте голову.

Якуба очень ловко как-то надвинул меня на себя, приказал держаться руками за плечи и потащил меня по целине. Он полз в снегу, отфыркивался, тяжело дышал.

И когда Якуба дотащил меня к спуску в лошину, я увидел своего замполита. Шапкин встал, бросился к нам.

— Убьют, — досадно бормотал Якуба, — як же так? Да разве можно таким детям быть на фронте?

Шапкин подбежал, нагнулся, схватил меня за руки и понес. Его широкое, курносое и такое всегда застенчивое лицо склонилось ко мне. Его брови были в инее, шерстяной ворот подшлемника прикрывал рот.

— Так же нельзя, Сережа, нельзя, — говорил он, прерывисто дыша. — Балку-то почти очистили. Противник усилил сопротивление у Воропонова. К нам опять подтягивают сибиряков... Сейчас опять начнет артиллерия и пойдём... вперед! Эх ты!.. Генерал Шувалов приказал брать противника техникой в первую очередь. Приказ Сталина... А ты? Эх ты, Сережка...

Я слышал рокочущий хозяйский голос нашей артиллерии, рев штурмовых самолетов.

Шапкин прыгнул в сугроб с обрывчика. Теперь мы были в безопасности.

— Где Якуба? — спросил я.

— Сестру, — приказал Федя, — быстро сестру!

— Я тут, товарищ старший лейтенант, — отвечал Якуба.

Он стоял возле меня.

— Як же так?.. Политрук мог загубить и вас и себя. Чи я не мог вас понести руками?.. Теж не тактика... Ладно, шо обошлось, а кабы... — Якуба укоризненно махнула рукой.

Пришла медсестра. Она прощупала ногу, что-то сказала Шапкину. Федя принялся освобождать меня от снаряжения, расстегивать пряжки.

#### Глава десятая

### ГВАРДЕЙЦЫ

Автоматная пуля прорезала мясо, уткнулась в кость, контузила ее и застряла в мышцах. Как говорили мне хирурги в Бекетовке, куда меня доставили, пуля, очевидно, шла по снегу, потеряла силу, и это спасло ногу.

Кольцо сжималось. Наш полк вплотную подошел к Ельшанке, пригороду Сталинграда. А я лежал. Ко мне забежал Шапкин. Он вздохнул, с азартом рассказывал о наступлении, о пленных, об успехах, а я лежал и скрипел зубами от досады. Я доказывал, что нельзя меня держать в госпитале, просился в роту. Шапкин посоветовался с доктором. Доктор устал не столько от работы, сколько от бесконечных просьб раненых о досрочной выписке. Доктор наотрез отказал.

— Покомандую пока я ротой, Сережа, — сказал Федя.

— Я хочу со своей ротой войти в Сталинград.

— Успеешь еще.

— Успею? Вы же быстро идете.

— Не так, чтобы быстро. Дело солидное. Сжимаем аккуратно обручи. Так сжимаем, чтобы без отдушины.

— А зачем пленных берете?

— Сдаются, Сережа, — с наивной улыбкой отвечал Шапкин, — потому и берем.

— Врагов надо уничтожать.

— Кто не сдается, так и поступаем.

— Надо всех...

— Если сдаются, нельзя.

— Сам Сталин сказал: смерть немецким оккупантам!

— Оккупантам — да... Но если немец сдался — значит, он отказался оккупировать нашу территорию.

— Все равно.

— Нет, — Шапкин упрямо доказывал мне. — Уничтожать надо врага, который не сдается. Сдался — оставить. Они не одни... Сколько еще армий у Гитлера? Узнают, что мы их варим в котлах с мясом и костями, будут драться до последнего. Нам же будет потом труднее, Сергей.

— Ты стал защищать немцев, Федя. Я тебя не узнаю. Что ты говорил раньше?

Шапкин улыбнулся мило и светло:

— Раньше мы отходили, а теперь наступаем. Нам нельзя становиться на одну доску с ними. Нас воспитывали по-другому. Мы, — Федя помолчал, как бы подыскивая слово, — гуманисты. Мы их должны убедить оружием, превосходством своего духа, ну, если хочешь, своей идеей. Нам эту нацию еще придется перевоспитывать. Ведь у них не только Гитлер или Геринг, у них и Тельман, и Карл Либкнехт, Сережа... В общем это разговор, как говорится, на потом. А теперь поправляйся...

Федя уехал на передовую. День и ночь перекатывались громы артиллерии. В стекла окон бил сыпучий, метельный снег. Стекла разводило прелестными узорами. Через эти узоры я немного видел, что делалось там, на воле. Я слышал своим привычным ухом даже отдаленное передвижение автомашин, подвозивших боевые припасы.

Вереницей проходили передо мной образы прошлого, воспоминания детства. Снова повелительно вторгался в мои думы Виктор. Я мысленно продолжал разговор с Шапкиным об отношении к врагу. Его взгляды были новы и неприемлемы для меня. Могли ли мы еще несколько месяцев назад говорить о гуманных чувствах к врагу? Не могли. Так могли рассуждать люди, уже почувствовавшие себя победителями. Тогда же перед нами был страшный враг, которого мы должны были только ненавидеть и истреблять.

Я перечитывал теперь слова Сталина: «...Красной Ар-

мии приходится уничтожать немецко-фашистских оккупантов, поскольку они хотят поработить нашу родину, или когда они, будучи окружены нашими войсками, отказываются бросить оружие и сдаться в плен. Красная Армия уничтожает их не ввиду их немецкого происхождения, а ввиду того, что они хотят поработить нашу родину. Красная Армия, как армия любого другого народа, имеет право и обязана уничтожить поработителей своей родины, независимо от их национального происхождения».

Рокотали танки и орудия. Я смотрел в морозное окно, страдал от бездействия.

...И вот однажды в мою палату вошел Илья. Я не поверил своим глазам. Казалось, все кончено, все разъединено, разбито и развеяно войной. Потеряна семья, разрушен дом.

Илья стоял передо мной с халатом на плечах, со шлемом танкиста в руках, с суровой, знакомой мне улыбкой. Окольными путями узнав о моем ранении, он забежал ко мне на десять минут. Он разыскивал меня по всей Бекетовке, видел Бахтиярова, также изнывавшего от бездействия. Ким и направил его сюда.

Я предлагаю стул. Илья садится. Медицинская сестра, поленькая, веснушчатая и милая девушка, по фамилии Бунина, оставляет нас вдвоем.

Мои товарищи по палате понимают, что у Ильи времени в обрез, и поэтому стараются не мешать нам поговорить между собой. Легко раненные ковыляют в коридор, тяжело раненные прикрывают глаза или отворачиваются к стене.

Мы сидим друг против друга и молчим.

Я внимательно рассматриваю брата. Как он изменился! Лицо стало другим. Где пухлые щеки, улыбка, раздвигавшая его губы? Морщинки разбежались по лицу, углубились лапками у глаз, прорезали переносицу. Очертания рта посуровели, может быть, от этих крепко сжатых, обветренных губ, от складок, очертивших рот с двух сторон. И глаза стали другими — настороженными, с запрятанной в глубине какой-то злой, скрипучей тоской.

Илья мало говорил, больше слушал, внимательно глядясь в меня.

— Два ордена, — сказал он, поглядывая на тумбочку, где я нескромно держал свои ордена. — Твои?

— Мои, Илюша.

— Молодец!

— А у тебя?

— Тоже есть, Серега! Расскажи о гибели Виктора Неходы...

Во все время моего рассказа Илья сидел, опустив голову.

В стекло стучала ледяная крупа. Слышался неумолчный говор артиллерии. В палату заглянула Бунина, приподняла свои круглые, подрезанные бровки, ушла.

— Где Устин Анисимович, Сергей?

— В Крыму, в Феодосии.

— Плохо.

— И Фесенко в Крыму?

— Нет, Яшка, а Фесенко... воюет.

— Да, мне писал еще в сорок первом об этом Николай.

— Больше не имел сведений о Коле?

— Его видели под Миллерово. Жив ли теперь, не знаю... А Виктора жаль. Очень жаль Виктора! — Илья закурил папироску. — У вас курить, конечно, нельзя, но на ветру нехватает на одну затяжку, выдувает. Извинись уже за меня...

— Хочу уйти из госпиталя, Илья.

— Не надо.

— Полк-то дерется.

— Успеешь. Войны на всех хватит, надоест.

— Сталинград, пойми, Илюша...

Илья ласково посмотрел на меня:

— Сам командир, решай.

— Спрашиваю, как у старшего по званию.

— Ты не моей части. Распожаться не волен. — Илья задумался. — Отца жаль, маму. Хорошие они у нас, Серега. Побереги себя для них хотя бы, Серега. Эта пуля заблудилась случайно, а вторая может угадать...

Илья смял недокуренную папиросу, сунул в карман своего полушубка и поцеловал меня в губы, лоб и щеки; так делала мама, укладывая нас спать. Последний раз я увидел его плечи с наброшенным на них халатиком, лицо, кивок головы, и... мне захотелось заплакать. Сдержался всей силой воли. Увижу ли когда-нибудь еще брата Илью? А может быть, сегодня последняя встреча, последнее прикосновение руки...

Пришла Бунина. У нее в руках были ножницы. Косынка завязана кокетливо, виднелись аккуратно подвитые на височках каштановые локоны. Она подошла ко мне своей

валкой походкой — так ходят полные девушки, присела на то место, где сидел Илья.

— Он попрощался со мной за руку, — сказала Бунина и приподняла, будто в ожидании ответа, свои круглые бровки.

Я ничего ей не ответил. Мне было приятно, что место, оставленное Ильей, не осталось пустым, что его занял живой, расположенный ко мне человек.

— Спасибо, — сказал я, все еще думая о своем.

— За что? — смущенно покраснев, спросила Бунина. — Он сам первый подал мне руку. Да... Дайте-ка мне теперь свои руки, Сережа.

Она взяла мою руку, погладила. Затем, будто одумавшись, вспыхнула и принялась маленькими ножницами стричь мне ногти.

Мне были приятны эти частые прикосновения, теплота, исходящая от ее кожи, от пальцев, и вообще приятно было видеть возле себя такую юную, застенчивую, милую девушку.

— У меня тоже есть сестра, замужем за командиром-артиллеристом, — она мягко посмотрела на меня и снова опустила глаза, — у нее большое несчастье, очень большое.

— Кто-нибудь погиб?

— Да... И не только... Вы помните первый налет на город?

— Помню, хотя я был и не в самом городе.

— Так вот... Мою сестру — Юлечка ее звать — решили эвакуировать вверх по Волге, на Камышин — Вольск. Кое-как посадили на пароход, пароход отправился вверх. А в это время немцы бросили пловучие мины. Пароход наткнулся на мину, начал тонуть. У Юлечки было двое детей, мальчик пяти лет и девочка двух. Что же будешь делать, Сережа? Пароход взорвался, вот-вот потонет, все бросаются в воду. Сестра взяла девочку, посадила к себе на плечи, решила с ней прыгать в воду. А мальчику говорит: «Петя, а ты сам прыгай!» Он сказал: «Хорошо, мама. Только дай я тебя поцелую». Поцеловались они и бросились в воду. Не знаю как, но сестра с дочкой остались жить. И не помнит Юлечка, как произошло. Кажется, подобрали ее в лодку. А мальчик, Петя, утонул. Бросился в воду и сразу пошел ко дну... Ведь всего пять лет ему было, Сережа! — В глазах Буниной показались слезы, она вытерла их платочком, покусала губы. — Встретил сестру

муж, узнал, что сын погиб, заплакал и ушел от Юлечки. Не разговаривает с ней, ненавидит ее. Почему, мол, погиб Петя? Как допустила? Необычайно он любил Петю. Сам не свой стал, почернел, как уголь. Сейчас Юлечка живет в Ленинске, за Волгой. Лучше бы, говорит, я тоже утонула. Такое горе у нее, Сережа. Ну, скажите, кто же из них прав?

— Никак нельзя было спасти мальчика?

— Ну как же? Ведь когда сестра прыгала в воду, разве она думала остаться жить? Надо представить весь ужас. Пароход тонет, сверху стреляют «мессеры». Юлечка говорит, что она не помнила себя. Взяла двух, утонули бы все трое...

Эта картина неотступно преследовала меня и после того, как ушла Бунина, и когда притихла морозная ночь и уже не доносились звуки палубы. Я не мог уснуть до самого утра.

Утром Бунина снова пришла, с улыбкой на своих полных губах, с аккуратно подведенными бровями, с кокетливыми локонами, выглядывающими из-под чистенькой косынки, с алеющим знаком Красного креста. Какую-то страшную, гнетущую тревогу заронила в мое сердце эта девушка. «Хорошо, мама. Только дай я тебя поцелую».

Они пришли сюда и убивают наших детей? Почему же мы склонны так быстро прощать?

Петя преследовал меня. Мне невозможно было находиться здесь, вдали от событий, от Волги, где дралась моя рота, мои друзья.

Доктор назначил мне еще неделю. А потом комиссия. А потом?.. Я не повторял больше своих просьб: надо было усыпить бдительность. Я решил бежать, не дожидаясь ночи. Нетрудно было раздобыть свои вещи, шинель. Оставался в складе пистолет, как обычно отбираемый у раненых при поступлении в госпиталь. Его невозможно было добыть. Я решил временно пожертвовать своим пистолетом, лишь бы бежать!

Я сбежал из Бекетовки в кабинке грузовика, доставлявшего мины к передовой. Добрался до своего полка. Прихрамывал первое время. А потом все зажило на ходу.

Мы наступали. Пришло время, когда мы застучали прикладами в чугунные стенки «котла». Пройдя окраинами Ельшанки, мы вступили в разрушенный, забаррикадированный город.

Город, где прошла боевая юность отца.

Я дрался в развалинах Сталинграда, на этажах, в под-



валах — везде. Только семнадцать человек из своей роты я довел до того дня, когда горнисты протрубили отбой.

В последний день мы взяли в плен двести сорок два немца. Враги вышли к нам из подвалов жалкие, обмороженные. Да, таких нельзя убивать.

Как были непохожи эти солдаты, грязные, с обмороженной кожей, на тех солдат, которые вышагивали бравою поступью в лунной ночи Ставрополя!

Я подошел к одному пленному, спросил его имя.

— Мерельбан, — ответил он, — Фридрих Мерельбан.

У Мерельбана были сильно отморожены руки. Пожалуй, мало сказать, сильно. Руки его были просто ужасны, покрытые уже инеем по мерзлому гангренозному мясу. Обшлага рукавов его мундира стали узки, примерзли к мясу и лопнули. Пальцы торчали, словно деревянные. Я взял его палец, и вдруг... палец, не загнувшись кверху, надломился. Я отдернул руку. Немец почтительно закивал головой. Он не чувствовал боли.

— Ничего, — успокаивающе бормотал немец. — Русские сделают мне железные руки, чтобы задушить Гитлера.

— Отведите пленных в штаб, — приказал я Сухомлину и Якубе, — только в настоящий штаб. И не посмейте их тронуть! Ты не смотри так на меня, Якуба. — Я обернулся к Шапкину: — Мы с тобой не только солдаты, но и великие гуманисты...

Село Песчанка близ Сталинграда.

Генерал Шувалов зачитывал войскам, построенным в резервную колонну, приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Донского фронта:

— «Донской фронт.

Представителю Ставки Верховного Главнокомандования маршалу артиллерии тов. Воронову.

Командующему войсками Донского фронта генерал-полковнику тов. Рокоссовскому.

Поздравляю вас и войска Донского фронта с успешным завершением ликвидации окруженных под Сталинградом вражеских войск.

Объявляю благодарность всем бойцам, командирам и политработникам Донского фронта за отличные боевые действия.

Верховный Главнокомандующий *И. Сталин*.

*Москва, Кремль, 2 февраля 1943 года».*

Генерал Шувалов поднял руку и крикнул:

— Ура!

Войска отвечали криками:

— Ура великому Сталину!

Гремело «ура» в морозном воздухе сталинградского села Песчанки.

Коленопреклоненные, мы принимали гвардейское знамя. Слово за словом мы повторяли за своим командиром слова клятвы. Не только полк, но все армии, действовавшие в районе Сталинграда получили гвардейские знамена.

Мы еще не знали, как в дальнейшем к каждому из нас обернется боевое счастье, но мы знали одно: гвардейцы обязаны сражаться еще лучше.

В апреле мы шли на Курскую дугу. Там было определено место нашей армии.

— Летите, спасайтесь, соловьи курских лесов! — сказал шагавший рядом со мной Федя Шапкин. — Другие песни мы там запоем.

На Курскую дугу двигался полк Градова. Мы видели полковника, проезжавшего на автомобиле мимо нашей колонны.

Его глаза разыскивали знакомых. Вот он увидел меня и поднял приветственно руку, а мне хотелось броситься к нему и обнять как отца.

Вот он заметил высокого Бахтиярова, идущего с перевязанной головой, и приветственно махнул рукой. Градов приложил руку к козырьку, увидев Загоруйко и братьев Гуменко, и скрылся в донском глубоком овраге. Он догнал Мединцева.

Я не знал еще, что придется нам снова встретиться в самой необычной обстановке, что снова его стальные глаза обласкают меня и он поделится со мной еще одной суровой частицей правды.

Мы идем к древним городам России, еще занятым врагом, — Белгороду и Орлу. Идем на запад.



**Ч А С Т Ь  
Ч Е Т В Е Р Т А Я**

## Глава первая

### ВОЗВРАЩЕНИЕ

На площади, возле взорванного Краснодарского вокзала, стоял рейсовый автобус на Псекупскую.

Шофер в полинялой безрукавке, обнажавшей загоренные на солнце руки в шрамах, доедал каймак из стеклянной банки.

Возле, на самом припеке, стояла женщина с кошелкой и ожидала, пока водитель закончит еду, отдаст посуду и деньги.

Увидев меня, шофер отбросил со лба потный чубчик.

— Сейчас тронем, товарищ гвардии капитан. На побывку?

Автобус был набит людьми, узлами и мешками.

Говорили тихо: об урожае, о хлебе, о фронте. Недавно летали немцы, и поэтому люди торопились выехать за пределы города.

— Пятьсот шестнадцать лучших зданий развалил, а все мало, — сказал человек, похожий на учителя, — вот в газете написано: пятьсот шестнадцать.

— Какие же здания? — спросил я.

— А вы город-то знали раньше?

— Знал.

— И после немцев не были?

— Нет.

— Любопытно было бы вам проехать. Я как вернулся из эвакуации, сразу обошел весь город, хотя сам из станицы. Грустная картина, товарищ капитан. Простите, — он присмотрелся к моей груди, увидел значок гвардейца, — гвардии капитан... Зимнего театра нет, крайисполкома. ме-

дицинского института, педагогического, бывших духовного училища и Александровского реального, госбанка. На госбанке только кариатиды висят над улицей, горсовет взорван дотла — это бывший дворец наказного атамана. Красное было здание и хорошо стояло в ансамбле со сквером. Похозийничали фашисты...

— А здание военно-пехотного училища?

— Бывшая кавшкола?

— Да.

— Тоже. Все жилые дома, построенные при советской власти, как правило, — в воздух! Как посмотришь на этого иностранца, и не веришь, что человек — высшее и разумное существо: жрет, пьет, рыгает... Протоплазма какая-то... Хочется давить подошвами, как слизняков, — учитель вздохнул глубоко, отвернулся с брезгливой гримасой, снял очки.

Водитель вытер руки паклей, закрыл дверцу, погудел. Автобус тронулся.

Через полчаса мы подъехали к Кубани. Вода шла мутная и быстрая. Фермы моста упали в реку. Возле железных конструкций плескались усатые коряги, кружились водовороты. Пестрые шуры низко носились над водой. На левый берег переехали на пароме и стали на дамбу, ведущую в пределы Адыгеи. Вековые вербы у дамбы были спилены — немцы боялись партизанских засад. В пойме гнездились утки. Охотников не было, и утки безбоязненно проносились над поймой.

За дамбой все шире и шире пошли перелески. Островки сплетенных, как кружева, южных деревьев будто оторвались от лесистого кряжа Кавказа, видневшегося на горизонте ломаным очерком вершин и перевалов.

Местность становилась все живописней и живописней. Реки в своем беге к Кубани прорезали глубокие каньоны в глинах и мергельных пластах. В густой зелени садов белели меловыми стенами хаты аулов и хуторов.

Торчали колеса на шестах, и между спицами прожаривались на солнце кувшины и глечики. У плетней, заросших хмелем, высились на своих длинных стеблях разноцветные мальвы. У дороги бродили грязные свиньи. Иногда провожал нас испуганным неурочным «кукареку» молодой петушок, взъерошиваясь, как ежик. Не отрываясь, я смотрел на эту милую жизнь, стараясь ничего не пропустить, и дышал полной грудью.

По дороге шли воловьи упряжки. На мажарах, разведенных во всю длину, везли спиленный в горах строевой лес. На бревнах сидели в войлочных шляпах черные, остроглазые адыгейцы или казачьи деды с седыми бородами, опущенными на наглухо застегнутые чекмени.

От хребта шли грузовики с лесом и дровами. Вверх, в горные промыслы, колоннами бежали автомашины с буровым инструментом, трубами, продовольствием. Скрипели и стучали настилы мостов, сделанных еще саперами. Под баллонами тяжело нагруженных многотонных машин в мягком грунте выдавливались колеи довоенного грейдера.

— Нефтепромыслы восстанавливают, — сказал учитель, — ведь нефть-то какая здесь! Авиационные сорта бензина вырабатываются из кубанской нефти! Говорят, уже пошла снова нефть на Кура-Цеце и Асфальтовой горе...

— Больно быстро! — возразил мужчина в нанковой куртке. — Скважины здорово забивали при отходе.

— Кто забивал скважины?

— Мы, нефтяники. Немцы ни одного килограмма нефти не сумели взять. Мы каждый промысел окружили, и чуть что — налет, разнесем и снова в лес.

— Не допускали, стало быть?

— Не допустили.

Впереди горы. Стойкие облака увеличивают их: кажется, хребет наполовину засыпан пухлым снегом.

Вот яворы, как мачты со свернутыми парусами. Машина бежит между ними, а по обеим сторонам тополевой аллеи обшарпанные войной домишки родной станицы.

Автобус останавливается недалеко от санатория. Памятника Ленину нет. Чьи-то варварские руки зубилом срубили с гранита слова посвящения.

Здесь происходили испытания первого трактора. В ту пору я не превышал ростом штакетника, а теперь штакет забора мне чуть повыше пояса. Крыша клуба провалилась от пожара.

— Не узнаете родные места, товарищ гвардии капитан? — спросил шофер.

— Не узнаю.

— Так и мы возвращались. Не узнавали, кручинились два дня, а потом принялись наводить прежний порядок. Залечим, товарищ гвардии капитан. Найдется стрептоцид на любую болезнь.

Мать не писала, цел ли наш дом, и свои письма я посылал по нашему старому адресу. Я попрощался с шофером и пошел к дому. В моих руках был чемодан, а в нем — паек по аттестату и ивановский ситчик, купленный в Лисках, — подарок маме.

Как страшно вдруг увидеть пустоту между деревьями на том месте, где стоял родительский дом! Вначале я не поверил глазам — может быть, ошибся? Может быть, попал не на ту улицу? Но вот висит ржавая жестянка номера на единственном столбе у ворот; вон старая груша в задах огорода, виноград, упавший на разбитую печь-летник. Мальчишки палками сбивали незрелые плоды с наших яблонь. Между деревьями паслись козы. Бешенюка, обсыпанная тюльпанными цветами, прикрывала фундамент.

— Да не Лагунова-председателя вы сынок? — раздался позади меня женский участливый голос.

Я обернулся и увидел незнакомую пожилую женщину, которая жалостливо рассматривала меня.

— Да, Лагунова, — ответил я. — Не скажете ли вы, где сейчас живет Антонина Николаевна?

— Ваша мама?

— Да.

— Пойдем, пойдем, я доведу. — Женщина пошла через улицу, смело ступая по колючкам босыми огрубевшими ногами. — Живет ваша мама у Неходихи — Виктора, вашего друга, мамы. Ой, какие типы немцы, вот типы! Потерзали нас, потерзали. Скрутили за какие-то полгода так народ, что, думалось, не раскрутимся обратно. Винтами скрутили. Вот жуткие типы! А вы, мабуть, Сережа будете?

— Да.

— Колечку-то вашего жалко. Смирный был паренек. Вы-то на виду, а Колечка ваш смирный... Только и видим — с выпаса не выходит. То с конями, то с козами. В дудочку играет один...

— А что с Колей? — нетерпеливо перебил я.

— А вы... — женщина спохватилась, — ничего не слышали?

— Он пропал в сорок первом — на Дону.

— Убитый ваш Коля, — женщина остановилась, — убитый... На Украине убит. Письмо прислали. И могилку расписали и погребение. Там блюдут могилку добрые люди... Вот и дошли...

Женщина оставила меня у калитки. Домик, где жили Неходы, стоял близ горы. Ручей протекал у подножья ее по неглубокому овражку позади дома, окруженного ореховыми и персиковыми деревьями. Старая айва росла прямо у окон.

Никого не увидев во дворе и за деревьями, я открыл калитку, пошел по дорожке. Цветы золотого шара поднимались вровень со мной. Под ногами лежали обмытые дождями сланцевые плиты. Две утки булькали желтыми носами в корыте; на деревьях пели птицы. На крыше внакат сушились фрукты; медовый запах сушки напомнил мне о Викторе; всегда, забегая к нему, я ощущал этот пряный запах.

Я остановился у айвы. Какая-то женщина показалась у окна, взгляделась в меня. Через минуту на веранду поспешно вышла маленькая, сухонькая мать Виктора. Она, узнав меня, заторопилась и приникла лицом своим к моим ладоням. Я ощутил теплоту ее слез. Ее натруженные руки сжимали мои. Мне хотелось успокоить ее, но слов не находилось. Я нагнулся и прикоснулся губами к ее платку, волосам, морщинистой щеке.

Мы сели возле дерева на лавке.

— Как, у него была шинелька-то? — спросила она таким озабоченным тоном, будто этот вопрос больше всего мучил ее.

Я сказал, что тогда еще было тепло и мы обходились без шинелей.

— Под Сталинградом было вьюжно, вьюжно, — говорила она, — нам привозили кино, показывали. Ой, какая там была вьюга!

Скрипнула калитка. По дорожке палисадника шла мама.

Вот она увидела меня, остановилась. Солнечные пятна от листвы легли на нее. Я видел выбившиеся из-под платка совершенно седые волосы матери. Я бросился к ней. Мама не плакала, но все ее исхудавшее тело дрожало, и я ощущал этот трепет сдерживаемого волнения. Мама была такая маленькая, такая обиженная и строгая. Хотелось взять ее на руки и унести куда-то далеко-далеко, где нет проклятого цепкого горя.

Ее руки оцупывали меня — шею, щеки, волосы, руки. Она будто не верила, что я вернулся и она, наконец, не так безжалостно одинока.

Слезы вдруг хлынули из моих глаз. Я обнял мать, как



часто делал в далеком детстве, и почувствовал соленый и сладковатый привкус крови от прикушенных губ.

А глаза матери были сухи. Ее душевные силы оказались попрежнему выше. Она, старательно подбирая слова, размеренно и строго сказала:

— Ты стал большой, хороший... Тебе было трудно, Сережа. Трудно, Сережа. Успокойся, успокойся... Так не надо, мой Сереженька, не надо...

Она заставила меня снять гимнастерку и сапоги. Когда я умылся, она подала мне отцовские ночные туфли, сшитые им из шкуры дикого козла.

— А где же отец, мама?

Мать подняла глаза.

— В Крыму, в партизанах... Приезжал человек в станицу от Стронского, ты его знаешь. Тогда отец был жив, а сейчас... не знаю.

— А Анюта?

— Угнали... Последний раз видела ее на погрузке в Анапе.

— А Люся?

— Тоже угнали... вместе с Анютой. — Мама задумалась, встрепелась. — В комнате неуютно, Сережа. На дворе летом лучше. Ты уж извини, что принимаем у дома.

Вскоре задымил самовар. Запах древесных углей смешался с запахом сушеных фруктов. Я открыл чемодан, вынул консервы, печенье, сахар, хлеб, шоколад.

— Возьмите, мама, это вам.

— А тебе? В дорогу?

За чаем я узнал, что наш дом сжег Сучилин, ставший по возвращении в станицу кем-то вроде помощника военного коменданта, так как станица была прифронтовой и немцы гражданскую власть не назначали.

Перед отступлением, когда от Волчьих ворот прорвалась морская стрелковая бригада, Сучилин сжег десятка два домов, облив их бензином из опрыскивателя «вермореля», употребляемого обычно для борьбы с табачной филоксерой. Случайно остался нетронутым только дом Устина Анисимовича. Сейчас там контора по заготовке лесных фруктов.

— Как же вы жили, мама?

— Приказали мне каждый день в девять утра отмечаться в комендатуре. Каждый день все мы часами стояли у дверей. Полгода — изо дня в день, — мама сжала губы,

отвернулась. — А в последнее время... станицу обстреливали с гор наши пушки. Немцы прятались, а мы стояли...

— А кто сейчас в колхозе председателем, мама?

— Бывший бригадир первой полеводческой. Ты его знаешь — Орел Федор Васильевич. Вернулся. Ранен в руку и в голове осколок. Хозяйствует, но ждет отца...

Я попросил маму рассказать о Николае. Она молча встала, сгорбилась, ушла в дом и принесла отцовский бу-мажник, вынула из него письмо.

— От хорошего человека с Украины. Нашла-таки я могилку Николая... — Она подала мне письмо.

На линованной бумаге крупным усердным почерком было написано:

«...Мы ваше письмо получили 23 июня, в котором вы просите, чтоб я рассказав, когда он, ваш сынок Николай убитый. Он убитый 6 сентября 1941 года, похоронен 9 сентября. Трое суток после боя лежали в поле убиты, пока герман вперед ушел. Некоторых подбирали и адресов у некоторых не было, ну, а у вашего адрес був. А бамах нияких не было, вже хтось карманы потрусив.

Братскую могилу сделали хорошую над шляхом, выкопали яму, звезли 20 человек бойцов, уси молоди, наклали соломы в яму, положили усих в яму, потом закрыли лица шинелями, опять тогда соломы и закидали землей и сделали могилу. Огорожена зараз красным шикетом, там скотина не топчет, некто не заходе. Кажду весну приходят бабы и плачуть, и могила вся в порядке.

*До свидания. Нестор Романович Птаха».*

Бедный Коля! Тихим и незаметным рос он в нашей семье и так же незаметно ушел туда, откуда нет возврата. Учеба давалась ему нелегко. Николай больше всех нас пристрастился к крестьянскому труду и искал такую работу, где можно было оставаться в одиночестве. Он не выходил с выпасов, дичился сверстников... А может быть, были виновны мы: не пригляделись к нему.

Мама тревожно смотрела на меня.

Она уже победила свое горе и боялась теперь за меня. Она заговорила со мной впервые, как со взрослым.

Все будет возрождено, сделают новое, сойдутся семьи и протянут к очагам свои озябшие, уставшие от оружия руки.

Я рассказал маме о Сталинграде, о битве под Курском, где танки плавилась, как воск, и земля так напиталась металлом, что стрелка компаса бешено плясала и трудно было определиться по карте.

Потом я один бродил по родным местам, стуча по камням своими армейскими сапогами. Все было, как в детстве, даже камни у реки лежали на прежних местах—их не тронуло течением. Но Фанагорийка казалась мне теперь маленькой, очень мелкой и совсем не загадочной: я видел Волгу и Дон. В реке купались дети; они так же кричали, как и мы с Виктором, так же подшмурыгивали носами, обсыпались песком. Они кричали: «Здравствуйте, дядя!» Я отвечал им с горькой улыбкой, слышал позади себя восхищенный шопот: «То Красное Знамя, а то Красная Звезда, а то не орден, то гвардейский значок».

На том месте, где впервые я увидел Виктора, удил рыбу мальчишка, напоминавший Яшку. Такой же кукан был привязан к помочам его штанишек, такие же тонкие ножки и такие же глаза. А на том берегу желтыми плахами лежали спиленные немцами вербы, и густо-густо рос краснотал по золотым, промытым пескам.

Возле реки цыгане раскинули свои латаные шатры. Горели горны, стучали по наковальням молотки. Цыгане сидели на траве голые по пояс, с нерасчесанными бородами. Возле шатров копошилась голопузая цыганская детвора.

Какая-то фанагорийская Земфира, напевая гортанную песню, собирала в подол щепки. Ее яркожелтая юбка и смуглые голые ноги быстро мелькали среди вербняка.

— Офицерик, дай руку, погадаю на твой милый интерес, на барышня, на чернявый! — закричала она издали и быстро замахала руками, унизанными серебряными колечками.

Горящие глаза молодой цыганки вызывающе вонзились в меня. Она потрянула головой и плечами, зазвенели монетки ожерелья.

— Какое-то у тебя горе, молодой офицерик! Дай погадаю, не будет горя...

Женщины носили ведрами воду к яме, где другие местили землю и солому для самана своими смуглыми ногами. Так возрождались жилища.

Берега реки были ископаны. Можно было безошибочно узнать немецкую систему обороны водных рубежей — пулеметные ямы, позиции минометов, противотанковых ружей,

стрелковые ячейки. Словно огромные черепа, торчали полузасыпанные глиной бетонные пулеметные гнезда с пастьями амбразур и поржавевшими тросами креплений.

Не снимая сапог, я перешел речку и сел на камень. Здесь мы говорили с Люсей о моих соперниках — сказочных королевичах.

Река обмелела, появились тихие заводи. Только на середине журчал ленивый поток. Трещали цикады, опоенные зноем, летали крупные зеленые мухи. Осы стибались своими тонкими туловищами, цеплялись за цветы белой кашки. Разрисованный черными и желтыми полосами шмель был похож на толстяка в бархатном камзоле. Толстяк в камзоле издавал прерывистое добродушное гудение.

Я сломал хлыстик и бездумно чергил на песке имена: Люся, Витя, Анята. Писал, стирал и вновь писал.

Отсюда я видел верхушки наших яблонь. Вправо и влево от них белели заплатки из новой дранки на крышах, вероятно, задетых осколками артиллерийских снарядов. Спускалась к броду лесная дорога, изрезанная колесами, обросшая мальвами и ажиной. На той стороне дорога уходила к улице, куда опускался наш огород. Там я был пойман Устином Анисимовичем. С островка, лежащего ниже по течению, свистели мальчишки. Оттуда взлетели яркие удопы, низко проходя над обрывами...

Вот из улицы, что на той стороне, показалась линейка. Чулкастые кони, скаля рты, вынесли линейку к броду, влетели в воду, остановились.

Федор Орел, теперешний председатель колхоза, правил лошадьми. Рядом с ним у крыльев линейки стояла цыганка в своей ослепительно желтой юбке.

— Где же он, Мариула? — спросил Орел своим крикливым баском.

— Офицерик! Офицерик! — звала цыганка, махая руками.

Орел ударил вожжами, и горячие кони одним махом вынесли линейку на берег. Орел бросил вожжи цыганке, подбежал ко мне.

— Сергей Иванович, обыскались вас, обыскались! Так же нельзя, ай-ай-ай... — сказал он прерывистым от волнения голосом. — Как никак, а надо бы сразу к председателю, в правление... Ай-ай-ай!..

— Федор Васильевич, я хотел пройтись, повидать родные места...

— Да какие же могут быть прогулки без хорошей выпивки и закуски! Надо с народом повстречаться, рассказать, где, что и как... Ай-ай-ай, Сергей Иванович!

Мы сели в линейку. Лошади, как бешеные, ворвались в реку, вынеслись на станичный берег и с храпом, брызгая слюной, помчались по улице.

— Двадцать шесть таких зверюг выходили трофейных! — покрикивал Орел. — Матросы подарили, Сергей Иванович. Как благодарим, до гроба жизни! Подкинули венгерскую кавалерию. А на что матросам кони? А?

— Нам бы в табор такие кони, — сказала цыганка, сверкая глазами. — Дай-ка я поправлю, дай, братику!

— А что, возьми! Не жалко!

«Земфира» схватила вожжи, кнут, привстала на одно колено и гикнула со степным диким озорством. «Венгерцы» рванули вперед. Улица за клубилась пылью. Мы промчались мимо дома Устина Анисимовича: только мелькнули зеленые ставни и башенки на крыше.

Орел вырвал вожжи у цыганки, сдержал коней.

— Чужого не жалко!

Цыганка сверкнула зубами, засмеялась и на ходу спрыгнула с линейки, крикнув:

— Прощай, офицерик молодой!

— Пожар-девка, — сказал Орел. — Так вот шумит, а молодец — строгая. — Он снял шапку с синим верхом, прошитым фасонным кавалерийским гарусом.

Я обратил внимание на шрамы у него на голове.

— В голову ранили под Ростовом, — ответил Федор Васильевич на мой вопрос. — По льду Дон форсировали, бурки разостлали, лед был тонковат, — и по буркам. Немцы и не ждали, как мы с конно-артиллерийским дивизионом ворвались. Вот была панихидка! У Олимпиадовки мне по черепку стукнуло... Три месяца буровил чорт его знает что... — Он натянул шапку поглубже на лоб. — Два осколка еще сидят, голова часто болит... Вышел в инвалиды, на хозработу, в колхозы, мать честная. А казаки-то наши уже на Украине из фашиста юшку пускают, а?

Мы подъехали к дому, где уже ждали колхозники. Меня усадили рядом с матерью за накрытый стол под айвой, налили вина. Мама грустно и радостно наблюдала за мной. На столе было много снеди: ее снесли со всего села. Орел поднял стакан за здоровье отца, за его скорое возвращение.

— Тридцать тысяч пудов по одному нашему колхозу мы сдали, — сказал он, — и всеми силами — быками, конями, тракторами и лопатами — вспахали, засеяли и убираем новину. Помните, бабы? Бабы работали, девушки, юные пионеры, комсомольцы, школьники — все! Брали чем? Сообща, гуртом, ну, словом, коллективом, как и полагается... А выпьем за Ивана Тихоновича, пусть поскорее возвратится и все по полочкам разложит. Все же без хозяина плохо...

Люди всё подходили: было воскресенье. Стемнело. Под айвой зажгли керосиновые фонари.

Пришли цыгане. Оказывается, они ковали лошадей для колхоза.

С ними пришла Мариула и села возле меня на лавке. Орел подвинул ей стакан вина, но она пренебрежительно отодвинула его смуглым своим локтем.

— У тебя есть милая, — шепнула она мне.

— Откуда ты знаешь, Мариула?

— Ни на кого из девушек не смотришь.

— И на тебя?

— Я что? Я, как ветер, меня глазами не поймаешь, — она засмеялась. — Не хотел погадать, а вот скажу, тебе неплохо.

— Что?

— Разуищешь свою.

— Поверить тебе, Мариула?

— Как хочешь. Мое дело — сказать, твое — слушать или нет.

— Зачем я-то тебе нужен?

— Узнал? — она толкнула меня локтем, засмеялась, откинув голову.

— Узнать нетрудно.

— Ты угадал, — сказала она и опустила глаза, — возьми меня к морю.

— Почему ты решила, что я еду к морю?

— Отсюда туда путь.

— А зачем тебе к морю?

— Я никогда не видела моря, а мой... Понимаешь, кто мой? Там, возле моря. Не сможешь, я сама прикочую к морю.

— Трудно. Там война.

— Я вольный ветер, — Мариула засмеялась, ударила меня ладошкой по руке, — а ветер летает, где хочет.

Цыганка поднялась, потянулась, подняла вверх руки, сложила их ладонь к ладони и запела, вначале тихо, а потом громче и громче. Ее песню подхватили цыгане, будто так все было заранее подготовлено. Мариула вышла из-за стола, не прекращая песни, передернула плечами и начала плясать «романес».

Песню поддержали гитары. Цыган с черной бородой — отец Мариулы — схватил бубен, выкрикивая быстрые, kloкочущие слова песни.

Сад наполнился шумом, смехом.

Мариула устала, села возле меня, в круг вошел Федор Васильевич, заказал «наурскую» и пошел по кругу. К нему присоединилась молодайка с такими широкими юбками, что казалось, пестрые паруса носили ее под ветром.

— Ой, жги, коли, руби! — выкрикивал Федор Васильевич и плясал неутомимо.

А мама все смотрела на меня. Ее взгляд стал веселей, — вот такие у нее были глаза, когда отец вел первый трактор и она шла следом с тревожной и неясной еще радостью, и донники оставляли на ее ногах желтую цветочную пыль.

— Надо довоевывать правильно, Сережа, — сказала она, взяв мою руку. — Ничего... Русский человек крепкий не горем, а радостью...

Гости разошлись поздно.

Постель мне была уже приготовлена на веранде, как называли навес у домика, крытый щепой, на столбах, вбитых в землю.

На заре я проснулся. Мама сидела у моего изголовья, прикрыв глаза. Я пошевелился, она поправила одеяло, подушку.

— Мама...

— Сережа! — Она нагнулась ко мне.

Под ветерком шумели чинары. Луна освещала гору, вершина которой была скрыта за навесом, и мне казалось, что мы отгорожены от какого-то неизвестного мира отвесной стеной, заросшей мохнатыми тысячелетними мхами.

Невесело было у меня на сердце. Мне вспомнились виденные мною по дороге сюда развалины Арчеды, и опаленные засухой поля Ставрополя, и матери, поджидавшие «двадцать шестой год»... Я думал о нашей семье, разбро-

санной войной, о пепелище нашего дома, о поломанных яблонях. Но я молчал, чтобы не расстраивать маму моими горькими мыслями.

— Тебе еще много предстоит, Сережа, — сказала она. — Самое главное, не склоняйся сердцем... Держи его крепко, хотя трудно, — хорошее сердце, как голубь.

— Мама, мне-то ничего... Вам как? Вам?

Тогда мама рассказала мне о затоптанной вербочке.

Весной, после освобождения, мама шла у реки с колхозного поля и увидела на дороге затоптанную веточку вербы. Казалось, никаких признаков жизни не было у этой веточки. Все соки были выпиты солнцем, кора раздавлена. Мама подняла веточку, принесла ее в дом, поставила в воду. И через несколько дней веточка набухла, брызнули листочки, затянулись раны на коре, и от сломанной веточки пошли корни. А теперь растет она, большие на ней листья, крепкие корни, хоть высаживай в землю. Только приходилось ухаживать за ней, менять воду в кувшине и держать ее не в темноте, а ближе к солнцу.

— Спасибо, мама, — и я поцеловал руку матери, сухую и темную, с синими веточками набухших вен.

## *Глава вторая*

### ЧЕРНЫЕ ПАРУСА

И вот прошло уже около трех месяцев после моего свидания с мамой. Уже был отштурмован Новороссийск, прорвана «Голубая линия» и освобожден Таманский полуостров.

Я находился вначале при штабе партизанского движения, а в конце сентября перешел в группу Балабана, где меня встретил с восторженной радостью мой милый Дульник.

Ему удалось снова попасть к Балабану, и тот, как всегда требовательный к преданным ему людям, не щадил своего воздушного старшину. Дульник выполнял наиболее сложные по замыслу и опасные по исполнению задания и пока благополучно выходил из всех приключений. Несколько новых орденов мелодично позванивали у него на груди, прибавилось важности.



Мне стало известно, что капитан Лелюков, после оставления Севастополя, пробился с небольшим отрядом матросов и солдат с Херсонесского мыса и ушел в горы, где возглавил партизанское соединение, успешно действующее в восточном секторе Крымского полуострова. У Лелюкова работал начальником штаба известный мне Кожанов, бригадой командовал Семилетов, а одним из отрядов, составленным из молодежи и входившим в бригаду Семилетова, командовал не кто иной, как Яша Волюнский.

Кожанов и Семилетов, с которыми мы расстались в крымском лесу после боя в Карашайской долине, так и не могли соединиться с войсками 51-й армии и остались партизанить. Чудовищные лишения переживали они в первую и особенно во вторую зиму. Склады продовольствия, горючего и оружия были выданы врагу татарами и разгромлены. Партизаны жили только тем, что им сбрасывали с самолетов, и посылками с Большой Земли, которые доставляли смельчаки-пилоты, рисковавшие сажать тяжелые машины на горных полянах.

Потери партизан от голода и холода были гораздо выше, чем от боев. Но люди окрепли в борьбе с лишениями, закалились в боях с врагом и составили стойкое ядро партизанского соединения Лелюкова. Туда же, к Лелюкову, по воздуху был переброшен мой отец еще до того, как морская стрелковая бригада, переправившись через Фанагорийку, штурмом захватила Псекупскую.

Отца перебросили вместе с группой партизан, действовавших в горах Кавказской гряды. Этому по старой дружбе посодействовал Стронский после долгих и настойчивых просьб отца, который рвался в Крым, куда немцы увезли Анюту.

Сейчас же я нигде не мог добиться сведений о сестре. Она не значилась в списках партизан, и след ее был для меня потерян, хотя разведывательные данные собирались тщательно и из разных источников. Никто также не мог ответить мне, где находится Люся, схваченная вместе с Анютой.

После освобождения Тамани нас направили на кратковременный отдых в Гудауты. Такие перерывы были введены в парашютно-диверсионных частях, работавших с предельным напряжением всех физических и духовных сил.

Мы расположились в палатках возле деревни Бамбуры. Дульник, я и радистка немедленно отправились к морю —

на пляж. Ася натянула на голову резиновый шлем и пошла в воду. Вот она погрузилась по колени, остановилась, похлопала ладошками по волне, нырнула и поплыла сильно и ловко.

— Странная человеческая жизнь,—говорит Дульник,— сплошные недоразумения...

— Именно?

— Встретишь девчину, раз мечтаешься, аи, глянь, и разлетелось все, как осколки от ручной гранаты.

— О Камелии тоскуешь?

— О ней! А у тебя с Люсей разве не одно и то же? Как ты расписал мне ее глаза! И вот какой-то подлец, иностранец, шуцман, разве он увидит, какие чудесные глаза у наших девушек?

— А увидит — еще хуже.

— Еще хуже, верно.— Дульник перевернулся на спину, солнце радужно играло на его эластичной оливковой коже.— Ты должен знать, как я скучал по тебе, Сергей. Поэтому, ты мне друг.

Возле берега, на кромке прибоя, стояли кипарисы, похожие на фоне голубого неба и недалеких светлосиних гор на обросшие мхом утесы. Тут же росли олеандры, а выше — зонтичные пальмы.

Ребятишки в соломенных шляпах, с бамбуковыми веслами в руках на каучуковой лодке яркожелтого цвета заплыли к тресам, где рыбаки сушили маты для ловли кефали, привязали лодку к тросу и покачивались на зеленых волнах, пронизанных солнцем. Море еще не успокоилось от недавнего шторма, и волны продолжали нести песок, взлохмаченные водоросли, пахнущие подом.

Ася бредет на берег, широко расставив руки и делая вид, будто устала, сгибает ноги в коленях.

— Помочь, Ася?— кричит Дульник.

Ася строго улыбается, шурша галькой, проходит мимо нас и ложится на горячие камни. Возле нее заструилось легкое марево. Ася считает себя некрасивой, сторонится мужчин, не любит никаких вольностей и требует относиться к ней, только как к военнослужащей. На самом же деле Ася обаятельна вот именно этой своей здоровой, девичьей строгостью. Балабановцы любят Асю, берегут ее и в обиду не дадут...

— Мы кончим войну, Сергей,— мечтает Дульник,— и построим хороший мир.

— А почему построим? Мир придет сам.

— Раньше мне тоже так казалось, а теперь — по-другому. Почему-то мне представляется, что мир тоже нужно выстроить с такими башнями, как, помнишь, башня Зенона на Херсонесе...

— И опять бойницы в стенах?

Дульник подумал, сдвинул брови.

— А что ты думаешь? Конечно. Мир-то нужно тоже охранять.

— И пулемет из амбразуры?

— Конечно.

Кончается наш отдых. На шлюпках мы подходим к транспорту, поднимаемся вверх по шторм-трапам и отходим ночью к фронту. Возле нас купаются в волнах сторожевые катера. Постепенно теряются очертания гор, и только кваканье гудаутских лягушек и близкий плач шакалов показывают, что караван идет близко от берегов.

— Мне надоело жить в темноте,— говорит Дульник.— Мне противно всегда маскироваться, дожидаться ночи и плыть с кинжалом в зубах под какими-то Черными парусами.

— Ты чудак, Ваня,— говорит Ася.

Она стоит тоже с нами на юте, у поручней, и смотрит на фосфоресцирующие волны. Кажется, мы плывем в огненном море и только чудом еще держимся, не пылаем сами.

— Вот тебе подсвечивает море,— говорю я Дульнику.— Ишь как фосфорится!

— Мертвый свет,— брюзжит Дульник.— От такой иллюминации у меня по позвоночнику ползут мурашки.

На ют выходит Балабан. Стоит один, огромный, молчаливый, значительный. О чем думает? Может быть, вспоминает времена, когда его именовали на всех водоплесках отчаянным капитаном, когда его стремительный кораблик летал по морю за фелюгами контрабандистов?

На заре мы обогнули скалы Черные паруса и те места, где проходило мое детство. Я вышел один на палубу и не отрывал глаз от берега. Непередаваемое словами волнение овладело моей душой. Мне казалось, что я снова, до мельчайших граней, вижу буквы, высеченные руками отца, и желтый кустарник, вцепившийся корнями в скупую землю, нанесенную береговиком в расщелины скал.

Золотые косяки солнечного света побежали по ущельям, но Черные паруса стояли грозной, темной громадой.

Моим глазам представились пустынные пляжи, где когда-то рыбачили наши ватаги. Тщетно среди листьев эвкалиптовой рощи я разыскивал крышу нашего дома. Волны, тяжелые и ровные, катились на берег и забрызгивали пеной позолоченные восходом камни. Это те же самые волны, которые несли на своих вечных гребнях корабли Одиссея и Митридата, Ушакова и Нахимова, пиратские рейдеры «Гебен» и «Бреслау» и ушедший на дно теплоход «Абхазия», на котором мы везли свои незрелые юношеские мысли.

Черные паруса еще долго стоят на горизонте, потом пропадают. Корабль огибает узкий мыс. Пальмы склонились у самого прибоя.

Я слышу рев моторов, и над берегом проносятся игольчатые тела истребителей со скошенными узкими крыльями и поджатыми, как у птиц в полете, лапами.

Дульник выходит с полотенцем на плече, мылом, зубной щеткой и тубоиком пасты в руках. Он в тельняшке с закатанными рукавами.

— Я так и знал, что ты на палубе, Сергей, — издали с широкой улыбкой говорит он. — Здравовался с родными местами? Тебе везет, твоя земля свободна, а вот у Дульника... — и он вздыхает, глядя в морскую даль, — где-то там его родная Одесса.

### *Глава третья*

## ВОЗДУШНЫЙ ДЕСАНТ

Багровое зарево заката догорело над морем. Горы почернели, насупились. Над землей, над кустами можжевельников и тamarисков пронесся легкий ветер, закружил бумажки и пыльцу.

Грузовые машины с десантниками были пропущены часовыми на аэродром. Опустился шлагбаум. Автомашины прошли к самолетам, скрылись в темноте. В одной из машин в кабинке шофера сидел Дульник, командир диверсионной группы.

Мы на своем легковом автомобиле свернули вправо и поехали за последними инструкциями к штабу. Кроме меня и Балабана, была вызвана Ася за получением таблицы кода. Она молча сидела рядом со мной, сняв шлем, и волосы

ее, вымытые перед полетом, рассыпались, издавая запах земляники.

В подземный блокгауз вели ступеньки бетонированного входа. Часовые матросы внимательно и быстро просматривали наши пропуска. Вот последняя металлическая дверь с пневматически заклепаннными швами, и мы в штабе. Горели электрические лампы, слышались характерные шумы засасываемого нагнетателями воздуха. Коридор с нумерованными дверями привел нас в просторную комнату, где за столами работали офицеры военно-морской авиации.

В правом углу на возвышении с перилами за письменным столом сидел длиннолицый, худой полковник с глубокими залысинами. На стене была устроена рельефная карта бассейна со световыми сигналами, указывающими движение бомбардировщиков. Светящиеся цифры по обеим сторонам карты показывали число действующих самолетов. Возле телефонов находился радиомикрофон для переговоров с авиафлагманами открытым текстом.

Полковник кивком головы попросил нас подождать. Отдал несколько приказаний по телефону и обратился к нам:

— «Дабль-Рихтгофен!» Этот аэродром противника приобрел за последнее время очень важное значение,— полковник закурил папироску от настольной зажигалки,— на нем они сгруппировали все свои ночные истребители. Там же базовые склады горючего, авиабомб. Оттуда они режут наши балканские трассы. После того как они активизировали этот аэродром, мы вынуждены почти прекратить поддержку партизан восточного сектора. Партизанский район блокирован наземными войсками и авиацией. Вот достаточно беглого взгляда на карту, чтобы представить себе полную картину,— полковник подошел к рельефной карте, нажал кнопку.

Зелеными огнями вспыхнули аэродромы противника в восточном секторе Крыма, от Керчи до Солхата и Карасубазара. Над одним из зеленых огоньков, у вылепленного из папье-маше горного рельефа были пришпилены буквы «WR». Полковник курил, молчал, пока мы изучали радиус действий истребителей-ночников, перехватывающих наши трассы, условные знаки посадочных площадок в долинах и нагорных плато, где торчали черные флажки.

— Здесь мы уже не можем посадить самолеты,— сказал он, указывая на черные флажки,— контролирует про-

тивник. У Лелюкова пятьдесят три человека тяжело раненных. Если же выведем «WR» из строя, тяжело раненных можно будет эвакуировать морем. Мы договорились с командованием флота—они вышлют за ними катера... Все зависит от исхода операции, Лагунов. Пока Лелюков не отобьет посадочные площадки — поможем с моря, а потом, как и раньше, будем выполнять приказ и обеспечивать партизан с воздуха.

— Рация Лелюкова молчит?— спросил Балабан.

— Вторые сутки молчит. Последнюю шифровку приняли о тяжело раненных. Судя по сводке штаба семнадцатой немецкой армии, партизанам пришлось выдержать тяжелый бой.— Полковник обратился к Асе:— Сегодня ночью вы должны передать об исходе операции на «Дабль-Рихтгофен».— Полковник подошел к столу, протянул руку к разноцветной клавиатуре звонков, нажал зеленую пуговку длинным пальцем с отшлифованным ногтем.— Сейчас вы получите код, время и длину основной и запасной волны,— полковник продолжал внимательно изучать Асю, — и очень прошу: работайте только в указанные нами часы. Каждый день будете работать в разное время.

Явившийся на вызов капитан с седоватыми, коротко подстриженными усиками, с острыми глазками, которые так и сверлили из-под нависших бровей, посторонился, пропустил Асю и пошел вслед за ней к металлической двери с цифрой «12».

Полковник пригласил нас к столу, потер виски и, как бы только-только вспомнив, обратился ко мне:

— Командир воздушно-десантного батальона,— он указывал глазами на Балабана,— передавал мне, что у вас имеются свои соображения по практическому решению порученной вам операции.

Балабан опустил глаза, улыбка тронула его мясистые большие губы. Он вытащил из кармана свою трубочку, кожаный кисет с табаком.

— Но эти соображения, товарищ полковник, расходятся с точкой зрения штаба.

— Может быть, вы аргументируете ваше предложение?

— Говори, Лагунов,— Балабан, не поднимая глаз, набивал трубочку «Золотым руном», медленно и нехотя, будто для того, чтобы найти себе какую-то работу в неловком положении.

— Мои соображения, товарищ полковник...

— Сидите, сидите, товарищ гвардии капитан,— сказал полковник и уставился на меня испытующими, чуть прищуренными и немигающими глазами.

— Во-первых, я считал необходимым усилить группу.

— Этого нельзя,— полковник остановил меня,— вы должны провести диверсионную операцию, а не парашютную, армейскую. Ваши задачи локальны. Продолжайте...

— Первое свое требование,— продолжал я,— я уже снял тогда, когда выслушивал ваши указания по характеру операции и понял все по вашей отличной карте...

— Вы возражали против создания двух боевых групп— диверсионной и прикрытия?

— Такие соображения у меня были в связи с малочисленностью десанта, необходимостью быстро и решительно, всеми имеющимися средствами осуществить операцию.

— Были, а теперь?

— А теперь я лично считаю, что можно оставить две группы, товарищ полковник, но разрешить мне усилить диверсионную группу за счет прикрытия.

— Почему?

— Объектов много, и они разбросаны: ангар-клуб, склады горючего и авиабомб. Диверсия должна быть совершена на быстром темпе, товарищ полковник, пока противник не пришел в себя и не разобрался в наших силах. Поэтому надо заняться всеми объектами одновременно, а для этого нужно иметь больше людей...

— Так, так, продолжайте,— полковник откинулся на спинку кресла и продолжал слушать меня с возрастающим вниманием.

— Группа прикрытия с пулеметами оседлает дороги, особенно эту,— я подошел к карте, указал шоссе на Солхат,— оттуда возможен подход подкреплений. Шоссе надо сразу же минировать.

— По настоянию Лагунова, я разрешил захватить мины,— сказал Балабан, посасывая трубочку.

— Самолеты будете брать зажигательными бомбами?— спросил полковник.

— Зажигательными и гранатами. Самолет-истребитель можно вывести из строя также гранатой... И самое главное— это тактика выхода из боя.

— Я вам докладывал, товарищ полковник,— сказал Балабан спокойно:— Лагунов хочет выйти не группой, а в одиночку, а для этого...

Полковник движением руки остановил Балабана.

— По-моему, надо будет решить первый вопрос — об усилении диверсионной группы. Лагунову все же видней, так как ему непосредственно придется решать операцию. А вот насчет выхода из боя попрошу меня убедить.

— Противник выработал свою тактику окружения и уничтожения принявшей бой десантной группы, товарищ полковник. Мы имели уже случаи, когда удачно справившиеся с задачей парашютисты уничтожались при отходе. По-моему, надо изменить тактический прием, расплыть внимание противника, дезориентировать его... Воспользоваться тем, что враг мыслит шаблонами. Надо будет либо в одиночку, либо по-двое, по-трое, не больше, выскальзывать из его рук в лес, в горы, а они там рядом...

— А где же вы их соберете потом?

— В условном месте. Так примерно поступают кавалерийские разведотряды.

— Вы служили в кавалерии?

— Я не служил в кавалерии, товарищ полковник, — ответил я, — мы проходили тактику борьбы с конницей в военно-пехотном училище.

Полковник взял трубку, вызвал «Байкал», назвал кого-то по имени и отчеству.

— Сумеет ли «комарика» послать? К партизанам... К кому именно? На Джейляву. Задание ответственное: принять на условном месте наших молодцов. По радио? В том-то и дело, выключилось. Посылаем, посылаем... Асю посылаем... Значит, можно? Только надо сейчас же... Условное место подберем с Балабаном.

— Успеет? — спросил Балабан.

Полковник подошел к карте, подумал.

— Успеет, — сказал он, — вылетит раньше вас, дотарактит, опустится. А там Лелюков вышлет партизан к условному месту... Кстати, условное место — сожженное село Чабановка. Еще в прошлом году сжег его Мерельбан. В районе Чабановки, Лагунов.

— Есть, товарищ полковник.

— По-моему, — сказал полковник Балабану, — надо будет согласиться с Лагуновым. Там у них столько огневых точек, подвижных бронепостов, что нет смысла устраивать сражение. Побьем зря народ. Ну, Балабан, желаю успеха!

Ася поджидала нас в отдалении. Балабан задержался



у полковника; мы поднялись из штаба, остановились у тamarисков.

Звездное небо опустилось над хребтом, над его лесистой грядой, над невидимым ночью мысом, куда уходили густые плескучие волны, игравшие отражениями звезд.

Вместе с Балабаном мы поехали на аэродром.

Отряд расположился на траве возле самолетов. При нашем появлении парашютисты вскочили. Среди этих неуклюжих от парашютов фигур я заметил Дульника, подошел к нему, чтобы передать ему дополнительные данные.

Мы шли на операцию на трех грузовых самолетах. Каждый парашютист имел три зажигательные двухкилограммовые бомбы, автомат и кинжал; у офицеров и старшин — пистолеты. У каждого — по четыреста патронов и по семь ручных гранат.

Из продовольствия — кило двести граммов шоколаду, триста граммов галет, флаги, наполненные спиртом.

Все документы, ордена, бумажки и письма была сданы в штаб. Наша форма — комбинезон, под ним свитер, ботинки, шлем, ранец. Балабан был одет так же, хотя сегодня он должен был только вывезти группу, сбросить и вернуться обратно.

— Теперь мы еще раз можем восстановить в своей памяти уроки отчаянного капитана, — сказал мне Дульник, усаживаясь на железную лавку внутри самолета. — Парашютно-диверсионное дело чрезвычайно интересное, дерзкое, где и группе и каждому индивидуально предоставляется большая свобода действий.

— Запомнил, — удовлетворенно сказал Балабан, поймавший своим острым слухом слова Дульника.

— Кое-что этот жулик запомнил, — Дульник постучал пальцем в свою грудь, — еще с Херсонеса, товарищ подполковник.

— Ну-ну, злая же память у тебя, старшина, — с шутивным укором сказал ему Балабан.

— Диверсанту нужна память, так как он лишен карандаша и бумаги, — сказал Дульник, — письменные принадлежности у Аси в ее ящике.

— Нашли канцелярский магазин! — сказала Ася.

Девушка тихим, ласковым голосом инструктировала опасного радиста, молоденького паренька, присланного из школы связи и впервые идущего в операцию. Паренек глядел на Асю изумленными, немигающими глазами.

— Когда нас сбрасывали на Озерейку, — сказал Дульник тихо, обращаясь только ко мне, — второй радист оказался предателем, и она сама с ним расправилась. Только ей ни-ни: Ася не любит подобных воспоминаний. Этот галчонок, видно, информирован. Видишь, с каким испугом он на нее глядит.

— А по-моему, с обожанием.

Завибрировала дюралевая обшивка самолета. Бортовой механик задраил грузовой люк, осмотрел на окнах светомаскировочные шторы, прошел в кабину.

Горели две лампочки в плафонах. Десантники сидели один возле другого, с автоматами у колен. У турельного пулемета на висячем сиденье скорчился стрелок. Дверца в кабину была полуоткрыта. Лунным светом фосфоресцировали циферблаты приборов управления.

Моторы взревели сильнее, под ногами дрогнул пол.

Я вижу локоть пилота и половину его спины. Локоть делает какое-то движение, чуть сгибается спина. Баллоны гудят по щепенчатому грунту, по брюху машины бьют камешки — и все. Мы в воздухе. Смотрим на часы, чтобы засечь время. Теперь мы вступили в строгое расписание операции. Вслед за нами пробегут по летному полю вторая и третья машины и лягут на тот же курс. Посты наблюдения пропустят наши воздушные бригады, летящие над Черными парусами без опознавательных ракет. Так таинственно уходят в бой отряды парашютистов-диверсантов.

И все же Большая Земля не оставит нас. Условные знаки будут идти с бортов наших воздушных кораблей. Большое хозяйство включается в наш маршрут. Так в механизме часов пружина приводит в движение десятки передаточных шестеренок.

Из радиорубки доходят птичьи писки передатчика, и вслед за однообразными «ти-та-та», «ти-та-та» в эфир уходят пятизначные группы кода.

К этому татаканью с профессиональным вниманием прислушивается Ася, потом закрывает глаза и сидит с опущенными ресницами, выгоревшими от солнца. Сидящий рядом с ней молодой радист почтительно рассматривает ее мальчишеское курносое лицо, забрызганное веснушками, и постепенно обретает спокойствие. Мы понимаем чувства этого паренька; каждый из нас уже испытал это перед первым боем.

Ребята наблюдают за ним. Их лица с упавшими по

обеим сторонам рта складками морщин, с нахмуренными бровями начинают просветляться, складки разглаживаются. Радист сначала не замечает этих взглядов, так как он занят своими переживаниями, но потом наши пристальные взгляды заставляют его повернуться; он краснеет, блестят капли пота на его лбу, сдавленном тугой кожей шлема. Ребята пересмеиваются, парнишка опускает веки, и ресницы его подрагивают, словно крылья мотылька. Самолет идет над морем.

Я слежу по компасу. Стрелка волнуется: рядом много металла; вношу поправки, узнаю: идем пока на вестовом курсе. Скоро повернем к земле, чтобы проскользнуть между Феодосией и Коктебелем, где у немцев слабее противовоздушная оборона. Оттуда мы летаем редко, и штаб осмотрительно выбрал этот необычный маршрут. Я замечаю: ремешок компаса потерся, дырочки разносились, в них свободно ходит шпилька пряжки. Эту досадную оплошность уже не исправить.

Последний раз мы стовариваемся с Дульником о деталях операции. Пока трудно все предусмотреть, поправку внесут обстоятельства, но все же мы распределяем точно все объекты: ангар-клуб блокирует и поджигает пятерка, возглавляемая Студниковым, бензохранилища достаются на долю пятерки Парамонова, бывшего подводника, самолеты поджигает сам Дульник, я беру на себя взрыв складов авиабомб, отнесенных в сторону от аэродрома.

...Все уже сами чувствуют время — подталкивают локтями друг друга, спрашивают, который час. Ася двумя пальцами, чисто по-женски, заворачивает рукав комбинезона, смотрит на циферблат своего хронометра, переводит глаза на меня. Слабая улыбка трогает ее широкие губы. Скоро, скоро...

Самолет болтает сильнее, видимо, вступили в полосу горных восходящих потоков. Я вспоминаю рассказы о планерных соревнованиях у Коктебеля.

Балабан появляется в дверях кабины и, придерживаясь за потолочный трос, подходит ко мне, нагибается:

— Приготовиться!

Я повторяю команду Дульнику, и от уха к уху она облетает всех.

По данным разведки мне известно: в этот час на аэродроме «Дабль-Рихтгофен» дает концерт фронтовой театр, прибывший из города Солхат. Концерт проходит в ангаре

из дюралевого гофра в трехстах метрах от аэродрома, в дубовой роще. Самолеты группы «WR» сегодня не выходят на задание: летчики отмечают какой-то нацистский праздник.

Я думаю о родных, о Люсе, и эти волнующие мысли прерваны свистом ветра. Двери грузолюка открыты. Балабан согнулся у входа. На миг блеснули звезды. Я подаю команду, товарищи бегут к двери и начинают вываливаться наружу.

Самолет маневрирует. Сильная болтанка, но ребята ловки и опытни.

Вот прыгает Дульник, что-то крикнув, просто из озорства. Я вижу его голову в шлеме, приклад пистолета-пулемета.

Десантники стучат подковами по полу, подбегают к дверям, сжимаются и ныряют, подобно тому как ребяташки ныряют в речку со старой ракиты.

Балабан держится одной рукой за ребро люка и, прижимаясь спиной к стенке хвостового отсека, другой рукой прихлопывает каждого из ребят по плечу: пересчитывает.

Деловито подбегает Ася, делает характерный девичий жест рукой, будто поправляет локоны, и прыгает вниз ногами, расставив руки в локтях. Молоденький радист колеблется одну минуту, падает при крене на колени. Балабан ободряет его, хотя парнишка вряд ли что-либо в состоянии услышать. Я подталкиваю его плечом, он быстро на коленях приближается к люку, разевает по-рыбьи рот, кричит, но ветер гасит крик, и мальчишка вываливается из самолета.

Наступает мой черед. Машину водит, как суденышко в крепкую бурю. Десант обнаружен. Цветными шашками летят снаряды эрликонов — впереди красные зажигательные, потом бронебойные и осколочные. Огонь прожектора врывается к нам. Поток электрического света ослепляюще заливают внутренность самолета. Огненные брызги отлетают от отражающих квадратов плексигласа, от заклепок шва.

Балабан откидывается всем корпусом к отсеку, машет рукой. Я помогаю себе руками и ногами, прыгаю на огонь с затяжкой, прорезываю своим собранным в комок телом прожекторный луч, выхожу из него и тогда открываю парашют. Меня дергает так сильно, что я переворачиваюсь

два-три раза. Я расставляю ноги, проверяю оружие и быстро опускаюсь среди светящихся жучков — трассирующих пуль.

Вобрав голову в плечи, я, как всегда при снижении, огляделся. Сброску произвели два самолета. Третий только-только подошел и развернулся над аэродромом. К нему полетели светящиеся шашки зенитных снарядов. Теперь, расставшись со своим самолетом, я снова обрел слух. Я слышал стрельбу, гул моторов нашего третьего «ЛИ-2».

Я шел на снижение. Все мое внимание было отдано земле. Мне показалось, что аэродром сильно вспахан воронками. Неужели его отбомбили до нас? Смотрю — воронки движутся. Что за наваждение? Ищу причины, поднимаю голову, догадываюсь — это не воронки, а тени (от парашютов. Вот тени пропадают, на их местах возникают тюльпаны шелка, отделяются фигуры людей, вспыхивают тонкие жальца огоньков автоматов и ручных пулеметов. Десант уже действует, но противник держит под обстрелом воздух. Отчетливо слышатся щелчки, как будто пробивают бумагу, — это пули пересекают шелк парашюта.

Я намечаю место для приземления, набираю на себя тросы, приготавливаю тело к соприкосновению с землей. Местность ровная, удобная.

Мои подошвы ударяются о траву; я делаю несколько толчков вверх, чтобы рассчитать падение. Парашют подтаскивает меня ближе к товарищам, и я, привалившись на бок, кинжалом отсекаю вытяжной парашют — квадратный метр шелка. Прячу его за пазуху. Быстро изрезаваю парашют. Свистком собираю людей, и мы бежим к аэродрому.

На наших глазах третий самолет подбивают. На фоне неба отчетливо видно, как его силуэт загорается языковым, разлетным пламенем, и самолет круто идет на снижение. Теперь уже пламя сбито к хвосту, удлинилось. И оттуда, из горящего самолета, прыгают люди. При лунном свете мы насчитываем двадцать парашютов. Один парашют вспыхивает, черное тело, как чугунная кукла, со свистом несется книзу и неожиданно с каким-то мокрым, всплескивающим звуком ударяется о землю.

Дальнейшие события разворачиваются быстро. Весь успех зависит от темпов. Если десант обнаружен в воздухе и наземная охрана аэродрома открыла огонь и запусти-

ла прожекторы, нельзя отчаиваться. Это только первая фаза атаки. Противник ошеломлен, стрельба не всегда прицельна, число парашютистов обычно преувеличивается. К тому же надо учитывать психологию солдата, обученного встречать врага строго против себя. А здесь противник может появиться и впереди, и позади, и с боков.

Когда приземлился последний парашютист и десант переходит к активным наземным операциям, наступает вторая фаза.

Противнику надо встречаться с десантниками уже на земле, причем десант целеустремлен, подчинен определенным задачам, место операции агентурно разведано. Оборона же застигнута врасплох, деморализована, разъединена. Мы знаем своего врага — боеспособен в группе, совершенно теряется в одиночку. Младшие офицеры лишены инициативы, и стоит нарушить связь между старшим и младшим начальником, начинается паника — залог успеха диверсии.

Дульник точно выполняет мой приказ. Его группа разошлась по объектам. Студников блокирует ангар-клуб, забрасывает его зажигательными бомбами. Оттуда слышится сухой рокот наших ручных пулеметов. Парамонов должен вот-вот зажечь склады горючего. Дульник продвигается к аэродрому. Я догадался об этом по столбам пламени, злой перестрелке короткими очередями и треску гранат.

У Дульника выработался свой «почерк» диверсии: он идет к цели с оглушительным шумом, не жалея гранат и патронов, и с криками на русском и немецком языках.

В моих руках — все управление и контроль над операцией. Время ограничено, и связные совершают только по одному рейсу. Три человека прибегают ко мне с сообщениями о выполнении заданий по объектам, трое связных из группы прикрытия, успевших уже минировать дорогу, уходят с моими приказами к Дульнику, и они заместят посланных из диверсионной группы.

Я поджигаю прикрытия ближе к аэродрому. Выходим к складам авиационных бомб. Черные бугры, преградившие нам путь (их мы приняли за капониры), оказались копнами. Из-за одной копны открывает огонь крупнокалиберный пулемет. Двое матросов, маскируясь копнами, добираются к пулеметному гнезду, забрасывают его гранатами; мы поднимаемся и бежим к складам. С нами ящики с толом.

Подрывники-минеры уходят вперед, пока мы расправляемся с охраной складов.

Подрывники закладывают заряды и подползают ко мне. Склады авиабомб наполовину врезаны в землю и сверху прикрыты маскосетями и дерном. Что-то похожее на крупное овощехранилище.

Я слышу треск мотоциклов на восточной окраине аэродрома. Стрельба немецких пулеметов становится более ритмичной. Мы уходим от складов. Густая копоть горящих маслобаков опускается на наши лица, руки; дышать сладко и тошно.

На аэродроме один за другим возникают взрывы и характерные ослепительные очаги пожаров — это горящий бензин охватывает металлические конструкции машин, и они горят разноцветными быстрыми и почти бездымными огнями.

Я хотел проверить время, но часов на руке не оказалось, не было и компаса. Вспомнил: приспособившись к прыжку с маневрировавшей машины, я, вероятно, оборвал часы и компас. Узнал время у Аси. Срок задания истекал. Я приказал дать сигнал отбоя. Сухой треск ракетницы — и в небе вспыхивают два рассыпчатых зеленых огня.

В помощь вражеским пулеметам открыли наземный огонь эрликоны. Слышен воющий, рассекающий воздух свист зенитных снарядов.

К аэродрому мчались вражеские мотоциклы. От капониров, где горели самолеты, промелькнули транспортеры. Лучи автопрожекторов побежали по траве.

Мы отходили к опушке. Не доходя до нее, услышали пулеметную и автоматную стрельбу: пробивался Дульник.

Пулеметы, поставленные на опушке, отрезали нам дорогу. С тыла нас тоже обходили. Транспортеры, вероятно, уже сбросили пехоту. Незримые щупальцы охватывали нас. Уничтожить пулеметы нельзя: луна выдала бы наши намерения. Я приказал отходить севернее, где оставался единственный проход к лесу. Быстро продвигаясь к северу, мы выходили с участка стационарной обороны аэродрома.

По шоссе приближались автомашины. В темноте вспыхивали и гасли фары. Повидимому, подъезжали подкрепления из Солхата. Шоссе нами заминировано. Пускай едут!

Пока дорога к лесу не отрезана, надо спешить. Ася и радист шли быстро. Я нагнал их, на ходу передал текст радиogramмы: «Успешно идем на Джейляву». Девушка тихонько на прощанье подсвистнула и пошла быстрым шагом.

Высокая сухая трава могла при случае выручить, но пока затрудняла движение, к тому же часто попадались сусличьи норы, которые могли быть и замаскированными минами. По каменистым бестравным пролысынам подошвы скользили, как по льду. Спасительная опушка леса приближалась.

Вдруг из леса вылетела грузовая машина. На машине стояли немецкие солдаты и ругали шофера, который, может быть, спросонок рывками вел машину, и людей в кузове бросало из стороны в сторону.

Силуэты радистов пропали из глаз... Я упал в траву. В случае опасности для Аси и ее спутника надо было прикрывать их отход. Я нащупал в кармашке запалы гранат, приготовился.

Грузовик остановился. Я ожидал, что сейчас солдаты спрыгнут и оцепят опушку. Офицер открыл дверцу кабины и сердито покричал на солдат. Шум среди солдат прекратился. Снова хлопнула дверца. При свете луны был виден ствол автомата, заискрившийся от выстрелов. Немец для порядка решил прострелять опушку разрывными пулями. «Дум-дум» вспыхнули в бурьянах разноцветными огоньками. Затем очередь прошла у подлеска. Казалось, о деревья разбивались, как о стекло, какие-то огненные ночные птички.

Машина ушла. Теперь можно было довериться слуху. Нигде не было слышно нашего оружия, а только то там, то здесь испуганно и нервно стреляли немецкие автоматчики. Так стреляют обычно без цели. Значит, парашютисты пробрались поодиночке в лес.

Я поднялся, вошел в лес, отсчитал сто шагов, присел. Взрыв потряс воздух. Казалось, ураган огромной силы налетел на деревья, тряхнул их так, что затрещали стволы, и унесся с воем и грохотом. Оглушенный, я поднялся с земли и пошел вперед и вперед. Успех придавал мне силы. Я двигался, подчиняясь тому инстинкту, который приводит лошадь к жилью в метельное бездорожье.

Зарево пожара еще долго сопровождало меня.

Мучила жажда. Деревья засыпали землю осенней ли-



ствой. Шуршали ящерицы. Я попал в лощину. Может быть, она меня подведет к родникам? Опустился к сухому руслу, напомнившему мне места возле Богатырских пещер. Такое же смутное, настороженно-тревожное ожидание опасности сопровождало меня и сейчас, как и тогда, в ночном походе.

На камнях обваливался мох. Все же я принялся поднимать камень за камнем, чтобы найти под ними сырой песок или глину. Земля была суха. Я принялся копать киржалом под камнем, но воды не было.

Надо было спешить к условленному месту, куда, очевидно, уже подходили мои люди. Я вытащил карту, фонарь, определился по мху на деревьях.

Над местом сбора отряда стоял синий кружок. Чабановка находилась примерно в десяти километрах. Я шел до рассвета. Мне хотелось пить, но я усилием воли подавлял мысль о воде.

#### *Глава четвертая*

### ПОСЛЕ «ДАБЛЬ-РИХТГОФЕН»

Вскоре тропинка привела меня в старый ореховый сад. Надо мной шатрами повисли длинные ветви, покрытые яркими желтеющими листьями. Орехи, похожие на недозрелые мандарины, пучками висели между прямих, будто провяленных листьев. Я нарвал орехов, легко отделил их от верхней кожуры, нащелкал камнем. Орехи были приятны на вкус, но не могли утолить жажду.

Вблизи сада должно было находиться селение. Чтобы точно определиться по карте, нужно было узнать название села. Проверив автомат, я пошел по саду, прячась за крупными стволами. Трава шуршала под ногами — ночью не выпало ни одной капли росы.

Вправо от сада поднимались крутые трахитовые и сланцевые глыбы и за ними — террасами горы. Сад опускался в лощину, между ветвей блеснул ручей.

Путь к воде преграждали домики татарского селения, прилепленные к крутому берегу, с плоскими крышами, смазанными глиной, ступенчато спускавшимися книзу. Из труб, сплетенных из хвороста и обмазанных глиной, поднимались дымки. На той стороне ручья прилепились та-

кие же домишки и выше виднелись огороженные камнями виноградники.

Перейдя дорогу, проложенную вдоль околицы, я прилег в канаву. Сухие репейники скрывали меня и позволяли оценить обстановку.

На первый взгляд в селении я не обнаружил признаков противника: не было видно автомашин, военных лошадей, часовых и дыма полевых кухонь. Где-нибудь в Белоруссии или на Украине этого было бы достаточно, чтобы доверчиво войти в селение. В Крыму же приходилось быть вдвойне осторожным.

В крайнем дворе послышалась тихая украинская песня. Из ворот вышла босая девушка, почти подросток, с двумя медными кувшинами. Девушка остановилась, кувшины звякнули, она взяла их одной рукой. Девушка продолжала тихонько напевать, и в ее песне было много приглушенной лирической грусти.

Я высунул голову из бурьяна, окликнул девушку. Она не испугалась, только осторожно оглянулась и подошла поближе.

— Не подымайтесь, не подымайтесь,— тихо сказала она,— а то кто-сь побачит.

Я спросил ее о немцах. Она ответила, что в селе только два немца, но сами татары держат самооборону от партизан. Она назвала мне это село, но о сожженной Чабановке не слыхала.

— А есть ли вблизи партизаны?

— Не знаю,— сказала она, попрежнему оглядываясь по сторонам; ее тело дрожало, и кувшины позванивали друг о друга выпуклыми боками.— Партизаны были, но их отогнали. Был большой прочес.

— Куда отогнали?

— Ой, не знаю, говариш,— прошептала она,— в лес и горы. Куда же? Я здесь ничего не знаю. Вроде партизаны там,— ее худенькая рука махнула в горы.

— Ты не сумеешь ли меня напоить? Очень хочется пить.

— А может, вам вынести язвы? То такой кислый-кислый овечий творог с водою.

— Нет, уж лучше угости меня водичкой, девчина...

— Зараз принесу. Только вы спрячьтесь обратно в бурьяны.

Девушка быстро пошла вниз по улице. Я снова опу-

стился в канаву. Из улицы вышли козы. Они на ходу схватывали головки сухих репьев. Солнце поднялось над ложиной. Где-то закричала телега. Густо и протяжно замычал буйвол. Девушка, запыхавшись, вернулась. Я взял у нее кувшин, с радостью ощутил мокрую и холодную кованую медь и жадно прильнул к узкому горлу.

Никогда вода не казалось мне такой вкусной. Без сожаления вылив на землю спирт, я наполнил флягу водой, вытащил из сумки две плитки шоколаду.

— Возьми, девчинка.

— Да зачем же, зачем?

Девушка спрятала за спину руки.

— Ах, какая же ты дикая! Возьми же, возьми.

Мне хотелось непременно вручить ей шоколад.

Наконец она взяла мой подарок и, не зная, куда его девать, смущенно держала в руках, улыбулась, покраснела... Но вдруг глаза ее испуганно округлились. Я быстро оглянулся. За моей спиной стоял пожилой жирный татарин с гладко выбритым лицом, в распахнутом на груди красивом восточном бешмете.

У татарина в руках была веревка, на локтевом сгибе висел ременный бич с короткой ореховой рукояткой. Повидимому, татарин не меньше нашего был поражен этой неожиданной встречей. Его лицо выразило испуг, залоснилось потом. Татарин переводил взгляд своих черных глаз то на меня, то на девушку.

— Сабан-хайрес! Сабан-хайрес! — поздоровался он и приложил руку к груди.

— Ты откуда идешь? — грубо спросил я, чувствуя инстинктивное недоверие к нему.

— Мой корова в лес водил, дрова рубил...

— Ладно, иди отсюда...

Татарин засеменил от нас и скрылся в улице.

— Ой, шо вы наробили, товарищ, — зашептала девушка, — это сам Осман-бей. Он зараз приведет карателей. Они вас догонють! Идите, идите швидче в лес! Держитесь праворуч, шоб попасть к партизанам. Там позавчера гудели пушки.

Я попрощался с девушкой и быстро направился к лесу. Бегом миновав ореховый сад, я очутился на горной гужевой дороге.

Дорога, как обычно бывает в горах, была проложена по оврагу. По обеим сторонам поднимались обомшелые из-

вестняковые скалы, а сверху раскинули ветви деревьев. Солнце почти не проникало сюда.

Вдруг позади послышались осторожные шаги. Я спрятался за выступ скалы и увидел перебежавших дорогу четырех вооруженных татар и двух немецких солдат. Среди татар не было Осман-бея. Это были молодые парни в немецких пилотках, сатиновых рубашках и штанах русского военного покроя.

Я побежал, стараясь лавировать так, чтобы не попасть на прицел моим преследователям. Тогда вдогонку сразу несколько человек закричали мне по-русски, приказывая остановиться.

Не обращая внимания на крики, я во всю мочь бежал по дороге. Ранец и оружие становились все тяжелее и тяжелее. Сознание опасности придавало мне силы.

Но вот вверху просветлело, скалы уменьшились, дорога сравнялась и вывела меня на пригорок. Солнце освещало поваленные буреломом стволы буков.

Татары выскочили вслед за мной, остановились и кучкой бросились наперерез, к лесу. Их замысел был понятен: они хотели схватить меня живьем и поэтому не открывали огня. Немецкие солдаты что-то кричали им повелительно.

Я перепрыгнул через поваленное дерево, попал ногой в ямку, упал. Пистолет при прыжке выскочил из-за пояса. Я нагнулся, схватил пистолет, прилег, но время было потеряно.

Враги считали, вероятно, мою песенку спетой и надеялись на легкий успех. И татары и немцы громко галдели, разыскивая меня.

Еще в период Сталинграда мы, офицеры, усиленно упражнялись в стрельбе из пистолета системы Токарева. Преследующие меня находились на близком расстоянии. Я хладнокровно прицелился и сделал шесть выстрелов.

Немец и два татарина упали плашмя, как обычно падают насмерть сраженные люди. Остальные залегли, открыли стрельбу. Пули с визгом рвали воздух, просекали листву. Надо было уходить. Зарядив новую обойму, я сунул пистолет за пояс, откатился от поваленного дерева, на локтях прополз между кустами, поднялся и добрался до ложины. Теперь погоня была не страшна. Лес и густые кустарники скрывали меня от преследователей. От свитера бы-

ло жарко, пришлось распустить до самого пояса молнии комбинезона, ослабить наплечные ремни ранца и быстрее идти все вперед и вперед, в том направлении, куда указала молоденькая украинка. Мне казалось теперь, что все опасности позади и, наконец, возле Чабановки я встречу своих боевых друзей.

Вскоре лощина перешла в ущелье. Слева встали скалы, сложенные ребрами наружу из тяжелых плит юрского известняка. Солнце ослепительно освещало эти будто разноцветные скалы, ударяя в них своими лучами. Надо мной в синем небе лениво парили орлы. Я шел, по солнцу угадывая нужное мне направление. Мне помогали навыки, полученные в детстве. Я научился не пугаться леса и гор, не задумываться над способом перехода ущелий, над спусками по сухим водопадным руслам, когда, разнося эхо, катятся вниз каменные обвалы и, растревоженные шумом, яростно и многоголосно орут птицы. В пути я съел плитку шоколаду, напился из каменной чаши, выдолбленной руками человека, куда капля за каплей стекала чистая, как хрусталь, вода. Встретилось еще несколько таких чаш, в них бережно хранится вода жителями, так как здесь нет колодцев.

Сверившись по карте, я определил, что вблизи должны быть армянские горные поселения. Вскоре, продвигаясь по козьей тропе, я почувствовал запах горелой шерсти и увидел над деревьями легкий дым.

Ползком по земле, заросшей сон-травой и мышехвостником, я пробрался к опушке. Селение было сожжено; догорали последние бревна. На пепелище валялись обгоревшие, вздувшиеся от огня туши коров. Ни одного человека вокруг. Высоко в небе парили орлы, а ниже, над вершинами деревьев, с пронзительными криками летала стая южного воронья.

Запахи мяса пробудили голод. Шоколад не мог заменить привычной пищи. Опушкой я обошел все пожарище. На дороге отпечатались следы твердых шин броневтомобилей и конских кованых и некованых копыт. Поодаль, почти на опушке, лежала молочная корова красной масти. Очередь из автомата пунктирно прорезала ее кожу.

Я надрезал кинжалом и закатал кожу на лопатке, вырезал несколько толстых кусков мяса. Принести головешек было делом одной минуты. Я сложил костер, подсыпал углей и, насадив на кинжал кусок мяса, изжарил его и

съел с галетами. Утолив голод, завернул остальное в кусок парашютного шелка, положил в ранец.

В таких случаях Дульник обычно говорил: «Самочувствие хорошее, настроение бодрое». Где сейчас мой друг? Закрались сомнения в благополучном исходе операции... Может быть, вот так, по одному, скитаются люди десанта? Может быть, никого уже не осталось в живых, так как, судя по всему, карательные отряды деятельно блокируют партизанский район, выжигают села и охотятся за одиночками.

После полудня я добрал до заброшенной дачи, отмеченной на двухверстке домиком лесника. Одинокий домик стоял посредине огорода. Возле дома валялась разбитая «эмка». Над трубой не поднимался дым. Жилище лесника казалось необитаемым, но, очевидно, сюда наезжали кавалеристы. Десятка два белых леггорнов копошились в свежем конском помете.

Прикрывшись лопухами, я лежал возле поленницы дров, прораставших уже не первый год молочаями и чесночником.

Когда солнце упало с зенита, из домика вышел старичок с седенькой, взлохмаченной бородкой, в кепке и ботинках. На старике была холщовая рубаха с расстегнутым воротом, на груди — медный староверский крест.

Старичок покричал на кур, бросил им что-то из рук и направился к лесу, в мою сторону. Он шел, опустив голову, сгорбившись, и, как это бывает с людьми со слабым зрением, тщательно всматривался себе под ноги. Когда старик приблизился, я тихо окликнул его. Он боязливо остановился, осмотрелся, сказал:

— Выходи, выходи, ежели добрый человек.

Я вышел из засады, положив руку на рукоятку пистолета.

— Ты меня не бойся, — сказал старичок, приподнял кепочку, поздоровался.

— А кого бояться, папаша?

— С кем воюете, того.

Я почувствовал доверие к старику, и он — ко мне. Казалось, мы давно были знакомы, близки душами и сейчас просто и невзначай повстречались.

— Вы лесник, папаша? — спросил я.

— Нет, лесник уехал в город, в Солхат.

— А не видели ли вы случайно партизан?

— Были партизаны, прогнали. И сюда наведывались. Большой прочес проходил, много здесь шарило войска, ушли партизаны.

— А лесник не знает?

— Он знает, но ты ему шибко не доверяйся.

— Плохой человек?

— Стал плохой.

— Русский?

— Русский, а снюхался с немцами. Последнее время стал совсем не такой, как был.

— Вы его и раньше знали, папаша?

— А кабы не знал, разве пришел бы к нему.

— Зачем?

— Переждать.

— А про Чабановку что-нибудь слышали?

— Спалили Чабановку.

— Далеко отсюда Чабановка?

— Как сказать... Ежели спрямить через лес — не так далеко, верст двенадцать. Ежели кругом — все двадцать пять наберутся. — Старик оглянулся. — Нам нельзя на виду, сынок. Наведаются опять гости, пропадем оба. Их время еще не кончилось — день.

Мы зашли под деревья. Старик глядел на меня дружелюбно из-под своих седеньких нависших бровей.

— Ты иди-ка, сынок, в Ивановку, туда часто наведывались партизаны, а оттуда, если надо, любой тебя отведет в Чабановку. Только в Чабановке самой пусто, ни одного жителя. Сорок сел уже спалили в окрестности. Подходят к Крыму наши, а?

— Подходят, папаша.

— Слыхали, что подходят... Тамань забрали?

— Забрали.

— Новороссийск?

— Тоже.

— Я-то с Новороссийска, сынок. Так волной меня и трибило, сначала в Керчь, потом в Феодосию, а потом вспомнил про своего знакомого лесника, сюда дотянул. Зиму еще при них придется горевать?

— Как выйдет, папаша.

— Нельзя — не отвечай. Знаю. Я сам когда-то в Богучарском гусарском служил. Давно это было.

Распрощавшись со стариком, я направился к Ивановке и вечером подошел к селу. Встретил паренька с дровами.

который безумно меня испугался. Пришлось долго втолковывать ему, что я русский и не сделаю ему никакого вреда. Наконец он пришел в себя и с юношеским жаром советовал мне даже не приближаться к их селу, так как туда пришел татарский добровольческий батальон.

— Давно пришел батальон? — спросил я, чтобы проверить старика.

— Вторые сутки... Сюда сгоняют девчат, а отсюда погонят их на Яйлы, в татарские кошары, в зимовники.

— Зачем же их туда погонят?

— Как зачем? Овец пасти, доить, готовить брынзу. А вокруг Ивановки ловят партизан. Уже один сидит в подвале, в погребе.

— Какой он из себя?

— Кто?

— Тот, кто сидит в подвале.

— Одет так же, как вы, только еще моложе, совсем без усов.

— Я тоже без усов. Только вот второй день небрит.

Паренек снисходительно улыбнулся.

— А тот еще совсем не брился, вот так, как и я, — он провел ладошкой по своему лицу.

Вместо Ивановки я пошел на Чабановку. Ночью сбился с пути, повернул на звук артиллерийской стрельбы и, пробродив до зари, снова очутился у домика лесника. Постучал в окошко, вызвал старика. Старик недолго собрался, вышел на стук, выслушал меня.

— Вымотаешься ты так, сыночек. В ногах правды нету. Жалко мне тебя.

— А что делать?

— Давай так: подожди здесь, пока кто-нибудь из партизан подойдет, потом уже сами разберетесь.

— А не лучше было бы, если бы вы меня сами довели до Чабановки?

— Доведу, только надо лесника дожидаться. А то он схватится меня и догадается. Да и дом его нельзя бросить. — Старик помолчал, что-то обдумывая. — Вот что... Там вон яр большой с жимолостью. Иди туда и где-нибудь спрячься на день. А я буду итти по воду, и ежели кто из партизан наклонится, по ведерку постучу. Тогда выходи. А где ты спрячешься, сам знай. Мне нет дела до твоего места.

В кустах жимолости я и спрятался. Снял ранец, под-



ложил под голову, обнял автомат и крепко заснул. Карагачи отбрасывали длинные, за полдень, тени, когда я открыл глаза. По тропке, ведущей к ручью, ходил старик и постукивал в ведро.

— Что же ты так крепко спишь? — укорил он меня. — Пока ты спал, случилось несчастье.

— Несчастье?

— Утром, часиков в десять, приезжали татары, и во главе немецкий офицер, — взволнованно с оглядками, рассказал старик. — Забрали всех кур живыми в мешки, сняли с меня ботинки, видишь — босиком, и хотели меня расстрелять. Но офицер сказал: еще огород не убран, пусть уберет. А когда уберет, тогда найдем ему пулю... Уходи, сынок, как бы они облаву не устроили, ежели догадаются, что ты здесь. От них тогда не уйдешь. Татары все уголки вырыскали еще с малолетства. Из них ведь такие суруджи — проводники....

— Когда же мне уходить? Сейчас?

— Нет, сейчас нельзя. Днем они рыскают по лесу. Надо идти ночью, когда они боятся. А уходить отсюда надо на закате, сынок.

— А вы со мной не пойдете?

— Теперь мне нельзя уходить: имущество разнесли, кур у человека забрали. Придет — решит на меня. Нельзя уходить при таком случае. Как солнышко зайдет за те вон дубы, приходи к сапетке, к кукурузной сушилке, левее от дома, по тропке, сразу найдешь. Я тебе на дорогу хорошего продукта припасу. Такого продукта дам, что ты месяц его с собой будешь носить и не испортится.

— Какой же это продукт, папаша?

— Тогда увидишь.

Тут я вспомнил о говядине, сбегал в кусты, принес мясо.

— Нельзя мне его брать, сынок, — отказывался старик, — что я с ним буду делать? Нагрянут опять, увидят: откуда взял? Такое подозрение будет, до огорода убьют.

Он отдал мне принесенные в ведре картошку, чурек, печеную тыкву и отдельно, в ситцевом кисетике, крупную сакскую соль.

Пришлось дожидаться захода солнца за вершины дубов. На поляну легли скупые прохладные тени. Я подтянул снаряжение, направился к сапетке. Остатки недоверия к старику окончательно рассеялись, когда мне предста-

вилась замечательная, незабываемая картина. Возле плетеной кукурузной еушильни, на фоне будто отчеканенных закатными лучами червонных листьев граба на ивовой корзинке сидел старичок, поджав под себя босые ноги и упираясь бородкой в колени. Он сидел в мирной, безмятежной позе, лучи солнца обрызгали его и будто изнутри просветили его щуплую фигурку, седые растрепанные волосы и чистые, несмотря на глубокую старость, глаза.

Старик не замечал меня. Я тихо окликнул его. Не меняя позы, он посмотрел в мою сторону из-под ладошки, подозвал меня к себе. В его руках была плетеная корзинка, наполненная сушеным черносливом.

— На тебе, сынок, никогда не испортятся, будешь кушать и меня вспоминать.

Я снял ранец, вынул оттуда патроны, насыпал чернослив, патроны запихал в карманы и за пазуху. Сверху чернослива положил мясо. Решив как-то отблагодарить старичка, я оторвал кусок от вытяжного парашюта.

— Возьми на память, папаша, — сказал я.

Старик взял шелк, помял его в руках, спросил:

— А что это, с платья, не иначе?

— Это парашютный шелк, папаша. На таком шелке я прилетел в Крым.

Старик еще раз помял его в руках, подумал что-то про себя и спрятал в карман.

— Таковую вещь найдут, будет мне худо. Но я спрячу его в надежном месте, в лесу похоронок много. А теперь иди... — И старик рассказал мне, как идти, чтобы не сбиться с пути. — Ну, смотри, сынок, пройдешь? Сам пройдешь?

— Пройду, спасибо.

— Как, разобьем немца?

— Разобьем, папаша. Обязательно разобьем.

— Я тоже так думаю. Ежели бы он думал побеждать, не стал бы корень из-под себя выжигать. Сколько деревень спалил, ужас. Иди, сынок. Очень уж люб ты мне был эти дни, так бы и не отпускал тебя, но у каждого свое дело впереди, нельзя его забывать. Войну кончим, приезжай ко мне в Новороссийск, живу я возле цементных заводов, домик-то мой, наверное, разбили. Все равно приезжай. В адресном городском столе узнаешь, приходи в гости.

— Под какой фамилией искать?

— Ларионов моя фамилия, сынок. Спросишь, где живет Михаил Архипович Ларионов. Не забудешь?

— Никогда не забуду, Михаил Архипович.

Старик заплакал, прощаясь со мной. Я поцеловал его заплаканные щеки и быстро пошел в лес. Через час я находился недалеко от Чабановки. В сумерках, когда еще различимы предметы и цвета, я прошел окраиной татарского селения, вышел на гору, обозначенную на карте под цифрой уровня, остановился отдохнуть. Горы волнами уходили от меня, поднимаясь все выше и выше. Кое-где, как кабаньи клыки, торчали голые скалы. Глухо шумели вершины высокоствольных чинар. Собирались дождевые тучи.

Мне стало грустно и досадно. Где-то невдалеке, в какой-то из этих впадин или на одной из вершин, расположился лагерь Лелюкова, стойкие отряды вооруженных советских людей. Где-то здесь находятся мой отец и Яшка Волинский со своим отрядом молодежи, и, может быть, вон там, у тонкой струйки дыма, сидит Люся. Попрежнему ли она ждет своего сказочного королевича?

И вот я почувствовал, что из кустов боярышника за мной наблюдают. Кто это был, зверь или человек, я еще не мог отдать себе отчета. Но обостренные чувства мои подсказали, что я не один на этой высокой скале. Наблюдали за мной сзади, и поэтому, не оглядываясь, чтобы не обнаружить свои намерения, я перевел на бой свой автомат. Ждал. В кустах и в самом деле зашелестело. Я быстро нырнул за камень.

Трое в комбинезонах парашютных войск вышли из кустов и пошли ко мне навстречу.

Я вздохнул с облегчением. Это были Студников и Парамонов — командиры пятерок диверсионной группы. Третий — подрывник, закладывавший заряд тола в бурты авиабомб. Они рассказали мне подробности нападения на аэродром, офицерский ангар и бензохранилище. У ребят были часы и компасы, и теперь мы могли определиться с абсолютной точностью.

— Ниже, у скалы, — пещера, — сказал Студников. — Видно, монахи проживали.

Облака, еще днем бродившие по небу, к ночи, наконец, собрались в дождевую тучу. Похолодало. И, как обычно бывает осенью в горах, быстро испортилась погода.

Мы спустились к пещере, чтобы дожидаться ночи. Впереди шел Парамонов, опытный десантник, молчаливый и

исполнительный. Студников был высок, силен и гибок. Он привязал шлем к поясу, а на голове лихо заломил бескозырку, на которой потемневшей бронзой было выдавлено название погибшего корабля, прозванного «голубым экспрессом» за быстроходные рейсы к осажденному Севастополю.

Монашеский скит представлял собой пещеру, выдолбленную в крутой скале, с узким ходом, заросшим кустарниками. Площадь пещеры примерно два на два метра, высота—в человеческий рост. В стене был камин с дымоходом наружу. Над камином довольно искусно высечен крест над чашей.

Начался дождь.

Мои товарищи запасли заблаговременно сухой валежник, кору и мох. Спичек у нас не оказалось. У Студникова была ракетница и семь ракет. Он умело отобрал заряд, выстрелил, добыл огонь. Пещера наполнилась дымом. Поужинали мясом, которое только чуть-чуть обжарили на огне. Ребята после ужина закурили. Лежать было негде, мы сидели, плотно прижавшись друг к другу. Они рассказывали свои приключения, я—свои. Их так же, как и меня, поразило повсеместное уничтожение русских поселений и предательство крымских татар.

— Трудновато здесь партизанить, — сказал Студников, — бойся немца и, выходит, татарина.

Мы вышли из пещеры. Моросил дождь. Где-то в стороне с равными промежутками постреливала гаубица. Спускались с трудом, цепляясь за кусты и корни. Чтобы пройти на Чабановку по более торной дороге, надо было вернуться назад и обойти то самое село, которое я уже раз обходил в сумерки. Студников сказал, что надо перейти речку, но, как он выяснил, броды заминированы, а мост охраняется. Решили итти над рекой, не слишком придерживаясь берега, пока не представится случай перебраться на ту сторону. Над селом часто взлетали ракеты. Ноги скользили по камням. Дождь припустил сильнее. Вода стекала по телу, комбинезон и свитер намокли, ляжки ранца сильнее давили плечи.

Наконец мы увидели деревья, сваленные буранами в воду. На четвереньках и ползком, обнимая мокрые стволы, мы перебрались на левый берег и сразу попали на дорогу, по которой и решили итти. Теперь итти было гораздо легче.

Изредка резкими голосами вскрикивали птицы. Деревья и скалы приобретали причудливые очертания.

По моим расчетам, надо было уже свернуть на боковые дорожки, к Чабановке.

Вдруг послышались крики, стук кованых копыт. Фыркула машина, заскрежетала передача. Мы свернули с дороги, присели в кустах. Вскоре между деревьями показались два всадника, разговаривавшие между собой по-татарски. Винтовки лежали у них на луках седел. Запахло взопревшей лошадиной шерстью. Всадники проехали мимо нас, за ними, несколько поодаль, — еще один верховой рысью на высокой лошади.

Вслед за ним показалась колонна медленно идущих людей. Впереди колонны ехала штабная бронемашинa с низкими бортами и приплюснутым радиатором. Сидевший в машине немец изредка оборачивался и выкрикивал безучастным голосом:

— Шнель! Шнель!..

Отжимая арестованных от кустов, цепью, один за другим, ехали татары на своих мохнатых выносливых лошадках, покрикивая, щелкая плетью.

Машина проехала возле нас, и между всадниками конвоя мы увидели медленно бредущих по дороге женщин. Они шли в колонне по-трое. Некоторые несли на руках детей. Вот ребенок вскрикнул испуганно, как птица, и мать прикрыла ему рот, но тут же конвойный ударил ее плетью.

— Шнель! Шнель! — слышалось впереди за поворотом.

Женщины шли молча, и только один женский голос вдруг прозвучал сдавленно от неизбывного горя:

— Ой, маты, моя маты!..

Нас было четверо. У нас были гранаты и автоматы. Я мог отдать команду атаки, и ребята бы страстно выполнили ее. Но я не имел права на это.

Сквозь какой-то туман я видел татарина в мохнатой папахе, вольно, как степной кочевник, развалившегося в седле, и слышал его веселый окрик:

— Бэкир! Вот ту мамашку!..

Послышался свист плети, и чей-то голос выкрикнул из колонны:

— Сволочи! За шо ж мы вас годували, проклятых!

— Опять мамашка! Бэкир!

Колонну замыкали немецкие драгуны в стальных шлемах, в накидках, с перевернутыми вниз дулами карабинов. Они проехали звеньями, сонные и мрачные. В каждом звене был вьючный пулемет.

— Шнель! Шнель! — как эхо, доносилось издали.

— Бэкир! — кричал тот же веселый голос.

В эту крымскую ночь мне пришли на память слова украинской думки, слышанные мной от кубанских слепцов:

Зажурилась Україна, що нігде прожити,  
Гей, витоптала орда Кіньми маленькі діти,  
Ой, маленьких витоптала, великих забрала,  
Назад руки постягала, під хана погнала.

### Глава пятая

## ПАРТИЗАНЫ ДЖЕЙЛЯВЫ

Ночью мы наткнулись на одну из застав Молодежного отряда, выставленную для охраны сборного пункта у Чабановки.

Партизаны окликнули нас, спросили пароль, осветили карманными фонариками и привели на вырубку, с четырех сторон обставленную высокими буковыми стволами.

Командир Молодежного отряда сидел на пне к нам спиной. Несколько партизан стояли возле него, положив руки на автоматы или опершись на винтовки. При свете карбидного фонаря, лежавшего у его широко расставленных ног, командир метал игральные кубики на целлулоид летного планшета.

Сопровождавшие нас остановились в почтительном отдалении, нерешительно переглянулись.

— Доложите командиру, — попросил я.

Молодой человек с круглым курносым лицом, в берете со звездочкой, с автоматом и плеткой в руках посмотрел на меня. Видимо, он колебался, и лишь после того, как я нетерпеливо повторил свою просьбу, он какой-то подпрыгивающей, осторожной походкой, будто не прикасаясь к земле ногами, обутыми в мягкие буйволовые постолы, подошел к командиру сзади, пригляделся к тому, что тот делает, и вернулся.

— Одну минутку, товарищи, — сказал он строго, — командир сейчас занят.

— Чем же он занят?

Партизан в берете скользнул по мне своими быстрыми глазами.

— Гадает.

— Гадает?

Я улыбнулся.

— Так точно. Гадает на своего друга, гвардии капитана Лагунова.

Дело в том, что я не мог назвать заставе свое имя.

И вот теперь Студников не удержался:

— Это и есть гвардии капитан Лагунов.

Командир отряда, сидевший ко мне спиной, обернулся, встал. Свет фонаря падал теперь на него снизу вверх, и я сразу же узнал Яшу Волинского. Это его антрацитовые глаза, всегда излучавшие какое-то теплое сияние, его нижняя, немного оттопыренная губа, его привычка стоять, чуть склонившись набок, будто прислушиваясь.

Яша раздвинул руками партизан, не понимавших, в чем дело, и бросился ко мне навстречу.

Так встретились мы после долгой разлуки.

Над нами нависло ночное небо. Тяжелые капли падали с ветвей буков и стучали, как ртуть. Возле карбидного фонаря на мерцавшем целлулоиде планшета лежали игральные розовые кубики с белыми точками на гранях.

Яша отпустил, наконец, мою руку.

— Кости-то правильно сказали, — произнес он. — Вот что значит, ребята, кости из греческой кофейни.

В ответ послышался тихий смех, рассчитанный с партизанской точностью, чтобы и отдать должное шутке и не привлечь врага.

На поляне вместе с Яковом находились только бойцы дежурного отделения, остальные же люди отряда и наши парашютисты спали недалеко в лесу, в шалашах, которые с изумительной быстротой из ветвей и травы умели строить партизаны.

— Вот теперь мы можем со спокойным сердцем покинуть Чабановку, — сказал Яков. — Все как будто на месте.

Он хотел отдать приказание, но я остановил его.

— Разрешите мне немного задержать выход, Яков, — надо проверить свою группу. Кстати скажи, где командир диверсионной группы?

— Дульник? Скажу я тебе, чертовски же вымотался парнишка, спит, небось, без задних ног...

— Как сказать! — Незаметно подошедший Дульник втиснулся между мною и Яковом. Теперь он обращался

только ко мне: — Жаль, что наша встреча после операции немного испорчена... Ждать своего боевого друга и спать без задних ног?

— Ну, не сердись, — перебил его Яков.

— Справедливости ради надо было доложить, товарищ командир отряда, что парнишка Дульник пособил проверить наличный состав группы, перевязать раненых и... задержать вас от опрометчивого шага. Они, Сергей, хотели сниматься отсюда, не дожидаясь тебя, этих вот ребят...

— Ну, ты, Дульник, ядовитая спичка, — дружелюбно сказал Яша, — кое-кого оставили бы.

В операции на «Дабль-Рихтгофен» мы потеряли убитыми четырех человек, ранено было шесть, двое из них тяжело. Радист, помощник Аси, оказывается, попал в плен уже на пути к Чабановке. Асю вызвали для объяснений.

— Он попал в руки жителей, татар, — сказала она, — пошел проверить дорогу, доверился им, а они толпой напали на него.

— А как же вы... смотрели? Не помогли товарищу в беде? — упрекнул девушку Яков.

Ася метнула на него глазами, видимо, хотела резко ответить, сдержалась:

— А я поступила так, как нужно. Они были вооружены. Со мной — радиостанция и ее питание. Я не могла рисковать.

Яша смягчился.

— Пожалуй, вы поступили правильно.

— Спасибо, — Ася обратилась ко мне. — Как же поступить?

Я вспомнил рассказ паренька возле селения Ивановки о пойманном парашютисте.

— Где это случилось, Ася?

— Возле Ивановки.

Я сказал Якову, что, повидимому, радист, схваченный возле Ивановки, и парашютист, сидевший в подвале, о котором рассказал мне паренек, — одно и то же лицо.

— Трудновато, конечно, — сказал Яша, — сейчас там почти не осталось русских... Мы постараемся его выручить. Коля!

Один из молодых партизан, паренек в берете, с которым мы пришли сюда, сделал шаг вперед.

— Я, товарищ командир!

— Ты слышал?



- Слышал, товарищ командир.
- Попытка — не пытка, Коля. Надо выручить.
- Есть выручить.
- С тобой пойдет Борис Кариотти.
- Кариотти?
- Именно! — твердо сказал Яков. — Кариотти!

Отозвался молодой худой грек в пилотке, в немецкой военной куртке с красным бантом над карманом.

— Ты пойдешь с Шуваловым, Кариотти...

Кариотти кивнул головой, снял бант, сунул его в карман.

— Исполняйте! По исполнении возвращайтесь на Джейляву.

Коля, как после выяснилось, сын генерала Шувалова, и Борис Кариотти, или Ривера, грек из Балаклавы, исчезли в темноте.

— Они его вытащат, — уверенно сказал Яша. — Вытащат, лишь бы был еще жив.

— Опасно, — сказал я.

— Ну, эти ребята ищут опасности. Вот увидишь, они славно проведут операцию. Такие дела им не впервые...

Подошел комиссар отряда, казанский татарин Баширов, познакомились. Яков мимоходом сказал ему о своем решении послать на выручку парашютиста Шувалова и Кариотти. Баширов молча кивнул головой и пошел в голове отряда.

От Чабановки до центрального лагеря соединения, как выяснилось, было не так уж далеко. Яков обещал доставить нас к утру.

Крутые горы, густые леса, грозные обнаженные скалы — тут было свое царство.

Двигались вперед цепочкой, осторожно, но уверенно, по едва приметным чужому глазу тропам, через взбухшие потоки. Бойцы Молодежного отряда были хорошо подготовлены к горному маршу, их мышцы натренированы, глаза видели остро и ночью различали всякие условные заметки.

Обычно в подобных условиях страшны камнепады, выываемые естественным разрушением горных пород. Но я заметил, что комиссар, идущий в голове колонны, избегает проходов под крутизнами, быстро пересекает желоба, обходит ломкие скалы.

Дождь усилился. Пришлось идти медленней, осторожней. Тропинки, травянистые склоны стали скользкими,

одежда еще больше намокла, затрудняла движение. Бойцы Якова не суетились, не перекликались, а уверенно и ловко шли один за другим. Якову досталась отлично сработавшаяся часть. Я сказал ему об этом.

Яша ответил:

— Почему ты думаешь — досталась? Мне, знаешь ли, самому пришлось срабатывать отряд... Правда, это мне было легче сделать, потому что у меня молодежь, комсомольцев среди них больше семидесяти процентов, и партийное ядро весомое. Люди привыкли и в мирной жизни к дисциплине, к организации. Но все же пришлось поработать, чтобы все детали притерлись...

Мы прошли молча по осклизлым камням, миновали их, начали подъем.

— Видишь, Сергей, — сказал Яков, — камни у подошвы склона без почвенного покрова, без травы, и жолоб, заглаженный камнепадами, — это, по-нашему, «ведьмина щель»: месяц назад в этом местечке одному хорошему солдату начисто голову камнем срезало.

— Значит, потери бывают у вас не только от пуль?

— Да, надо следить и за природой. Тут, брат, птичек не слушай, на цветочки меньше заглядывайся — не степь. — Тропинка расширилась, и Яков пошел рядом со мной. — Вот что, Сергей, отряд относится ко мне, как к... командиру, — он старался подыскать слова, — приличному командиру, доверяет мне...

— К чему этот разговор, Яша? — спросил я, почти догадываясь сам, к чему он клонит.

— Ну, следовательно, командир отряда для них не тот Яшка, который... Ты понимаешь меня?

— Понимаю, Яша...

— Нет, нет, ты только ничего такого не подумай...

— Я ничего плохого и не думаю. Да и в самом деле ты теперь не тот...

— Тот, Сергей, тот... но... — Яша опять замаялся, — не пойми меня превратно... еще раз прошу...

— Понимаю тебя правильно. Каждый из нас, не только ты один, вырос, вступил в жизнь. Вот я приехал домой, в нашу Псекупскую, пошел на то место, где ты, помнишь, ловил бычков и чернопузов?

— Ну, как же не помнить!

— И представь себе, ребяташки мне говорят: «Здравствуйте, дядя!» Ты тоже стал дядей, Яков.

— Хорошо, что ты меня понял и не рассерчал на меня. Иногда находит на меня такая вот душевная робость, как затмение. Вдруг покажусь я себе таким ничтожным мальчишкой, заморышем... Даже пот прошибет. Думаю: а не обманщик ли я? Обманул людей — ни много ни мало восемьдесят пять человек, целый отряд, командиром прикинулся, а кто я? Закрою глаза и увижу ту самую нашу Фанагорийку, камешки, мордатых бычков и мальчишек — Виктора и Пашку Фесенко... Ну, что тебе рассказывать, у тебя такие же негативы в мозгах отложены. Вдруг кто-нибудь узнает, каков их командир. Вот действительно пот прошибет, Сергей. Все же эта забитость в детстве нет-нет, да и отрыгнется...

— Кстати, Яша, — спросил я его, — Баширов рассказал мне про Пашку Фесенко. Значит, он в твоём отряде?

— В порядке нагрузки.

— Точнее.

— Его прислали к нам с Большой Земли. Вначале я ему обрадовался, как никак земляки. А когда я принял Молодежный отряд, попросился он ко мне. Пристал и пристал, ты же знаешь этот пластырь! Взял его и мучаюсь по сей день, Сергей.

— Плохой боец?

— Иногда ничего, ведь у него медаль есть «За отвагу», на первом этапе войны получил. А больше шлопайничает... Продовольственные операции ему еще доверяем, а боевые... не очень. Дисциплинка у него хромает. Прибыл к партизанам, как на курорт.

— А где он сейчас?

— Баширов разве не все тебе рассказал?

— Я понял, что Пашка ушел с поста. Так я понял?

— Так, — Яков нахмурился. — Ведь он тоже тебя встречать вышел, под Чабановку. Двое из заставы вернулись, а он где-то отстал. Если не вернется — дезертир.

— А может, его убили или он попал в плен, как радист?

— Убить не могли, мы бы знали. Он ушел вперед из заставы и как в воду канул. Ты представляешь, какой позор для отряда? Я тебе даже не хотел говорить, Сережа. Ну, раз Баширов сказал... Лелюков такого березового пару нам задаст...

Мы вышли на узкую тропинку с боковыми ответвлениями. Яша пропустил меня вперед, отдал по цепи команду

подтянуться. Теперь близко от меня дышали поднимающиеся в гору люди.

Тропинка сузилась, и приходилось буквально пробиваться сквозь колючий кустарник. Рассветало. Где-то кричали мелкие птички. Дождь почти перестал, кусты были мокры, от прикосновения к ним осыпались листья, пахло прелью, сыростью и размоченным известняковым камнем.

Я очень устал, мне хотелось, наконец, закончить поход. Яша неумоимо шел вперед. Я наблюдал, как он ловко несет на себе оружие, будто всю жизнь с ним не расставался, и так же ловко и сноровисто ступает своими буйловыми постолами по корням, обходит камни. На его давно не стриженных, черных с курчавинкой волосах щегольски сидела суконная пилотка подводника — черная с белым кантом. Короткая курточка подпоясана широким ремнем, «вальтер» в кобуре из толстой кожи, кинжал с самодельной ручкой из авиастекла, на груди автомат, шаровары из парусины, шарф на шее, левая рука вразмашку, а правая — согнута в локте, и пальцы накрепко охватили шейку ложка пистолета-пулемета. Рядом с кинжалом запасной диск, низко спущенная на наплечном ремне сумка-планшет. У пряжки пояса две гранаты, а курточка приотстегнута, чтобы быстрее выхватить из кармашка капсюли; виден мех надетой под куртку безрукавки.

Это шел совершенно другой Яша, совсем не похожий на моего друга детства, к которому до последнего класса все же стойко удерживалось среди нас покровительственное отношение.

Туман после дождя скрывал пейзаж. Горы потеряли яркие цвета и поднимались серые, как осенние облака. Сейчас не отыскать Чатыр-Дага! Справа от меня кусты поредел. Заглянув, я увидел пропасть, острые скалы, поднимающиеся снизу, как гигантские кактусы. Шумел поток.

— Мы подходим, — сказал Яша. — Видишь теперь, куда нас черти занесли.

Где-то послышался отдаленный, сходный с грозой, гул артиллерии. Яша высказал предположение, что это утренний бой в партизанском соединении Кузнецова, и похвально, что ему удалось познакомиться лично с ним и в прославленными партизанами, командирами его соединения — Котельниковым, Федоренко и каким-то Октябрем Аскольдовичем.

— Прочес за прочесом, — сказал Яша. — Нас стараются завинтить, как гайку. Сужают район действий.

— Чего добивается германское командование?

— Вытеснить все партизанские отряды в трупщобы. Они боятся сейчас активных десантных операций черноморцев и Приморской армии и дрожат за свои коммуникации.

Очевидно, это была та самая Джейлява, где располагался последнее время лагерь Лелюкова. Каменистое с неровной поверхностью плато кое-где поросло ковылем. С западной стороны поднимался утес, весь в трещинах, и возле него росли большие дубы с сильно разветвленными кронами, с толстыми ветвями, искривленными от восточных ветров.

Наконец мы остановились на поляне.

К нам подошел какой-то белобрысый заспанный парень в плащ-палатке. Это был телохранитель Лелюкова — Василь. Он, позевывая, перебросился с Яковом несколькими словами, сказанными с украинским акцентом, и попросил меня идти за собой.

Василь молчал, сопел и, несмотря на мои попытки, не ответил мне ни на один вопрос. Поляна была пустынна и не вытоптана: ходили только обочь ее, чтобы не открывать лагерь воздушной разведке. Мы же шли, не считаясь с общими правилами, и дошли до скалы и дубов. Невдалеке из-за кустов яростно захлебнулась лаем собака. Василь цыкнул, и она умолкла.

В скале оказался вход треугольником, один из углов переходил в расщелину. Возле щели был вырыт очаг, где лежали потухшие мокрые угли; лежала колода, иссеченная топором, и металлические прутья шампуров для шашлыка, тронутые легкой ржавчиной.

Василь, обратив внимание на шампуры, недовольно покачал головой, собрал с земли в пучок, провел по одному пальцем, осмотрел ржавчину на пальце, вздохнул.

— Заходи, — пригласил он.

Вход, как в крепостях, представлял собой траншею, врезанную между стенами расщелины. Траншея оканчивалась дверью правильной формы высотой в рост человека. Слабый утренний свет; проникавший сюда, помог мне увидеть заржавевшие следы давних железных скреп по обним ее сторонам.

Вход был завешен ковром. Я откинул его и вошел в

пещеру. В глубине ее, на возвышении из дикого камня, горели крупные бревна. Где-то был устроен отличный дымоход, дрова горели дружно, и в пещере почти не ощущалось дыма.

Слева по стене были вырублены ниши с напыльями сталактитовой массы. Несколько бочонков с ржавыми обручами стояли возле ниш. На крюке, вбитом в стену, висела баранья тушка. Там, где был вбит крюк, можно было заметить неясные остатки фресок и надписей на церковно-славянском языке.

Справа от костра на каменном возвышении, напоминающем надгробие, кто-то спал на сене, прикрывшись буркой. Виднелись только ноги в сбитых сапогах.

Рядом на чисто выметенном каменном полу лежали дрова, на них — кожаная тужурка и небрежно сброшенное оружие — револьвер с ремнями наплечных портупей, немецкий рожковый автомат. На полу — термос с надетым на него стаканом и раскрытая на середине толстая книга, какие в юбилейные даты выпускает Издательство художественной литературы в Москве.

Василь замер у входа и не ответил на мой вопросительный взгляд. Тогда я решил ждать. Снял автомат, ослабил ранец, распустил молнии комбинезона. И вот из-под бурки показались руки, блеснула браслетка часов, и пучок электрического света потянулся ко мне в затемненный угол.

— Здравствуй, Лагунов, — послышался знакомый голос Лелюкова. — А ты, Василь, выйди!

Василь вышел. Лелюков погасил фонарик, сбросил бурку, встал, подошел ко мне, просто, как будто мы с ним расстались вчера, пожал мне руку, с улыбкой пощупал ладонью мою отросшую бороду.

— Спасибо за операцию. Сработали правильно. Сейчас зайди к комиссару и поспи. На тебе-то лица нет, или это от дровяного света, а может, от щетины? Прежде чем к комиссару, надо тебе, друг мой, побриться.

— Мне хотелось обсудить...

— После, после, Сергей, — остановил меня Лелюков, — мы теперь скитские монахи, у нас времени много... Василь! — крикнул он.

Василь был тут как тут.

— Наведи бритву, да не солдатскую, что шкуру дерет, а генеральскую, понимаешь, Василь? А вода в термосе.

— Есть!

Быстро, не дав нам времени на разговоры, Василь принялся за дело и умело побрил меня «генеральской» бритвой. Любовно оглядев труды своих рук, Василь бросил бумажки с мыльной пеной в огонь и подморгнул командиру. Тот улыбнулся и сказал:

— Давай.

Василь извлек на свет чемоданчик и достал оттуда флакон с одеколоном. Скрипнула пробка, и Василь, приблизив к моему лицу пульверизатор, начал брызгать на меня одеколоном, надувая свои полные, розовые щеки.

— Как в аптеке, — сказал Василь, закончив процедуру.

— Почему, как в аптеке, Василь? — переспросил Лелюков.

— Извиняюсь, товарищ командир, как в парикмахерской.

— Теперь вернее. А ну, проводи-ка гвардии капитана к комиссару.

— Товарищ Лелюков, а как же мои люди? Вы так огорошили меня.

— Все в порядке. Людей развели по таким вот «квартирам», — он церемонно обвел руками свое жилище. — Накормят, напоят, обсушат, дадут отдохнуть. Ну, а тебе, как старшему начальнику, придется еще немного помучиться... В общем иди-ка к комиссару!

В промокшей одежде и обуви я ушел от Лелюкова.

И вот в шалаше, не похожем на пещеру Лелюкова, я увидел человека в очках, сидевшего на чурбане у ящика и что-то писавшего при свечке. На полу, на ветвях, — войлок, и на нем подушка и аккуратно сложенное верблюжье одеяло. Ближе к выходу — ящики с винтовочными патронами и, очевидно, недавно опорожненные «цинки». Возле седла, лежавшего вверх потником, — стопка потрепанных газет, книг, брошюр и волшебный фонарь на специальном штативе. На фанерной переносной доске наклеен плакат с гимном Советского Союза.

Видно было, что с боеприпасами туго, раз выдачу их производил сам комиссар. Газеты, вероятно, выдавались, как книги, и в лесу не шли на раскур.

Волшебный фонарь заставил меня улыбнуться: мне казалось нелепым возиться с этим громоздким способом наглядной пропаганды в условиях суженной блокады.

И пока я рассматривал жилище, бородатый человек, си-

девший у стола, повернул голову и внимательно оглядел меня с ног до головы из-под седых, нависших на оправу очков, бровей. Затем он снял очки, пригладил знакомыми мне движениями усы. Я узнал отца.

Я бросился к нему, чтобы посмотреть в его глаза, чтобы ощутить крепкое пожатие его руки и почувствовать отцовский запах, какого не могло быть ни у какого другого человека.

Мы расцеловались, и оба сразу же отвернулись, чтобы справиться со своими чувствами.

— Переодевайся, Сережа, — сказал отец, посмотрев на обувь, — переобувайся... Ишь намок-то, от тебя пар!

— Послушай, отец, ведь я пришел к комиссару...

— А что же, комиссар будет против?

Я переоделся в сухую одежду, будто заранее подготовленную для меня, и уселся рядом с отцом.

#### Глава шестая

### КОКТЕБЕЛЬСКАЯ БУХТА

Вот теперь-то мне стало понятно поведение Лелюкова. Отставив на время деловые разговоры, он помог мне сразу же повидаться с отцом. Судьба вновь столкнула их, и они понимали друг друга. С отцом мы вначале говорили о делах, отодвигая то важное, что каждый из нас знал о семье, на последнее, ибо к нему-то и трудно было сразу прикасаться.

Отец расспросил меня обо всем, начиная с того времени, когда мы простились у автобуса в Псекупской, до операции на «Дабль-Рихтгофен». Он подробно выпросил меня о Сталинградском сражении, о каждой балочке, высоте и селе, где все было ему знакомо издавна, о возрождении города. О смерти Виктора отец знал еще на Кубани, в партизанах.

Он покрутил ус и горько сказал:

— Про Николая тоже знаю. Сообщил Стронский...

Я не стал передавать ему содержания письма колхозника Птахи.

Отец спросил о матери и начал крутить и кусать второй ус.



— Все бы ничего... одна.

Узнав о том, что я встречался с колхозниками, он попросил рассказать поподробнее обо всем, с большим вниманием выслушал меня и обрадовался, узнав, что Федор Васильевич Орел ждет возвращения его на прежнюю работу.

— Бригадир Федор Орел ничего человек, но до войны был непослушен, речист, — сказал отец. — Венгерских коней сумел заполучить? Выходили?

— Выходили. Кони хорошие.

— А клин над речкой, за вербами, засадили пропащными или колосовыми? Не заметил?

— Что-то не заметил.

— Там земли нежные, брал я их всегда осторожно, не приневоливал. Каштановые почвы. Их нужно поднимать чуть ли не на пальцах, как хороший лекальщик... Говоришь, с лопатами выходили в поле?

— Выходили с лопатами.

— Да, ерунда. Представить только, к примеру, — вот сейчас мы воюем пулеметами, аэропланами, танками и вдруг перешли бы на фитильное оружие. Вот так и в колхозном хозяйстве. Когда начали тракторами, помнишь? А теперь опять лопатами. Ведь страшная вещь, если здраво разобратся. Пришли фашисты из-за границы, ввергли и повернули назад от машины к лопате...

Отец прошелся по шалашу, сутуловатый, хмурый. Ветки ломались под его ногами. Ватная куртка лоснилась от ремней, из-под нее виднелась выдавшая виды гимнастерка, на ней орден Ленина и прежний боевой — Красного Знамени, крепко привинченный, врезавшийся в материю.

Перешли на партизанские дела. Мне хотелось прощупать обстановку до прихода комиссара.

Надо было выяснить насчет начальника штаба — Кожанова. Мне предложили присмотреться к Кожанову, определить его дальнейшее использование на этой должности, так как сведения о нем поступали неутешительные.

По словам отца, Кожанов растерялся при последнем большом прочесе, подставил под удар бригаду Семилетова, откуда и тяжело раненные. Коммунисты соединения не сомневаются в Кожанове, но нужно его выправлять. Между комбригом Семилетовым и Кожановым идет глухая вражда, что отражается на деле. Семилетов хороший командир бригады, Кожанов развинтился, и не мешает подвернуть ослабевшие шурупы.

Задание, поставленное передо мной командованием, было чрезвычайно щекотливо. Оно усугублялось тем, что Кожанов был кадровым военным, давно, с начала войны, ходил в капитанском звании, я же был молодым офицером. К тому же, хотя я и мало знал Кожанова, слышал его рассуждения о войне, очень здравые и разумные.

Если в начале войны Кожанов вел себя хорошо, то что за причина происшедшей в нем перемены?

На мой вопрос отец ответил не сразу, хотя, видимо, Кожановым здесь занимались. Отец считал, что Кожанов слишком долго был оторван от непосредственного общения с Большой Землей и мог за суровыми заботами, за голодом, холодом и боями «на отгрызку» потерять чувство уверенности. Такие превращения, оказывается, кое с кем бывали. Достаточно же было на время перебросить таких людей на материк, и они возвращались оттуда бодрыми, морально заряженными.

Выяснилось, что Кожанову не дают покоя мысли о семье; в Сталинграде погибла его мать, потеряна невеста.

Перешли к общим делам. Я попросил рассказать мне о положении соединения. Отец говорил со мной откровенно, и передо мной вырисовалась подлинная картина всей обстановки.

— Нас здорово сейчас зажали, — говорил отец, — уходим все дальше в глушь. Круче, безлюдней, бесхлебней, а ведь питаем отряды с корня. Подходит зима. А зимы перед этой были страшные — из ста гибло семьдесят от голода. Уходили в заставу обутыми, приходили босыми — съедали постолы... А сейчас у немцев есть приказ выжигать все села в горной части, и выжигают.

— Видел своими глазами.

— А выжгут, очутимся в лесу, как звери. Надо пить, есть, нужны патроны, соль, спички, табак. Дальше в глушь — хуже с приемом самолетов. Не посадишь же на гребешок? Самое главное — татары поддерживают немцев.

— Я сам наблюдал. Активно поддерживают.

— Факт, активно. А некоторые из начальства, работники Крыма, думают, что мы к ангелам чертячьи хвосты подрисовываем. Занимайтесь, мол, политической работой среди коренного населения! Ты видел этих Османов, Сергей. — Отец сжал кулаки и весь сердито нахохлился. — Скажи, ты теперь коммунист, какой политической агитации ты подвергнешь этого живореза Осман-бея или тех молод-

цов, что кричали «Бэкир! Вон ту мамашку!» Мечетей сколько пооткрывали, муллы появились, как со дна морского. Из Турции агитаторы приезжают, теперь-то Стамбул — Севастополь — Ялта, пожалуйста!

— Неужели и из Турции приезжают?

— Ловим мы всякий народ. Прежде чем отправить его в гости к аллаху, успеваем кое о чем расспросить... Ты сутки поскитался, а чего насмотрелся! А ежели наши ребята по три года возле них страдают. Сначала подходили и так и этак, прислонялись и с одной и с другой стороны, а что вышло? Потеряли какие кадры! Я позже сюда приехал, а спроси Степана Лелюкова или поговори с тем же Семилетовым, да что с Семилетовым, поговори по душам с Яшкой. Перед тем как напросился к тебе, в Чабановку, вот на этом же месте душу отводили. Что он говорил? Выпадут снега, высоко, ненадежно, сурово, речки захрипят, пропитать большие отряды трудно, не запасешь теперь и того, что было — сырого зерна и конины... Суджуки приведут немцев и выловят всех, как дудаков на гололедке. Ты знаешь Якова, хотя ты его мало теперь знаешь; он сформировался и на кружале и в огне, как поливанный глечик. Так и он призадумался. Ты думаешь, мы с жиру взмолились насчет этого проклятого «дабля»? Ведь уже по одному нас было начали щелкать. Летит и охотится, как на джайрана. А теперь двое суток уже не летают, дышим.

Отец достал новую свечку, обжег фитиль. Аккуратно соскоблил ножиком старые свечные наплывы, скатал шарик. Мне становилось непонятным присутствие отца в шалаше комиссара в такой хозяйской роли. Не назначили ли его на должность ординарца?

Спросить в упор — неудобно. Поговорили о раненых: сколько их, когда можно запрашивать корабли. Раненых было теперь не пятьдесят три, а семьдесят два. Вывозить лучше у Коктебеля, где охрану держат румыны.

И, наконец, когда обо всем наиболее важном было переговорено, я почувствовал себя вполне подготовленным к беседе с комиссаром и спросил отца:

— Да где же комиссар? Извещен ли он о моем приходе?

— Извещен, извещен, Сергей... А как же... Лелюков — командир точный.

— А где же он?

- Перед тобой.
- Как передо мной?
- Да я-то и есть комиссар, Сергей.
- Отец, ты шутишь?
- В таких делах не шутят.
- Мне называли другую фамилию...
- Кличка, Сергей, кличка. Работаем незримые.
- Значит, мне придется с тобой говорить?
- О чем?
- О делах.
- Так мы уже обо всем поговорили.— Отец уже без

улыбки всмотрелся в меня, притянул к себе, поцеловал куда-то в плечо, отвернулся и сказал:— Иди к Лелюкову. Теперь ты ему нужен. Возвращайся сюда, вот это тебе и кровать.

— А ты как же?

— Я пойду с обходом. До утра меня не жди.— Отец быстро собрался и ушел, прихватив подмышку связку газет.

Выйдя из шалаша вслед за отцом, я нашел своих парашютистов на опушке леса, окруженных тесной толпой партизан, желающих узнать новости с Большой Земли.

Парамонов доложил, что люди устроены и накормлены. Подошел Дульник.

— С новой формой, товарищ гвардии капитан!

Теперь вместо комбинезона на мне были шаровары из плотного хаки, сшитого из гондолы грузового парашюта, стиральная военная рубаха и безрукавка из цыгейки. Шлем пришлось заменить кубанкой из мелкорунного барашка — подарок отца. На кубанке наискось была пришита кумачовая лента.

— Разместились хорошо? — спросил я Дульника.

— Отлично.— Дульник отвел меня в сторону: — Камелия здесь.

— Неужели?

— Клянусь, Сергей.

— Говорил с ней?

— А как ты думаешь? Конечно. Ты знаешь, я ее еще больше обожаю... А как она бросилась ко мне!

— Поцеловала?

— Нет,— Дульник вздохнул очень глубоко, — что нет, то нет. А что поцелуй? Внешнее проявление привязанности. Главное — внутри, душа.

— Верно, Ваня, — грустно сказал я.

— Ты куда?

— К Лелюкову.

— Нашел отца? Виделся?

— Да.

— Нам рассказывал адъютант Лелюкова о твоём отце...

Какую они подстроили штуку, а?

— Василь разве тоже знает?

— А как же!..

На поляну выехал верхом на лошади какой-то распоясанный человек с курчавыми волосами, без шапки, в кожаных штанах. Это был старшина Гаврилов, исполнявший при штабе должность, примерно соответствующую начальнику хозяйств. Гаврилов был цыганом, хотя сам всегда называл себя сербиянином. Горбоносый, с хриплым голосом, Гаврилов глубоко сидел в седле, бросив стремяна и отвернув носки в стороны, что изобличало в нем человека, незнакомого с уставной кавалерийской посадкой. Лошаденка местной горной породы, с хвостом, захватанным руками при крутых подъемах, ловчилась освободиться от трензелей, пережевывала их, перехватывая то на одну, то на другую сторону рта. Гаврилов хлопал ее пятками под бока, но из шага не выводил, что злило лошаденку и прибавляло ей бодрости.

— Муштрует, — сказал кто-то из партизан, неодобрительно наблюдавший Гаврилова, — ну, любую тебе лошадь муштрует, даже какую в котел.

— Такой характер, — рассудительно сказал второй партизан, заросший по глаза бородой, — его тоже нельзя судить, такая нация. Он на козе и то норовит...

Гаврилов отпустил поводья, гикнул. Лошаденка ринулась к просеке, но всадник направил ее по кругу: «муштровка», похожая на представление, началась.

Возле пещеры, у мангала с горящими углями, сидел на корточках Василь, переворачивая шампуры с насаженными на них кусками баранины. Рядом с ним на траве стояла медная чашка с солью. Когда угли вспыхивали, Василь брал соль, бросал на огонь, забивал его. Запахи жареного мяса и чад от стекающего на угли жира дразнили аппетит.

Василь увидел меня, кивнул головой в сторону пещеры, и я зашел к Лелюкову.

В пещере попрежнему ярко горели дрова, возле огня

сушили на палках кожаные постолы с поржавевшими шипами на подошвах. Возле очага был устроен стол из ящиков, приготовленный к ужину. Лелюков же и присутствующие здесь командиры сидели на кровати — надгробии, накрытом буркой.

— Присаживайся, Лагунов, — пригласил Лелюков, — мы тебя с места в карьер посвятим в дела... текущие дела... И знакомься, с кем незнаком.

У Лелюкова были известные мне Кожанов, Семилетов, которые меня не узнали, а я им не стал напоминать о себе. Яша тоже был здесь и, пригласив меня присесть возле него, подвинулся.

— Насчет вывозки раненых, — пояснил Лелюков, указывая на карту-двухверстку, лежавшую на бурке. — Мы надоели с этим делом Большой Земле, но что поделаешь — есть война, есть раненые.

Яша держался солидно, с полным достоинством, не робел. То, что из командиров отрядов один он присутствовал на обсуждении очередной операции, заранее доказывало: опять Молодежному отряду предстояло задание. Поэтому Яша внимательно слушал, по своему обыкновению собирая на лбу морщинки гармошкой.

Лелюков развернул карту и ознакомил меня с тяжелым положением его соединения, — к зиме оно снова ухудшилось. Против Лелюкова действовал некто Мерельбан, эсэсовский полковник, специально натренированный на партизанской войне.

Круги блокады неотвратимо суживались вокруг гор. Партизаны отмечали сожженные деревни красными штрихами, похожими на вспышки огня. Эти вспышки окружали эллипс партизанского района.

— Видишь, куда нас загнали, — Лелюков медленно обвел эллипс карандашом, — коричневое — горы, зеленое — леса, похоже на дыню-зимовку. Вот на этой «дыне» мы и кукуем... Вытащили сюда провиантские базы, будем пока жить, пока, — а пополнять нечем. Как правило, боевые операции поглощают меньше людей, чем продовольственные.

— Приходится уходить и отбиваться с грузами, — пояснил Семилетов.

— А как с боеприпасами?

— В обрез, конечно, не на вес золота, потому — золото у нас не в цене, натуральное хозяйство... А на вес крови, — добавил Семилетов.

— Это уже Кожанову больше известно, — взглянув на начальника штаба, сказал Лелюков, намекая на последнюю операцию, о неудаче которой говорил мне отец.

Кожанов смолчал. Жесткий, нечесаный чубик спускался на его лоб, немецкая серая куртка была расстегнута, на шаровары насыпался пепел от толстой самокрутки.

В отличие от начальника штаба Семилетов был гладко выбрит, одет в защитную гимнастерку и ничего немецкого — ни обмундирования, ни оружия.

Приступили к обсуждению операции по вывозу раненых.

Соединение испытывало нужду в боеспособных людях, и выделить сильный конвой было трудно. Лелюков, попросил меня ограничиться для сопровождения парашютистами моей группы, которым все равно надо возвращаться на материк.

— Мы дадим своих на возврат, ну, сколько, Яков? Человек пятнадцать?

— Вывозить тяжелых будем вычным транспортом, — сказал Лелюков.

— Лошадьми?

— Да.

— Лошадки местной породы, — сказал Семилетов, — неказистые на вид, но цепкие, как кошки.

— У нас есть в запасе, в пещерах-конюшнях, в первой бригаде, румынские кони, — сказал Лелюков, — окорочка, как у раскормленных кабанов, но... — он развел руками, ухмыльнулся, — лучше придержать на шашлыки.

Лелюкову было известно мнение отца о маршруте вывоза раненых. Он также подтвердил, что лучше ориентироваться на участок между Коктебелем и Карадагской научной станцией. Точнее — избрали район мыса Мальчин, куда и решили требовать присылки катеров. Пароль мне был дан на Большой Земле на память, а пункт и время встречи надо было согласовать.

Несмотря на то, что решались вопросы чисто штабные, Кожанов молчал, изредка пикировался с Семилетовым и держался нарочито отчужденно от товарищей. Шифровку набросал Семилетов, и он же отправился к Асе, чтобы передать по радио.

Лелюков пожурил Яшу за то, что он рискнул двумя лучшими разведчиками — Шуваловым и Кариотти — для неясной комбинации с вырубкой молодого радиста.

— Они выполнят задание,— сказал Яша.

— Смотри,— погрозил Лелюков,— а в другой раз соображай. Нельзя, брат ты мой, наваливаться все на одних и тех же. Выдвигай новые кадры для подобных операций. Кстати, что с Фесенко?

— Где-то отстал, — уклончиво ответил Яков, — проверяем.

— Вот его я не советовал бы таскать в операции.

— А что же с ним делать?

— Приковать хотя бы возле нашего сербиянина — Гаврилова. У того глаз — пластырь. Приклеит — не оторвешь. Да и пистолет в свободной кобуре. — И, повернувшись к Кожанову, сказал начальнически строго:— А тебе, Петр, нечего гимназистку разыгрывать. Пока тебя от твоих обязанностей никто не освобождал... С хозяйственной стороны всю экспедицию поручи сербиянину. Пусть подберет выюки, пересмотрит ковку, лошадей выдаст, какие получше, а не кляч.

— Слушаю! — сказал Кожанов. — Можно итти?

— Разрешу — уйдешь... Василь! — В пещеру вошел Василь. — Как у тебя шашлыки?

— Готово, товарищ командир. На сколько?

— На всех присутствующих, да не забудь комбрига, да Гаврилова позови сюда, да... Лагунов, с тобой кто-то прибыл?

— Дульник, старшина.

— Командир парашютно-диверсионной?

— Да.

— Как же его забыть! Ловко сработал, пальчики оближешь. Слышал, Василь? Найди старшину Дульника, сюда его, на ужин. Иди!

Берег моря у мыса Мальчин пенился, волны катились с угрожающим шумом. Моросил дождь, когда мы подошли к мысу в ночной тьме. Противодесантная оборона побережья в этих районах осуществлялась отдельными немецкими сторожевыми постами, расположенными на расстоянии двух километров друг от друга. Это были неглубокие окопы с примкнутыми ячейками и площадками для пулеметов. В пологих местах берега иногда устроен был проволочный забор в один кол и закладывались мины. На участке же Феодосия и до озера Ашиголь тянулась сплош-



ная полоса проволочных заграждений, минных полей, артиллерийских позиций и прожекторов.

Туда мы и не думали соваться. Мы избрали для операции пустынный и неудобный берег Коктебельской бухты, где нес охрану румынский кавалерийский полк, которым командовал белоэмигрант-полковник, предпочитавший отсиживаться ночами в Феодосии под прикрытием гарнизона.

Перед выходом экспедиции прибежала к нам обрадованная Ася с принятой ею оперативной сводкой о форсировании Керченского пролива войсками Отдельной Приморской армии и моряками Черноморского флота и Азовской военной флотилии.

Наступательные операции наших войск могли заставить противника усилить охрану побережья, и поэтому я решил предпринять все меры предосторожности. Гаврилов вместе с парашютистами оставался в ядре отряда, скрытого в скалах, а круговое охранение несли комсомольцы из Молодежного отряда.

Татарские лошади пугались моря, и чтобы они не выдали нас, Гаврилов замотал им морды.

Мы вышли на побережье и залегли в кустах смолистых теребинтов, прогрызших своими корнями скальные известняки.

Со мной были Яков и Дульник, который возглавлял уходивших на Большую Землю парашютистов. Сейчас мы проводили вместе, может быть, последние минуты.

Мы лежали и всматривались в море. Сюда должны были подойти корабли. Пока их не было. Мне уже казалось, что немцы могли запеленговать рацию Аси, перехватить радиogramмы, расшифровать (идеальных кодов в мире не существует). Могли выйти патрульные катера из Феодосии или Судака, могли быть береговые засады, и, может быть, где-нибудь близ нас, так же поеживаясь на сырых скалах под морозящим дождем, лежат враги, выжидая удобную минуту для нападения.

Со мной был электрический фонарь-морзовик с сильным лучом. Вот им-то я и должен буду писать кораблям «Сейчас будет» в ответ на «Антон Иванович ждет».

Приближались зимние штормы. Уже сталкивались над морем циклоны, приходившие из Адриатики и с Карского моря. Наступало время, когда Черное море, потеряв свои зеленоватые и ультрамариновые краски, становится действительно черным. Я напряженно смотрел в море. Ни

одного огонька, только глухая россыпь прибор, скрежет камней и пена, как овечье руно.

Валы прибор переламывались у берега, сыпали камнями и, тяжело рухнув, уходили с шипением и гулом. Влево и вправо поднялись курые столбы электрического света, лениво пощупали низкие облака, погасли. Вверху слышался моторный гул, шедший на запад, к Балканскому полуострову. Это, вероятно, шли боевые корабли минно-торпедной авиации — «длинной руки» Черноморского флота.

— Огонек, — шепнул Дульник.

— Где?

— Правее... еще правее... пишет!

В море, как круговой полет светляка, замелькал огонек — сигнал с корабля.

— ...тонет Иван... — читал Дульник шопотом, — о-э-ич...

Судно сильно бросало, и конец фразы мы потеряли. Мои глаза, казалось, лопались от напряжения. Мне мерещились всюду световые точки и тире. Но вот сигнальщик начал выписывать пароль уже не дальше как в пяти кабельтовых от береговой черты:

«Антон Иванович ждет».

Слышно было, как заработал мотор, сторожевой катер маневрировал у берега малым ходом, приглушив два остальных мотора. Затем зарокотали торпедные катера, и обостренный слух донес звуки прыжков редана<sup>1</sup>.

«Сейчас будет», — ответил я фонариком.

— Наши! — взволнованно сказал Яша. — Большая Земля!

Громче застучали моторы, — торпедные катера прошли параллельным берегу курсом.

По моему приказанию Яша ушел выводить раненых к берегу. Мы с Дульником спустились вниз. Мокрые голыши стучали под нашими подошвами. Валы с хрипом бросались на берег.

Вскоре мы увидели на гребне вала шляпки.

— Молодцы, резвы! — похвалил Дульник.

Парашиотисты уже были на берегу. Этих бывших моряков не надо было учить, что делать возле моря. Когда лодки перевалили прибор, они бросились к ним. Слышались голоса:

<sup>1</sup> У торпедных катеров днище для быстроты хода не ровное, а уступами, — называется «редан».

- Давай на себя «четверку»!
- Тузик<sup>1</sup>, тузик принимай!
- Пять «грелок», ребята! Ого!
- Лагом не ставь. Бери «грелку» наподхват!
- Так!

«Грелками» моряки называли надувные резиновые лодки.

На одной из лодок-«четверок» пришел боцман с пулеметом. Боцман спрыгнул на камни, спросил старшего на рейде.

— Надо быстрее грузить, — сказал он мне, — раненых на «четверки», чтобы ненароком не поломать, а здоровых — на остальной мелюзге. Вот-вот должна быть вторая «четверка». Михал Михалыча жду.

— Михал Михалыч будет здесь?

— Разве утерпит!

— Да вон «четверка»!

Боцман бросился к воде и почти без помощи других, ловко выправив нос шлюпки, поставил ее на камни. В «четверке» Михал Михалыча не оказалось. Гаврилов быстро грузил шлюпки. Его простуженный голос слышался везде. Я спросил у боцмана, почему не оказалось на «четверке» Михал Михалыча.

— Эва, — ответил боцман, — да и не должен он быть на ней. Он сейчас подвалит.

И вслед за этим, будто из пучины, вынырнула надувная резиновая лодка с двумя людьми: один из них — с острым капюшоном зюдвестки — сидел на носу, второй лихо работал куцым двухлопастным веслом.

— Вот, будь здоров, и сам! — доложил боцман.

Михал Михалыч, весь в черной коже, на береговой волне прыгнул с лодочки, подхватил ее, будто перышко, и лодка бортами, похожими на толстую колбасу, легла на голыши.

Еще до того как Михал Михалыч справился, из лодки выскочил человек в зюдвестке. Михал Михалыч заметил меня, подошел.

— Лагунов! Помнишь меня, бродяга?

— Еще бы, Михал Михалыч!

— Будь здоров, Лагунов! — Михал Михалыч подал мне свою мокрую руку, пронзительно взгляделся в меня. — Да,

<sup>1</sup> Тузик — легкая шлюпка на двух человек.

да, тот самый бродяга, — теперь только он крепко ответил на мое рукопожатие. — Мать честная! Во что только обстоятельства жизни могут превратить порядочного марсофлота! Папаха, шаровары — ну чистый татарин!

Спутник Михал Михалыча сбросил капюшон с головы, и на плечи упали две черные косы. Женщина постучала ладошками, подняв вверх руки, и мне показалось, что на пальцах мелькнули серебряные кольца. Не видя лица, а только по этим характерным движениям, я узнал Мариулу.

Михал Михалыч будто нарочно, чтобы отвлечь мое внимание, обрушился на меня с вопросами, стараясь заслонить свою спутницу.

Цыганка быстрыми взмахами ладошек распушила юбки и, не глядя на брошенную на камни эюдвестку, быстрым, пляшущим шагом пошла к береговым скалам.

Бойман поднял плащ, догнал ее и провел мимо партизанского поста у тропы. Цыганка побежала вверх и пропала в темноте. Свистел ветер, стучали камни, а моему воображению чудились блеск ее перстней, топот ног и звуки таборной песни.

— Для чего вы ее привезли? — спросил я Михал Михалыча.

— Кого?

— Цыганку.

— Разве? — невинно переспросил Михал Михалыч и, наклонившись ко мне, шепнул: — Про нее забудь, была — нет. Как ветер!

«Четверки» скрипели килями, поднимались на волнах и уходили в море. Весла матросов рвали воду, на какое-то мгновение мелькал кильватерный бурунок, и шлюпки, как бакланы, то поднимались на гребни, то опускались и исчезали из глаз.

Гаврилов деятельно распоряжался погрузкой. Якова не было: ему пришлось охранять район операции. Наконец все раненые были отправлены на корабли. Пришла «четверка», захватила последних парашютистов. Дульник расцеловался со мной и ушел на «тузике», впереди «четверки».

Михал Михалыч, получив от меня «добро», потряс меня на прощанье за плечи, и через секунду его надувная лодка замаячила на шумной волне, провалилась и больше не появлялась.

Усиленной заработали моторы. Запрыгали торпедные

катера. На миг появился силуэт сторожевого корабля, и сразу же пропала из глаз его тонкая мачта.

Гаврилов стоял на берегу. Волны окатывали его, но он не уходил, подставив всего себя соленой воде и пене. Старшинскую свою фуражку Гаврилов высоко держал над головой, провожая ушедшие к Кавказу корабли черноморцев.

### Глава седьмая

## ВСТРЕЧИ

После операции у мыса Мальчин мы, чтобы не мучить лошадей по трудной местности, взяли севернее горы Сюрюкая, удачно пересекли шоссе между Коктебелем и Отузами и углубились в горный район. День пришлось переждать в ущелье. Возобновили поход после сумерек и к рассвету достигли передовых застав партизанского района.

Измученный горным походом, я проспал в шалаше отца до полудня. Проснувшись, увидел за столом отца и Лелюкова, вполголоса разговаривавших между собой.

— Чернослив,—сказал Лелюков, рассматривая ягоду,— а как мох ели? Ты мох ел, Иван Тихонович?

— Не люблю мох с детства, так же как и тюрьму,— пошутил отец.

— А кто любит? — Лелюков посмеялся. — Видишь, Иван Тихонович, ты партизанил на Кубани, там смешно мохом питаться. Сколько там груш, каштанов, кислиц, орехов разного сорта, пожалуй, и дикий мед можно отыскать, а крымские горные леса бесплодные! Возле селений что хочешь — всякие фрукты, а лес — только дрова.

— Как все-таки мох ели? — спросил отец. — Может быть, это, как символ, что ли? Мох, мох!

— Какой там символ! В первую зиму, когда у меня только один отряд был, восемь дней питались этим «символом». Перед этим Гаврилов привел кобылу, худая была — хватило не надолго. А мох так ели: варили вместе с золой в котелках.

— Зачем же с золой?

— Отбивала зола всякий древесный яд, плесень... Я не знаю, почему именно с золой, но с ней лучше. Четыре части моха, одну часть золы, варили, потом отжимали и ели. Или же готовили по другому способу. Жарили его сухим

в ведре или на железном листе. Мох прожаривался, становился ломким таким, коричневым и даже вкусным.

— Да-а... — протянул отец, вздохнув. — Ну?

— Позже, к весне, добыли лошадей. Конину ели, а из шкур делали себе балаганы. А зимой съедали балаганы. Кожу тоже надо есть со смыслом, умеючи.

— Чего вспоминать? — остановил Лелюкова отец. — Есть мох, шкуры... обидно... И вспоминать-то тошно...

Отец увидел, что я лежу с открытыми глазами, позвал к столу.

Я доложил подробно об экспедиции. Лелюков, оказывается, знал Михал Михалыча еще до войны. Михал Михалыч был популярен на побережье.

— А с цыганками зря, — сказал он, — перестарались. Рокамбольщина какая-то в такой серьезной войне. Зря!

— Почему зря? — спросил отец. — Почему пренебрегать? По-моему, одна пронырливая цыганка с колодой карт в руках может сделать другой раз больше, чем, к примеру, такая разведка, какую произвел Редутов.

— Редутов? — переспросил я. — Саша Редутов?

— Да, ответил отец, — он знает тебя по Севастополю, рассказывал не раз...

— А что с Редутовым? — спросил я.

— Видишь, — сказал Лелюков, — с большими трудностями мы сумели вывезти своих раненых. А вот Редутов, пока ты раненых вывозил, привел из разведки еще трех. Одному половину челюсти оторвало. Что с ним делать? Второму, хорошему бойцу, — руку; третий на одной ноге прискакал. И главное, ничего путного не сделал, зря людей покалечил...

Отец покусал усы, нахмурился, искоса поглядев на Лелюкова, сказал:

— Им пришлось пройти шоссе, посты полевой жандармерии в степи. Это тебе не горы. Долина Расан-Бая, знаешь, какая? Катайся по ней, как дробь на блюде.

— Добряк ты, комиссар. Сам же ругал Редутова, а теперь заступаешься!

— Я побранил, но не дотла. Гнев-то не всегда полезен. А потом парень-то он несмелый... Да и привел с собой он девятнадцать человек пополнения. Колхозников. Стариков.

— Мне бойцы нужны, а не лишние рты, — Лелюков отмахнулся.

— Эти тоже будут воевать, — сказал отец.

Я попросил, чтобы позвали Сашу, и Лелюков приказал Василию отыскать его и привести сюда. Я рассказал Лелюкову о моем знакомстве с Сашей.

— Надо его понять, — сказал я, — другой весь на виду, некоторые сами себя поскорее стараются вывернуть, а Саша позировать не умеет.

— Верно, — подтвердил Лелюков, — мы его раз попробовали при отходе. Проверка была насмерть. Выдержал.

— Вы же его знаете по Карашайскому делу.

— Всех не упомнишь...

— Его отмечали в сводке Информбюро, — сказал я. — В сорок первом. Под Чоргунем. Двенадцать немцев убил.

— Что ты говоришь! — воскликнул Лелюков. — Представь, как можно в человеке ошибаться, а ведь и верно: другой норовит на копейку сделать, на рубль продать. Вертится под ногами, как кутенок, не заметь его, попробуй! А этот! Я считал, что у него искры нет, хватки.

— А искорка-то у него, выходит, как в кремне, сидит, ее надо добыть, — сказал отец.

— Ну-ка, достань кружку, Василь, — приказал Лелюков, — ополосни ее... Да пальцами, пальцами не вытирай.

— Редутов вино пить не станет, товарищ командир, — сказал Василь, — нипочем не станет...

— Что же он — трезвенник?

— Он любит покрепче, — Василь добродушно подмигнул.

— Ишь ты! — Лелюков покачал головой. — Проверим. Там, Тихонович, у тебя имеется что-нибудь покрепче?

— Найдем...

Саша вошел в шалаш, пригнулся у входа, выпрямился и четко доложил о себе. Из-под свалывшегося курпея папахи, упавшего на брови, глядели его чуть косоватые глаза, обращенные к Лелюкову.

На Саше была надета меховая безрукавка, у пояса — наган и нож в оправе.

— Лагунова не узнаешь? — спросил его Лелюков.

Саша быстро осмотрелся, увидел меня, шагнул вперед, но вдруг его руки опустились по швам.

— Я слышал, что... вы здесь... Не верилось, абсолютно не верилось.

Я подошел к нему, поздоровался.

— Опять называешь меня на «вы»? Забыл наш уговор?

— Как говорится, условия субординации...

Лелюков присматривался к Саше как-то по-новому, не с обычной своей хитринкой, а открыто, в упор.

— Садись-ка к столу, Редутов, без всякой субординации, — пригласил Лелюков.

Налили в чашки спирту из баклажки, принесенной отцом, развели его водой из горного ключа. Запах спирта заставил Василя блаженно улыбнуться, ноздри его расширились, но, уловив строгий взгляд Лелюкова, он быстро замигал белыми ресничками, и на его лице появилось деланное безразличие.

Пришел Гаврилов. Недовольным и хриплым голосом доложил о состоянии лошадей, прибывших с нами от мыса Мальчин: кони перепали, шкуры подрали колючками, отлетели подковы...

Гаврилов снял свою морскую старшинскую фуражку с козырьком, положил наземь, налил себе спирту прямо из баклажки.

— Спирт неразведенный, — предупредил Лелюков. — Горло сожжешь!

— А я так уважаю по целине ходить.

Гаврилов чокнулся кружкой со мной, с Сашей, выпил. Я наблюдал за Сашей: зная, что сейчас проходит проверка, мне хотелось его предупредить, но Лелюков остановил меня красноречивым взглядом.

Саша быстро, не отрываясь, выпил всю кружку, потянулся за черносливом. Затем, очевидно, считая, что никто уже не наблюдает за ним, расстегнул верхние пуговицы ворота, подтолкнул Гаврилова:

— Еще по одной.

Гаврилов налил. Саша взял кружку, зажмурился, понюхал и удивленно открыл глаза: Лелюков отнял кружку.

— Парень, парень, — Лелюков укоризненно покачал головой, — выходит, и в самом деле пьешь?

Саша смутился, застегнулся вновь на все пуговицы, встал. Лелюков разрешительно кивнул ему, и Саша вышел.

Лелюков посмотрел ему вслед, вынул из портсигара папиросу.

— Видишь, какой он! К спиртному не приучайте.

— А что такого? — сказал Гаврилов. — Его дело.

— Нет, не только его. Врага побьем, а пить научимся? Зачем? Ему жить-то еще долго... Сколько на моих глазах замечательных людей спивалось!.. Возьмем хотя бы наших



рыбаков, Иван Тихонович. Глядишь на иного, будто кованный, — Лелюков погладил медный кувшин, — а зелье войдет раз, два, три — и рассыпается человек на глазах по молекулам. Иди, Василь, погляди, что Сашка делает.

— Он декламирует стихи, товарищ командир.

— Вон как! — Лелюков задумался, прошелся по шалашу. — Если разобраться, нужно сейчас уже, в войну, воспитывать у людей стремление к мирному труду.

— То есть? — спросил отец.

— А вот как, комиссар, к примеру: Сашка любит читать стихи. Пусть. Не останавливать его, хвалить.

— Готовить из него артиста?

— Хотя бы.

— Так... — сказал раздумчиво отец. — А у моего Сергея какие стремления воспитывать?

— Да ведь он военную школу кончил. Пусть и остается военным.

— А говоришь, готовить профессии для мирной жизни?

— Мирной-то жизни не удержать без армии. Кому-то надо, Иван Тихонович.

Отец задумался.

— Нашего Гаврилова, — уже с улыбкой продолжал Лелюков, — заставим организовать цыган. Посадить их на землю.

— Легко будет на земле Гаврилов, — сказал отец.

— Утяжелим. Женим его. Найдем невесту.

— У меня уже есть...

— Когда успел?

— После госпиталя. Из Сочи на «кукурузнике» смотался в Краснодар. Узнал, где цыгане кочуют. Нанял грузовик и к ней, в станицу Тенгинскую... Приезжаю в табор, все налицо: голопузые пацаны, молотки, наковальни, шатры, а Мариулы нет...

— Мариула? — переспросил я.

— Ну да, Мариула. По-русски, ну, скажем, Марня. Отец отвечает: «Опоздал ты. Засватали уже Мариулу». Гляжу я, за табором, у самой Лабы, под вербами 'линейка. У дышла на отстегнутых постромах пара добрых кабардинов с торбами. На линейке сидит моя Мариула... Рядом — парень чубатый, в сапогах, с кнутом. Ничего себе парень, красивый... — Гаврилов налил себе еще спирту.

— Забери у него, Василь, — приказал Лелюков, — а то

не дослушать нам его. Дальше? Увидел чубатого парня и по своей привычке пистолет из кармана?

— Зачем пистолет? Я хитрость применил. Грошей-то у меня полны карманы. За два года жалованье получил. Упросил шофера своего послужить мне: дал ему пятьсот рублей, чтобы подождать дотемна. Согласился шофер, потому что я объяснил ему все начистоту. Сделал он маневр, вроде уехал, а сам завернул в кукурузу, а я сижу да покуриваю с отцом Мариулы. Через час чубатый уехал в Тенгинку, а Мариула вернулась к шатру. Поздоровались. Поговорили о том, о сем, а о главном — ничего. А когда стемнело, вызвал я ее из шатра, и пошли мы с разговором к кукурузе. Прошу ее: «Оставь парня». Она смеется: «Он красивый, а ты нет». Тогда я бушлат ей на голову, к грузовику — и... айда...

— Здорово! — изумленно воскликнул Лелюков. — Куда же ты ее уволок?

— Куда же? Ясно, в горы. — Гаврилов хрипло засмеялся. — Привыкли мы к горам, сам знаешь... Катим по шоссе, думаю: пара пистолетов есть, сумка с патронами... В случае погони...

— Ах ты, Гаврилов, — пожурил Лелюков, — да разве так можно?

— Попугать думал, товарищ командир, пошутить.

— Знаем твои шутки, — строго сказал Лелюков. — Дальше-то что? Лирику давай, Гаврилов, а насчет погони, пистолетов и так надоело. Про любовь рассказывай.

— Четыре часа дуем к горам по аховой дороге. Смеется моя Мариула, глядит на меня, спрашивает: «Куда везешь?» Отвечаю: «К твоей судьбе». Тихо говорит: «Надо подумать, погадать...» Вот, думаю, опять гадать... Приехали мы, Иван Тихонович, в твою станицу в Псекупскую.

— Почему же именно в Псекупскую?

— Тоже по хитрости. Горы-то длинные, конца нет, а в Псекупской, думаю, тебя знают, в случае чего какую-нибудь поддержку найду. Позолотил я еще раз руку шоферу: езжай, мол, братик, обратно, грузи шатры, детишек, отца с матерью и тщи сюда.

— Гаврилов, что же ты делал! — с возмущением воскликнул Лелюков.

— Справлял свою жизненную судьбу, командир. Привезла машина семью Мариулы, а я уже снял комнату над речкой у казачки, вина запас сделал, индюшек нарезал.

И пошли куролесить... Вот так и провел свой отпуск по ранению.

— Ловкач! — сказал Лелюков. — А как же с Мариулой? Женился?

— Только засватал.

— Вот тут ошибся. Все твои труды пошли прахом.

— Почему?

— Как почему? Ты сюда, а к ней приедет чубатый молодец и уведет.

— Такого не может быть никогда! — сказал твердо Гаврилов. — Она клятву дала.

— Какую?

— Нашу цыганскую. Сильную клятву...

Когда Гаврилов ушел, я рассказал Лелюкову и отцу о моей встрече с цыганкой.

— Гаврилову ничего не надо говорить о Мариуле, — сказал Лелюков.

И мы до весны не нарушили наш уговор. Гаврилов так и не знал, что где-то близ него, на крымской земле, находится его невеста.

В этот же день я разыскал Сашу в расположении Молодежного отряда, возле финского шалаша, где крикливый парень в бушлате учил группу молодых ребят из резерва отряда владеть ручным пулеметом.

Саша поведал мне о своих приключениях, сопутствовавших его появлению в соединении Лелюкова.

Севастополь был оставлен 2 июля 1942 года. Небольшая группа матросов, в которой был Саша, дралась в прибрежных скалах до 10 июля, а потом оставшиеся в живых прорвали кольцо у Балаклавы и горами дошли до Судака.

Они держали путь к Керченскому проливу, чтобы переплыть его и попасть на Большую Землю. Но немцы захватили Тамань, дошли до Новороссийска. На левом берегу пролива тоже был враг. Пришлось остаться в Крыму, в районе Судакских гор.

Однажды зимней ночью недалеко от берега показался советский эсминец. Корабль спустил катера и высадил десант из двухсот тридцати матросов между горами Орел и Сокол. К десанту присоединилась группа Саши. Высадка прошла без выстрела, но дальнейшая операция протекала менее удачно. Моряки столкнулись с танками противника на дороге близ совхоза «Новый свет» и с матросской горячностью вступили с ними в бой.

Было убито больше двухсот человек. Осталось в живых всего двадцать три человека. Они уходили отбиваясь. Матросы сдирали с лица и одежды корки льда, а колени, как сказал Саша, трещали в ходу.

Пищи не было. Ели корни и мох.

С ними уходил один крымский коммунист, бывший партизаном еще в гражданскую войну, знавший расположение некоторых баз, подготовленных для партизан. К одной из таких баз, зашифрованной под именем «Приют семерых», где в старинных пещерах греческих монахов были сложены провиант, спирт, обувь и зимняя одежда, шел отряд, преследуемый известным Мерельбаном, который командовал тогда полком «Черных следопытов».

Оторвавшись от погони, матросы перебрались через ущелье и подошли к пещерам.

«Приют семерых» был разграблен. Валялось лишь несколько пробитых штыком консервных банок и на стене вырезано кинжалом: «В горах вы найдете свою гибель».

Матросы разожгли костер, натопили снегу, сварили два последних автоматных ремня, съели их.

На дым костра пришли партизаны бригады Семилстова, искавшие матросов по заданию Большой Земли, и привели их к Лелюкову.

Рассказ Саши невольно возвращал меня к мысли о Пашке Фесенко. Вот как понимал вопросы чести и долга Саша Редутов. А если бы наши советские молодые люди поступали так, как поступает Пашка Фесенко? Неужели мы найдем в своих сердцах какое-то сострадание к таким, как Пашка? Меня утешает, что хорошей, мужественной, преданной молодежи больше, гораздо больше, чем таких, как Пашка. Я делюсь своими мыслями с Сашей, и он согласен со мной.

— Я тоже думаю, Сергей, — говорит он, — хорошей молодежи много больше, чем плохой.

На пятый день моего пребывания в лесу я сидел в шалаше отца и писал план своего доклада на совещании командного состава соединения о подготовке плацдарма для наступательных действий Красной Армии. Я услышал, что кто-то вошел в шалаш, остановился возле порога, но я продолжал писать не оборачиваясь. Мне показалось, что кто вошел отец.

Чьи-то руки закрывают мне глаза, я вскакиваю и вижу

перед собой Люсю — исхудавшую, с косичками, упавшими на плечи, в разбитых туфлях, забрызганных грязью. Я шепчу только одно слово — ее имя — и вижу, как слезы заволакивают ее глаза, и, уже не сдерживая своих чувств, она рыдает громко, вздох и безвольно, как надломленная, опускаясь на мои руки.

Полог шалаша приподнимается. В дверях улыбающийся Яша.

— Баширов сделал налет на тюрьму, Сергей, — сказал он. — Мы давно вынашивали план этой операции...

### *Глава восьмая*

## КАТЕРИНА

Деревья начали сбрасывать листву. Обнажились горы, чаще поднимался туман. И однажды утром, выйдя на поляну, я увидел придавленные инеем травы.

Птицы улетели, и горы начало забрасывать снегом. Вначале — Чатыр-Даг, который виден отсюда, а потом и более низкие горы — Айваз-Кош, Сугут-Оба, Эльмели.

Несмотря на зиму, связь с Большой Землей становилась все теснее и теснее. Партизанские отряды теперь все плотней объединялись армией, готовившей наступление на южном стратегическом крыле фронта.

Мне приходилось в трудной обстановке выполнять свои обязанности. Оперативные расчеты, педантично требуемые от штаба Лелюковым, Кожанов делал спустя рукава, со злым пренебрежением к бумаге. Он по одной мерке решал все задачи.

Может быть, поэтому соединение Лелюкова в наиболее драматический период, когда клещи карательных отрядов сжимали его, и потерпело несколько поражений.

Я не узнавал в сегодняшнем Кожанове того капитана, который когда-то ночью рассказывал о бое у села Заветного.

Изменился и Лелюков: стал грубее, я бы сказал, деспотичней, но не утратил своего командирского чутья. Он умел видеть главное, не пренебрегал советами других и к критике относился терпимо.

Кожанов же любил поучать других, но сам не выносил

чужих советов. Он понимал смысл моей роли и болезненно это переживал.

— Ну что ж, молодой человек, — как-то сказал он, — если больше меня знаешь и лучше соображаешь, валяй! Мешать не буду — значит, тебе виднее. Поглядим — увидим.

Кожанов пренебрежительно относился к разведке, ограничиваясь сведениями, необходимыми только для его соединения. Политико-моральное состояние частей противника его мало занимало.

Затребованный нами новый начштаба не был прислан Большой Землей, а вместо него прибыл пакет с инструкциями и предписание, адресованное на мое имя.

Инструкции привез однажды ночью «авиакомар», опустившийся на условное место, освещенное горящим в банках мазутом.

К зиме мы покинули Джейляву и перешли на семь километров юго-восточнее. На Джейляве оставили Гаврилова с тыловым хозяйством и первую бригаду Маслакова. На новых местах быстро устроили блиндажи, вырыли и утеплили землянки, мне отвели отдельную. Лелюков, по моей просьбе, посылал меня в операции. Через месяц я успел побродить со своими отрядами, изучить их, побывать в стычках.

Щупальцы партизан стали расширяться. Теперь не Мерельбан преследовал нас, а мы не давали ему покоя: вырезали сторожевые посты, громили мелкие отряды. Мы лучше наладили связь с партизанами-соседями, и теперь стыки между соединениями не угрожали нам, как прежде, и возможности изоляции того или иного партизанского района стало гораздо меньше.

Нами была установлена связь крымских татар с турками. Две недели мы сторожили побережье и обнаружили выброску на полуостров турецких агентов. Взрослое население татарских сел, расположенных в горах, ушло в долины, к шоссе, в города. Оккупанты посылали в горные села вооруженные обозы, вывозили зерно, угоняли скот, чтобы заморить нас. Приходилось думать о зиме и активизировать продовольственные операции, с боями отбивая у оккупантов обозы. Захваченное продовольствие и оружие приходилось рассредоточивать по разным лесным похоронкам и минировать базы, что зачастую спасало их от разграбления.

Мы высылали боевые разведки в высокогорные кошары, откуда пополняли наши мясные запасы и вызволяли загнанных туда немцами советских женщин.

Теперь уже Чатыр-Даг по всей своей каменной вершине был обсыпан снегом, студеные зимние облака надолго прицеплялись к скалам, торчавшим, как пальцы, ноги скользили на обледенелых тропах, и вода была так холодна, что от нее ломило виски.

Однажды, позавтракав жареной кониной, мы сидели в блиндаже начштаба, возле железной печи. Пахло неструганым буком, сырой землей, отходившей от тепла, и табаком: Кожанов курил.

В блиндаж вошел ординарец Семилетова, быстрый, стремительный грузин Донадзе. Он передал устное донесение Семилетова о том, что разведчики Молодежного отряда только что привели из высокогорной кошары полонянку.

— Пойди, Лагунов, посмотри, разберись, — сказал Кожанов усмехаясь. — Лес населен врагами. Могут такую привести девушку — весь лагерь на воздух.

Большая группа партизан собралась возле вечного костра, разложенного у скалы. Партизаны окружили приведенную девушку, ее за людьми не было видно, другие стояли возле Коли Шувалова. Он пил воду из принесенного Люсей кувшина и изволнованно рассказывал, как они освободили девушку в горной кошаре на Яйле.

Саша с кинжалом подполз к двум полицейским, которые вязали чернооую русскую девушку с рассыпанными по плечам волосами, бросился на них и прикончил.

Саша сидел на пеньке, отвернувшись, словно прислушиваясь к скрипу ветвей.

Я с Люсей подошел к партизанам, окружившим девушку. Она стояла ближе к скале, отмахиваясь от дыма костра, и своими влажными черными и чуть скошенными глазами жадно выискивала кого-то в толпе.

Я смотрел на девушку, стоящую у скалы, и вдруг отчетливо вспомнил лунную ночь в ставропольском селе близ степного озера Цаца и топот девичьих черевичек по деревянным ступеням крыльца.

Да, это была Катерина — колхозница из Ставрополя, передававшая письмо Каратазову.

— А нема ли среди вас моего Петечки? — спросила она.

Это ее голос, полный скорби и надежды.

У Катерины не было сейчас сережек, она была одета в рваное платье из простого ситца. Кто-то из партизан набросил ей на плечи шаль с пестрыми стамбульскими цветами. Концы этой роскошной шали упали на землю, и Катерина небрежно наступила на нее ногой, бросилась ко мне с радостным криком.

— Ой, товарищ! — Катерина принялась осыпать меня поцелуями. — Да дайте же мне вас поцеловать! Да это же вы, тот самый товарищ! Да это же вы, дорогой вы мой! Да это ж вы!

Партизаны засмеялись, а Шувалов помрачнел, покосился на меня, и плеть, как хвост ящерицы, извивалась у его голенища.

Люся уронила кувшин на землю, и бледность разлилась по ее лицу. А глаза, милые ее глаза, сузились и с негодованием вонзились в меня.

Катерина, очнувшись от своего порыва, вдруг оглянулась кругом с тревогой. Верхняя губа ее покрылась росой, и страдальческая гримаса передернула ее лицо.

— Еще могут подумать... — выговорила она сурово и обидчиво и еще раз оглядела всех, а потом подняла голову, откинула растрепанные свои косы смуглой рукой, глаза ее загорелись негодованием. — Чего ты, черномазый чорт, рогочешь! — крикнула она Гаврилову. — А ты чего белки выкатил? А ты чего плетку крутишь, пацан? — сказала она пораженному ее тоном Коле Шувалову. — А еще свои, русские!.. Да я каждого из вас могла бы поцеловать, и нельзя смеяться, и нельзя плохое придумывать!.. — Голос ее, звеневший, как тугая струна, дрогнул. — На что вы мне нужны, когда нет моего Петечки?..

Катерина обратила внимание на Люсю, которая стояла напротив нее, прикусив губы, со сжатыми кулачками.

— Ты... ты чего? — спросила Катерина с виноватой улыбочкой.

— А что вам? Что вам нужно? — Люся спрятала лицо в ладонях и быстро побежала вниз мимо скалы, по крутой тропке, падающей к горному ручью.

— Догони же ее! — выкрикнула Катерина и толкнула меня в спину. — Догони! Да куда же она побежала? Там круча! Там лед! Эх вы, недотепы!..

Катерина растолкала людей, прошла по шали грязными своими башмаками и, не обращая уже ни на кого внимания, только покачивала головой и кривила губы.



Из землянки штаба вышел Кожанов, прищурился из-под своего чубика, падавшего на лоб.

Катерина в изумлении всплеснула руками и с криком: «Петя! Петечка!» бросилась к Кожанову.

Я не буду описывать сцены, как в крымских лесах встретились два человека, казалось, навсегда разъединенные железными законами войны.

Я нагнал Люсю уже почти у самого потока, звонко бьющего по замшелым нумулитовым скалам, схватил ее за локоть.

— Люся, милая, выслушай меня!..

— Уходи, Сергей!

— Эту девушку я видел всего один раз в разведке... Я тебе говорил о ней. И вот...

Мой горячий шопот и весь тон покорности, злости и желания скорее, скорее разделаться с этим оскорбительным на мой взгляд непониманием тех больших чувств, которые не были поняты, как бы привели девушку в себя. Люся будто обмякла в моих руках, и сейчас я почувствовал возле себя ее гораздо ближе и гораздо роднее, чем когда-либо в другое время.

— Сергей, если я поступила неверно, прости меня, — шептала Люся, — но я не могла... не могла...

Я порывисто и горячо говорил ей все, что раньше не осмелился говорить, и старался теперь, наедине, в такой момент, высказаться до конца, чтобы не оставалось никаких сомнений, чтобы она до самого конца поняла меня правильно и чтобы уже ничто не разделяло наши сердца.

— Я понимаю, — шептала Люся, — прости меня. Очевидно, я больше... женщина, чем... партизан...

— Верь... верь мне...

— Конечно... Мне только показалось... А потом, Сережа, она такая красивая, какая-то огненная, налитая... Вот такая бывает в костре головня от дуба... Я залюбовалась ею вначале. Мне хотелось подойти к ней, успокоить. И вдруг... она бросилась к тебе... — Люся прильнула ко мне, замолчала и, не поднимая головы, сказала: — Я иногда боюсь своей любви к тебе. Для меня ты все. Кроме тебя, никого, — она порывисто охватила мою шею руками, и я почувствовал на своих щеках ее слезы.

Это было, может быть, первое наше настоящее объяснение в любви. Сейчас я был счастлив слышать каждое ее слово, обращенное ко мне. Эти слова все крепче и крепче

связывали меня с любимой девушкой, мечты о которой долго вынашивались в моем сердце, и сейчас было так легко и просто.

Просто было взять ее голову своими ладонями, привлечь ее ближе к себе и, глядя в ее заплаканные глаза, увидеть и познать все, что было между нами недоговорено из-за молодой робости и слишком большой любви.

Люся прижалась ко мне, и я поцеловал ее. Мы пошли вверх по тропинке. Она обняла меня одной рукой, зябко дрожа всем телом. Близ поляны, в устье тропы, Люся приостановилась, ладонями пригладила свои волосы и спросила меня близким, родным голосом:

— А они не будут смеяться?

— Нет. Они тоже правильно и хорошо все поймут.

Ярко пылал костер, вверх летели искры, и столбом поднимался дым. Партизаны смотрели на нас, молчали. Мы прошли в блиндаж к Кожанову и Катерине.

#### Глава девятая

### ПОДХОДИЛА ВЕСНА..

Подходила весна. Мы ожидали ее с нетерпением. Она несла нам радость победы. Повеселел даже угрюмый Фатых. Он до войны работал в Солхате следователем. Его выручили из тюрьмы в одно время с Люсей. Недавно он принес из разведки вино.

— Судакское вино, Лагунов, пей! — угощал он. — Какие сочные и веселые равнины вокруг Судака, какие леса и луга! Пей!..

— На южном берегу вино лучше, — возразил я.

— На южном берегу не вино, а масло, пусть нравится, кому что подходит. Южный берег имеет нежные, душистые, бальзамические сорта винограда. «Шасла» — раз, «изабелла» — два, «александрийский мускат» — три. Вино, как масло. А сколько такого вина? Мало там вина, Сергей.

— Не так мало, Фатых. Пили люди.

— Кто мог пить то вино? А наш судакский виноград поил всю Россию. Лилась река судакского вина по всем ресторанам, гостиницам, трактирам. Спроси наших стариков — скажут. Портили его у вас сандалом, свинцовым са-

харом. А здесь, смотри, какое оно, как бог дал, так ты его пьешь, Сергей. Пей!

— Надоело, Фатых.

— Вино надоело? Не может вино надоесть. Это же земля, солнце и сладкие, сахарные росы, что наливают гроздья. Ты видел такой виноград, длинный и нежный, как девичий палец, такой, как палец... твоей Луси (он выговаривал так ее имя). Кадын-пармак называется тот виноград, или девичий палец по-русски. А еще «чауш», «шабан», «осма». Слышал такие сорта?

— Нет, не слышал.

— Вам что? Вы кушаете и не знаете, как он называется. Вам все равно. А наш судакский виноград грубый — это хорошо. — Фатых сжал свой кулак, насупился. — Толстокожий. — Он приподнял на руке кожу и долго не отпускал, будто любуюсь ею, а искося присматривался ко мне; потер ладони, добавил: — Крупный сорт. — Теперь Фатых смотрел на меня глазами, поблескивающими красным от костра, и говорил с каким-то сладострастием: — Эти грубые, толстокожие, сильные сорта винограда созревают поздно. Пусть они не годятся на вино, к которому привык русский, ничего. Зато они переносят осенний холод, далекий путь, все невзгоды и не имеют запаха... не имеют. И хорошо, что не имеют. Пей вино, Сергей! Это татарское вино, Сергей...

Доносилась песня Катерины:

Ой, боже ж мий!  
Коса моя жовтенька,  
Не мати тя роскосуе —  
Визник бичем ростирипуе.

Горная страна лежала у наших ног. Вставшая луна заливала серебристым световым туманом эти огромные окаменевшие волны. Казалось, негодующее море бросилось на материк и вдруг застыло, повинувшись чьему-то слову могучего приказа. Справа от нас крутился световой маяк на аэродроме, будто кто-то за горами баловался электрическим фонарем. Слышался отдаленный орудийный рокот со стороны Керченского полуострова, и виделось небольшое плескующие зарева.

Фатых вздохнул:

— Сегодня меня сбидел твой отец. Одно не понимает комиссар, что Фатых тоже такой же коммунист, как и он.

Потому со мной надо говорить открыто... Не люблю скрытных, тайных людей. Не люблю тех людей, кто имеет две души, кто одной рукой одному, а другой — другому. Плохие такие люди.

— Таких людей я тоже не люблю. А к чему это?

— К нам в лес начали приходиться и татары. Я тоже крымский татарин. Надо с ними говорить хорошо. Комиссар говорит мне, что татары теперь идут к нам потому, что там гудит Приморская армия, а там гудит, — Фатых махнул рукою в сторону Сивашей, — генерал Толбухин... Надо не забывать, что татарам было очень хорошо при советской власти.

— Тем более мерзко, отвратительно, неблагодарно, что многие крымские татары изменили советской власти. При советской власти крымские татары получили республику, братское содружество русского и других народов СССР, свободу от эксплуатации. Советская власть подняла этот народ, поставила на ноги, дала все для развития, для настоящей жизни. А они послушались своих злейших врагов и начали массовое предательство... Изменили общему делу...

— Я изменил? — перебил меня Фатых. — А таких, как Фатых, много...

— Многие крымские татары, ты знаешь, Фатых, по наущению немецких агентов вступили в организованные немцами добровольческие отряды, ведут вооруженную борьбу вместе с немецкими войсками против Красной Армии, против партизан. Как можно продавать свою совесть, свою страну? Ведь большинство населения крымских татар оказывает противодействия этим предателям родины, помогает им, и тем самым весь народ теряет свою честь... А если потерял честь, значит потерял все... А ты не знаешь, как говорить с татарами?.. Немцы играют с татарским народом Крыма. Поиграют до поры до времени, пока нужны будут, и бросят, затопчут. Турки тоже зарятся на Крым, на наш Советский Крым. Все народы Советского Союза храбро сражаются с врагом, защищают родину... Как дерутся казанские татары за честь своей родины!.. Посмотри хотя бы на нашего Баширова! А ты не знаешь, как говорить?

— Теперь я знаю, как говорить, — сказал Фатых. — Пора спать нам.

К нам подошел Коля Шувалов.

— Вот ты песни пишешь, Коля, — сказал Фатых, —

напиши такую песню. Горная птица, вольная птица летает, летает и не знает, куда ей сесть, кругом люди, кругом костры, везде штыки, и нет места птице, чтобы сесть и не зажечь лапы и крылья. Хорошая будет песня. Пойду спать, клонит голову...

В этот же вечер я рассказал отцу о своем разговоре с Фатыхом.

— Я вызывал его, — сказал отец, — нам нужно что-то делать с татарами. Идут к нам в лес, а с чем? Начинаешь с ними по-русски — прикидываются, не понимают. А что они думают, зачем пришли? Такие вещи должен знать Фатых, а он человек путанный какой-то, у него вывих в мозгах...

— По-моему, он вывихнул мозги всеми этими своими Менги-Гиреями, националист.

— Приглядывайся к нему, — сказал отец, — нам не след ударяться в панику, но и нельзя чего-нибудь проглядеть.

В начале весны мы усиленно занимались подготовкой минеров и диверсантов и операциями по подрыву вражеского тыла.

Молодежный отряд провел взрывы двух шоссеинных мостов и складов авиабомб и ручных гранат.

Бригада Маслакова, подтянутая ближе к Солхату, громила обозы, высылаемые в лес за дровами. Немцам приходилось теперь укрупнять обозы и охранять их танкетками и бронеавтомобилями.

Однажды Лелюков вызвал меня к себе и в разговоре упрекнул меня и Якова в снисходительном отношении к Фесенко.

— Он дал клятву отряду перед строем, — сказал я.

— Такие люди охотно дают клятвы и так же легко их нарушают.

— Фесенко пока не нарушил клятвы?

— Нарушил.

— Когда?

— Противник вырезал нашу заставу...

— Где?

— Возле Ведьминой щели. — Лелюков отвел глаза в сторону. — Хороших ребят вырезали. Сейчас там Семилетов... Разбирается...

— А при чем здесь Фесенко?

— Фесенко был в полевом карауле, не предупредил заставу и исчез. Позорное пятно для Молодежного отряда, как сам понимаешь. А кто виноват? Вы. Ты и командир отряда, — Лелюков зло высек огонь, закурил, — мягкотелые люди. Беседуете с ним, нянчитесь, фактически прощаете ошибки, а они растут, как грибы после дождя. Ты знаешь, как гриб растет? Пять сантиметров за одну ночь. А когда пройдет грибной дождь, сразу за час гриб готов.

Мне было стыдно перед Лелюковым.

— Может быть, он не виноват? — сказал я.

— По первым данным, Фесенко предал заставу. Семилетов подойдет, расскажет подробности. Об этом чрезвычайном происшествии надо доложить Большой Земле...

Мы похоронили убитых на заставе — трех комсомольцев из Феодосии. Над их могилой вытесали надгробие из камня и вырезали их имена.

Девушки положили у могилы венки из фиалок и папоротника.

Через несколько дней Шувалов, ходивший в разведку, привел из лесу Фесенко со связанными поясным ремнем руками.

Фесенко был передан на суд отряду.

### Глава десятая

## НАКАЗАНИЕ

— Отряд требует расстрела Фесенко, — сказал Яков, придя ко мне с ученической тетрадкой, сложенной вдвое, в которую обычно заносились приказы по Молодежному отряду.

Яша смотрел на меня строгими, потускневшими глазами.

— Нельзя ли еще испытать? — сказал я. — Нельзя ли подождать? И потом, говорил ли ты с Лелюковым?

— Он считает Фесенко позором Молодежного отряда, позором для всего соединения. — Яша твердо добавил: — Я тоже думаю так.

Мне хотелось посоветоваться с отцом, но он вылетел на совещание в район Большой Яйлы, куда прибыл для ко-

ординации действий представитель партизанского штаба. Семилетов же требовал немедленно привести в исполнение смертный приговор. Лелюков следил за нами, ждал и с новыми советами не навязывался.

Яков подвинул мне тетрадку, развернул на середине, где был написан приказ № 57 по Молодежному отряду.

### «§ 1

Боец-партизан Фесенко Павел Павлович был оставлен по боевому заданию в лесах близ Солхата.

Боец-партизан Фесенко не вернулся с боевого задания, сдесертировал и скрывался неизвестно где до ноября 1943 года.

### § 2

Боец-партизан Фесенко П. П. прибыл в отряд 9 ноября 1943 года. Был командованием предупрежден о его проступках.

Боец-партизан Фесенко П. П. дал клятву отряду перед строем, что он кровью смоем свое преступление перед Родиной.

После того Фесенко П. П. был послан на заставу и при появлении противника не принял боя, не предупредил заставу, вторично сдесертировал и находился в неизвестном для командования отряда месте.

11 марта 1944 года боец Шувалов встретил Фесенко в лесу и предложил прибыть в отряд или сдать оружие. Боец Фесенко категорически отказался идти в отряд и сдать оружие и тогда был приведен силой.

### § 3

Руководствуясь специальным приказом № 3 по партизанскому соединению о борьбе с изменой и предательством интересов Родины, приказываю: «Фесенко П. П., рожденного в 1924 году, расстрелять как изменника Родины. Приказ привести в исполнение перед строем».

Приказ еще не был подписан ни Яковым, ни Башировым.

Я дважды перечитал приказ, закрыл тетрадку, передал ее Якову.

— Как видишь, мотивы убедительные, — сказал Яков, — переводспитывали его долго — ничего не вышло. Ну что ж!.. Пусть получает по заслугам.

— Может быть, все же подождем отца?

— Я беседовал с комиссаром, — подчеркнуто официально произнес Яков, — не по поводу Фесенко, а вообще. Ты сам знаешь, что нам предстоит вскоре серьезные боевые операции. Каждый отряд должен быть окатан, как стальной шар, так окатан, чтобы не было ни одной щелочки. Понял, Сергей? Комиссар требовал от моего отряда полного морально-политического и боевого единства, и я должен добиваться его, устраняя все, что мешает выполнению нашей задачи. Каждый может упрекнуть нас, что мы, принимая беспощадные меры к другим, долго щадили дезертира Павла Фесенко только потому, что когда-то называли его своим другом.

— Ты вызови Фесенко, а я приду к тебе. И Баширова позови.

Был теплый мартовский день. Почки деревьев уже распустились. К солнцу жадно тянулись сочные, молодые травы, пронизывая осенние, прелые листья и прикрывая их своей нежной зеленью. Голубые и желтенькие цветочки пестрели на полянах. Свистели, чирикали, праздновали весну переливами трелей птицы, летевшие на север — в Россию.

...Фесенко стоит перед нами, ссутулившись, распоясанный, небритый, озлобленный и напуганный. Баширов отводит от него монгольские, кинжальные глаза и глядит в сторону — туда, где в углу навалом сложены ручные гранаты с длинными деревянными ручками и отдельно, стожком, немецкие карабины. Это трофеи недавней операции, проведенной в лесу близ Солхата Молодежным, Колхозным и Грузинским отрядами, операции смелой и беспощадной. Отряды Семилетова окружили выехавших в лес за дровами немцев. Партизаны завлекли их в лощину между дубами, отрезали пути отхода, уничтожили пулеметным, автоматным и винтовочным огнем, добились врукопашную. Было убито пятьсот лошадей и двести немцев.

Над папоротниками, где пухнут убитые немцы и голландские кони, кружат хищные птицы, стаями бродят волки и одичавшие собаки. А здесь стожок карабинов и гранат.

Не глядя ни на эти трофеи, ни на нас, согнувшись и опустив руки с подрагивающими пальцами, стоит перед



нами Пашка Фесенко, не отнявший у врага ни одного карабина.

Яков долго и внимательно смотрит на него, и я вижу, как на руках, на лбу и на носу Якова появляются росистые капельки пота.

Он сидит, положив руки на стол, в черной пилотке подводника, сдвинутой на затылок, с забинтованной шеей (шалльная пуля зацепила при последней операции).

Яков мне говорил, что вчера ночью он беседовал с Фесенко и тот толком не мог объяснить своих поступков.

Баширов что-то написал и придвинул ко мне листок бумажки: «Фесенко знает лесные квартиры и базы». Я понимаю его беспокойство, ибо накануне больших событий уничтожение баз может привести к провалу все наши планы, подготовленные с большим напряжением сил.

Баширов тоже упорно смотрит на Фесенко. Скуластое лицо комиссара Молодежного отряда обтянуто сухой, пергаментной кожей, стриженные волосы торчат, как сапожная щетка, а раскосые глаза тонкими сверлами вонзаются в Фесенко. Баширову дико видеть бойца своего отряда без оружия, распоясанного, с грязными кистями рук, неуклюже высовывающимися из узких рукавов телогрейки.

— Что ты хочешь сказать еще в свое оправдание, Фесенко? — спросил Яков.

Фесенко молчал. Яков повторил вопрос. Тогда Фесенко улыбнулся углом рта.

— А что мне еще говорить?

Баширов вынул кинжал из ножен и острым концом его начал чинить химический карандаш, оставлявший на его пальце фиолетовые следы. Очинив карандаш, комиссар придвинул к себе тетрадку приказов, послонявил пальцем место своей подписи, оглядел еще раз кончик карандаша, подписался и подвинул тетрадку Якову.

— Паскудное дело, Волинский, для Молодежного отряда... — И обратился к Фесенко: — Понимаешь, дубовая голова, что ты наделал?

Фесенко сделал шаг вперед, раскрыл рот, но ничего не сказал. Ступил еще шаг вперед, потом отшатнулся назад, хрустнул пальцами.

Яков размашисто подписал приказ, встал.

— Увести!

Фесенко как-то рыхло повернулся, согнулся и вышел.

... Восемьдесят пять бойцов Молодежного отряда вы-

строились на опушке леса, примяв сапогами весенний ковер травы манжетки, обрызганной голубыми красками горной фиалки. Где-то звонко кричали вороны и слышался треск ветвей: птицы ломали ветки себе на гнезда.

Фесенко поставили лицом к строю. Теперь он был уже без телогрейки, а только в немецких штанах с латунными пуговицами на пояске и в темносиней разорванной на плече безрукавке.

Баширов прочитал приказ № 57 и вызвал из строя Кариотти. Кариотти вышел с плотно сжатыми синими губами, с присущим ему фанатическим блеском в глазах.

Бойцы стояли в положении «смирно».

Шувалов завязал глаза Фесенко, повернул спиной к строю и вернулся на свое место.

Кариотти подошел ближе, выхватил из-за пояса пистолет и выстрелил.

И следом за двумя выстрелами, эхом пророкотавшими в ущельях, Фесенко пошатнулся, судорога разжала ему кулаки, и он тяжело рухнул на землю...

Вечером мы сидели у костра.

— Русские имеют железные сердца, — сказал Фатых, покручивая черненькие усики быстрым движением пальцев, увешанных перстнями.

Фатых сидел боком ко мне. Я видел только один его изумительно проворный глаз, загнутые вверх ресницы и черную, будто наведенную углем бровь.

— А что же нужно было сделать с ним? — спросил я, думая о Фесенко.

— Надо было разобраться, капитан! А может, он не один? Может быть, у него компания есть?

Фатых наклонил туловище вперед и придвинул к костру палки. Я видел его тонкую талию, широкие плечи, чуть приподнятые, как у модников, подкладывающие вату в пиджак, и смуглый затылок, покрытый курпейчатым смолянком, как у молодого барашка.

— Ты бы лучше нас разобрался?

— Не моя забота, — сказал Фатых не поворачиваясь. — Каждый отвечает за свое. У русских сердца откованы из железа, — повторил он и встал. Огонь освещал его ноги с тонкими икрами в черных из эсэсовской шинели обмотках.

Автомат лежал на земле. Будто бы вспомнив что-то неотложное, Фатых быстро нагнулся, поднял автомат и пошел меж деревьев.

## ДОЧЬ КОМАНДИРА

Отец вернулся с совещания по координации действий крымских партизанских соединений в связи с предстоящим возобновлением общего наступления и привез много нового и интересного.

Самолет «По-2», на котором прилетел отец, ночью же протарахтел на север.

Отец сидел на траве, подложив под себя подушку мягкого татарского седла. Я тихо подошел. Мне хотелось приласкать отца, сказать, как я ждал его, как беспокоился и с каким сыновним чувством благодарности и признательности я наблюдаю всю его самоотверженную работу в партизанском лесу.

— Батя,— сказал я и присел возле него.

Отец поднял на меня мутные глаза с набухшими от бессонницы и ветров веками.

Он устало поднялся и ушел спать в шалаш. Я снял с него сапоги, повесил сушить портянки на елочку, осмотрел его оружие, смазал. Не хотелось спать. Я прилег недалеко от отца и думал о матери, об Анюте.

Отец спал на спине, похрапывал. Он был весь седой и во сне казался мне беспомощным, усталым. Слишком много перетаскал он больших тяжестей на своих плечах. Поддержка моя была так незначительна, ничтожна. Но что я мог сделать?

В шалаш вошел Шувалов, вызвал меня:

— Беда, товарищ капитан. Командир сидит уже два часа над проклятой бумагой...

— Какой бумагой?

— Кто-то из предателей подметнул ему письмо. Вы знаете Мерельбана, товарищ капитан. Он пишет: если партизаны не уйдут из этого леса, если их не уведет командир Лелюков, дочка его будет повешена на площади Солхата.

Мы знали трагедию своего командира. Его дочь была захвачена вместе с матерью еще в 1942 году в Феодосии и заключена в тюрьму. Когда Баширов делал налет на солхатскую тюрьму, он надеялся найти там семью Лелюкова, но ее там не оказалось. В то время она была в Зуе, куда ее предусмотрительно перевез Мерельбан.

— Что же делает Лелюков?

— Сидит над письмом, думает. То слезы у него, то рассмеется. Ведь сами понимаете: уйти из лесу нельзя. А не уйдем — девочку...

Я пошел к Лелюкову. Он не обернулся на мои шаги и перевернул бумагу, лежавшую перед ним. Его лицо было помято, возле губ глубоко врезались две морщины и резко очертили его рот.

— Я знаю все, Лелюков! Мне сказал Шувалов. Какое же ты принимаешь решение?

— Разве здесь может быть два решения? — спросил он меня. — Здесь может быть только одно решение.

— Я понимаю...

— Останешься жив, Расскажи, Расскажи молодежи, что среди них могла бы присутствовать девушка, белокурка, дочь твоего бывшего командира и товарища, — Лелюков сжал бумагу в кулаке, встал.

Письмо Мерельбана обсуждалось на объединенном партийном и комсомольском собрании. Вопрос был необычен, и мы решили его обдумать сообща. Никто, конечно, не думал о выполнении ультиматума Мерельбана.

На собрании поднимались коммунисты и комсомольцы Молодежного отряда, грузины из отряда «Сулико», крестьянские парни Колхозного отряда — виноградари из долин Судака и Алушты. Эти горячие головы требовали немедленных боевых действий против Солхата. Они готовы были принести свои жизни во имя короткого пламенного душевного порыва. И слушая их выступления, я вспоминал блиндаж под Сталинградом, мою горячую вспышку после смерти Виктора, отрезвляющие слова Феди Шапкина и полковника Медынцева. Теперь я понимал, какой вред могут принести иногда хорошие, но не обузданные разумом чувства.

— Как ты думаешь, Сергей? — спросил меня отец.

— Выходить сейчас нельзя, отец. Немцы ждут этого... Зачем же нам поступать так, как указывает враг?

Секретарь партийной организации, бывший работник одного из сельских райкомов Крыма, предоставил слово комиссару.

Отец сказал, что рисковать в последнюю минуту, не дожидаясь весеннего наступления советских войск, неблагоприятно и партийная организация пойти на это не может.

Тогда Семилетов предложил другое решение: провести операцию по спасению дочери Лелюкова малыми силами, использовав всего один взвод.

Лелюков сидел в стороне и молчал. Теперь он приказал Семилетову уточнить свое предложение. Семилетов заявил, что он сам возьмется за выполнение задания и уверен в успехе.

Собрание приняло решение — поручить спасение дочери Лелюкова члену партии Семилетову.

После собрания Семилетов явился в штаб и доложил нам план операции.

«Казнь состоится в четыре часа на главной площади Солхата, у развалин древней мечети султана Бибарса — государя Египта из кипчаков», так писал Мерельбан.

Семилетов предлагал въехать в город в румынской форме, которая была у нас на складах для оперативных целей, и постараться на месте найти пути к спасению девочки.

Мы предоставили Семилетову свободу действий.

Вскоре Семилетов вышел из склада, одетый с исключительной тщательностью в мундир румынского кавалерийского офицера. В кармане его лежали документы на имя одного из офицеров 6-й румынской королевской кавалерийской дивизии, которой командовал генерал-майор Теодорини.

Семилетов любил выполнять опасные задания, и вся эта затея доставляла ему удовольствие. Он презирал врага, знал его слабые струны, и главное, Семилетов был находчив и храбр.

Семилетов брал с собой по личному отбору девять человек. Его отряд был также одет в румынскую трофейную форму.

Все десять человек уселись на крупных лошадях, подседланных новенькими румынскими седлами. Семилетов отдал команду, прищпорил блестящими офицерскими шпорами своего вороного жеребца, и отряд скрылся в лесу.

После ухода кавалерийского отряда Семилетова в лагере стихло: выжидали. Может быть, стихло еще потому, что много бойцов разошлось по боевому расписанию: пришлось сгустить заставы, чтобы никто не мог предупредить противника об операции.

На кромку партизанского района подтянулась вторая бригада; над ней до возвращения Семилетова командование принял Кожанов.

Мы с Люсей сидели в моем шалаше и молчали.

Я смотрел на Люсю, и мне было хорошо.

Она попрежнему была скромна, строга и стеснялась своих чувств. Вероятно, так бывает со всеми искренно влюбленными неопытными молодыми людьми.

В обстановке партизанского лагеря, где все на виду, все обнажено, я бережно хранил свои возвышенные чувства к Люсе, которые я питал к ней еще с детства. Ореол не рассеивался, а еще более сиял вокруг ее светлосистой головки. Думы о ней не покидали меня и приносили мне радость.

При свиданиях с Люсей, — а они были коротки, — я утрачивал способность говорить и забывал все слова, которые приготовил для нее. Мне хотелось рассказать ей подробно и горячо о своих чувствах, но при встрече я больше молчал или говорил о вещах посторонних. Я боялся, что какая-нибудь неудачная фраза подведет меня и Люся обиженно встанет, как тогда под алюминиевыми тополями Фанагорийки, качнет плечиками и уйдет от меня со своими растопыренными косичками. Но нам и не нужно было откровенных признаний.

Не высказанное словами мы дополняли красноречивыми взглядами.

Как часто мы вдруг умолкали, но разговор сердец продолжался, может быть, о самом главном!

Мои духовные силы крепили под этим облагораживающим воздействием любимого человека. Как часто, ложась с автоматом в цепь, слушая вой приближающейся мины и не зная, что произойдет в следующий миг, я вызывал к себе образ любимой, и мне было легко и надежно. В непроглядной тьме ночей, когда не видать даже пальцев вытянутой руки, я видел светлосиреневые цветочки ее милых глаз, как тогда, в яблонево саду, при прощании с юностью.

Такой молчаливый разговор происходил и сейчас между нами, и на сердце было спокойно, хотя все томилось в ожидании и часовые ходили на цыпочках у шатра Лелюкова, как возле тяжело больного.

В землянку вошел Яша, попросил не обращать на него внимания и принялся что-то писать, изредка, не отрывая

нахмуренных глаз от бумаги, покусывал кончик карандаша, прищептывал губами.

Молодежный отряд по боевому расписанию дежурил сейчас по охране центрального лагеря и штаба. Я понял, что Яша выгадал несколько свободных минут, чтобы записать в оперативный дневник последние события.

— На площади, у развалин мечети... как ее? — спросил неожиданно Яша. — Надо записать: может быть, историю отряда когда-нибудь сочиним... — У Якова появились извиняющиеся нотки в голосе. — Развалины мечети султана Барбариса, что ли?

— Бибарса, — сказал я.

— Запишем Бибарса, — сказал Яков и с ожесточением нажал карандаш, сломал его, потянулся к поясу за ножиком, и тут его вызвал караульный начальник.

Мы снова остались одни до тех пор, пока в лес не пришли сумерки, сумерки не сгустились в темноту и небо не расшедрилось звездами.

По телефону передали, что Семилетов прошел передовую партизанскую заставу, возвращается в лагерь.

— Потери? — спросил я.

— Неизвестно, товарищ начальник. Прошел весь отряд на конях...

Расставшись с Люсей, я зашел к Лелюкову, которому уже доложили о возвращении отряда из операции.

Лелюков чуть-чуть скосил в мою сторону глаза, проследил до тех пор, пока я не уселся возле отца на лавке. В своих пальцах Лелюков дотла растер папиросный окурок.

Мы прождали возвращения Семилетова около часу. Горная дорога была непривычна и неудобна строевым трофейным коням.

И вот, наконец, мы услышали стук копыт, ржание лошадей, веселые крики партизан. Люди побежали к дороге. Из лесу на перепахавшем коне в расстегнутом румынском мундире, без берета, с засунутым за пояс кольтом появился Семилетов. Вслед за ним ехали Борис Кариотти, Шувалов и Василь. Позади — Саша Редутов и еще трое бойцов из Молодежного отряда. Семилетов спрыгнул с седла возле Лелюкова и, не выпуская поводьев из рук, весело крикнул:

— Задание выполнено!

На опушку леса выехал партизан; он держал в руках что-то закутанное в одеяло.

Лелюков медленными шагами приближался к спешившимся партизанам.

Из глаз моего отца текли слезы, крупные, тяжелые. Нам было и радостно и тяжело. В этот момент и я и отец думали об Аняте.

### Глава двенадцатая

## ПАРОЛЬНАЯ ПЕСНЯ АНЮТЫ

— Как же вам удалось все так ловко обстригать? — расспрашивал я Сашу Редутова.

— Каменная выдержка Семилетова и почти сказочная осведомленность Кариотти... Через Солхат проезжает столько разных людей, что контрольный пост махнул рукой на свои обязанности и предпочел проверке документов игру в кости. Вначале я воображал: повторим Долохова и Петю Ростова. Так же будет бросаться мне кровь в голову, так же я буду хвататься за пистолет, когда черная фигура часового на мосту — обязательно на мосту — крикнет: «Пароль!» Я не ожидал, что Семилетов произнесет на чистейшем немецком: «Скажите, здесь ли полковник Мерельбан?» И, откровенно говоря, ожидал потасовки. Но все пронесло. На нас только подозрительно глянули, и то лишь потому, что мы слишком были шикарны для королевской кавалерии 6-й дивизии. В другой раз нельзя одеваться прямо с трофейного склада. И не получилось у нас подобие вылазки Олеко Дундича и Вадима Петровича Рощина, помнишь, по «Хождению по мукам»? Хотя у меня тоже была гнедая кобыла со стриженной гривой, а Семилетов подпрыгивал на вороном жеребце, который мешал ему своим темпераментом. В общем, Сергей, все по-другому. Меня, как архитектора, привлекали древние развалины мечети султана Гибарса, государя Египта, но мы к ним-то так и не попали. Операцию решили хитростью, Сергей. Кариотти оставил нас возле винницы на базаре, а сам ушел. Это было, если хочешь точно, в три ноль-ноль, а в три семнадцать он притащил напуганную до смерти девочку, которая решила, что ее ведут вешать. Мы завернули девочку в одеяло, предвзрительно успокоив ее, и ускакали к заставам Маслакова, а оттуда — сюда...



— А сбор у мечети?

— Туда шел народ. Но, как видишь, спектакль не удался. А Зиночка снова с отцом. Это очень трогательно, Седежа. Размечтаешься, клубочек к горлу подкатит, встряхнешься.

— А каков Кариотти, а?

— Молодец Кариотти! Он, оказывается, из Балаклавы, арнаут, вероятно, один из потомков греческих корсаров, переселенных туда после Наваринского боя.

Саша должен был уходить на заставу, сидел босой, а его постолы раскисали в корытце. Закончив рассказ, он обернул ноги портянкой из немецкой шинели, вытащил постолы и начал прилаживать их к ногам, насвистывая песенку Аниюты.

— Опять эта песня, Саша? Не надо.

Саша поднял покрасневшие от усталости глаза.

— Такой въедливый мотив. Кариотти насвистывал ее, уходя за девчушкой Лелюкова...

Мысль о сестре преследовала меня.

С отцом мы успели переговорить обо всем. Все тайники души, казалось, мы раскрыли друг другу. Но избегали говорить об одном — об Аниоте.

Я знал, что Аниота находится на территории врага и работает во фронтовом передвижном театре, обслуживающем немецкие гарнизоны, расположенные вдоль Феодосийского шоссе.

Мне казалось, что сестра не выдержала испытаний. Это было позорно, и этому не хотелось верить. Никто из партизанских вожakov не сумел рассеять моих подозрений; они молчали, это молчание было мучительно.

Когда я затевал разговор об Аниоте с Лелюковым, он либо молчал, либо менял тему разговора.

Отец замкнулся, и казалось, что Аниота для него давно перестала существовать.

Единственно, с кем я откровенно мог делиться своими тревогами — это с Люсей.

Она ходила в шароварах, собственноручно ею сшитых из парашютной гондолы, в буйоловых башмаках, стянутых у щиколотки ремешками, в защитной куртке с мужскими карманами — такие куртки сбросили нам самолеты, в синем берете со звездочкой, прикрепленной на кусок красной бархатки, аккуратно обшитой по краям, чтобы не крошилась материя. Люся носила легкий пояс, охватывающий

с милым изяществом ее узкую девичью талию. На поясе висели небольшой пистолет, кожаный мешочек с патронами и подаренный ей Фатыхом кинжальчик с каким-то изречением из корана на лезвии.

Люся отрастила волосы, и косами окручивала голову так, что казалось, она носит шапочку из светлого меха. По-прежнему, как цветы в степном майском травостое, светились ее глаза, такие милые и лучистые, что все дурное забывалось под их ласковым теплом.

— Я не верю, чтобы Анюта могла предать родину, — убежденно сказала Люся. — Не такая она.

— Почему ты так уверена?

— Интуитивно.

Я горько улыбнулся. В нашем строгом деле интуиции не придавалось значения.

— Еще есть один мотив моей уверенности...

— Мы с тобой ее попрежнему любим, — с шутливой горечью перебил я ее, — и не хотим выбросить из своего сердца, а поэтому она на самом деле хорошая, верная, преданная, так как не могут же ошибаться наши сердца. Ты это хотела повторить мне, Люся?

— И это не самое главное. Почему песня Аниоты стала здесь паролем советских людей?

Эта мысль приходила и мне. Я помню, как при переходе от Чабановки до Джейлявы я впервые услышал песню здесь, в крымском лесу, от Якова. На мой вопрос он ответил:

— Песенка Аниоты — это наш пароль, конечно, неофициальный. Парольная песня.

— Парольная песня?

— Ну, я так называю ее и другие. Помнишь, в «Уленшпигеле» восставшие гезы сообщались между собой песней жаворонка? У нас песней жаворонка стала песня Аниоты.

Яков долго и взволнованно говорил мне об Аниоте, и тогда я почувствовал, что в тревоге о сестре я не одинок.

После слов Люси ко мне пришла опять робкая надежда, что песня, которую так любила моя сестра, не случайно появилась на партизанских тропах. С этой песней приближались жители к отрядам, к боевым дозорам, ее на свистывали на тайных тропах, что служило сигналом: идут свои, а не чужие.

И сейчас ее напевал Коля, пришедший за мной.

— Командир вызывает вас к себе, товарищ капитан,— сказал он.

Лелюков лежал на ковре, брошенном на багровые ветви граба, и грыз тыквенные семечки. В углу на помосте спала дочь Лелюкова и улыбалась во сне.

— Катерина с ней возится,— сказал Лелюков,— поправляется,— Лелюков протянул руку, насыпал в мою горсть семечек.— Ты просился побывать в Солхате.

— Да.

— Разрешаю. Задачи, которые ты поставил перед собой, утверждаю. Первое — подходы к Солхату. Они, слышать, заложили минные поля — надо проверить. Посмотреть, увеличился ли гарнизон и каково настроение жителей, русских. Если нападём — помогут? Имей в виду, Сергей.— Лелюков перешел на дружеский тон,— никто тебя не неволит итти. Тебе нужно?

— Нужно.

— Тогда разрешаю и ничего не спрашиваю... Пойдешь только с Кариотти. Он скажет, когда это лучше сделать. Ты доверяешь ему?

— Доверяю.

— После случая с Зинючкой,— Лелюков указал глазами на дочку,— я тоже ему верю. Спасибо ему...

Борис Кариотти был тем самым разведчиком, которого знали на Большой Земле под кличкой Ривера. Коля Шувалов первый назвал так Бориса Кариотти, вспомнив об одном из героев Джека Лондона. И в этой кличке был какой-то смысл. Так же как и Филиппе Ривера, Борис Кариотти на первый взгляд производил неблагоприятное впечатление. Он был молчалив, строг в своих коротких и веских высказываниях. На губах его редко можно было увидеть улыбку, в глазах — веселье. Борис был грек из Балаклавы. Что-то нехорошее случилось с его родителями: кажется, они признали оккупантов. И он, молодой человек, комсомолец, теперь был полон холодной, сосредоточенной злобы к врагам.

Кариотти отлично знал свое дело разведчика, имел явки и друзей и выходил целым и невредимым из самых отчаянных операций.

Коля Шувалов почти неотрывно находился с Кариотти, став как бы его двойником, и все же, не находя никаких улик, с нескрываемой подозрительностью относился к нему. Кариотти видел все и страдал гордо и молчаливо.

Никогда не нужно было Борису повторять дважды приказание. Его поведение не давало поводов для сомнений, но Коле казалось, что это лишь тонкая хитрость.

Кариотти был так же похож на грека, как и на татарина. То же ловкое, сухое тело, лишенное жировых покровов, черные волосы, жесткие и прямые, длинный нос, тонкие губы, острое лицо и природная смуглость кожи.

Приход Кариотти в лес не со стороны степей, а с южного побережья, куда щупальцы лелюковской разведки не достигали, был обставлен какой-то тайной. Кариотти явился в лес не один, а привел с собой двух связанных немцев: обер-лейтенанта и штурмшарфюрера, которых, по его словам, он захватил, напав на их машину.

Приход Кариотти с двумя немцами совпал с операцией Мерельбана против Лелюкова. Несмотря на то, что Кариотти доказывал необходимость переброски на Большую Землю пленных, располагавших, по его мнению, важными для нас сведениями, Семилетов расстрелял немцев.

Кариотти, возможно, обладал дурным характером. Он безусловно понимал причины недоверия к нему и, может быть, прощал это, но переносил ненависть на татар, с которыми его объединяли. Он держался замкнуто. И мои попытки завести с ним душевные беседы кончались впустую. Как бы то ни было, но пройти в Солхат и выйти оттуда благополучно лучше всего было с помощью этого потомка греческих корсаров.

В назначенное время он появился возле меня, бегло осмотрел мою одежду, составленную по его предложению. Я надел пиджак, серенькие брюки, ботинки, кепку и синюю шелковую рубашку навывпуск, подпоясанную наборным поясом. Документами, которыми я был снабжен, устанавливалось, что я принадлежу к группе рабочих, занятых устройством стационарных кладбищ, которые с парадной пышностью создавали немцы вдоль Феодосийского шоссе.

— Оружие? — спросил Кариотти.

— Нет.

— Хорошо!

Попрощавшись с отцом и выйдя от него, я столкнулся с Шуваловым. Коля просил непременно захватить его с собой. И изложил свои подозрения по поводу Кариотти. Я отказал, но Шувалов следовал за нами до самой опушки леса, прячась за стволами деревьев.

Кариотти, будто не замечая Шувалова, выискивал ро-

машки и какие-то мелкие красные цветочки, на ходу срывал их, пока в его руках не оказался пышный букет.

Мы вышли на шоссе к возвращению стада.

Шедшая по шоссе легковая машина с откинутым тентом вдруг сбавила скорость, и офицер в куртке с черным воротом, сидевший впереди, поднял очки-пылевики, чтобы рассмотреть нас.

Когда машина поравнялась с нами, Борис что-то выкрикнул на татарском языке, поднял руку с фашистским приветствием и второй рукой протянул цветы. Офицер ответил Кариотти, опустил на глаза очки, и машина помчалась дальше.

Борис отбросил от себя цветы.

— Они так любят, — как будто извиняясь, сказал он.

Мы не пошли в Солхат напрямую по шоссе, пересекавшему город, а направились вслед стаду. Два пастуха, старые низкорослые татары в рваной одежде и вооруженные винтовками, согнали коров с обочины шоссе. Коровы с мычанием пошли быстрее к своим домам по многочисленным тропкам, выбитым в молодых полянках и молочайниках выгона.

На боковых улочках города никто не обратил на нас внимания. Запыленные, в неприглядной одежде, мы не возбуждали подозрения. Караулы скрывались в садах. На окраинах, обращенных к лесу, были вырыты траншеи с ходами сообщения, ведущими к домам, использованным как блокгаузы опорных пунктов. В фундаменте домов были пробиты амбразуры, а во дворах под миндальными и абрикосовыми деревьями, покрытыми розоватыми цветами, виднелись танки, накрытые камуфлированным брезентом, умело нацеленные для уличного боя.

Татарки держались по-хозяйски: ходили группами в своих национальных костюмах, громко переговаривались между собой, курили. На всем пути я заметил только несколько русских женщин, проходивших в одиночку, в оборванных платьях, зачастую босиком, не отвечающих на презрительные выкрики татарок. У калиток сидели старики в бараньих шапках и перебирали жилистыми коричневыми руками четки из янтаря.

Празднично разряженные молодые татарки в шелках и цветной обуви и молодые татары в смешанной немецкой форме, вооруженные с ног до головы, бродили по улицам, униженно приветствуя немцев — и солдат и офицеров, которые неохотно и редко отвечали на их приветствия.

— Здесь не только солхатские, — сказал Карюотти, — сюда прибыли татары и из Карасубазара, и из Зуи, и даже из Бахчисарая. В Солхате никогда не было так много татар.

Мы прошли в театр — длинное здание с дымным фойе, где продавались вино и чебуреки. В зрительном зале стулья стояли только в первых рядах, а остальное место занимали длинные со спинками скамьи, выкрашенные так же, как и немецкие танки.

Среди зрителей было мало татар, а больше русские — мальчишки и девушки-подростки, армяне, пришедшие в театр всей семьей, с кулками провизии, несколько пожилых русских, одетых, несмотря на духоту, в глухие сюртуки и старомодные платья.

Низкая сцена была обвита яблоневыми ветвями с цветными фонарями по бокам, рампа освещалась электрическими лампами неполного накала.

Первые ряды пока были пусты, если не считать двух немецких офицеров в полевой форме, куривших сигареты и не обращавших никакого внимания на остальную публику. На стене висело объявление: «Курят только немцы».

Мы сели на крайние места предпоследнего ряда, ближе к выходу.

На стенах яркими красками были воспроизведены картинки из пошлых немецких юмористических журналов, выпускаемых для армии, — полураздетые женщины с острыми розовыми коготками и молодые люди с сальными улыбками.

А где-то там, за черным занавесом, разрисованным фашистскими знаками и белыми орлами, находилась Анюта.

Через боковую дверь, шумно разговаривая, вошла в зал группа немецких офицеров, а впереди — высокий, костистый, с длинной прямой спиной, с изнеженным бескровным лицом.

— Это Мерельбан, — шепнул Карюотти.

Офицеры уселись. Мерельбан приподнял пенсне и близко к глазам поднес программу.

Он сидел во втором ряду, выставив в проход не умещавшиеся между рядами стульев длинные ноги в горных поношенных сапогах на толстой с шипами подошве и футляром на голенище для кинжальчика.

— Этот кинжал у него отравлен, — шепнул Карюотти, пристально глядя на меня.

Вначале шумно и долго плясали и пели татары, наряженные в кавказские черкески, в мягких сапогах — чувяках.

Во втором отделении ведущий — молодой человек с нездоровым цветом лица, угодливо поклонившись немецким офицерам, объявил вокальный номер, назвав неизвестную мне русскую фамилию. В зале захлопали.

Сукна боковых кулис зашевелились, и на сцену вышла... Анюта. Теперь я не видел ничего, кроме ее лица.

Анюта медленно, чуть поклонившись зрителям и глядя куда-то вверх, подошла к роялю. Она вынула носовой платочек, как-то нервно, с подрагиванием пальцев, прикоснулась к губам и невесело улыбнулась.

На Анюте было короткое платьице, такие платья она любила. И это темное платьице с белым воротничком, с длинными рукавами и туфельки на невысоком каблуке с серебряными пряжками как-то примирили меня с ней.

Она запела какую-то неизвестную мне немецкую песенку. Слов я не понимал, но догадывался о смысле их по похотливым улыбкам немецких офицеров.

У меня помутилось в глазах. Мне хотелось кричать.

Кариотти толкнул меня, я очнулся.

Из задних рядов мальчишечьи и девичьи голоса громко закричали:

— «Анюту!» «Анюту!» «Анюту!»

Анюта улыбнулась, кивнула головой пианистке и запела.

Уже при первых словах песни люди на скамьях зашумели, заволновались. Анюта сделала несколько шагов ближе к рампе и продолжала свою песню:

Как-то ранней весной лейтенант молодой  
Взял корзину цветов в магазине.  
Взором, полным огня, он взглянул на меня  
И унес мое сердце в корзину...

Какая-то девушка, положив бумажку на спинку скамьи, шмурыгая носом, чтобы сдержатъ слезы, записывала слова парольной песни.

Анюта умолкла, и в зрительном зале раздались крики, аплодисменты. Полевые цветы, ветви цветущих миндалей и яблонь полетели на сцену.

Я хлопал в ладоши так же испушенно, как все. Мне хотелось, чтобы сестра взглянула на меня.

И мне показалось, что Анюта увидела меня, вздрогнула и побледнела, и я крикнул громко, уже не обращая ни на кого внимания.

— Анюта!

Кариотти с такой силой ударил меня под колени, что я невольно присел, а он сжал меня сзади, как клещами, и почти вынес через толпу, которая еще кричала, топала.

К театру с треском подкатывали патрульные мотоциклы. Залились свистки. Высекая искры подковами, проскакал конный отряд, зады шлепали по седлам.

Когда мы вошли в лес, Кариотти сказал:

— Вы распустились, и я мог бы вас... В случае худого все легло бы на меня.

### *Глава тринадцатая*

## ТАК ГОТОВИЛАСЬ ТЕРРИТОРИЯ

Агентурная разведка сообщала, что Анюту видели с Мерельбаном в разных местах, вплоть до штабов генерала Альмендингера, командовавшего керченской группировкой, и генерала Шваба, командовавшего группой румынских войск. Подпольщики-коммунисты настаивали на изоляции Анюты.

Я докладывал все без утайки Лелюкову, и он, казалось, не придавал значения сведениям об Анюте и относился ко мне с прежним доверием.

Мы вплотную приступили к основной нашей задаче — подготовке территории, захваченной противником, к развертыванию на ней активных действий регулярных соединений нашей армии.

В конце марта возле горного ключа, куда наши девушки ходили по воду, опустился на парашюте Дульник. С ним приземлился радист, получивший закалку у белорусских партизан, присланный в помощь Асе. Радиосвязь в наступлении должна была работать бесперебойно, так как партизаны поступали в оперативное подчинение командующему фронтом.

Дульник спустился возле горного ключа так легко, будто спрыгнул на ходу с трамвая.

Он привез пакет с заданием разведать данные о дислокации немецких войск, их политико-моральном состоянии, вооружении, аэродромах, противодесантной обороне.

Я был рад Дульнику. Мы собрались в тот же вечер. Это был сбор старых друзей. Дульник признался, что он прыгнул с неба ради Камелии. И Камелия не скрывала,



что ее трогает привязанность Дульника; за его шутками она видела настоящую, целомудренную любовь.

— Вы так редко можете быть вместе с нами, — сказала она грустно. — Когда это все кончится?..

— Наступит время, — горячо сказал Дульник, — клянусь вам, что такое время наступит! — когда передвигаться между любыми пунктами Советского Союза можно будет просто по пассажирскому билету, сходить на землю по трапу с чемоданом в руках, а не бросаться вниз головой глухой ночью с мешком за спиной. Вот будет время!

Саша принялся развивать перед нами фантастическую картину послевоенного мира. Он говорил о новых мостах, которые будут переброшены через реки взамен взорванных нами, о чудесных площадях на тех местах, где падали, сражаясь, наши люди, о домах из стекла, бетона и нержавеющей стали.

На заре мы увидели чудесную картину утреннего восхода. Не шелухнув ни одним недавно рожденным листом, стояли леса. Над скалами текли золотые потоки. И над горами, как символ нашей победы, летели наши самолеты с радостным гулом.

— На Севастополь пошли!

Наконец все разошлись, и я остался один. Фатых, словно следивший за мной, очутился рядом.

Вчера он возвратился с удачной операции, и Семилетов докладывал мне, что Фатых вел себя хорошо.

Будто опьяневший от удачи и ласковых слов, Фатых слонялся по лагерю и рассказывал о себе.

Фатых стоял возле меня и следил за Люсей, пока она совершенно не исчезла из глаз.

— Ты не пошел ее провожать? — спросил Фатых.

— Неудобно...

— Неудобно бросать девушку одну! — сказал он укоризненно. — Ты мало отдаешь ей своего времени. А ты ее любишь? Ты долго сумеешь ее любить?

— Почему ты меня спрашиваешь об этом? — Усилием воли я сдержал свой гнев. — Кто дал тебе право задавать такие вопросы?

— Ты выйдешь из лесу, — сказал Фатых, — тебе будет везде почет. Ты уедешь отсюда, из Крыма. Ты — гвардии капитан, а там, на воле, ты дослужишься далеко. Прибавится много славы, и много девушек будут искать тебя, и ты можешь измениться. А Луся не такая. Ты полюбил ее

девочкой, а взрослой она стала здесь, в лесу, в крымском лесу. Она дривыкла здесь и огрубела. Она не сможет правильно носить городские платья. Видишь, как она носит шаровары, это мода татар, и она перетягивает свою талию кушаком, это тоже наша мода. Я подарил ей кушак...

— Так это ты подарил ей кушак?

Фатых беззвучно рассмеялся:

— Она тебе не призналась? Не ругай ее. Она боялась, а кушак ей понравился.

— А зачем ты говоришь со мной о Люсе? Ты что, хотел сделать мне плохо?

— Нет,— Фатых отрицательно покачал головой,— просто я хотел с тобой поговорить, как мужчина. Мне нравится твоя Луся, мне очень нравится она...

— Как можно, Фатых? Мне говорили, что ты женат и у тебя есть дети.

— Женат?— Фатых присел на корточки, оперся об автомат.— Да, я женат. У меня есть дети. Жена у меня — русская женщина... Но если женатый человек потеряет сон от другой женщины и если жена ему далека и душой и телом, разве он не может поступать так?

— Нет. Так поступают плохие люди.

— Слова придумали люди. Если человек не любит жену и живет с ней — это разве не плохо? А девушку, Сергей, легко заставить подчиниться себе... Надо быть больше с ней, надо сиять глазами, когда видишь ее, надо целовать след, где она прошла, но чтобы она видела это; надо дарить ей маленькие вещи, и, глядя на подарок, она будет видеть тебя. Крепость берут не только храбрые, но и упрямые люди...— Фатых покручивал свой черный ус, пока он не стал острым, как игла.

— Прекратим этот разговор,— сказал я.— Ты говорил со своим народом?

— Говорил,— сказал он тихо,— трудно с ним говорить. Что я могу сделать один?

— Почему тебе трудно говорить с ним? Почему я могу подойти к любому костру, к любому отряду, в любой шалаш и найду русские слова для своего народа, а почему тебе трудно?

— Вот попробуй с ним говорить.— Фатых повернулся ко мне всем лицом.— Вчера один сказал мне... хотя неважно, что сказал мне один глупый татарин...

— Что же он сказал?

— Сюда придут турки, сказал он.

— Эти планы мы знаем, немцы хотят привести их.

— Нет, не немцы,— сказал Фатых,— найдутся другие.— Фатых вдруг запел какую-то песню.

На песню подошли партизаны. Коля Шувалов опустил ся возле меня на траву, положил автомат у локтя и строго наблюдал за татаринном.

Фатых пел, казалось, не обращая внимания ни на кого, но я видел, что его полужакрытые глаза следят за нами. Может быть, ему было просто приятно, что его пришли слушать люди?

— Что ты поешь?— спросил Коля.— Какие слова в этой песне?

Фатых открыл глаза, улыбнулся:

— Это та песня, которую ты не написал для меня. Это песня горной птицы. Она летает и не знает, где сесть,— кругом огонь... Помнишь?

Я рассказал Лелюкову о разговоре с Фатыхом, и он выслушал, покачивая головой, будто это было ему давным-давно известно. Не то серьезно, не то в шутку сказал:

— Арестуй его, допроси.

— Зачем?

— Вот и я думаю, зачем? Через него просачиваются к нам необходимые сведения, а если все будут язык держать за зубами, тебе же хуже, оперативный работник.

Мы продолжали заниматься важной работой по подготовке территории.

Подготовка территории для вторжения— вот основная задача, поставленная перед партизанами, а также передо мной, так как в штабе соединения мне непосредственно пришлось заниматься этими вопросами.

Нам легче было отвечать Большой Земле, потому что за зиму мы многое успели разузнать, используя, кроме партизанской, и агентурную разведку.

Всякие разведывательные данные можно считать достоверными, если правда отыскана в центре сходящихся лучей,— таков был наш метод.

Только проверив все со скрупулезной тщательностью, путем перекрестных разведок, мы составляли донесение штабу фронта. В своей работе надо было во многом превосходить врага, этих бесконечных работников абвера, рассеянных армейской контрразведкой и ведомством Гиммлера с большой и ненужной щедростью. Нальзя было гну-

щаться ничем: растерянный от страха ездовой, пойманный в лесу с дровами,— хорошо! Он знал дороги, качество повозок и слухи, обычно раньше всех проникавшие в обозы. Попадался повар — тоже неплохо! Повара обязаны считать порции и ежедневно видеть у своих котлов живых людей. Попался кузнец — солдат-румын,— от него можно узнать о состоянии конского состава румынской дивизии, о всех мокрецах, гниющих стрелках копыт, о чесотке, что дополнительно подтверждало предыдущие данные об упадке дисциплины в румынской коннице и о снижении требований к солдату со стороны начальников.

Весной к нам в лагери усилился приток мирных жителей. Среди беженцев находились люди, которые ходили на принудительные фортификационные работы. Мы знали от них характер укреплений не только близких к нам участков, но и все от самой Керчи до береговой противодесантной обороны.

Ничем нельзя было пренебрегать, хотя эта муравьиная работа не всегда встречала поддержку Кожанова. Переубеждать Кожанова было трудновато, так как он относился к числу офицеров, признававших тактику прямого удара и не любивших копаться в политико-моральном состоянии противостоящего ему врага.

Переброшенная на полуостров Мариула немало помогла нам в разведке. Цыганка была вездесуща. Приводил ее ко мне всегда только Кариотти и тайно провожал через наше охранение. Гаврилов не знал о приходе своей невесты в наш лагерь, и мы не говорили об этом ему.

Обычно Мариула приходила перед рассветом, сбрасывала небрежным и презрительным движением плеч плащ-палатку, которой прикрывал ее Кариотти, закуривала тонкую немецкую сигаретку и говорила:

— Бери бумажку, офицерик молодой, пиши.

Мариула с каким-то особым наслаждением выполняла мои задания.

— А что делает мой милый? — блестя мелкими своими зубами, иногда спрашивала она о Гаврилове и, не ожидая ответа, тихо смеялась, раскачиваясь всем телом и играя пальцами, унизанными колечками.

Мариулу видели контрольные разведчики в бухте Правата, у сторожевых постов противодесантной обороны, у озера Ашиголь и у озера Ачи, у Владиславки, где был расположен крупный аэродром, в Джанторах, близ юж-

ного побережья Сиваша, на соляных промыслах у Арабатской косы, на Акмонайских позициях... Всюду звучал ее смех, звенела таборная песня, и в быстрых ее руках, унизанных кольцами, мелькали карты...

Территория, занятая противником, должна быть освобождена, и наша работа помогала этому освобождению.

Приходилось все сведения, шедшие из разных источников, тщательно перепроверять и обращать внимание на такие детали, которые обычно не всегда принимались во внимание партизанской боевой разведкой.

За каждой, даже небольшой неточностью в сведениях, передаваемых нами армии, стояли человеческие жизни, лишняя кровь. Теперь мне приходилось лично спрашивать партизан, возвращавшихся из операций, и постепенно даже скептик Кожанов вынужден был отдать должное этой кропотливой, будничной и внешне незаметной, но очень важной работе.

Сведения о противнике, группируемые теперь в нашем штабе, можно было считать исчерпывающими.

В восточной части Керченского полуострова, на местности с пересеченным рельефом, будто самой природой созданной для обороны, противник построил сильные укрепления под руководством командующего обороной Керченского полуострова командира 5-го армейского корпуса генерала Альмендингера, бывшего начальника отдела крепостных сооружений германского генерального штаба.

Противник строил свою оборону по принципу опорных пунктов, включенных в общую систему траншейной обороны.

Оборонительные рубежи переднего края от берега Азовского моря до Булганака состояли из траншей с примкнувшими к ним площадками для пулеметов и ячейками для стрелков, с проволочными заграждениями и спиралью «бруно».

— Неужели они так активно принялись укреплять Акмонайские позиции? — спросил Кожанов. — Может, демонстрация? Они любят пустить пыль в глаза.

— Сейчас они интенсивно заканчивают строительство отсечных рубежей, прикрывающих направление на юг от Керчи, и усиливают Акмонайские позиции.

Я взял цветные карандаши и стал выписывать на схематической карте систему Акмонайских укреплений.

— Здесь немцы могут надолго задержать продвижение приморцев, так как Акмонайские позиции, как видишь, протянуты в самой узкой части Керченского полуострова, от Азовского до Черного моря, и по своей оборонительной структуре похожи на Перекоп и тыловые позиции Ишуня.

Кожанов следил за моей работой и внимательно слушал.

— Нами разведана теперь вся система Акмонайских позиций,— сказал я.— Вот я наносу на карте синим карандашом ров, которым перекопан полуостров, ширина его — шесть метров, глубина — три. Сильное препятствие для танков, тем более что совсем недавно ров наполнили водой. Три метра глубины, Кожанов. А вот второй ров еще в сорок втором году выкопали. Здесь сильно развита сеть траншей. Впереди — минное трехполье и проволочные заграждения типа «фландрский забор».

— Ломали же такие под Сталинградом, Сергей?

— Ломали, конечно, но надо подумать, как взломать тылы керченской группировки, чтобы немцы скорее бросили свои рвы и «фландрские заборы» и побежали.

Я долго наносил на карту позиционные сети траншей, дзотов, жилых блиндажей, «волчьих ям» и пулеметных гнезд, расположенных позади рвов,— эту артериальную систему современных укреплений.

#### *Глава четырнадцатая*

### УСТИН АНИСИМОВИЧ С НАМИ

Молодежный отряд отбил у полевой жандармерии группу арестованных, перегоняемых в Севастополь.

Среди других был водолаз Михайлюк, недавно арестованный гестапо. Он должен был предотвратить взрыв портовых сооружений.

Отряд выполнил задачу, но потерял людей; в партизанском лазарете лежали тяжело раненные бойцы и среди них Дульник, напросившийся в операцию и раненный двумя пулями. Молодой врач Габриэлян не мог справиться сам, нужна была помощь опытного хирурга.

— Пришло время вытаскивать старика, — сказал стей,— Устина Анисимовича.

Лелюков, только что побывавший в госпитале, был мрачен и раздражен. Он поддержал предложение отца.

Было решено вывезти Устина Анисимовича и снова перебросить обратно в город водолаза Михайлюка. Эта смелая операция была поручена Яше. Вместе с ним должны были идти Шувалов и шофером — ординарец Семилетова Донадзе.

Документы были выписаны на бланках, похищенных нашей агентурой в штабе командира румынского горно-стрелкового корпуса генерала Шваба, ведавшего охраной коммуникаций центрального Крыма против партизан.

Операция проводилась в строгом секрете. О ней знали немногие. Переодевание проводилось в «секретном» квадрате Джейлявы. Автомобиль осматривал сам Лелюков, как когда-то проверял моторные баркасы перед глубиной ловлей.

Водолаз Михайлюк, черноволосый плечистый украинец, должен был перерезать проводку к подготовленным к взрыву портовыми сооружениям.

Задание Михайлюка усложнялось: он был известен полевой жандармерии. Михайлюк шел на большой риск, но был весел.

— У меня под водой забазированы автомашины, семьдесят штук, — говорил он, прилаживая на своей крупной голове, румынский военный берет с кокардой. — Как освободим город, резиной порт будет обеспечен на три года. Полный пароход с автомашинами. Его боятся брать немцы, думают — заминирован.

— А шнапс? — спросил Лелюков, наблюдая с присущей ему хмурьей за лицом водолаза.

— Какой коньяк, какие ликеры забазировал! Вот увидите сами. У меня там цельные магазины, товарищ начальник. Как они старались уговорить меня поработать для них за любые деньги!..

— Известно, — остановил его Лелюков, знавший уже все, что хотел вновь рассказать Михайлюку, — деньги предлагали и крест за извлечение важного оборудования...

— Верно, — подтвердил Михайлюк.

— ...военных материалов.

— Опять верно.

— ...катеров, грузов...

— Верно, верно!.. А еще...

— А еще предлагали провести работы по восстановлению эллинга для ремонта военно-морских катеров.

— Ну, все помните, точка в точку, — Михайлюк махнул

рукой и расплылся в улыбке.— Ну и память у вас, товарищ начальник!

— Еще бы не запомнить: ты возле каждого костра по пять раз повторял это.

— Да ну?

— Словоохотлив, Михайлюк. У нас нужно язык держать на завязке.

— Да, есть такой грех, товарищ начальник. Потому, под водой намолчишься доупаду, хочется на воле с добрыми людьми побалакать...

Коля учил Донадзе румынским ругательствам, которые с различными шоферскими интонациями повторял за ним грузин.

Яша был сосредоточен и угрюм. У него плохо заживала рана на шее, полученная еще при разгроме обоза. Яша медленно, как бы нехотя ворочал головой, поэтому казалось, что он чем-то обижен.

Машина ушла в сумерки по боковой лесной дороге, чтобы выскочить на шоссе невдалеке от города, где на контрольно-пропускном пункте стояли румыны.

Люся с нетерпением и тревогой ожидала результатов операции, и я старался не оставлять ее одну. В полночь небо заволочло, дождь застучал по листьям, стало как-то по-осеннему темно и неприветливо. Мы зашли в мою землянку, присели на грубо оструганную скамью. Люся дрожала всем телом, и я накинул шинель на ее плечи.

— Страшно, Сережа,— шептала девушка. — Папа такой уже старенький. Ты не можешь представить, какой он стал старенький!.. Приходится участвовать в таких приключениях.

Из нашего партизанского госпиталя вернулась Камелия.

Она отряхнула плащ-палатку, повесила ее у входа и устало опустилась у фонаря, приложив к овалу стекла мокрые, озябшие руки.

— Время не ждет. Двум ребятам придется ампутировать ноги.

— А Ваня?— спросил я о Дульнике.

— Шутит... У него, как он говорит, под кожей катаются две пули...

— Температура?

— Высокая,— тихо сказала Камелия.

Люся подвинулась к ней, прикрыла ее спину полрой шинели.



— Сырость, неприятно, у меня озябли ноги. Как у тебя, Люся?

— У меня шерстяные носки.

— Дождь идет сильнее, бьет по крыше, словно дробью,— сказала Камелия.— Кто-то говорил мне, что за хирургом ушел сам Яков. Верно, Сергей?

— Не знаю,— уклончиво ответил я,— по-моему, он должен быть в расположении своего отряда.

— Его спрашивали раненые,— обидчиво сказала Камелия,— поэтому я спросила тебя о нем. Так надоели эти вечные секреты, которые все равно знают все.

— Что же все знают?

— То, что Волынский, Донадзе и Шувалов прихватили водолаза и отправились в Феодосию.

— Кто сказал тебе об этом, Камелия?

Камелия улыбнулась:

— После полуночи прошла смена боевого охранения. Пришли и поделились.

Я вышел из землянки и направился к Лелюкову.

Лелюков читал при свете карманного фонаря «Войну и мир». Рядом с книгой лежали пистолет и второй, запасной фонарь. Василь лежал у входа, пришлось через него переступить. Он не шевельнулся, но глаза его были полуоткрыты, и он наблюдал за нами.

— Волнуешься?— Лелюков отложил книгу.— Доктор-то, оказывается,— большой друг вашего дома.

— Почти родной. Об операции многие знают, Лелюков.

— Ну?

— Точно знают даже, кто ушел.

— От кого узнали?

— Пришла смена боевого охранения южного сектора, рассказали. Надо за болтовню построже наказывать.

— Теперь не страшно, Сергей: задание либо выполнено, либо провалено.. А если из боевого охранения южного сектора пришел твой отец, накажем?

— Отец не мог рассказывать.

— Рассказывал.

— Не мог, Лелюков!..

— А ты, брат, не серчай. Рассказал он по моей просьбе. Почему? Да потому, что раненые ждут помощи, а здоровые шепчут: нужен, мол, только здоровый, а как свалился с ног — забудут. Понял? Вот я и поручил комиссару не скрывать того, что сам командир отряда выехал на за-

дание, за хирургом. Раненые успокоились, ждут... Дульни-ка проведаль бы, ждет тебя.

— Сейчас пойду к раненым...

— Он хороший парень, но ранен по собственной глупости. Кто это вас учил насвистывать и в полный рост уходить от противника? Spина врага, как говорят, прибавляет смелости.— Лелюков посмотрел на часы.— Время при-быть им. Василь!

— Есть Василь! — отозвался Василь вскочив.

— Послушай-ка, Василь, не стреляют ли в той самой стороне.

— Есть послушать, товарищ командир!

Василь вышел.

— Вот-вот начнется штурм Крыма,— сказал Лелюков,— скоро выйдем из лесов и будем биться в чистом поле, грудь с грудью. Ты знаешь, как надсело играть в жмурки! Три года воюем. Вот тоже так давно наши люди воевали, отстаивали родину.— Он взял в руки книгу.— Хорошая книга! Третий раз перечитываю.

Василь вошел, доложил каким-то надтреснутым голо-сом:

— На «дабле» посадочные прожекторы, кричит дурная неясытка... а выстрелов нет.

...Я вошел в госпиталь — длинную землянку, похожую на овощехранилище, освещенную подвешенными на черный смоляной провод электрическими лампами.

Ближе к выходу, на земляной тумбе, занавешенной простынями, гудела центрифуга и слышалось посапывание ав-токлава.

Раненые лежали по обе стороны узкого прохода, утоп-танного свеженакошенной травой. Меня обдало запахами табака, нечистого человеческого тела и животворным, не-истребимым ароматом увядающей лесной травы.

Топчаны, сбитые из грубораспиленных самими же пар-тизанами досок, на которых лежали раненые, терялись в глубине землянки.

Ко мне подошел Габриэлян, невысокий молодой и чрез-вычайно стеснительный человек, и принялся сбивчиво оп-равдываться.

— Лучше признаться, чем искалечить навек человека,— взволнованно говорил он, глядя на меня своими больши-ми карими глазами, окаймленными темными кругами.— Если скоро будет настоящий хирург, я не буду раскаи-

ваться в том, что честно признался в своей беспомощности. Когда дело касается человеческой жизни, нельзя играть в самолюбие. Не правда ли, товарищ начальник.

— Правда, правда, товарищ Габриэлян.

— Скоро должен быть хирург?

— Да.

— Для раненых эта новость была полезней люминала, а то его ели, как яичницу.

— Как парашютист?.. Дульник?

— Ай-ай-ай! — шуточно застонал Дульник, приподнимающая голову. — Он еще спрашивает? Неужели прошел бы мимо? А?

Дульник казался совсем маленьким под тонким, стиранным одеяльцем. Его худое, щуплое тело, казалось, можно было поднять и нести, как пушинку. Ничего страшного не было в этом человеке, отправившем на тот свет не один десяток врагов. Тощие руки лежали поверх одеяла, у ключиц западали ямки.

— Возле меня дежурила Камелия... все время... — тихо, прерывисто сказал он. — Пойди погляди раненых, ты же начальник. Много значит слово. Ой, как много значит! Вот ты поговорил со мной, и полный морской порядок, хоть опять документы в сейф, куртку на плечи, автоматный ремень на шею...

Дульник устал, замолчал. На нижние веки легли его удивительно длинные и густые ресницы.

Камелия сидела вдали, возле раненого, разбросавшего руки и ноги и с каждым вдохом с болезненной, горячечной жадностью глотавшего воздух запеченными до черноты губами.

— Сестра, не уходи! — просил раненый. — Не уходи!..

Он захватывал воздух и говорил беспокойно, торопливо, будто страхась, что он уйдет из этого мира и не успеет сказать того, что обязаны никогда не забывать люди:

— Прошу! Запомните: четыреста четвертая стрелковая дивизия... сорок четвертой армии, Арсений Афанасьев... Арсений Афанасьев!.. Еще с мая сорок второго оставались в каменоломнях... Аджиджарских... каменоломнях... Записали? Надо записать, сестра.

— Знаю Аджиджарские каменоломни, Арсений, — говорила Камелия, наклонившись к нему. — Я сама из Керчи.

— Из Керчи? Значит, знаешь? С мая до пятнадцатого

июня сидели. Пятнадцать тысяч человек... Записали? Скалами нас обвалили, выходы замуровали. Камни мы сосали, воды не было... Там три детских кладбища оставили в каменоломнях... Записали? Это надо непременно записать. А потом пустили дым, а потом газ... газ... Я до декабря желтым харкал... Триста человек ушло, пробилось. Из пятнадцати тысяч — триста! Записали?

— Шестой раз, — тихо сказала Камелия мне, — а кроме каменоломен, сколько вынес уже в отряде! Самое страшное в жизни запомнилось...

— Записали, сестра? — иступленно крикнул раненый.

— Где же хирург? — спросила Камелия. — Уже около двух ночей... Дождь идет.

К нам подошла Люся, присела на скамеечку.

— Это страшно, как... сон...

— Записали, сестра? — снова выкрикнул раненый.

— Или вот-вот появится папа, или... — ее сжатые губы дернулись.

— Люся, успокойся, — сказала Камелия, — в присутствии раненых...

Люся тихо плакала, стараясь приглушить рыдания платочком. И нелепым казалось оружие, висевшее на ее поясе, — и кинжал, и пистолет, и десантная курточка.

Пришел мой отец, кивнув дружелюбно девушкам, кашлянул в кулак:

— Прибыли.

— И папа? — тревожно спросила Люся.

В землянку, сторбившись, вошел Устин Анисимович с чемоданчиком в руке, в румынском берете, в плащ-палатке, мокрой от дождя.

Люся без слов прильнула к отцу, и он обнял ее наспех, зажмурился, будто от ярко вспыхнувшего света электрических ламп.

— Ну, ну, не плачь, дочка... Ты здоровая? Здоровая — уходи, уходи пока... — с грубоватой нежностью поторапливал он. — А ты, Сережка-шахматист? Здравствуй, Сережа. Уходи, хотя и начальник. Все от Яшки наслышан. И ты уходи, Иван Тихонович. Где раненые? Вы и есть доктор Габриэлян? Будем знакомы.

— Операционную подготовили, как видите, подключили свет.

— Вижу, вижу. Даже глаза с непривычки режет... В Феодосии, в городе, и то при коптилках жили. Молодцы,

лесные братья! Ректификат со мной. И у вас есть? Не знал. Сейчас разоблачусь после маскарада, поскоблю эпидермис и начнем... Руки-то долго мои не работали, товарищ Габриэлян. Товарищ! Наконец можно сказать без угрозы ареста это слово!.. Немцам-то я ни одной операции не сделал, ни одной, товарищи!

— Записали, сестра? — зло выкрикнул Арсений Афанасьев.

#### Глава пятнадцатая

### ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ПАРТИЗАН ЛЕЛЮКОВА

Отряды покидали лесные квартиры, уходили на подступы к Солхату.

Наша задача состояла в том, чтобы штурмом захватить город, перерезать главную коммуникацию и этим значительно облегчить задачу войск, начавших наступление со стороны Керченского плацдарма.

Жители лесных лагерей высыпали из землянок на проходы отрядов. Заплаканная, стояла мать Камелии — Софья Олимпиаевна, повязанная вокруг головы черным платком.

Василь, закончив сборы, выскочил с шинелью и вещевым мешком в руках. Увидев Софью Олимпиаевну в таких расстроенных чувствах, он подбежал к ней, набросил на ее плечи свою шинель и поспешил к нам, перекинув за плечи мешок.

— Добрый парняга, — похвалил Лелюков, мало что пропускавший мимо своего острого взгляда.

Лелюков стоял в открытой трофейной машине, положив руку на автомат. За рулем, готовый к преодолению любых горных дорог и завалов, сидел Донадзе. Отец стоял близ автомобиля, седой, сутулый и невеселый. У скалы, ощеренной голыми, бесплодными зубьями, покрытой замшевой плесенью мха, невдалеке от госпиталя, стояли Люся, Камелия, Катерина и еще несколько девушек из партизанского лагеря, подготовленных для санитарной службы Габриэляном и Устином Анисимовичем.

Устин Анисимович сидел с палочкой на тарантасе, запряженном парой гривастых лошадок. Тарантас был специально выделен для доктора, и упряжка содержалась в безукоризненном порядке.

Прошла первая бригада, стоявшая лагерем в четырех километрах отсюда. Ее вел Маслаков, внешне неказистый рыжебородый человек с огненными волосами, отпущенными почти до плеч. За первой бригадой пошла вторая, Семилетова. Молодежный отряд возглавлял колонну бригады. Впереди шли обвешанные ручными гранатами Яша и Башпиров. Яша, как видно, волновался перед последним боем.

За Молодежным отрядом шел Колхозный отряд — земледельцы Судакской долины и присивашских полей, виноградари и овцеводы.

Колхозники дрались хорошо. Отступали, огрызаясь и отбиваясь, наступали медленно, но твердо, и там, где они выбирали место для стоянки, можно было спокойно рыть землянки, ставить шатры и не бояться внезапных нападений.

Семьи этих крымских крестьян либо уничтожены немцами, либо ушли с коровами, поросятами, овцами, цыбарками и телегами в лесные партизанские лагеря, где и находились сейчас.

За Колхозным отрядом с песнями шел Грузинский отряд, его шуточно называли отрядом «Сулико». Может быть, я прибыл к партизанам Крыма тогда, когда уже произошел естественный отбор и к последним событиям заключительной партизанской эпопеи остались в основном физически сильные люди, но все грузины отряда «Сулико» были широкоплечие, широкоплечие ребята с узкими талиями, с торсами атлетов или гимнастов, с мускулистыми руками, в хорошо пригнанной одежде, с кавказской щедростью украшенной огнестрельным и холодным оружием.

Здесь были и мингрельцы, и светловолосые имеретинцы, и коренные жители Кахетии и Карталинии, и похожие на трабзонских турок аджарцы, незаменимые разведчики среди татарского населения, так как столетия владычества Османской Порты над их родиной оставили им наряду со жгучей ненавистью к своим поработителям языковые корни, близкие к языку крымских татар, и бытовые навыки мусульманства.

В отряде «Сулико» — грузины, попавшие в немецкий плен после оставления Херсонеса, Феодосии, Керченского плацдарма, а также после харьковского окружения.

С чисто восточной хитростью они обманули немецкое командование. Они заявили, что переходят к немцам. Их вооружили. У них нашелся предводитель — капитан Ака-

кий Купрейшвили из Самтреди, молчаливый и энергичный кадровик-офицер из телавского гарнизона.

Однажды во время полевых учений грузины перебили немецких офицеров, сели на грузовики и доехали до партизанского района.

Грузины сражались хорошо, участвуя в разных операциях, требующих мужества, риска и воинской отваги. Никто не мог упрекнуть бойцов Грузинского отряда ни в одном неблагоприятном поступке. Грузины держались с исключительной боевой храбростью и, как выражался Лелюков, с «моральной тщательностью».

Все отряды втянулись в марш. Лелюков поглядел на отца с какой-то трогательной улыбкой, выдававшей его душевное волнение.

— Вот так, старик! Кончаем.

Лагерь наполнялся женщинами-беженками, которые по просьбе Гаврилова вызвались привести в порядок блиндажи и землянки.

Сам Гаврилов распоряжался то там, то здесь, разъезжая на низкорослой пегой лошаденке. Гаврилов был в кожаной, потерявшей блеск тужурке, с маузером на ремне. Отдавая приказания, Гаврилов не в меру горячил свою лошаденку, и та грызла удила, закидывая нажеванной пеной свои грудь и колени.

— Не вернемся уже сюда... Зря, Гаврилов, — прикрикнул на него Лелюков.

— А может быть, — хрипел Гаврилов.

Мне хотелось попрощаться с Люсей, и когда Лелюков занялся не в меру усердным начальником тыла, я, улучив минуту, подбежал к Люсе, взял ее за руки, молча поцеловал в ладони и вернулся к машине.

Мы двинулись в путь по дороге, устроенной самой природой по руслу высохшего горного потока, а затем свернули в объезд, на петлистую дорогу, проложенную для грузового транспорта.

Солнце просвечивало сквозь листву, бросая на свежую траву ясно очерченные тени. Кое-где среди крупных стволов, нависших над ущельями, цвел орешник, ветерок срывал лепестки и осыпал каменистую землю, покрытую желтыми цветами кулибабы.

В полдень мы поднялись на лысую вершину, уложенную огромными плитами сланцев. Предгорье волнисто катилось к долинам, которые тянулись до самых Сивашей.

мерцающих вдали на горизонте сквозь миражи белесоватой степи.

Позади нас лежали горы с торчащими среди них каменными гребнями и скалами — горы приюта, отваги и горечи.

Лелюков чутко прислушивался к достигавшим сюда со стороны Керченского полуострова раскатам артиллерии.

Чем дальше, тем деревьев становилось меньше. Чаще попадались горелый и вырубленный лес, заросший цепким южным подлеском.

На разветвлении дороги, под мшистым валуном, у родника, вычерпанного до дна котелками, сидели Кожанов и Семилетов, разложив на земле затрепанную на сгибах карту-двухверстку, придавленную по закрайкам розовыми камешками. Семилетов что-то горячо доказывал Кожанову, тыча тупым концом карандаша в карту, а тот отрицательно покачивал головой.

— Вторая бригада вышла на исходные рубежи, — доложил Кожанов. — На шоссе слишком густое движение противника... Я, со своей стороны, рекомендую Семилетову...

— Подожди, — остановил его Лелюков. — Все, что можно было, порекомендовано на оперативном совещании. Разведку провели? Кто на шоссе: немцы, румыны?

— Немцы.

— Какие именно части?

— Отходит группа «Кригер», — ответил Семилетов, — оборонявшая Акмонайские позиции.

— Ага, — протянул Лелюков, довольный и ответом и всем боевым, молодецким видом комбрига 2, — стало быть, Акмонайские прорваны?

— Не совсем, — сказал Семилетов. — Мы успели зацепить одного ефрейтора. Акмонайские позиции прорваны в центре, а крылья держатся.

— Так... — Лелюков подумал, упершись глазами в карту, поглядел на часы. — Вот тут держал полк «Крым». Как с ним дела? Не начнет ли он тоже отходить через Солхат?

— Полк «Крым» еще в двенадцать начал отходить боковыми дорогами от Джанторы, от Сивашей, — сообщил я.

— Где он может быть сейчас?

— Примерно вот здесь, у Цюрихталя...

Лелюков присел на корточки возле карты, потянулся ленивым движением к кармашку гимнастерки, вынул от-



туда синий карандаш, а из полевой сумки схему отхода неприятельских частей, пригласил нас ближе к себе и несколько минут сидел молча, раскачиваясь и пружиня в коленях.

— План, наш план операции остается прежним, — сказал он. — Судя по всему, противник втянулся в отступательный марш. Теперь нам надо толково, повторяю, Семилетов, т о л к о в о, раскатать Альмендингера еще сильнее. Солхат...

— Я предлагаю брать город отсюда, от армянского монастыря, — сказал Семилетов. — Удобные подходы. Наваливаемся из лесу, штурмуем. Местность позволяет накопить силы и провести внезапную атаку.

Лелюков с хитринкой поглядел на него.

— Противник отсюда ожидает удар, подходы изучил не хуже нас с тобой, Семилетов. Ты же знаешь: там танковые засады, ловушки. Надо атаковать не там, где ждут, а где возможна неожиданность атаки. И так... перепиливаем главную коммуникацию южнее города, вот здесь... — Синяя стрела перерезала дорогу. Не опуская карандаша, Лелюков завернул стрелу в охват Солхата.

— А полк «Крым»? Он же ввяжется в бой, если мы начнем здесь, — сказал Семилетов подрагивающим от обиды голосом. — Найдутся ли у нас силы проводить бой?

— Полк «Крым» не станет помогать группе «Кригер». У них не русский характер: «Сам погибай, — другого выручай». У них сейчас одна забота — уйти побыстрее к кораблям. Сюда, может быть, повернем Колхозный отряд — в степную часть? Им-то по привычке на плоской земле, — он потыкал концом карандаша в только что начерченную стрелу с загнутым острием. — Как ты думаешь, комиссар?

Отец раздумчиво взгляделся в карту.

— Видишь ли, в Колхозном отряде большинство бойцов — люди пожилые. А здесь далеко от шоссе, — он пальцами прикинул расстояние, — нужно бежать в атаку около километра, а потом перевалить дорогу, балочку и, гляди, куда тащиться.

— Я согласен с комиссаром. Вот здесь, — Семилетов указал на стрелу Лелюкова, — надо пустить ребят с резвыми ногами. Из подлеска я сумею поддержать их пулеметным огнем, да и пара минометов для паники у меня найдется.

— А Колхозный отряд надо будет подлесками под-

водить прямо к городу и накапливать ближе к окраинам, — сказал Лелюков. — Когда на шоссе устроим панику, вот тут-то и нужно ударить надежным молотом, со звоном.

— По-моему, успех обеспечен, — сказал Кожанов: — психика у отступающего противника ослаблена, дисциплина развинчена, сцепление потеряно...

— А у них орудия, пулеметы? — ехидно заговорил Лелюков, проверяя какую-то свою назойливую мысль. — Мы «ура-ура», а они поворачивают колеса в нашу сторону, а?

— Атаку начнем в сумерки. Разве им разобратся, кто их атакует — авангарды Приморской армии или партизаны? В темноте у страха еще больше глаза...

— А своих как мы будем угадывать? Ведь наши наполовину во фрицевских мундирах.

— Марлевые повязки заготовлены на рукава, как и приказали.

— Хорошо было бы организовать преследование, — сказал Лелюков. — Это я в порядке оперативной мечты. На машинах, в спину, посеять панику на всем шоссе. У страха глаза велики. Как бы?

— Шоферов у нас человек сорок наберется, — сказал Кожанов. — Нужно — сейчас же отберем, сгруппируем.

— Потом, потом, — остановил его Лелюков, — а то мечта разлетится, как дымок после пистолетного выстрела. Ну, давайте!.. Удачи!

Семилетов ловко вскочил на вороного жеребца, стукнул его по крутым бокам каблуками и куцым галопом поскакал в сторону своей бригады. Два верховых-связных поскакали за командиром бригады на мохноногих коньках, взявших с места хорошим тротом.

Кожанов же приловчился у крыла нашей машины, и уже по пути поподробнее рассказал Лелюкову о выходе бригады Маслакова на свои исходные рубежи.

— Попадут, попадут немцы в мешок, — уверял Кожанов.

— Погоди, Кожанов. Так, брат, весело не надо, — остановил его Лелюков, — как скромненько рассчитаем, так удается ладней, как в облака заберемся — вниз.

Вырубленный немцами еще в сорок первом году прищосейный лес распустился от пней густым и буйным подлеском. Не тронутые человеком и скотом ажинники сплелись своими колкими коричневатыми побегам так дружно, что тюльпанная повитель, отказавшись проникнуть в

середку, вилась вокруг кустов, обволакивая заросли своей мягкой ползучей зеленью.

Донадзе осторожно вел машину, прислушиваясь то одним, то другим своим запеченным на солнце ухом в сторону шоссе. Оно не видно из-за духовитого молодого подлеска, но слышно, как рокочут моторы немецких машин впереди нас, словно морской прибой.

— Дальше нельзя, товарищ командир, — сказал Донадзе, — я слышу запахи соляра. Идут дизельные машины. На них может быть мотопехота...

Лелюков удивленно поглядел на остроносое лицо Донадзе и прыгнул на траву. Мы сошли с машины. Лелюков нагнулся, сорвал красный полевой мак с черненькой зародышевой сердцевинкой. Мак недавно распустился, и листочки его еще не разошлись.

Лелюков тихо пропел:

На завалах мы стояли, как стена,  
Пуля ранила разведчика вчера.  
Пуля ранила разведчика вчера,  
Пуля аленьким цветочком расцвела.

Лелюков сунул мак в кармашек рубахи, рядом с торчащим оттуда карандашом.

— Ты должен знать эту песню, Иван Тихонович.

— Знаю. На бронепоезде пели ее солдаты, которые были на Кавказском фронте, против Турции.

Пешком, минуя наши посты, мы пошли ближе к передовой. В блиндаже полевой противопартизанской заставы, брошенной немцами, сидели два бойца — молоденький Вдовиченко, застенчивый мальчишка с оттопыренными от «лимонок» карманами, в каракулевой ладной кубанке с яркo-алым верхом и пионерским галстуком на худенькой загорелой шее, и матрос-береговик из Керчи, Жора, в круглой матросской шапочке и тельняшке.

Лелюков взял пальцами стиральную-перестиральную тельняшку, оттянул от налитого потного тела матроса, спросил:

— Для устрашения?

— Так точно, товарищ командир.

— Прикрой эту зебру, брат. Не люблю маскарада, — строго сказал Лелюков.

И пока матрос, багровый от смущения и натуги, напяливал на свой мускулистый торс тесную курточку, Лелюков отослал Кожанова к Маслакову, строго-настрого зака-

зав ему наносить совместный удар и не «партизанить», а отца попросил съездить на машине к Колхозному отряду и подбодрить их хорошим словом. Мы простились с отцом у разлапистого куста карагачей, и я вернулся к Лелюкову.

Он уже успел выбрать удобное место, откуда и невооруженным глазом было видно шоссе, запруженное отступающими немцами. Слышался шум моторов, вспыхивали гасли зайчики на ветровых стеклах.

В отдалении погромыхивали главные калибры.

Пыль, как дымы пожара, поднималась где-то далеко за шоссе — это могло быть в долине Рассанбая, а может, и дальше.

Радиостанция Аси начала ловить открытые командные тексты, идущие от бронетанковых и подвижных отрядов — авангардов наших войск.

Немецкие радиостанции заволновались. Эфир наполнился разноречивыми, паническими приказами, исходящими от разных по служебному рангу командиров.

Одиннадцатого апреля ударом наших войск в направлении Джанкоя был прорван последний оборонительный рубеж на Сивашских позициях, в районе Томашевки, и разбитые части 336-й и 11-й пехотных немецких дивизий и 10-й и 19-й пехотных дивизий румын начали отход от Северных Сивашей и Чонгарского полуострова. К исходу дня части прикрытия вели сдерживающие бои с нашими подвижными частями на рубеже Челюскинец, Люксембург, Карасафу, Анновка, Розендорф, Трудолюбимовка.

Горноегерский полк «Крым», которого мы опасались, прошел побережьем Южных Сивашей к Джанкою, вступил во встречный бой, был разгромлен и пленен.

Ночью и с утра 12 апреля противник начал отходить по всему фронту, бросая орудия и военное имущество. Части прикрытия вели бои и сгорали под сокрушительными ударами наших бронетанковых и механизированных сил, яростно вошедших в прорыв.

Прорыв Сивашских позиций и Перекопа на севере Крыма создал угрозу Керченскому направлению. Поэтому генерал Альмендингер в ночь под 10 апреля отдал приказ об отходе с Керченского полуострова тем соединениям своей группировки, которые он ценил и боялся безвозвратно потерять. Еще в начале штурма перешейка Толбухиным Альмендингер направил на помощь войскам, оборонявшим Перекоп, часть своих сил, по приказу потерявшего само-

обладание командующего 17-й армией Енекке. 11 апреля главные силы 5-го армейского корпуса, в основном под прикрытием румынских арбергардов, начали отход. Подвижные части Приморской армии вцепились в хвост отступающему противнику. Тогда Альмендингер, стараясь обеспечить отрыв главных сил своего 5-го армейского корпуса, заставил драться на Акмонайских позициях горных стрелков 3-й румынской дивизии и группу «Кригер».

Альмендингер, или, как его называли, «черный втортембержец», увидев, как крушатся все фортификационные рубежи — плоды его личного творчества, — бросив войска, сел на «оппель» и очнулся только в районе Бахчисарая. Переночевав в бывшем ханском дворце, Альмендингер помчался к крепостным фортам Севастополя, чтобы немедленно радировать фюреру о бездарном поведении его давнего личного соперника командарма 17-й Эрвина Енекке.

Серые от пыли колонны медленно катили по шоссе. Отходили румыны разбитой 3-й дивизии, карательные и противодесантные отряды, разрозненные эскадроны 6-й дивизии генерала Теодорини, инженерно-строительные батальоны, сбросившие с грузовиков проволоку, лопаты и колья, проходили потерявшие строй одетые в пепельную форму матросы морской пехоты.

Солнце катилось с зенита, тени удлиннились. Наша атака была намечена в сумерки по сигналу двух красных ракет.

И вот, когда все так отлично складывалось и Лелюков похвалился, что операция разыгрывается, как по нотам, к комплункту прибежал Кариотти.

Он был вымазан по пояс в грязи, на лице и плечах лежал толстый слой известковой пыли, серой, как порошок цемента, губы растрескались и кровоточили, глаза с красными воспаленными веками горели каким-то безумным огнем:

— Беда... командир!

Кариотти прерывающимся, сдавленным голосом, глотая слова, доложил, что Мерельбан приказал начать поголовную резню русских и армянских кварталов Солхата.

— Мы должны спешить... — бормотал Кариотти, — спешить! Они оцепили улицы, заходят в дома, стреляют и режут и детей и женщин — всех!..

Лелюков, обдумывая решение, спокойно посмотрел на часы и приказал немедленно начать атаку.

Все основные данные операции не менялись, но из нашего арсенала выпало одно оружие — темнота, на которой

мы строили свои оперативные расчеты. Мы не могли в такой трагический момент бросить население города.

Ракеты вспыхнули, словно дикие маки раскрыли свои бутоны. И тотчас же дружно застучали наши пулеметы, скрытые кудрявой карагачовой порослью, затрещали равные автоматные очереди.

Немцы не ожидали нападения. Солдаты посыпались с машин, побежали по степи.

Несколько грузовиков попытались одновременно проскочить мост, но, не достигнув его, сцепились бортами и закупирили все движение. Трехосный шкодовский транспортер, крытый брезентом, врезался в грузовики, поднялся на дыбы, как лошадь, и, кружа баллонами, полетел под откос.

Лелюков отнял бинокль от глаз, подморгнул мне, будто говоря: «Ишь, брат, как ловко!»

К нам подбежал капитан Купрейшвили и срывающимся от бега голосом доложил, что его отряд готов к бою.

У капитана Купрейшвили был существенный недостаток: в присутствии старших командиров он всегда излишне горячился.

— Начинай, Купрейшвили! — приказал Лелюков.

— Есть начинать! — Купрейшвили перекрутился на повороте так, что из-под каблуков брызнула галька, и резко, на высокой ноте, отдал приказание, перемешивая русские и грузинские слова, что случалось с ним в моменты сильного волнения.

Купрейшвили бросил отряд в атаку и первым принял на себя огонь противника. Немецкие офицеры залегли в глубоком кювете и открыли редкий, неслаженный огонь по грузинам. Тактическая ошибка Купрейшвили стала ясна для нас, когда его бойцы начали выбывать из строя один за другим.

Молодежный отряд активно обстреливал шоссе. Яковом руководил строгий расчет, а не просто высокий душевный порыв, и поэтому он не выбрасывал людей в открытую атаку, желая избежать лишних потерь.

Купрейшвили нервничал.

— Подвел меня Волинский! Ох, как подвел! — бормотал он.

Неслаженная стрельба со стороны шоссе переходила в стойкий, организованный ружейный и пулеметный огонь.

Грузины залегли.

Противник сосредоточил огонь на Грузинском отряде,

а в это время Молодежный отряд подбирался незамеченным к шоссе. Ползком, рывками, бросаясь из стороны в сторону своим сильным и цепким телом, к нам добрался Шувалов. Он сообщил, что пехотная часть, отступившая по боковой грунтовой дороге, начинает принимать боевой порядок.

Лелюков приказал поднимать всю бригаду. Молодежный отряд пошел в атаку.

Теперь была слышна бешеная работа автоматов, и то там, то здесь вставали прямые и косые дымы гранат.

Лелюков нервно закурил. Губы его подрагивали. Атака вступала в свою решительную фазу.

Увидев поддержку, грузины и связанные с ними флангом бойцы 4-го отряда продолжили прерванную атаку.

Мы перебрались на кромку подлеска и залегли в шиповниках.

Невдалеке от нас застучали колеса «максима», замелькали спины бойцов. К пулемету, не прикрываясь бронещитком, на корточках, чтобы лучше видеть, присел пулеметчик Шумейко и сразу же перешел на длинный «шов».

Шоссе дымилось. Ездовые соскакивали с повозок, отстегивали постромки, бросались на лошадей и мчались по непопаханой целине, покрытой бледными разводами полыни.

Атака грузин развернулась перед нашими глазами. Передние цепи уже завязали рукопашный бой.

Лелюков смотрел в бинокль. Волосы прилипли ко лбу, фуражка — на затылке.

Вот свалился известный в отряде храбрец Ониани. Муладзе бежал, не сгибаясь, и стрелял из автомата, прижатого прикладом к груди. Потом он швырнул гранату и, обогнав товарищей, бросился вперед, упал и больше не поднялся.

Возле него свалился еще кто-то из бойцов Молодежного отряда.

— Суслов! — воскликнул Лелюков.

И снова:

— Шамрая! Наповал!

Шумейко вдруг отвалился от пулемета, разжал руки, закачался и упал на спину, ноги его остались согнутыми в коленях, и подошвы не оторвались от земли.

С криком, слившимся в одну пронзительную ноту, к шоссе подбежал Вдовиченко, любимец Молодежного отряда.

Голова мальчишки в кубанке с алым верхом и пионерский галстук на шее мелькнули на шоссе, в пыли, и вдруг пропали.

— Да неужто и мальчишку? — выдавил сквозь зубы Лелюков.

Он перекинул бинокль на спину, как это он делал в Карашайской долине, и выдохнул дрожащими от гнева губами:

— Не могу!

Он перещелкнул автомат на боевое положение и побежал к шоссе.

Я бросился за Лелюковым, чтобы остановить его. Отстреляв магазин, он перебрросил автомат за спину, поднял руки: правую — Молодежному отряду, левую — к грузинам, закричал:

— Давай, давай, ребята!

Возле нас зафыркали пули. Я увидел, как дрогнули поднятые руки Лелюкова и на рукавах рубахи поползли пятна, темные внутри и алые по расползавшимся краям, похожие на увядшие лепестки мака... Лелюков шел вперед, воодушевляя бойцов и не опускаая рук.

— Бросай бомбу и за меня! — кричал он. — За себя и за меня!

Лелюкова видели все бойцы: и те, что залегли у дороги в воронках, и те, кто отстал позади, и теперь поднялись и побежали вперед, забегая с боков, заслоня командира.

Теперь партизаны вышли на дорогу широким фронтом.

Немцы группами и в одиночку бежали по степи туда, где в отдалении поднимались миражи над Сивашами.

Семилетов возился возле брошенных на шоссе горных пушек. Комбриг покрикивал на запыленных, взлохмаченных людей, возившихся возле трофеев.

Черные дымы горевших машин стлались над их головами и тянулись по южному ветру. В придорожной пыли лежали убитые, валялась каска, и от потного подшлемника каски шел пар.

Партизаны-артиллеристы открыли короткую стрельбу по плоскости степи. Бурные клубы вспыхнули то там, то здесь, и слышались, отдаваясь звоном в ушах, разрывы снарядов.

Колхозный отряд вплотную подошел к окраинам Солхата и завязал бой за первую линию каменных домов.



Я посоветовал Семилетову оставить на шоссе артиллерийские заслоны, а основными силами бригады выходить к Солхату. Город лежал перед нами, залитый, как кровью, лучами заходящего солнца. Над кровлями и цветущими белокипенным цветом садами поднимались маревые облака занимавшихся пожаров.

Василь почти насильно увел Лелюкова на перевязку.

Я ехал к Лелюкову и видел колонну обозов, брошенную противником, столбы дыма над горящими машинами.

Полевой перевязочный пункт расположился в мелкой, промойной балочке. На розовом кошащем клевере стояли ведра с водой, прикрытые струганными буковыми дощечками, и возле ведер, протянув полные загорелые ноги, сидела Катерина и щипала сиреневый венчик питрова батига, пришептывая что-то припухлыми, чуть вывороченными, жадными губами.

— Ой, не люблю войны!— сказала она, хмуря брови.— Да когда же вы ее, хлопцы, прикончите?

Лелюков сидит на корточках, вслушивается в шумы сражения, поторапливает и Устина Анисимовича и Камелию, которая помогает доктору; у нее натужно пульсирует жилка на виске, и бусинки мелкого пота скатываются по вискам к шее.

— Надо организовать колонну автомаши, кликнуть шоферов-партизан грузить резервный отряд на машины с пулеметами,— говорит Лелюков.

На лоб его набежали морщинки: Устин Анисимович отбрасывает в траву окровавленные тампоны.

— Надо резать шоссе выше. Я сам поведу отряд!— говорит Лелюков, порываясь встать.

Устин Анисимович неодобрительно глядит на него из-под стекла очков:

— Без вас, без вас найдутся...

— Устин Анисимович! Ведь так может быть раз в жизни!— восклицает Лелюков.

— Да и жизнь-то дана раз...

Устин Анисимович стоит с закатанными рукавами, видны его руки по локоть с синими проволоками вен. Катерина и Люся раздевают Вдовиченко. Его худенькие руки судорожно уцепились за перекладины носилок, глаза закрыты. Синие тени прошли по щекам. Мальчишка быстро глотает воздух, корчится от боли, но не стонет. У него

тяжелое ранение в легкие и живот. Катерина приглаживает его ершистые волосы.

— Ничего, ничего. У нас есть добрый доктор... вылечим...— а сама смахивает слезу, встряхивает волосами и с невыразимой тоской в широко открытых глазах смотрит повыше раненых людей, куда-то вдаль.

Донесения привозят уже на мотоциклах. Связные в новых сапогах, буйволовая сыромятина сброшена с натруженных ног, у всех на поясах револьверы в толстокожих немецких кобурах.

Связные, опьялевшие от боевого хмеля, говорят хриплыми, петушиными голосами и, получив приказ, уносятся, как бешеные, согнувшись у кризых рогов рулей.

Перевязка окончена. Одна рука Лелюкова зашинована, вторая — висит на марлевой подвеске.

Я помогаю ему взобраться на сиденье, на ходу киваю Люсе. Я вижу ее перывистое движение ко мне, но машина уже тронулась с места.

Мы на поле недавней атаки. Лелюков сходит с машины, идет. Донадзе тихо ведет машину позади нас.

Убитых еще не подобрала. Вот лежит, раскинув руки, Шумейко в той же позе, в которой его захватила смерть. Пальцы скрючены, будто он вцепился в ручки своего пулемета.

— Знаменитый был пулеметчик,— тихо говорит Лелюков.— Какой был парень!

Политрук Воронов лежит на спине. Крик, зовущий в атаку, будто застыл на его лице. Видны были протертые до дыр подошвы, гвозди на каблуках блестя.

— И Воронова нет,— бормочет Лелюков.— Ишь, напасть!

На боку, будто скорчившись от боли, поджав под себя автомат, лежал Бочукурн. Донадзе прыгнул с машины, остановился у тела убитого друга.

Гаврилов носится на своей лошаденке, комплектуя машины. Ему надо везде поспеть, и жадные его глаза горят при виде добра, разбросанного на земле.

На скаку прыгивает, идет к нам, скаля острые зубы в довольной улыбке.

Гаврилов останавливается возле убитого Бочукурн и, словно спохватившись в своей недогадке, тянет прижатый мертвым телом автомат.

— Там ребятам надо,— говорит Гаврилов.

Автомат не поддается. Гаврилов переворачивает Бочу-  
кури на спину, освобождает ремень.

— Оставь! — кричит на цыгана Лелюков. — Иди к ма-  
шинам!

Гаврилов испуганно моргает глазами, быстро вскакивает  
на лошадь и трусцой направляется к шоссе.

Бочукури лежит лицом к закату. Длинные ресницы от-  
брасывают тени на смуглые, уже тронутые стеклянной жел-  
тизной щеки. Даже после смерти очень красив Бочукури.

Лелюков повел колонну через город.

Вслед за ним и я поспешил к городу, там еще шла пе-  
рестрелка, и где-то там была Анюта...

Город окончательно был взят перед самым закатом.  
Отдельные очаги сопротивления подавлялись гранатами и  
штыками. Не задерживаясь в центральной части города,  
занятой Молодежным и Грузинским отрядами, я проехал  
в верхние кварталы, где недавно происходила резня мир-  
ного населения, организованная Мерельбаном. На кривой  
улице, уходящей в гору оградами из дикого камня и мел-  
кими домишками, прикрытыми шелковичными и яблоневы-  
ми деревьями, Донадзе затормозил машину.

На дороге лежали две просто одетые женщины, обрыз-  
ганные кровью, прижав заостренными крестообразно рука-  
ми грудных детей. Крупные мухи кружились над трупами.

Стоявший у ограды автоматчик из Колхозного отряда,  
узнав меня, вышел к машине.

— На улицах четыреста двадцать человек, — глухо  
сказал он, — только на улицах... В домах не считаны еще.  
Комиссар приказал не убирать до комиссии.

— А где комиссар?

— Где-то там, впереди, с капитаном Кожановым, това-  
рищ начальник.

Возле ворот на плитняковом тротуаре лежал убитый  
эсэсовец. Его будто скрючило у столба. Мундир туго на-  
тянулся на упитанном туловище.

— Успел сделать свое, потом прикончили, — сказал ав-  
томатчик. — Зайдите в дом, там яснее... Ведь всего двена-  
дцать живорезов, а сколько народа перевели!

Мы зашли в дом, заплетенный снаружи виноградом  
«изабелла».

Окна пропускали мало света, и с улицы трудно было  
что-либо разобрать в хаосе перевернутой мебели и разбро-  
санных постельных принадлежностей. Мы вошли в дом.

На тахте лежала девочка лет одиннадцати, с угловатыми коленками, прижатыми к груди худенькими руками, покрытыми свежими пятнами еще не загустевшей крови. У девочки была раздроблена челюсть выстрелом в упор, на щеках и на лбу впился в кожу пороховой нагар. На полу, возле тахты, лежал убитый двухлетний ребенок.

И здесь же, обхватив голову руками, валялась еще одна девочка в ситцевом коротком платьице, с косичками, заплетенными лентами.

На пороге второй комнаты лицом к потолку лежал старик с острой седой бородой с перерезанным горлом.

Выйдя на улицу, я повстречал возвращавшихся с обхода отца и Кожанова.

— Надо немедленно радировать штабу армии, — сказал отец, — передать об этом открытым текстом, пусть ловят все радиостанции... Надо передать в Москву, в Чрезвычайную комиссию... — Отец прихватил мою руку своими сильными корявыми пальцами и тихо спросил: — Ашоту не видел?

— Нет, отец.

Пальцы его разжались, моя рука онемела.

— Если бы мы не поспешили, они вырезали бы весь город, — сказал Кожанов, — и опять им помогали изменники из татар...

Ночью громыхали орудия, и на горизонте трепетали огненные зарницы.

Домик штаба выходил окнами на улицу, где росли чаклы, ободранные осями арб шелковицы. Под деревьями расположились часовые. В окно я увидел Шувалова и Сашу. Они то сходились, то расходились, перебрасываясь какими-то короткими фразами. От артиллерийской стрельбы, не затухавшей до трех часов ночи, позванивали плохо вмазанные стекла окон. Мне хотелось спать. Вдруг раздался осторожный стук в дверь. Я отодвинул кованую, тяжелую щеколду.

Вошла Люся. Она притянула мою голову к себе и поцеловала теплыми дрожащими губами.

Я сжал ее холодные руки, шершавые от ветра и солнца, поднес их к своей щеке. Ее пальцы пробежали по моему лицу, волосам.

— Сережа, мы стоим на грани новой жизни, — сказала она, — кончились наши лесные приключения. Мы расстанемся друг с другом...

— Никогда, Люся!— прошептал я.

— Придут новые люди, новые ощущения, изменится и твое отношение ко мне,— шептала она, будто в полубытьи, и, слушая ее слова, полные тоски, я вдруг вспомнил отравленное какой-то ядовитой красотой лицо Фатыха и его слова о Люсе.

— Люся, все останется попрежнему,— бормотал я какие-то глупые, выпренные фразы, еле сдерживая свое волнение.— Если мы в лесу могли найти свое счастье, то почему мы должны его потерять, выйдя оттуда? Если мы не оставили друг друга, когда поднимались на скалистую гору, то почему, спускаясь под гору, мы расцепим свои руки? Я знаю, кто смутил тебя.

— А ты откуда знаешь?— Люся отодвинулась от меня.

— От Фатыха. Он мне говорил страшные вещи, и я ненавижу его...

Люся заплакала глухо, давась рыданиями.

— Я так мало знаю в жизни! Ты должен простить меня. Я так боюсь за тебя!.. Если бы только что-нибудь случилось с тобой в бою... я бы тоже пошла под пули, прямо поднялась бы на цыпочки, руки бы подняла и пошла... Без тебя у меня нет никакой жизни.

— Люся, какое счастье для людей, что существует любовь!— сказал я, растроганный ее словами.

— Не говори о ней, а только думай, мечтай,— ее губы искали меня, неумело, по-детски, целовали.— Кого-то зовет Лелюков. Не тебя ли?

Она выскользнула из моих рук, стукнула щеколда, и мимо окон прошуршали мягкие чувяки.

Охмелевший от ее поцелуев, наполненный каким-то восторженным пением души, я прилег на кушетку, расстегнул ворот и не мог заснуть до утра.

Утром передовые бронетанковые части Приморской армии, не останавливаясь, прогремели через Солхат, и по шоссе устремились полевые войска Приморской армии.

Партизаны получили приказ оставаться гарнизонами городов, пока части Красной Армии добивали противника на полуострове.

Ближе к полудню стало известно, что к городу едет Климент Ефремович Ворошилов.

Купрейшвили передал по телефону эту новость. Я услышал его задыхающийся, будто после сильного бега голос:

— Ворошилов!

Мы выбежали на улицу, и следом за нами со двора штаба повалили партизаны, крича:

— Ворошилов едет!

— Климент Ефремович!

— Маршал Ворошилов!

На тротуарах стало тесно от людей, все жадно смотрели на угол белокаменного домика, откуда должна была появиться машина Ворошилова.

И вот гул, подобный глухому гулу прибой, волнисто пошел над головами.

Из-за поворота показалась машина. В ней сидел Ворошилов в защитном комбинезоне, чуть-чуть склонившись у ветрового стекла.

Партизаны ринулись на шоссе, запрудили улицу, и шофер, тормозя машину, тревожно бросил вопросительный взгляд в сторону Ворошилова. Маршал, разглядывая людей чуть прищуренными, внимательными глазами, сказал:

— Подождите.

Толпа увеличивалась. В какие-то две-три минуты узкая улица, огороженная каменными заборами, была запружена молчаливыми от волнения людьми. Они глядели широко открытыми, изумленными глазами на человека, о котором они пели песни и которого еще ни разу не видели. Ворошилов понимал мысли этих разномастно и щедро вооруженных людей и любовно смотрел на них. На его седоватых с рыжинкой висках, видневшихся из-под полевой маршальской фуражки, перебегали солнечные блики. Тень от широкого запыленного козырька падала на его лицо, тронутое красноватым загаром.

Всем было известно, что маршал Ворошилов был не только руководителем партизанского движения, возникшего в пределах оккупированной зоны, но и то, что он был уполномочен ставкой Верховного Главнокомандования по координации боевых действий на южном стратегическом крыле фронта. Но самое волнующее было в сознании, что этот прославленный маршал, о котором они читали еще в детстве в учебниках и романах, к тому же еще хороший и добрый человек. И это последнее умилило всех до слез. Люди молчали, и Ворошилов взволнованно молчал. Глаза его чуть-чуть увлажнились, как бывает у сдержанных, сердечных людей.

Отец едва пробился через толпу и вдруг в нескольких шагах от себя увидел человека, которого он обожал еще давно, со своей молодости. Его чуть приподнятые руки дрожали.

— Климент Ефремович,— проговорил он сдавленным голосом и, глядя только на Ворошилова, протиснулся к нему.

Конечно, Ворошилову было трудно узнать старика. Сколько десятков тысяч людей прошли перед его глазами, да и беспощадное время сильно изменило лица. Но маршал видел по сияющим глазам этого человека, по всему трепету его рук и тела, что этот бородач-партизан действительно лично знает его.

— Я где-то вас видел?— приподнявшись с сиденья, спросил Ворошилов.

— В Царицыне, Климент Ефремович. Ведь я-то вас хорошо помню...

— А-а!— как бы припоминая, протянул Ворошилов.

— На бронепоезде Алябьева! Лагунов я, Лагунов...

— А... да... да... Вспомнил... вспомнил... Здравствуйте, товарищ Лагунов.— Ворошилов пожал руку отцу.— Что ж... Вот и довелось встретиться... Довелось. Вы здесь партизанили, товарищ Лагунов?

— И на Кубани и здесь, товарищ Ворошилов.

— Спасибо,— поблагодарил он и, обернувшись ко всем партизанам, сказал:— Спасибо вам, товарищи. Помогли нам хорошо...

Слова Ворошилова облетели всю улицу. Партизаны загудели, закричали.

— Что же вы хотели мне сказать, товарищи?— спросил Ворошилов.

На минуту все притихли. Потом прошелестело по толпе, вначале тихо, а потом громче и громче зарокотали голоса:

— Татары, татары!

— Жить не давали!

— Татары!

Ворошилов внимательно и сурово прислушался к взволнованным голосам, кивнул головой.

— Это мы уже знаем, товарищи,— сказал он и поднял руку в последнем приветствии.

Люди расступились, и машина маршала пошла мимо плотно, наподобие каменной стены, стоявших партизан. И

когда машина скрылась за поворотом, люди, будто опаматовавшись, зашумели, заговорили, и долго бурлили, перекатывались и многоголосо рокотали их взволнованные голоса.

### *Глава шестнадцатая*

## ПОСЛЕ ШТУРМА

Во дворе в больших котлах варилась баранина, стояли бочонки с местным кислым вином, и вокруг них с жадными глазами и пересохшими глотками толпились партизаны.

Татары везли партизанам вино, кур, хлеба, баранов. То и дело, поскрипывая осями, во двор штаба заезжали мажары, и возле них с вожжами в коричневых руках шли татары, кланясь во все стороны. Здесь же, во дворе, татары снимали с мажар баранов и, подобострастно испросив разрешения Гаврилова, стоявшего с засунутыми в карманы руками, приваливались коленом к курчавой шкуре; блестя ножи, и из перехваченного горла на траву текла густая, пенная кровь. Татары вздергивали убитых животных за задние ноги, ловко сдирали шкуры, солили их серо-ватой сивашской солью и забирали домой.

Я видел Фатыха несколько раз во дворе штаба, разговаривавшего с татарами на родном языке. Выражение довольства лежало на его лице. Фатых переоделся в черный пиджак, шевровые сапоги, обрантованные белой дратвой, но шапка с красной повязкой оставалась прежней, и из рук он не выпускал автомата.

А по главной улице Солхата, по шоссе, разрезавшему город, катила Приморская армия с песнями, в скрипе колес, резины, в дымках выхлопников. Солдаты шагали в пилотках, лихо заломленных по-приморски, как умели это делать отчаянные парни, видевшие славу Одессы, Севастополя, сражавшиеся на горных перевалах Кавказа, штурмовавшие «Голубую линию» на Кубани, в бурные ночи, под свирепым огнем неприятеля, переплывавшие стремнину Керченского пролива, прорвавшие теперь сильные укрепления Керчи, Акмонайские позиции.

Колоннами двигались пленные немцы. У них заросшие бородами, пыльные лица, испуганные глаза и безвольно опущенные руки. Они шли подавленные и с каким-то



страшным испутом бросали взгляды на проносившуюся мимо них Приморскую армию.

На каждом ветровом стекле нарисована эмблема — чайка. Это знак приморцев — армии, сражавшейся все время близ моря и только не надолго брошенной в глубь континента. Чайками были украшены все машины приморцев.

Партизаны Лелюкова с восхищением и завистью смотрели на регулярные полки Приморской армии, проносившиеся мимо них к Севастополю.

Пройдет немного времени, и эти люди выстроятся в очередь возле полевых военкоматов, назовут свои имена, фамилии, год рождения, сдадут оставшиеся только по счастливому случаю документы и партизанские характеристики, вольются в дивизии и уйдут воевать дальше. А пока они гуляли так, как гуляли их отцы в гражданскую войну после удачной победы, ходили хмельные от вина и счастья.

— Вас, товарищ гвардии капитан, просит к себе командир.

Возле меня стоял Коля Шувалов, смотря на меня своими черными, круглыми глазами.

— А где командир?

— В штабе, товарищ гвардии капитан.

Я пошел к Лелюкову через кухню, где Софья Олимпиевна жарила, варила, пекла, работая и шумовкой и каталкой. Она не обратила на меня особого внимания, так как через кухню к Лелюкову ходило много командиров. Она к ним привыкла, и ее обязанности заключались только в том, чтобы напитать всех, напоить по мере сил и возможности, никого не обидев.

Лелюков сидел на лавке, покрытой ковром, и ел холодец, вымачивая кусочки хлеба в отдельной тарелке с горчицей и уксусом.

Одна рука Лелюкова была взята в гипс, вторая двигалась плохо.

Лелюков старался есть без посторонней помощи.

Василь плакал пьяными молодыми слезами, вытирая зареванный нос цветным платком и протирая большими своими кулаками мокрые глаза.

Я первый раз видел верного лесного адъютанта Лелюкова и начальника боепитания особого фонда в таком виде.

Лелюков искоса посмотрел на меня, вернее только на мои ноги, и предложил мне сесть рядом. Не говоря ни слова, предложил мне глазами вилку и холодец и продол-

жал есть, будто не замечал всхлипывающего и причитающего Василия. Потом подтолкнул меня локтем, как бы заставляя понаблюдать за своим адъютантом, и сам, ухмыльнувшись своими серыми навывкате глазами, следил за Василем.

Безусловно, Лелюков жалел своего адъютанта и молчал теперь просто из любопытства: что же дальше?

Василь был хитрый парень, знал, что командир слышит его, и поэтому жаловался нарочито громко, чтобы разжалобить его сердце:

— Я от Перекопа шел до лесу. Три года себе младшего лейтенанта зарабатывал, к младшему лейтенанту тянулся, а теперь... — Василь оторвал кулак от глаза и повернул свое мокрое лицо к Лелюкову. — Лелюков — мой любимец... Я его люблю, а он меня ругает. Если бы он только знал, сколько я пережил. Да и знает он, но только то, что на виду. А так я не стану же его расстраивать, лезть к нему со всей душой, со всякой сыростью...

Василь, не отрываясь и будто бы незаметно, следил за Лелюковым, и мне казалось, не пропускал ни одного его движения. Он отлично изучил характер и повадки своего начальника, знал его слабые струнки и безошибочно добирался до его сердца, прикидываясь сильно подвыпившим и расстроенным.

Лелюков за время пребывания в лесу, сталкиваясь с предательством и корыстью, требовал от близких к себе людей абсолютной преданности во всем, даже во внешнем проявлении.

Василь продолжал хныкать и приговаривать почти одно и то же.

О проступке Василя я мог только догадываться и поэтому не мог судить, верно или неверно сейчас поступает Лелюков, так долго заставляя извиняться своего адъютанта.

Лелюков привык угадывать чужие мысли. Он тихо, чтобы не дошло до адъютанта, сказал мне:

— Сопли распустил за то, что прочесал его за трофеи. В лесу были... ничего не надо, а тут... Жадность откуда-то началась. Начал сумы набивать нужным и ненужным. Для чего? Останется жив — не заработает? А куда за собой потянет? Ему-то, молодому парню, шагать по войне и шагать, звенеть котелком долго придется. Сапоги — ладно, смотрю сквозь кулак, без обуви намаялся,

штаны взял в обозе — ничего, сквозь пальцы смотрю, мундир — ладно, хотя я бы его не надел никогда, но не голым ходить, помирился, оружия цепляй хоть до макушки — пригодится, и всегда на виду, нужно — отберем. Но барахло? Корысть, брат, такая штуковина, ей только дай ход, так она съест не только дисциплину... Потому Василь плачет, не за барахлом, а боится, что я к нему дружбу потеряю.

Василь не слышал, что мне говорил Лелюков, но, поймав его суровый взгляд, еще сильнее всхлипнул, зашмурыгал носом.

Его широко расставленные ноги были в немецких трофейных, новых штанах. Сапоги тоже новые, на толстой желтой подошве, с тремя прослойками и пряжками, и пистолет морской на бедре, а второй небрежно заткнут за пояс, и матросская тельняшка под бушлатом. Крепкие, налитые мускулами руки, покрытые светлым пушком, и оттопыренная, как у обиженного ребенка, пухлая по-детски губа, вывернутая обиженно, хитро и горько.

— Если бы он знал, сколько я пережил, — канючил Василь. — Сколько людей спас. Я жизни своей не щадил и заслужил большее... Я вместе с ним воевал, — глаза Василя прогнались по Лелюкову, — крепкий он командир, я с ним мог на все итти. Он боролся за меня, я за него. Я сам отнял не меньше пятидесяти коней, коров не пересчитаешь. Я гуртами коров у немцев отбивал, сам отбивал, разве Гаврилов помогал... — Теперь Василь уже обращался ко мне и искал моей поддержки. — Бывало, без седла на жеребца вскочишь и пошел в лес, а пуля жужжит, а пуля свиришит... Я коней достал столько, что целый эскадрон мог посадить... Все съели... А как мы Зиночку выхватили из петли! Я сам Зиночку у седла вез по каким горам!..

Напоминание о спасении дочки тронуло Лелюкова, он начал внимательнее и добрее поглядывать на своего адьютанта.

Возле дверей уже несколько минут стоял незаметно вошедший Шувалов и, прислушавшись к бормотанию Василя, утвердительно кивал головой.

— Пережил действительно много, — с грубой участливостью сказал Коля, — все верно.

Коля был в неизменном своем берете, с красным шарфом на шее, с автоматом, двумя пистолетами и кинжалом, украшавшим его, как какую-либо витрину в военном музее.

— Как выпьет, так и плачет, — говорит Коля. — У него

женственности много.— Коля подходит к Лелюкову, останавливается у его плеча и тихо ему:— Товарищ командир, он ничего парень, пожалели бы.

Василь краем уха слышит эти слова. Он приподнимается, гремя оружием о стул, шатается, как будто бы от сильнейшего горя, хотя все это делает как-то по-детски притворно и идет к Лелюкову с раскрытыми для объятия ручищами, которыми он при желании мог бы обхватить не только Лелюкова, но и всю эту маленькую комнату.

Лелюков отстраняется, приказывает Шувалову:

— Возьмите его, уведите! Руки ломает мне...

Коля подходит к Василию и силой выводит его в кухню, прикрывает за собой дверь.

— Вот скажи сейчас Василию, когда и опасность кончилась лесная: Василь, дай, мол, под топор руку за Лелюкова — даст, — говорит Лелюков. — Но с такими преданными надо быть осторожными вдвойне. Они могут из-за любви к тебе, из-за ревности самого тебя пристрелить.

Лелюкову трудно повиновались его пальцы раненой руки, и он долго не мог зажечь спичку. Я помог ему прикурить, и он сидел, окутанный клубами дыма, с благодарной, дружелюбной улыбкой.

За дверями в кухне слышался бубнящий голос Василя, голос Софьи Олимпиевны, еще какие-то женские голоса, резкая отповедь Коли. Потом все затихло и слышался только гул в плите.

Мы с Лелюковым сидим и обсуждаем вопрос о постепенной передаче партизан в армию, о сборе и сдаче оружия и трофеев. В конце беседы, когда дела окончены, он говорит мне:

— Стронский в Солхате.

— А чего же ты молчишь? Мне очень, очень нужен товарищ Стронский... Знаешь, сколько у меня накопилось к нему вопросов?

— Вот и поговоришь с ним. Время-то есть, — сказал Лелюков, — отец пошел к нему в гости. Тебя ждут через... два часа. Раньше не ходи: Стронский должен передать тебе твои документы, ордена, партбилет. Ты-то к нам с одним паролем пожаловал.

— А где остановился Стронский?

— Тебя проведет Борис. А пока иди да посиди на кухне, узнай, как там Василь? Ты знаешь, я его все же любил, как сына.

На кухне кипели и варились в больших кастрюлях рубленые куры, помидоры, лук, сало, что в подобной щедрой комбинации носило в устах поварихи роскошное название «чахохбили».

Софья Олимпиевна, болезненная, толстая, рыхлая женщина, с седыми волосами, убранными под чепчик, и с широкими юбками, отчего она казалась еще толще, убивалась горем при виде худобы молодых ребят и наблюдая их неприятности... И сейчас она слышала через дверь то, что происходило в комнате у Лелюкова, слышала вежливыя и пьяные признания Василя и дождалась, пока его вывели на кухню.

Василь сидел у стола, подперев голову руками, а Софья Олимпиевна хлопотала возле него. Она убрала со стола крошенную мелко морковку, вытерла из-под локтей Василя мокрое своим фартуком и, быстро зачерпнув с чисто крестьянской ловкостью чахохбили понаваристой, с помидорчиками поверху, поставила миску перед Василем.

Василь долго смотрел на кушанье, вдыхая его запах, и уже приготовился есть, но, заметив меня, отодвинул сердито миску локтем.

Коля хотел убрать миску, Василь мотнул головой:

— Оставь... Пил много, а ел ничего...

Коля понимающе улыбнулся и, крутнувшись на своих постоях, вышел во двор, где подоспела пицца и рокотал партизанский радостный лагерь.

Я сидел на лавке и наблюдал за Василем, который, наконец, решился взять деревянную ложку и жадно ел чахохбили, разламывая куриные кости своими крепкими зубами, собирал остатки в горсть и выбрасывал в форточку.

— Кабы в лесу бы нам такое кушанье, Софья Олимпиевна. А то, что мы в лесу имели: «Хлеб, соль да вода— партизанская еда, да кобыла молода...»

Василь виновато улыбнулся, но, заметив, что ни я, ни Софья Олимпиевна, ни еще двое партизан, пришедших в кухню и прикуривавших от печки, не хотят попрскать его недавними слезами, пришел в себя, попросил вина.

Софья Олимпиевна подморгнула мне: можно ли? Я кивнул ей головой. Она зачерпнула из ведра кружку мутного вина и поставила его перед Василем, а сама чуть-чуть отошла от него и, подперев подбородок кулаком, смотрела на него хорошими, материнскими глазами.

Василь отлично понимал этот взгляд, эту материнскую

ласку. Он привык уже к ней, потому что был он мил своей детской, какой-то нетронутой белокурой красотой и мягким характером.

Светлой кистью с пушинками волос полнес он кружку ко рту и, не отрываясь и не переводя духу, выпил.

— Кабы в лесу... А то все поздно...

— Не поздно, Василь, — говорит Софья Олимпиевна, присаживаясь на лавку напротив Василя.

В кухню входят еще две женщины, молодые, словоохотливые, и садятся рядом с Софьей Олимпиевной. Она говорит:

— Тебе не поздно, сынок, не поздно кушанье есть, вино пить, жить. А вот своего-то сына я никогда не дождусь к столу.

Накладывает ему еще чахохбили.

Василь придвигает чашку к себе, разламывает булку пшеничного хлеба и большим куском начинает макать в чашку, с прежней жадностью расправляясь и с этой порцией.

Василь знает горе Софьи Олимпиевны, но спрашивает ее, так как ему известно, что горе человеческое требует участия:

— А где же сын-то? Убили, что ли, или пропал без вести, Софья Олимпиевна?

— Убили...

— Вернется, — говорит Василь, прожевывая кусок хлеба с безучастным лицом, и опускает на колени руки.

— Как же вернется, когда убили?

— Мы тоже для матерей все были убитыми.

— У вас другое, Василь. А я собственными глазами видела.

— Вот как...

Рука Василя шарит кисет в кармане.

— Значит, ты видела собственными глазами, Софья Олимпиевна?

Василь несколько раз слышал от Софьи Олимпиевны рассказ о том, как погиб ее сын, брат Камелии, но до этого толком не вникал в это чужое горе. Теперь же он, внимательно и сурово насупясь, слушал Софью Олимпиевну.

— Сидела я вместе с сыном в тюрьме при немцах, в Керчи. Освободили меня партизаны. Уже здесь, в Солхате. Меня искалечили и сына отняли. Ходить почти не

могу, все избито, опухло. Сына не могу забыть. Умница был, красивый какой, языки знал, рисовал очень хорошо, прекрасный физкультурник был, на Всекрымских соревнованиях получил первый приз, до войны еще. Потом простудился на рыбе, в проливе. Получил туберкулез. Лечили его хорошо. Потом война. Привезла его Камелия в Туапсе, а потом, когда был первый десант и Керчь взяли, опять в Керчь. А тут опять немцы. Четыре с половиной месяца его мучили. В подполье он работал. И я помогала. Его в Керчи убили. Имя его хорошо известно — Виктор Пормутанов. Арестовали его, пытали в изоляторе. Мне пришлось его видеть. Вся спина у него была изрезана плеткой. Хотя бы тело его найти.

— Где же его найдешь, Софья Олимпиевна, — мрачно говорит Василь и угрюмо смотрит уже сухими глазами.

— Поехал в Керчь его друг Жора, партизан, поехал, чтобы расправиться с теми паразитами, кто выдал его.

— А кто вас освободил из тюрьмы? — спрашивает Василь Софью Олимпиевну.

— Освободил меня ваш отряд из тюрьмы. Специально налет делали. Да знаешь ты, Василек, Яша освободил меня и комиссар Баширов. А что меня освобождать! Кабы только сына..

И плачет теперь Софья Олимпиевна. Пришло время Василию всгавать и убеждать ее, что все проходит, что все померет, что вот остались они и заменят ей сына. В ответ идет всхлипывающий, блуждающий по сокровенному говор Олимпиевны, что прибрать бы ее нужно тоже с этого света, и что она встретится там со своим сыном, и что никто не заменит его, как трудно найти мать, а разлетелась семья, как голуби при пожаре, и никогда не подберет теперь она от сына своего ни одного перышка.

Василь садится возле Софьи Олимпиевны. Она обнимает его плечи и плачет на груди, а он смотрит теми же суровыми, много повидавшими глазами. Нет в этом Василе, утешающего мать, прежнего, только что нами виденного парня, распустившего слезы. Все в нем на месте, и автомат под рукой, пистолеты, мешочек с патронами звенит на поясе, и пламень в глазах.

— Маты, маты, — уже по-украински, как в далеком детстве, говорит Василь, приникая к голове старухи губами, — маты, моя маты..

Больше ничего не говорила Василь. Две зашедшие на

командирскую кухню разбитные бабенки, ядерные и налитые, бросили перешихиваться по своим бабским делам, перестали потрошить кур, тоже вытирают слезы ладонями, растирают их по лицу, по щекам, сморкаются и плачут.

Слезливое настроение развеивается, как дым, когда в дверь, почти не пригибаясь, входит разгульный, распоясанный Кожанов в сатиновой синей рубашке, в галифе, в каких-то сафьяновых чувяках, вымазанных рыжей глиной. Полное пренебрежение чувствуется у этого человека и к его синей рубахе и к штанам тонкого сукна. Кожанов долго пострадал в лесах, и теперь он, чубатый и лихой командир, гуляет по-русски, широко, как на масленой. Другим стал после победы Кожанов: куда делись его горе и раздражение? Он не любит слез после победы и всякой, как он называет, душевной слякоти, а предпочитает погулять.

Сатиновая его рубашка растегнута на три белоголовые пуговицы. Видна грудь, загорелая и волосатая, и начало сильных грудных мышц. Кожанов скроен и сшит, как ладный степной конек, выносливой и сухой породы. Кисти рук у него тонкие, но хваткие, сильные. Еще бы не сильные! Как вырваться из этих рук смуглолицей, сияющей от счастья Катерине, которая млеет под его плечом и входит сюда, в командирскую запретную зону, с тревогой, но и победным озорством, так и играющим в ее черных, влажных глазах. Уголки ее глаз, как у здоровых, молодых смуглянок, блестят, как рубины, и белок выпуклый, синеватый, чистый. Под глазами Катерины, как тушью, подведенные круги, кончающиеся на ее полных, чуть скуластых смуглых щеках. Ноги ее обуты в полусапожки. Уж постарался Кожанов и приказал сшить короткую модную юбку, и поэтому вверх со ступни видна стройная налитая нога Катерины. Обтянуты пестрым, узорчатым шелком такие же развитые и сильные ее бедра.

Кожанов видит меня. Делает знак глазами, оправляет волосы и глядит на ту дверь, за которой Лелюков.

Он стоит, расставивши ноги, улыбающийся, черночубый, веселый.

— Олимпиевна, дождь идет. Мамаша! — Кожанов ласково похлопывает ее по спине и протягивает мне свою руку. — Видались, кажется, сегодня, Лагунов. Эх, ничего! Здоров, еще сто раз здоров, Лагунов!

Кожанов смотрит в кастрюлю с чахохбили, блаженно улыбается в предвкушении новой еды, заглядывает в ведро



с вином и, подхватив под руку, как под крыло, Катерину, идет к Лелюкову. Он задерживается у дверей как будто в нерешительности, потом распахивает обе створки, проталкивает Катерину вперед и следом за собой плотно затворяет дверь.

Олимпиаевна, проводив их глазами, встает на свои рыхлые ноги, подходит к печке, где сварливо бормочет чахобили, и берет шумовку, запачканную жиром до конца ручьятки.

Василь поднимается и, как бы боясь разбудить вновь загасшую на мгновенье материнскую скорбь, неторопливо и бесшумно, как Коля Шувалов, выходит.

За ним выхожу я, так как подходит час приема, назначенный мне Стронским, к которому я иду с большой душевной тревогой.

...Итак, я снова вижу Стронского.

Партийный билет у меня в нагрудном кармане, ордена на новенькой гимнастёрке.

— Ваша обстоятельная, важная работа по подготовке территории вторжения, проведение операции на «Дабль-Рихтгофен» и выполнение заданий командования среди партизан позволили нам поставить вопрос перед командованием о присвоении вам очередного звания — гвардии майора, — торжественно произнес Стронский.

Я попросил направить меня под Севастополь, в мою гвардейскую дивизию, которой командовал наш бывший начальник училища, теперь уже генерал-майор Градов.

Стронский, поскрипывая половицами, прошел несколько раз по комнате взад и вперед, приподнял шторку и внимательно, будто это его больше всего интересовало, наблюдал, как двое мальчишек в бешметах с позументами привязывали к хвосту шелудивого пса консервную банку. Выступил в окно, зло покричал на мальчишек, и они стремглав разлетелись в стороны.

— Люди, мучающие животных, не могут быть хорошими людьми, — про себя, будто припомнив к случаю давно известное ему изречение, сказал Стронский и обратился ко мне: — Командование поручает вам ответственное задание, оно больше государственное, чем военное. Возвращение в дивизию придется отложить. А там — как развернутся события... Во всяком случае мы не можем продолжать поход, пока у нас остается сомнительным важный участок нашего тыла.

Стронский, изложив мне смысл поручаемого задания, ждал ответа. Я сказал, что мне трудно выполнить это поручение, пока один из членов нашей семьи находится у немцев, и рассказал об Ашюте.

Стронский сел у стола, наклонил голову, положил локти на стол. Своими худыми с синими наколками татуировки руками охватил голову.

— У меня, знаете ли, еще с того дня, как артиллерия генерала Еременко начала обработку Керченских позиций на прорыв, почему-то ужасно болит голова,—сказал он, поморщился и, вытащив из кармана кителя плоскую коробочку, положил в рот пилюлю. — Мне известно все. Вот здесь до твоего прихода сидел твой отец, пожилой, именно пожилой, а не старый, умный, упорный, советский человек. Он говорил то же, что и ты, Сергей. Его и тебя мучает одна и та же рана, и напрасно вы таили друг от друга свои общие сомнения и горе. Дело идет о чести вашей хорошей советской семьи... Знай только, что мы доверяем тебе и будем доверять... А чтобы ты... — Остро отточенный карандаш побежал по бумаге блокнота. — А насчет сестры... чтобы ты кое-что понял... — Стронский, написав записку, передал мне. — Для хорошо известного тебе Михал Михалыча. Покатаешься с ним на катерах, а затем вернешься сюда, в распоряжение генерала Градова, который придет сюда после освобождения Севастополя...

#### *Глава семнадцатая*

### ОГНИ ХЕРСОНЕСА

Михал Михалыча я нашел у разбитого свпаторийского пирса, где стояла борт о борт пятерка торпедных катеров, похожих издали на обычные рыбацьи баркасы.

Несколько морских офицеров стреляли из пистолетов по качавшимся на волне бутылкам из-под шампанского — остаткам немецкого господства.

Увлеченный стрельбой, Михал Михалыч не обратил на меня внимания. Вот он согнул левую руку в локте, приспособил ее, как опору, прицелился, сделал подряд два выстрела. Головка бутылки разлетелась с треском, и, булькнув, бутылка затонула.

И только тут Михал Михалыч заметил меня.

— Ба! — воскликнул он. — Метаморфоза! Лагунов! Как же ты, мил друг, так быстро в чинах выскочил! Э-ге-гей! Гвардии майор? Ломаю, ломаю свою просоленную и просмоленную фуражку... — Он познакомил меня со своими командирами. — Это Кастелянц, высокого класса храбрец, это Тимур, это любимец Совинформбюро Хабаров... Но стрелять из пистолета не умеют. Что не умеют — то не умеют... — Михал Михалыч взял меня под руку. — Звонил мне Стронский, не ожидал и был обрадован. А тебя поджидаю просто в гости... Пойдем-ка в нашу кают-компанию.

Кают-компанией Михал Михалыч, оказывается, называл яму от крупной авиабомбы, очень точно сброшенной нашими пилотами. В яме был насыпан грызовой подсолнух из приткнутого у берега полусгоревшего сейнера.

На семечки мы и прилегли. Михал Михалыч запустил руки в семечки по локоть, расспросил меня о партизанской жизни, полюбозыбствовал о судьбе Мариулы:

— Хорошо работала? А что ты думаешь? Честная деваха, преданная. Это мы так по старинке смотрим: цыганка, цыганка, сплошная экзотика. А Кириллова повстречала она своего?

— Повстречала. Только не Кириллова, а Гаврилова.

— Не знаю, кто он: Гаврилов, Кириллов, Петров, Иванов. А раз встретила — и ладно, пусть жизнь устраивают...

— Что делаете, Михал Михалыч?

— Рыщем на коммуникациях. Сегодня до утра рыскали, приглушали моторы, прислушиваясь, вернулись ни с чем. Комбриг уже дважды по радио благословил.

— Как переносите?

— Пойду переболею в кутке, покусая себе ногти. А что еще?

— Нехорошо у нас получилось, — сказал Хабаров, командир катера, молодой офицер в кожанке, — пропустили какую-то посудину на Констанцу...

— Ушла посудина-то?

— Засундучили ее летчики из минно-торпедной дивизии, — угрюмо сказал Михал Михалыч.

— Ну и что же, хорошо.

— На их счет пошла. Соревнуемся. — Михал Михалыч повернул ко мне свое освещенное хитрой улыбкой лицо, — Все бы ничего, да мы раньше праздника в колокола ударили...

— Как?

Хабаров с улыбкой сказал:

— Что было — прошло.

— Свой человек, — сказал Михал Михалыч, — ему можно. Видишь ли, на наш грех поднесло сюда фургон редакции «Последних известий по радио», из Москвы. Такой это маленький, шустрый человечек уговорил меня записаться на пленку. Ну, я записался, думал так, для тещи. Конечно, прихвастнул, как и полагается. Слушаю на следующий день радио. Мое выступление в эфире. Командир Н. Кто-то, конечно, не знает командира Н., предположим, в Тамбове, а ведь флот слушает, начальство. И дали этому командиру Н. духу. И выходит, я нахвалился на весь мир попустому, а ничего не утопил. Ну, кто мог знать, что этот шустрый человечек так может подвести? Кто же думал, что так ловко на радио работают? Бросился я к фургону, злой, как чорт, думаю: «Переверну!» А фургона-то и след простыл. Вот и кручу теперь чубчик на палец. Надо же оправдываться!

— Оправдались уже, товарищ капитан второго ранга, — почтительно вставил румяный и мило застенчивый Тимур.

— Оправдались на воспитании кадров.

— Насчет Кастелянца расскажите, товарищ капитан второго ранга, — сказал Тимур. — Поучительно.

— А... Кастелянц. Ты видел его, Лагунов? Я знакомил тебя с ним: армянин. Заметил, какая у него оснастка? Подковы гнет, двугривенный зубами перекусывает, лейтенант, из самой Эривани, с главной улицы, квартира у него там с водопроводом, канализацией и горячей ванной. На Севане плавать научился, — а там, говорят, вода—лед, и, говорит, ни разу судорога не сводила, а как выходит на боевую операцию, в море, так скисает, как простокваша, хоть ложкой его накладывай. Что делать? Прогнать его? Легче всего. Накалякал характеристику, приложил печатку, послюнил конверт, отправил — и погубишь парня на всю жизнь. Раньше гнул подковы, а потом французскую булку не переломит. Значит, надо учить. А как учить? Только личным примером. В нашем аховом деле языком мало срабатывает. И вот подвалило на счастье задание.

Стояли мы до этого в Ак-Мечети, от непогоды укрывались. А двадцать четвертого вызвал меня комбриг: «Слышал, есть обращение комфлота, шифровка?» — «Какое обращение?» — «Комфлота обращается к нам, к катерникам: сейчас, мол, решается судьба Севастополя, и наша бригада, имеющая отличный офицерский и матросский со-

став, должна помочь...» Ну, и так далее. Передает мне задушевное обращение адмирала Октябрьского. Говорю комбригу: «Я поведу сам звено». — «Веди два звена», — говорит комбриг. Вот, думаю, и испытаю своего Кастаньянца. А в тот день прислала мне жинка письмо: «Мишуня! Нужен банкет двадцатилетия». Видишь ли ты, исполнилось двадцатилетие моей службы во флоте. Пишет она: «Все, что нужно для таких именин, запасаю».

— Неужели вы, Михал Михалыч, уже двадцать лет во флоте?

Михал Михалыч снял фуражку, наклонил голову с сильно поредевшими волосами и плешинкой на макушке.

— Здравствуйте! — И надел снова фуражку. — Шестого года рождения. Правда — сорока еще нет. — Михал Михалыч озорновато подмигнул мне: — Работал я в Ростове. Да, в Ростове-на-Дону, на судоремонтном «Красный Дон», может быть, слышал? В тысяча девятьсот двадцать четвертом году по разверстке ЦК ВЛКСМ послали меня во флот. Вот и посчитай, сколько лет днищем камни царапаю... Уже, брат, комсомольцы, что пришли во флот в двадцать четвертом году, в адмиралы повыходили. А я вот все на своих малютках сижу... Ну, не в этом дело, сбился с рассказа. И вот в день такого семейного юбилея решил выйти в море и сработать чисто. Вызвал я четыре «тэ-ка», построил и повел. Можно было итти на главную коммуникацию, но у них есть боковые. Решил я итти к мысу Улуколу, параллельно их боковой коммуникации: для успеха надо чаще менять тактику. Сегодня огнем завязал бой, а завтра подкрадывайся, как лиса. Сегодня покажись у Херсонеса, а завтра в другом месте. Чтобы они были в умопомрачении, какой именно коммуникации держаться. Надо сказать, что они плавают... ничего плавают, правильно. — Михал Михалыч обвел всех своими цыганскими глазами. — Выходят они обычно в сумерки, когда прожекторами еще бесполезно светить и достаточно темно, чтобы их не заметить, а потом — на Констанцу. Ночь в их распоряжении.

— А разведка у вас есть? — спросил я.

— Где?

— В крепости.

— В Севастополе? — Михал Михалыч улыбнулся таинственно и на ухо мне, но так, чтобы слышали все, сказал: — Сидят, брат, наши люди в точных местах...

— В каких местах?

— В разных. Под скалой сидят, в развалинах, и тихонько пищут, сколько стало на коммуникацию, какой курс, ну и так далее, скупо, но понятно. И вот... дошел я до Улукола и лег на Севастополь. Гляжу во все глаза, и все мои орлы, конечно, глядят. Засемафорили, слава богу, разбираем почерк, узнаем: «Вышли две «БДБ» типа «Ф-4» с катерами охранения». Отморзила и подписалась... Значит, сведения верные, по нашему коду...

— Подписалась? Она? — спросил я с невольным волнением.

— Может быть, и оно, — уклончиво ответила Михал Михалыч, — а подпись обязательна. Могут под такой удар подвести, на том свете юбилей отпразднуешь. Мотанул по створам тридцатикилометровым ходом. Минут двенадцать спустя боцман докладывает: «Вижу силуэт по курсу градусоз двадцать пять с правого борта». Наклоняюсь к Кастелянцу своему: «Видишь?» — «Вижу». — «Выходи в атаку!» Сзади шел вот этот мармеладик, — Михал Михалыч потрепал лежавшего рядом с ним Тимура по щеке, сильно тронутый морским весенним загаром. — Он занялся второй группой, конвой-то кучкуется погруппно возле «китов», а мы занялись первой «БДБ» типа «Ф-4». С Кастелянцем работал в торпедной паре флегматик, он сейчас камбалу потрешит на пирсе, Ванечка, лейтенант, командир катера. Гляжу я за Кастелянцем: моя задача. Кастелянец почернел, как чугунок, под скулами шарики забсгали. Вижу, все в порядке. Чувствую, разложил Кастелянца по полочкам все абсолютно точно, наблюдаю за ним. Откомандовал он правильно без паники и молниеносно с точного до секунды курса врезал с ходу под самые, можно сказать, селезенки эту «БДБ» типа «Ф-4». Охнуть не успела, слеклась милая. Вторую раскололи с двух залпов Тимур и его приятель. Ну, конечно, среди катеров хранения паника. Замстались зигзагами, стрельбу открыли. Думаем, все едино без «китов» этой шушере возвращаться в порт, потому сами-то они, как ноль без палочки, чего им одним переться в Констанцу. Там им генерал Линдсман ноги повывергивает.

Слышу, с берега мой замполит волнуется: «Как, как, как?» Отвечаю ему: «Курочка снесла два яичка». — «Сразу?» — спрашивает замполит. Отвечаю тихонько: «Вопреки природе». А у меня замполит, брат ты мой, большой мастер воспитания матросов, ленинградец, семья была в блокаде, редкий мастер политработы... Порадовал я своего

замполита и доношу радиограммой с моря комбригу: «Встретил, атаковал, утопил». Получаю в море ответ комбрига с личной подписью: «Благодарю. Экипажи награждаю». Это первый вариант. Вишь, как обкаталось с Кастелянцем. Перекрестили его под Севастополем. Думаю ему поручить венок Нахимову возложить. Ворваться с моря раньше пехоты — и венок, а? А если только ту девушку повстречаю, что нам семафорит, пусть моя Валентина Петровна в пузырь лезет, расцелую и к большой награде буду просить представить, доберусь до самого адмирала.

Тимур лег на спину и смотрел на небо, где в весенней сени протянулись перья облаков, будто хвост огромной птицы.

Лейтенант, чуть-чуть перебирая губами, тихонько и мечтательно запел:

Я знала, что придет она, счастливая минута.

Он пишет: «Кончится война, и я вернусь, Аниота!»

Приди, приди ко мне, мой друг, но где же та минута...

Михал Михалыч подтянул вместе с лейтенантом:

Когда прильнет к тебе на грудь счастливая Аниота?

— Откуда вам известна эта песня? — с волнением спросил я.

— А как же, — Михал Михалыч отпустил мою руку, — так вот пошла и пошла. Лирика, ничего не попишешь... Я, брат, эти слова своей Валентине Петровне послал. То же сдурил, старый хрен...

— Вчера ялтинская торпедная группа выходила на операцию — никто не семафорил, — сказал Тимур хмуро.

— Может, закантовали? — Михал Михалыч вздохнул. — Чего ты, брат Серега? Эх, романтика, романтика, елки зеленые! Помню, когда в двадцать четвертом пришли на флот, с нас всякую романтику, что мешала учебе, кое-как отчистили... Так эта песенка и тебе по душе, а?

Я ничего не ответил Михал Михалычу, поднялся, вылез из ямы и пошел к пляжу.

Развалины приморской части Евпатории стояли передо мной. Море набегало на чистый песчаный берег. Волны, зеленые, сильные, бросались на берег и уходили, оставляя полосы пены, быстро впитываемой песком.

Пронзительный ветер свистел в зашитых камнями кассовых будках. Травы, похожие на осоку, проросли через песок. Давно эти пески не топтали курортники. Пляж на-

зывался строго: «Пляж высадки десанта». Поэтому он был пустынен, и даже кассовые будки превратились в пулочки.

Невидимый глазу, за просторами моря лежал Севастополь, а там, где-то в развалинах города, снова пела песню Анюты моя сестренка. Тяжело было у меня на сердце...

Глухие взрывы где-то далеко-далеко толкали землю. Волны бежали на пляж, пенились, уходили. Чайки носились почти над головой. Медленно, рассматривая щербатины мостовой, я дошел снова до пирса.

Михал Михалыч на берегу подбрасывал песок и следил за разлетом.

— Дует, сатана! — Он отряхнул ладони. — Но, может, к вечеру сдаст. Надо идти на коммуникации. Для сукиных детей мастерить дорогу смерти.

— Если вы разрешите, я пойду с вами ночью, Михал Михалыч?

— Пойдем, — охотно согласился Михал Михалыч. — Когда-то я мотористом хотел тебя переманить — не удалось. Да и правильно, что не удалось: ты у меня из мотористов долго бы не вылез.

К вечеру ветер начал стихать. Экипажи осмотрели боевую часть, залили бензин и масло, заложили полный комплект снарядов и пулеметных лент. На закате пообедали вареной камбалой и мясными консервами.

Возле Михал Михалыча на корточках сидели командиры катеров. Комдив был в зеленых штанах и в такой же куртке с подшитым изнутри искусственным мехом на парусиновой основе, чтобы от морской воды одежда не коробилась.

Палец комдива водил по морской карте, где были указаны глубины, маяки, господствующие в этом бассейне ветры, течения.

Михал Михалыч подробно расписывал ночную операцию, сам задавая себе вопросы и сам на них отвечая. Сейчас все должны были молчать. Комдив думал вслух и не выносил до поры до времени никаких возражений. Вот когда его мысль созревала, он мог поднять глаза с вопросом, и тогда каждый имел право высказать свои соображения.

— Какие мыслишки у народа? — спросил комдив, не поднимаясь с корточек.

— Решение с учетом неведения? — спросил Кастелянц.

— Не будем отчаиваться, — ответил комдив, — а если



не так по данным разведки, пошарим сами. В войне все под вопросом, братья. Итак, какие еще вопросы?

Смуглое лицо Михал Михалыча сморщилось в хитроватой улыбке. Все молча глядели на карту.

— Вопросов нет. Идите.

Все встали, направились к пирсу. Михал Михалыч смотрел вслеп, широко расставив ноги. Вот он что-то вспомнил, сбил на затылок фуражку, покричал:

— Кастелянц!

Кастелянц обернулся, направился к нему. Михал Михалыч снова ударил себя по лбу, закричал:

— Иди, иди... Не возвращайся, Кастелянц! Сам на катере буду... Иди... — И обратился ко мне: — Даже в пот бросило. Чуть-чуть не вернул человека после дачи задания...

— А что же тут такого?

— Дурная примета. Очень дурная.

На пути к пирсу он говорил мне:

— Мне каждого из них жаль, как сына, Сережа. Понял? Многие говорят, что я воспитываю головорезов. Здоровые, запеченные, просоленные, с буграми мускулов, в кожу зашитые, хмурые, улыбка не дай бо... А сердце? Прямо скажу: робкие дети. А почему разговоры? Потому, что взгляд на катерников иногда, кто нас плохо знает, бывает незерный. А в море? Такая скорлупа с адской начинкой несется, как бешеная; места для людей расписаны на сантиметры, вес — на граммы. Плюнуть негде. Погляди внутри, как бедняги мотористы работают. Чуть дрогни в коленках — и пробьет черепок какой-нибудь шпилькой. Ноги должны быть стальные, руки стальные, сердце не должно поддаваться ни на какие сухопутные эмоции. Все выкинь, брат, из башки! — Михал Михалыч взглянул на часы: — Пора!

Солнце спустилось в море. Несколько времени еще его теплые и светлые лучи озаряли кипящие волны и водяную пыль, над которой носились чайки.

— Ты, Сергей, пойдешь с Тимуром, — сказал комдив, — я опять пойду с Кастелянцем, последняя ему точка в путевке...

Катера быстро один за другим отвалили от пирса и ушли в море. Впереди, взрывая волны, летел катер Кастелянца, за ним — наш.

Я смотрел на миловидное сосредоточенное лицо Тимура.

Внизу слаженно и точно работали бензиновые мощные моторы. Оттуда притекало тепло, смешанное с острыми запахами бензина и масла.

Ночь пришла раньше, чем мы думали. Вдали показались светлые столбы прозрачного дыма: это горел Севастополь. Оттуда доходили звуки разрывов.

Бомбежка отвлекала внимание противника от моря. Мы стали на траверзе Северной бухты, недалеко от берега, и заглушили моторы.

Здания, обращенные к морю, были разрушены, сохранились только стены и проемы окон. За этими стенами горело. Окна были ярко освещены, будто магниевыми огнями. Ветер донес к нам запах разлагающихся трупов.

— Прошлый раз даже моих мотористов травило, — сказал Тимур. — На берегах свалены тысячи трупов... Русских, мирных жителей. Немцы хотели вывезти их в Константинополь и расстреляли из пулеметов у причалов...

Тимур смотрел на Севастополь.

Заработал мотор флагмана. Катера пошли к Херсонесу. Катер несся почти над поверхностью моря, будто чуть-чуть налегая своими реданами на крутую волну. Кильватерный след пенился за кормой.

Я всматриваюсь в пустынные скалы Херсонеса.

Стены воды, разрезанные катером, проносились и падали, чернели на палубе пушки и реактивные установки.

И вот, наконец, я увидел вспышки электрического фонарика. Кто-то «писал» у скал Херсонеса.

— Она! — прошептал над моим ухом Тимур.

— «Транспорт «Оракул», груз — Рихтгофен, курс...» — читал вслух Тимур.

Огоньки погасли. Моторы были заглушены. И снова мелькнуло несколько точек.

— А н ю т а, — прошептал Тимур с благодарной улыбкой.

Я не отрывал глаз от скал, уходивших от меня. Торпедный катер быстро шел по курсу, проложенному моей сестрой. Мы уходили от мыса, чтобы разыскать транспорт «Оракул», утопить его. Мы затем вернемся к себе, а Анюта останется там, в осажденной крепости, среди огня и взрывов... И несмотря на это, с плеч моих как будто свалилась какая-то большая, сгибающая меня тяжесть: Анюта была в наших рядах.

СОВХОЗ «МАРИЯ»

Советские войска заняли Севастополь 9 мая после решительного трехдневного штурма. К вечеру 12 мая последние остатки 17-й армии, которой командовал теперь генерал Альмендингер, сменивший Енекке, были либо взяты в плен, либо сброшены с обрывов Херсонеса.

Танковая часть Ильи влетела на окраину мыса, где море билось о скалы.

Танкисты успели в самую последнюю минуту спасти много наших людей, среди них была и Анюта, а Мерельбан, приговоривший ее к смерти, покончил жизнь на западной точке мыса, у развалин стены херсонесистов. Там опознали его среди двухсот немецких офицеров, валявшихся у «стены самоубийц».

Последние самолеты были захвачены на аэродроме Херсонеса, транспорты были либо захвачены, либо потоплены, либо подожжены.

Анюта была вывезена в штаб фронта, где ей вручили орден Ленина. Мы послали ей телеграмму из Солхата, чтобы она приезжала прямо в садоводческий совхоз «Мария», куда был назначен директором Яша Вольтинский.

Отец отдыхал в Феодосии, у доктора Устина Анисимовича: штаб партизанского движения отпустил его домой, в колхоз.

Почти все партизаны, кроме оставленных на партийной и хозяйственной работе в Крыму, были призваны в армию, и многие из них, в том числе Саша Редутов, Шувалов, Кариотти, Семилетов, уже передвигались в составе регулярных дивизий либо к Балканам, либо на центральный участок фронта, нацеленный на Восточную Пруссию.

В домике нашего штаба, положив локти на стол, сидел и грыз семечки невеселый Кожанов, доживавший последние медовые дни с Катериной перед отправлением в полк. Здесь же были Гаврилов и Баширов, оставленный пока в оперативных целях на полуострове.

Катерина вела хозяйство штаба. Сели за стол, накрытый холстинковой украинской скатертью, чокнулись.

— Я как на похмелье, — сказал невесело Кожанов.

— Да растормошите вы моего Петечку! — просила Ка-

терина. — Ходит, как в воду опущенный. Я ему говорю: война вот-вот окончится и приезжай тогда без всяких пересадок в свое село. Примем его хлебом, солью, бараниной, а он кручинится...

— Встретил я своего знакомого, вместе капитанили, — угрюмо сказал Кожанов, — гляжу — полковник, и вся грудь в орденах.

— Нашел, о чем горевать! — сказал Гаврилов.

— А ты чего, сербиянин, задумался?

Гаврилов встрепенулся, вскинул плечами, криво улыбнулся:

— Ничего не задумывался. Так себе...

— Мариулу вспомнил? — спросил Кожанов.

— А может быть, и ее, тебе какое дело? — грубо оборвал его Гаврилов.

— Не сердись, Гаврилов. Какой-то ты стал вспыльчивый.

— А чего мне пылить? Только ее имя лучше не трогай.

Гаврилов поднялся и, переваливаясь по-утиному, вышел из комнаты во двор. Кожанов рассказал:

— Приготовил Гаврилов пару коней, тачанку, чтобы отправить Мариулу, а Лелюков отобрал и — в горсовет. Вот была перепалка! Первый раз таким видел Лелюкова. Теперь, когда он секретарем райкома, стал еще непримиримей.

— А зачем Гаврилов в личное пользование прихватил лошадей и тачанку? Ведь коммунист он? Непорядок, — вдруг строго сказал Баширов.

— Цыганам вроде можно иметь собственных лошадей, — сказал Кожанов.

— Так собственных, а не чужих.

— Тут сразу после Севастополя появилась Мариула. Ты ее после выхода из лесу не видел?

— Нет.

— Выходит и сразу: «Ты здесь, миленький, давай погадаю на нашу любовь». Карты в руках. Гаврилов, можешь себе представить, отступил от нее вот в этот угол, посерел лицом, ничего не понимает. Ведь для него работа Мариулы была большим секретом, как тебе известно. Тогда цыганка подскочила к окну, распахнула и Гаврилову: «Я вольный ветер!» Вынула зеркальце, навела на него зайчика, а потом огляделась, поправила платочек и вдруг: «Ах, какие губы синие у меня! Давно не целовалась...»

— Ну, дальше что? — полюбопытствовал Баширов, сверкнув монгольскими глазами.

— Дальше мы вышли, Баширов, вот в эту дверь, плотненько ее притворили и на цыпочках. Я помнил, что нам Гаврилов говорил: «Она клятву дала цыганскую, твердую». Нельзя мешать...

— Где же Мариула сейчас? — спросил я.

— Где-то хранит ее Гаврилов. Не знаю где. Больше не встречал. Как сквозь землю провалилась.

— А Фатых? Я слышал, что его утвердили помощником районного прокурора.

— Утвердили. Лелюков, как секретарь райкома, давал характеристику.

— Напрасно... Как ты думаешь, Кожанов?

— Поживем — увидим, — Кожанов уклонился от прямого ответа, — начальству видней.

— Зря назначили Фатыха, — мрачно и определенно сказал Баширов.

— Кстати, он о тебе все спрашивал, интересовался, — Кожанов свернул самокрутку, припалил от трута, — куда и куда Лагунов катается? По каким делам?

Я поднялся, попрощался со всеми и уехал к Якову.

Дом стоял на склоне пологой ложины и сделан был, как обычно строятся дома в этой солнечной стране: с глухой стороной, обращенной к господствующему ветру, и просторной террасой к солнцу, куда выходит много окон и дверей. Двор был огорожен только с двух сторон стеной из дикого, нечищенного камня. Над домом поднимались кипарисы, усыпанные чашечками семян. Кипарисы помоложе аллеей спускались под горку, где из рассеченной скалы бил ключ. Травянистый пригорок был усыпан бледными, нежными цветами ложного сентябрика, и под ногами пружинила вечно цветущая лесная крапивка, атакованная мелкими и энергичными лигурийскими пчелами.

А ниже, по широкой долине, окаймленной кипарисами, попеременно с пирамидальными тополями прямо и дружно цвели яблоневые сады.

— Ждем, ждем, а его нет, нет, — укорил меня Яша, раскрывая объятия.

— Дела, Яков, — сказал я, — дела.

— Ну, а мы бездельники, выходит?.. Пойдем-ка в дом, Сережа.

Яша был одет в серенькую рубашку с расстегнутым воротом, что делало его совсем похожим на юношу. Новенький орден Красного Знамени оттягивал легонькую мате-

рию, волосы влажные, волнисто зачесанные назад, на босу ногу чуйяки с загнутыми носами.

— Ты совсем стал гражданским человеком, Яша.

— А что делать, если опять забраковали для армии? Тут еще на грех рана на бедре открылась, чорт бы ее дра! Все напасти, Сережа.

Вдруг я услышал ритмичные быстрые удары ладошками по пустым ведрам и дружное двухголосное:

Цимля, цимля, цимля-ля,  
Цимля-ля, цимля-ля!

Я обернулся и увидел идущих в ногу с ведрами в руках Люсю и Камелию. Девушки шли, запрокинув головы, и, печатая шаг своими босыми смуглыми ногами, стучали в ведра, как в барабаны, весело припевая:

Цимля, цимля, цимля-ля,  
Цимля-ля, цимля-ля!

Яша прищурился в добродушном смехе:

— Ишь, что мои девчата придумали!

Девушки подошли с этой песенкой, стали во фронт, подбросили ладошки к легким завиткам локонов.

— Здравия желаем, товарищ гвардии майор! — разом выпалили они и дружно расхохотались.

Люся смеялась, и казалась мне она сейчас какой-то особенной, солнечной, как красивый цветок. Босые ее смуглые ноги, надорванное на плече старенькое маркизетовое платье и брошенные за спину светлые, туго заплетенные косы — все было мило, дорого и желанно.

Когда мы сидели на террасе за ужином, Яша встал из-за стола, ушел в комнату и принес гитару с перламутровой инкрустацией.

— Ты стал играть на гитаре, Яков? — спросил я.

Люся, сидевшая рядом со мной, шепнула:

— Купил для Анюты. Подарок к ее приезду.

— Думаю учиться играть на гитаре, — сказал Яков.

Он сел, заложил ногу за ногу, что-то забренчал, и постепенно это что-то перешло в мотив «Анюты».

Солнце садилось в предгрозовой облачности, огромное, словно откованное могучими руками в огромных горнах. Красные пожары текли на горизонтах, а здесь ложились розовые воздушные краски, отчего яблони неожиданно зацвели миндальными тонами, и опахнутые вечерним ветерком лепестки полетели, как мотыльки.

— Вот это дано мне в руки, Сергей. — Яков встал, откинул свои волосы взмахом головы, прислонился к террасной деревянной колонне.—Здесь тоже надо справиться хорошо, как и положено командиру Молодежного отряда...

Вместе с пряным запахом нагретых кипарисов, трав и яблоневых стволов входили шумы передвигающейся по шоссе автоколонны.

Яша принес полевой бинокль и молча передал мне.

По шоссе непрерывным потоком катились грузовики без людей и клади. Голова колонны поднялась на гору и устремилась по блестящему черной лентой шоссе, а хвост еще находился в лошине. Слышны были скрипы недавно восстановленного из горных сосен моста через речку, и клубилась пыль, серая, как цемент.

— Ты знаешь, что это? — спросил меня Яков.

— По-моему, колонны идут для переброски армии Толбухина, — уклончиво ответил я.

Яков посмотрел на меня недоверчиво.

— Пойдем ко мне. Я оборудовал себе какое-то подобие кабинета.

В угловой комнате с двумя окнами, выходящими на террасу и в сад, Яков зажег лампу с плоским фитилем, и мы уселись на диване, накрытом потертым кубанским ковром. На стене висели автомат, пистолет, пояс с партизанским кинжалом и мешочек с патронами.

После живых разговоров за столом, когда быстро перемежались смех и грусть, когда один начинал, а его перебивал другой и течение беседы несло, как при изменчивом ветре, в чем тоже была своя молодая прелесть, мы замолкли, оставшись наедине друг с другом, и смотрели друг на друга внимательно и вопросительно, с внутренним беспокойством.

В этот миг решительней оказался Яша. Он сел так, чтобы его лицо было полностью освещено светом лампы.

— Сережа, — сказал Яша очень тихо, чуть пошевеливая губами, — ты понимаешь меня... Ты всегда меня понимал... Мне неудобно обращаться к тебе с этой просьбой, так как и без нее ты не мог поступить иначе, но прошу тебя... пусть Анюта именно здесь, у меня, как можно дольше побудет... Не забирайте ее отсюда, раз она уже согласилась сюда приехать...— Яша запнулся. Мелкие росинки пота высыпали на его лбу, на висках.

Мне стало понятным волнение друга.

— Яша, ты не думай, что я захотел бы вольно или невольно причинить тебе боль. Кое о чем я догадывался. Если говорить без обвиняков, я понимаю... Ты хочешь, чтобы Аня была подольше вблизи тебя? Чтобы она увидела тебя, сегодняшнего Яшу, а не того, который остался там, в Псекупской?

Яков утвердительно и смущенно склонил голову.

— Пойми, и там ты не был таким уж... как тебе кажется... Ты был хорошим парнем. И я знаю: Аня и тогда всегда защищала тебя от наших насмешек, и то, что мы иногда не понимали из-за своего детского, бесшабашного, ну, скажем, эгоизма, она понимала лучше нас, просто, может быть, чутьем хорошего человека... Ведь она хороший, очень светлый человек, Аня. Ты знаешь, как я люблю ее и сколько тревог испытал я, когда...

— Я все знаю, Сережа. — Яша сжал мою руку своими горячими ладонями. — Я буду очень чуток, бережно буду хранить все ее чувства и прежде всего к Виктору. Но пойми, не посчитай меня дурным. Еще с детства я... обожал ее... Ведь вы-то ничего этого не знали, Сергей. Я бы расколотил голову о камень, если бы узнал, что кто-нибудь из вас догадался. А мне хотелось поднять ее на руки и нести, нести над землей, подниматься на горы, куда угодно, и сил бы хватало, хватало... — Голос Якова прервался, он отпустил мою руку, встал и, подойдя к окну, распахнул его и высунулся наружу.

Мошки, бившиеся о стекло, влетели в комнату и устремились к огню. Привлеченная светом, влетела какая-то большая бабочка и загудела крыльями по комнате. Я подошел к Якову.

— Я думаю, все будет хорошо.

— Да? — Он вздрогнул. — Я прошу только ее не угоривать. Ни в коем случае. Это было бы оскорбительным и для нее и для меня. Я хочу, чтобы все пришло само собой, а иначе... тогда лучше пусть останется все попрежнему. — Губы его дернулись. — Я прошу тебя...

— Можешь рассчитывать на меня, Яков. Как на друга.

— Спасибо, Сергей, — его черные увлажненные глаза счастливо блеснули. — Все с непривычки, Сережа... Какой-то я в этих делах... нескладный.

Потом мы отошли к столу, и разговор снова перешел к недавно пережитому, к дням партизанской Джейлявы, к отсечным скалам, где горели наши костры из дуба, к ска-



лам, которые выветрятся и рухнут гораздо позже, чем прочертят по вселенной наши жизни. Мы говорили о будущем и строили его легко и свободно, как будто уже все было в наших руках и на наши мечты никто не мог наложить запрета, ибо такова жизнеутверждающая загадка молодости.

На террасу вышли девушки, тихо запели песню. Мы прислушались к ней. Это была одна из песенок популярного до войны кинофильма. Вспомнились комсомольские дни в Псекупской, набитое доотказа кино, шипенье аппарата и любезные нашим молодым сердцам, захватывающие кадры фильмов, которые мы могли смотреть бесконечное число раз.

— Пожалуй, мы никогда не забудем наших партизанских дней, проведенных вместе, Сергей, — сказал Яша, — а вот все же те воспоминания нашего детства и комсомольской юности свежее, хотя и дальше. Не кажется ли тебе это? Так хочется снова зажечь мирной жизнью, трудиться во имя мира, жизни. Чтобы всегда над всем миром сияло солнце и лучи его падали на нас, чтобы нигде не было темных углов, неосвященного, мрачного царства... Конечно, над этим еще надо будет много потрудиться и побороться.

— И побороться, — сказал я, раздумывая над словами Якова, — и честно побороться. Война-то еще не окончена. Если наступит час, когда нас спросят: что вы сделали, чтобы предохранить родину от повторения виденных и испытанных вами ужасов? Мы ответили бы: сделали все и делаем хорошо. Мы не прошли, закрыв глаза... Я до сих пор помню выстрел в моего отца, и его могло бы не быть, Яков, если бы я предупредил его во-время...

#### *Глава девятнадцатая*

### РАНЕНИЕ ЛЮСИ

Лелюков сидел, положив на край стола загипсованную руку, и говорил по телефону с Градовым.

— Тебя вызывает Градов, — сказал мне Лелюков, закончив разговор. — Ну-ка, Сергей, потянись, там за тобой жакетка, вытащи в боковом кармане папиросы, да и прикури. Моя проклятая клешня никак не склеится.

Выпуская тоненькие струйки дыма и откинувшись в кресле, Лелюков внимательно рассматривал меня.

— Ну что же, Сергей, Фатых-то оказался дурным человеком.

— Я давно, давно говорил об этом.

— Проверяли, щупали...

— Такие, как Фатых, помогали немцам...

— Не только им... словом, мне поручено тихо его обезвредить. Пожалуй, вызову его сюда и здесь объявлю ему, что, наконец-то, нам стало все известно, что он собой представляет.

Из раскрытого окна, заслоненного от улицы кустами сирени, слышался голос муэдзина. Шаркая ногами у дома, к мечети проходили татары.

Лелюков встал, прошел в соседнюю комнату и, не закрывая за собой двери, лег на спину на кровать и сразу заснул.

Люся, поджидая меня, сидела в столовой на диване, поджав ноги, прислушивалась, вздрагивала. В низеньком домике Лелюкова, окруженном шелковичными деревьями, в центре притихшего городка, Люся чувствовала себя гораздо хуже, чем в яблочном совхозе «Мария».

Под окнами прошел патруль. Долго звучали размеренные и неторопливые шаги.

На этажерке несколько книг: Люся берет Пушкина, находит «Бахчисарайский фонтан», читает вслух:

Поклонник муз, поклонник мира,  
Забыв и славу и любовь,  
О, скоро вас увижу вновь,  
Берега веселье Салгира!  
Приду на склон приморских гор,  
Воспоминаний тайных полный —  
И вновь таврические волны  
Обрадуют мой жадный взор..

Но нет, это не те строки, которые нужно читать в эту ночь.

Опустошив огнем войны  
Кавказу близкие страны  
И села мирные России,  
В Тавриду возвратился хан  
И в память горестной Марии  
Воздвигнул мраморный фонтан...  
Журчит во мраморе вода  
И каплет холодными слезами,  
Не умолкая никогда.

Я чувствую устремленный на меня взор Люси из-под вздрагивающих, полуоткрытых век.

— Ты почему так странно смотришь на меня, Люся?

— О чем говорил тебе Лелюков?

— Меня вызывает Градов, — отвечаю я, — мой бывший командир.

— Ты этим взволнован?

— Встретиться после такой долгой разлуки...

— Нельзя — не говори, — понимая мой уклончивый ответ, говорит Люся.

Я глажу руку Люси от кисти до ладони. Ее кожа гладкая, бархатистая и прохладная. Что я могу сказать в утешение?

В дверях — Лелюков, уже одетый.

— Можно вас прервать?

Люся вздрогнула от неожиданности.

— Тебе пора ехать, Сергей.

Едва-едва где-то далеко приподнималось солнце, не дотянув еще до кромки горизонта, а здесь держались еще серые, предутренние тона.

Я пришел в верхние кварталы города, поднялся на гору к тому дому за каменной оградой, где остановился Градов. Часовой пропустил меня во двор. В тишине ночи журчал ручей, и, подобно темным, мохнатым скалам, поднимались кипарисы.

— Кто? — окликнул меня человек в военном, с фронтовыми офицерскими погонами, и тотчас же радостно воскликнул: — Лагунов?!

— Здравствуй, дорогой Атаке.

Атаке схватил мою руку и приблизил ко мне свое усатое скуластое лицо.

— Не ожидал я тебя увидеть здесь, Атаке.

— А я ожидал. Мне сказал Градов, что ты будешь здесь. И я ждал тебя и поэтому сразу узнал, хотя ты очень изменился. Ну, разве ты не изменился, Сергей? — его широко расставленные глаза не отпускали меня.

— Постарел?

— Ты не девушка, — под усами у него блеснули зубы, — а я уже далеко не мальчик, поэтому могу сказать тебе: в твоём возрасте не стареют. Ты просто возмужал, стал серьезным, настоящим мужчиной.

— Спасибо, Атаке... А где генерал?

— Здесь...

— Где?

— Он стоит спиной к тебе и тебя не видит. А он ждет тебя.

Только сейчас я обратил внимание на человека в белой сорочке, умывавшегося из ручья, журчавшего у дома. Возле Градова стоял ординарец с открытым несесером, где светлели различные приборы. В руках ординарца, высокого, в пилотке, солдата, было полотенце, белевшее на бархатном фоне кипарисов так же, как и рубаха генерала.

Градов последний раз с удовольствием пофыркал в ладони, поплескался еще в ручье, взяв полотенце, все еще не оборачиваясь к нам.

— Китель, — приказал он.

Ординарец простучал каблуками в дом, вернулся с кителем.

Градов быстрыми движениями сунул руки в рукава кителя, так же быстро застегнул на все пуговицы и крючки, причесался и подошел к нам.

— Доброе утро, Лагунов, — он подал мне влажную и холодную руку, — пойдем-ка в дом. У меня в запасе почти час перед отъездом.

Мы прошли прихожую и очутились в комнате, выходящей окнами в ореховый сад.

Комната была скромно, наспех оборудована. Стены недавно выбелены, еще пахло непросохшей известью, подоконники и двери липли, и ясно чувствовались запахи краски и сикатива.

Градов пригладил свои седые волосы ладонями.

Передо мной сидел почти не изменившийся, с обычной сухой манерой разговора генерал Градов. Он уже был наслышан обо мне, беседовал по этому поводу со Стронским.

Градов вызвал меня, чтобы поговорить со мной и определить наилучшие возможности использования меня в своей дивизии. Градов оставался верен себе, и так же, как когда-то, он обязательно беседовал с каждым новым курсантом, так и сейчас мимо него не проходил никто из офицеров, которые должны служить и воевать в его дивизии.

Мы проговорили с Градовым час. В дверях появился Атаке.

— Пора ехать, товарищ генерал, — доложил Атаке.

— Итак, жду в дивизию, — Градов поднялся, — заканчивайте все свои дела и — милости прошу. Впереди трудов немало... А я тороплюсь. Я должен во-время попасть к командующему, в Севастополь.

Мы расстались с генералом, и я пошел к домику Лелюкова.

Вдруг из боковой улочки, ведущей к базару, откуда доходили непрветренные запахи виноградного молодого вина, кислой язьмы и овечьей шерсти, вынеслась грузовая трехосная машина. Дверь кабины была полураскрыта, и оттуда высовывалась голова в приметной черной пилотке подводника. В кабинке сидел Яков, а сверху, придерживаясь за крышу кабинки, мотался низкорослый, но цепкий Баширов.

Грузовик сделал крутой поворот, завизжали тормоза. Из кабинки выпрыгнул Яков.

— Сережа... будь мужествен...—голос Якова дрожал.— Ранена Люся...

...Возле дома Лелюкова толпились люди. Мы подбежали к калитке. Во дворе я столкнулся с Василием.

Он охватил меня своими могучими ручищами, прижал к себе, как ребенка, заговорил отрывисто, несвязно:

— Вот паразит тот Фатых! Вызвали его к командиру. Люся тут была... Ой, милочка, красotka, товарищ гвардии... Жахнул он из «вальтера»... по командиру, а попал в нее, в нашу дорогую Люсю... И я не углядел... да кто знал... спасла командира... а я-то! Я!..

Оттолкнув Василия, я бросился к дому.

На диване навзничь лежала Люся, запрокинув голову на валик. Волосы ее упали, руки были прижаты к щекам, глаза полузакрыты. Я прикоснулся к ее руке и почувствовал слабое ответное пожатие ее теплых, влажных пальцев. Ее глаза широко раскрылись. Люся взглянула на меня с каким-то тревожным любопытством и немой укоризной...

— Ты успокойся, — прошептала она, — я ничего... пу-стяки... Ты... ты успокойся...

Лелюков потрогал меня за погон.

— Встань, Сергей. — Он взял меня под руку и отвел к окну, сказал тихо: — Я вызвал его сюда... Он выслушал, выхватил пистолет. А Люся бросилась к Фатыху... Меня хотела загородить...

Вошел Устин Анисимович. Неторопливо, по своей укореившейся докторской привычке, тщательно вымыл руки щеточкой, которую он вынул из кармана своего пиджака, почистил ногти. Камелия подала ему чемоданчик. Он щелкнул ключиком, открыл замок, вынул оттуда халат, резиновые медицинские перчатки и глазами указал Камелии на инструменты. Она отобрала необходимое и ушла на кухню.

Устин Анисимович надел халат, не завязывая тесьмой на спине, подошел к Люсе и тихо сказал:

— Дочка... ничего... все бывает... Жизнь прожить... — не договорил и, резко повернувшись к нам, строго сказал: — А посторонних прошу... — он указал на дверь рукой, и рука его затряслась в неумейной дрожи.

## Глава двадцатая

### ВОЛНЫ ПРОЛИВА

Наша градовская дивизия закончила формирование, чтобы идти в поход на Балканы.

В моем распоряжении оставалось немного времени, чтобы отвезти в Керчь, на переправу, отца, Устина Анисимовича и Катерину, уезжавших домой.

Люся лежала в военном госпитале в Феодосии. Там же поджидали меня отец и Устин Анисимович. Катерину я должен был захватить в Солхате, куда я заехал по пути из Симферополя.

Кожанов прощался с Катериной на виду всех, не стесняясь своих чувств. Он был в новенькой летней гимнастерке, которая топорщилась на спине и в рукавах.

Погоны коробились на слабо подвязанных пуговках, тронутых по закрайкам купоросной ржавчинкой, — обмундирование доставили в сырых трюмах.

— Новый-то покрой гимнастерок, — говорил Кожанов, чтобы чем-нибудь замаскировать горечь разлуки, — со стоячим воротом. В сорок первом начинали войну с отложным. А в этой рубахе и головы не повернуть.

— Это чтоб ты на других не заглядывал, — добро усмехаясь, сказала Катерина, — гляди только на меня, прямо на меня, Петечка. Вот и не надо будет головой крутить.

Баширов, тоже отправлявшийся по призыву с Кожановым в Симферополь, похаживал, помахивая хворостинкой. Ему не с кем было прощаться, ни с кем из девушек он не сблизился и потому наружно равнодушен был к затянувшемуся, по его мнению, прощанию.

Наконец мы в машине.

Впереди ровная линия шоссе, выкатанная до масляного блеска.

Пригорюнившись, сидела Катерина.

В Феодосии я забежал в госпиталь. Люся порывисто приподнялась на подушке, встретила меня сияющими глазами.

— Мне совсем хорошо, — сказала она. — Папа едет в Псекупскую, приготовит наш дом, а потом я перееду туда, Сережа... И буду тебя ждать... ждать... — Ее щеки прикоснулись к моим рукам, и мне не хотелось уходить, хотя автомобиль давно уже гудел под окном.

Над Керченским полуостровом дул холодный морской ветер, проносившийся через пустынные, плоские степи, тронутые уже сухой желтизной. То, что называлось плацдармом вторжения и бесконечно занимало нас в нашем партизанском царстве, сейчас предстало моему взору в своем скучном однообразии...

Разорванные сталью широкие позиции Ак-Моная терялись где-то далеко, в зыбучем, панцирном накате Азовского моря, прильнувшего к серо-голубоватому, дымному горизонту. Ничто не тревожит теперь эту безмолвную степь, разве только чайки, ушедшие уже к Черноморью, или пролетит заблудший подорлик, скосив на ветровом потоке свои тонкие, как закрученные усы, крылья, да матово блестя латунная снарядная гильза... Или далеко, как в мираже, появятся чумацкие упряжки, ползущие снова за разминированной сивашской солью, и потеряются в бледных водах солончаков медлительные быки, покачивая длинными рогами.

Возле Турецкого вала, с восточной стороны, рядом с шоссе, заровненным после немца, застыл подбитый танк «Чапаев». Танк, видимо, несся по шоссе на долговременный огневой бункер, и невдалеке от него снаряд германской пушки разворотил бок на фланговом маневре — гусеницы рванули пришоссейную полынную землю до самых ракушек и замерли. Сталь проржавела на изломах, краска облупилась от короткого, но смертного взрыва. Но и сейчас этот неподвижный танк авангарда приморцев был лих и героичен в своей стремительности.

— Как конь на барьере, — сказала Катерина, — храбрые наши люди! Только, Сережа... Как бы так зробишь, чтобы никогда такого не было? Будет так на земле?

Вот и Керчь. Мы проехали возле заброшенных развалин старой крепости Еникале, остановились у переправы, у Опасной.

Отец и Устин Анисимович пошли в горку, к рабочему поселку, где должен был быть их знакомый; ему-то они и хотели поклониться насчет перевоза.

Темные воды Керченского пролива катились у моих

ног. Тысячи военнопленных взрывали и раскалывали обрывистые берега: строили дорогу через пролив по новому мосту до песчаной косы Чушки, что на Тамани. Мост строили наши саперы; с той и другой стороны пролива стучали «бабы», забивая сваи.

Какой-то солдат с топором за поясом вышел на песчаную отмель. Волны плескались по голенищам, и он веселым, озорноватым взглядом оглядывал пролив, будто собирался перейти его вброд. Это был Якуба. Широкоплечий, спокойный, земной, он соображал, как осилить мостишко в два с четвертью километра и не загубить лишнего материала.

Я окликнул его. Якуба не спеша повернулся, узнал меня и неторопливо пошел ко мне.

— Да вы ли это? Здравия желаю, товарищ гвардии майор!

Я пожал черную, закованную в мозоли руку Якубы, и мы присели с ним возле огромных буртов снарядов, крытых брезентами, так и не использованных при штурме Крыма.

— В саперах теперь я, — сказал Якуба, — два раза меня ковырнули осколки после нашей разлуки. Ничего, хорошее дело саперное: строим мосты, дороги, полустанки, телеграф тянем. На Сиваше на переправах работали. Сыпали дамбу, вязали понтоны... Ничего, удалось.

Якуба достал из сумки от противогаза большую связку писем с заколками, и я узнал знакомый мне почерк жены Якубы.

— Сама крутится в колхозе, — гордо сказал Якуба, — управляют ловко.

— Удивительно?

— Нет, — он булькнул смешком, — ничего нет удивительного.

— А как же иначе? — сказала Катерина.

Якуба, нет-нет да бросавший на девушку любопытные взгляды, ответил:

— Я и говорю: иначе быть не может... Куда? На Кубань?

— В Ставрополе, — сказала Катерина.

— Так земляки! — радостно воскликнул Якуба. — Везде ставропольца встренешь!..

С пригорка по тропе спускались отец, Устин Анисимович и пожилой рыбак в рыжих сапогах и такой же порывшей дотла куртке.



Рыбак повел нас над берегом к пристани, что выше Опасной переправы.

Якуба проводил меня немного, сердечно попрощался и пошел по плещущему прибою к саперам, сгружавшим рифленные стальные балки для будущего моста.

На пристани покачивался на волнах просмоленный от поса до кормы баркас с низко вырезанными бортами. На бортах его не оставалось следов надписи, все было зачернено варом, но и отец и я сразу узнали старый, знакомый баркас.

— Так это же «Капитанская дочка»! — воскликнул отец и снял шапку, как будто здороваясь.

— Знакомая? — удивился рыбак. — Приблудила лодка на хозяйство.

— Так это же баркас с Кавказского побережья...

— Пригнала, пригнала война, Иван Тихоныч. — В глазах рыбака вспыхнули веселые искорки. — Да потом какой разговор, там или здесь работать на этой посуде? Рыба, правда, разная, а ведь одно государство, Иван Тихоныч.

Мы попрощались. Отец и рыбак сели на банки, за весла, Устин Анисимович — у руля. Я оттолкнул лодку, резво подплеснула волна под ее черное, отяжелевшее днище. Взмах буковых весел, пропитанных солью добела, — и лодка скользнула в пролив. На той стороне, в лиловатом дымчатом прибое, виднелась песчаная коса Чушка, где, как палочки, торчали еще стволы зенитных орудий.

«Капитанская дочка» пересекла стрежень канала, сверкавший переливчатым серебром. Пютом сквозь быстро текущие тучи брызнули лучи солнца и бросили на воду чешуйчатую золотую кольчугу.

Это было на миг, солнце закрылось облаком, и лодка вошла в темную плоскую воду берегового, низинного замоя.

«Капитанская дочка» достигла прибойной отмели того берега. На песок выпрыгнул отец, помог выйти Устину Анисимовичу и Катерине.

Донадзе подошел ко мне:

— Надо ехать, товарищ майор, чтобы пораньше добраться до Феодосии и заправиться в порту бензином. Там сейчас Михайлюк, он поможет. Это не только хороший водолаз, но и замечательный парень.

Для Донадзе все люди, будь они даже убежденные сединами, были парнями.

Вправо от нас быкообразными фортами поднимались развалины Еникале, обрезанные у подошвы коленстой, разбитой дорогой. За Еникале через бухту с затопленными судами виднелись, как убитые чайки, дома из аджимушкайского белого камня многострадальной Керчи.

За городом, там, где сверкающий поток обсыпал брызгами подножье горы Митридат, поднималась тяжелая туча.

Понтоны причалили у Опасной. Мы подъехали ближе. Скатывали кубанские мажары, пахнущие пшеничной соломой и горькими запахами полыней и богородицыной травки.

Крикливые, возбужденные сбежали с понтона смуглые кубанские девчата. Они стайкой уселись на незнакомом им берегу, притихли и глядели большими, любопытными очами на развалины крепости, города. Одна из девушек, с тугими косами, переброшенными на грудь, сказала с изумлением:

— Так ось, девчата, ось це и есть та самая жемчужина — Крым?

Девчата засмеялись и суетливо захопотали возле своих мажар и коров. Делали все они быстро, споро, со смехом, искристо быющим из них. Старые казаки покачивали головами, хмурились, не догадываясь, к чему веселье на этом, пока еще безрадостном берегу. Они становились лицом к Кубани, к синей ломаной гряде Таманского Предкавказья, снимали шапки на расставанье и шли за обозом «в татары», как называли издавна казаки эти земли. Обоз, мелко перестукивая на железных осях, смазанных мазью из густого таманского мазута, потянулся к серым выщербленным камням старинной крепости Еникале.

— Откуда, хорошие девчата? — спросил Донадзе, смахнув с головы свою замасленную шоферскую пилотку.

— С Кубани.

— А куда путь?

— На какуюсь-то жемчужину! — крикнула озорновато, блестя глазами, девушка с косами.

Все засмеялись. Она же серьезнее и тише сказала поравнявшись с нами:

— Переселенцы мы

— Из какой станицы?

— С Запорожской и Фонталовской с Таманского полуострова.

Переселенческий обоз скрипел и пылил. Девчата на возах завели песню.

АНИЮТА

Анюта сидела на открытой террасе яшиного дома ко мне спиной и, казалось, читала книгу. Литым венком лежала на затылке скрепленная шпильками ее пепельная коса, украшенная полевыми цветками. Подойдя тихо на цыпочках и заглянув через ее плечо, я увидел тонкие с желтизной пальцы, застывшие на круглых плечах у голубоватоблеклого шелкового цветка гортензии. Плечи Анюты дрогнули, но головы она не повернула. А когда я протянул всюю руку через ее плечо, она отскочила к перилам террасы, приложила руки к груди, оброненный ею обручек пальцев покотился по мокрым, недавно вымытым доскам пола.

— Сергей! — воскликнула Анюта и закрыла глаза; ресницы ее подрагивали, грудь поднималась. — Как ты меня испугал!..

Анюта поднесла руки к голове, пощупала лоб, волосы и потом уже, сделав ко мне шаг, поцеловала сухими губами.

Из косо прорезанного кармашка полотняного платья она вытащила маленький, увитый кружевцами пахучий платочек, приложила к глазам.

— Это ничего, Сережа. Не обращай внимания.

Рука ее, державшая платочек, снова потянулась к глазам. На пальце я увидел тот самый перстень, который был у Анюты на сцене театра Солхата.

— Я очень ждала тебя, Сергей, — сказала она сдавленным голосом, — очень ждала! Мне сказал Яша, что ты провожал папу.

Я молча смотрел на нее.

— А почему ты на меня так смотришь, Сергей? — спросила Анюта.

— Ты сильно изменилась, Анюта, — сказал я и шагнул к ней, чтобы ее приглубить.

Анюта торопливо ушла, а когда вернулась, лицо ее было влажное и на щеке белела ворсинка от полотенца. Я понял: она выплакалась, умылась.

— Мне было очень трудно, Сергей, — сказала она, — тяжело... Но это все прошло, и главное — мы, именно мы, все сообща, победили их... Здесь, в Крыму... У меня есть много чего рассказать.

— Расскажи, расскажи мне...

Она быстро обернулась ко мне.

— Меня вовлекло в какой-то водоворот и понесло и понесло... Я мстила за все: за тебя, за отца и маму, за убитого Колю, за Витю Неходу... Мне было все известно о нашей семье. Наше командование не отказывало мне в информации. Уже в Севастополе, вернее на Херсонесе, меня хотели убить. Меня спасли танкисты Илюши, и я убивала подосланного по мою душу Бэкира. Ты знал его?

— Да. Брат Фатыха?

— А знаешь, кто сам Фатых?

— Ну, знаю... Кто же?

— Самый крупный турецкий агент. Только на Херсонесе мне стало известно все о вашем Фатыхе. Много мы не знаем. Как много можно было бы предотвратить, Сергей... — Она прикусила губу и пошла вниз по ступенькам, чуть согнувшись, как будто старательно выбирая дорогу.

Я догнал ее, обнял. Мы шли рядом, молчали. Аня смотрела прямо перед собой ясными, немигающими глазами.

— Знай только одно. Помнишь, мы пионерами клялись честным ленинским словом? Когда в Симферополе командующий фронтом вручил мне орден Ленина... Я взяла его чистыми руками...

Мы остановились у ключа. Кипучий поток выбивался из-под обломка скалы, оббитого побегами ползучего плюща. Отсюда был виден огромный цветущий сад, окруженный кипарисами и тополями. Ветерок чуть-чуть гнул острые копыя верхушек деревьев и разносил последнюю метель лепестков.

Знойное маревцо будто подтачивало яблоневые разлапистые кроны, и весь сад, казалось, плыл в зыбкой волне, прозрачной и радужной, как крылья стрекоз.

Аня взяла мою руку и с какой-то торжественной печалью сказала:

— Яша сделал мне предложение... остаться вот здесь, в совхозе. — Ее глаза смотрели куда-то далеко-далеко. — Ты знаешь об этом?

— Да.

— Пожалуй, я должна поселиться у яблонь, — сказала Аня, — не надолго, не на всю жизнь, а покамест... Я хочу поселиться у яблонь, чтобы вот так волнами бежали цветы, как море, помнишь то море в нашем золотом детстве?

Слезы навернулись у нее на глаза; и она стала прежней, милой сестренкой.

— Анята, — порывисто начал я, — мы поможем тебе, чтобы тебе было хорошо.

— Мне будет трудно снова разыскать себя, — сказала Анята, — но мне поможет Яша. Он хороший человек... Нам нужно не только восстановление города, дома, а вот надо еще восстановить... вернуть иногда утерянный смех... радость...

Мы расстались с сестрой утром. В этот день я ушел с гвардейской дивизией Градова.

### *Глава двадцать вторая*

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГРЯДУЩЕЕ

Прошла война, пришел мир.

На Балканах, освобожденных нами, мы пели песню балканских полков. Это была веселая песня победы и грядущих трудов.

А потом к нам приехал генерал-полковник Шувалов. И он сказал нам:

— Вам, молодежь, предстоит завершить дело Ленина—Сталина. Коммунизм—единственное спасение человечества от гибели. Возьмем недалекий пример, гвардейцы. Представьте себе, если бы в нашей стране тридцать лет назад не победила идея социализма, если бы лучшие люди того времени не пошли на штурм Зимнего, Перекопа, Красной Горки, если бы к этому времени не созрела наша страна, как далеко было бы сейчас отброшено назад человечество! Фашизм нес гибель миру. И мир был спасен от гибели прежде всего нами, товарищи! Вы с победой прошли по Балканам, гвардейцы! Вас видели София, Белград, Бухарест, Будапешт и изумленная Вена! Везде, где ни шли, вы сеяли семена коммунизма. Семена эти прорастут на землях Европы, как проросли они на нашей земле. И наша задача — уберечь эти ростки, чтобы цветы коммунизма зацвели и не были сожжены огнеметами и пламенем атомных бомб...

Шувалов был очень взволнован: ведь он говорил свою последнюю речь полкам, которые прошли с ним от Сталинграда.

...И вот я на родине. Отец работал в колхозе, он был

уже стар. Был построен на том же месте новый дом. В своем доме под цинковой крышей жили Устин Анисимович и Люся.

В первый же день моего приезда мы с Люсей пошли в местный Совет. Люся расписалась рядом со мной, подняла на меня свои счастливые светлосиреневые глаза, и губы ее дрогнули в хорошей улыбке.

— Ну вот, Сережа, и нашла я, наконец, своего сказочного королевича!

Мы шли из Совета по аллее платанов, взявшись за руки, как дети. Позади шагали отец с матерью и прихрамывающий Устин Анисимович, то и дело прикладывающий к лицу белый платок. Безоблачно ясно было просторное небо над хребтом Абадзеха, и чистый горный воздух вдыхали мы, как и тогда, на плато партизанской Джейлявы.

Мы пошли с Люсей к Фанагорийке. За рекой косили, и оттуда тянуло пряным запахом свежего жнивья, а дальше, где в июльском зареве жатвы лежала прикубанская равнина, как корабли, плыли комбайны, и степные орлы кружились на знойном ветровом потоке.

Новые участки для застройки опускались к реке, еще только окопанные канавами. Ямы для посадки деревьев чернели правильными рядами.

Горный прозрачный воздух передавал самые малейшие звуки: и шорох камней под ногами скота на Фанагорийском перекате, и крик гусиной стаи, переплывавшей к крутому берегу, и тихое «тега-тега-тега», которым подзывала гусей девочка, стоявшая над обрывом.

Мы шли с Люсей об руку по выгону, заросшему свежим подорожником. Много цветов цикория усыпало весенний травостой.

Пронзительный мальчишеский свист прорезал прозрачный воздух. Чья-то стриженная, ершистая голова показалась на островке над красными прутьями верболоза. А возле наших ног, прихватив штанишки руками, прошмыгнула мальчишка.

И все это: и река, и прутья верболоза, и этот мальчишка, напоминало мне далекие дни детства. Мы с Люсей говорили о судьбе нашего поколения.

Жизнь наша тесно сплелась с судьбой нашего социалистического государства. Нам повезло в жизни. Мы видели мобилизацию сил в преддверии большого испытания, мы прошли твердым шагом по окровавленным полям вой-

ны, по полям Европы. На наших глазах начали подниматься из пепла города, снова зазвенели под колесами рельсы и стала плодоносить земля, политая кровью.

— Что же дальше ты намерен делать? — спросила Люся.

И я думал: «Может быть, мне демобилизоваться, как сделали многие мои товарищи, уйти из армии?» Страна строилась, и я испытывал желание работать, чтобы скорее залечить раны моей родины.

Народ видел прах своих городов, большим напряжением всех своих сил, и моральных и физических, отогнал от себя зловещую птицу войны и теперь не хочет, чтобы она снова взметнула своими черными крыльями над его головой. Никто не хочет повторения того, что было. И я не хочу. Что же делать?

Я вспомнил Карашайскую долину, нашу беседу с Лелюковым в крымских лесах, когда мы с остатками парашютного отряда уходили к фортам Севастопольской крепости. Да, в случае новой опасности для нашей родины мы должны вступить в битву, имея высшее образование, как и подобает воинам, идущим к вершинам коммунизма.

...И вот я в столице, в Москве.

Я поднимаюсь по широким гранитным ступеням Академии имени Фрунзе и вхожу в ее широкие двери.

*Горячий Ключ — Москва — Братцево.*

*1946—1948 годы.*

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

<i>Глава первая.</i> Гибель «Медузы» . . . . .	7
<i>Глава вторая.</i> Прощай, море! . . . . .	15
<i>Глава третья.</i> На привале . . . . .	23
<i>Глава четвертая.</i> Конечный пункт фургона . . . . .	27
<i>Глава пятая.</i> Фанагорийцы . . . . .	32
<i>Глава шестая.</i> Первый трактор . . . . .	40
<i>Глава седьмая.</i> Четыре подковы . . . . .	48
<i>Глава восьмая.</i> Богатырские пещеры . . . . .	56
<i>Глава девятая.</i> Выстрел . . . . .	65
<i>Глава десятая.</i> Дальнейшие события . . . . .	75
<i>Глава одиннадцатая.</i> Первая ответственность . . . . .	79

### ЧАСТЬ ВТОРАЯ

<i>Глава первая.</i> Война . . . . .	87
<i>Глава вторая.</i> Первая встреча с отчаянным капитаном . . . . .	90
<i>Глава третья.</i> Парашютисты . . . . .	98
<i>Глава четвертая.</i> Навстречу врагу . . . . .	104
<i>Глава пятая.</i> Карашайская долина . . . . .	113
<i>Глава шестая.</i> Отход к крепости . . . . .	120
<i>Глава седьмая.</i> Севастополь . . . . .	130
<i>Глава восьмая.</i> Теплоход «Абхазия». . . . .	137
<i>Глава девятая.</i> «Ты не любишь свой полк!» . . . . .	148
<i>Глава десятая.</i> Решение генерала Шувалова . . . . .	154
<i>Глава одиннадцатая.</i> На перевале . . . . .	166
<i>Глава двенадцатая.</i> Прощание . . . . .	172

### ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

<i>Глава первая.</i> Курсанты . . . . .	185
<i>Глава вторая.</i> Первый бой у щита Сталинграда . . . . .	193
<i>Глава третья.</i> Разведка . . . . .	196



<i>Глава четвертая. Победу надо готовить</i> . . . . .	206
<i>Глава пятая. Высота коммунизма</i> . . . . .	210
<i>Глава шестая. Есть на Волге утес...</i> . . . . .	230
<i>Глава седьмая. Смерть Виктора</i> . . . . .	241
<i>Глава восьмая. О «чуде» на Волге</i> . . . . .	246
<i>Глава девятая. Атака.</i> . . . . .	250
<i>Глава десятая. Гвардейцы</i> . . . . .	257

#### ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

<i>Глава первая. Возвращение</i> . . . . .	267
<i>Глава вторая. Черные паруса</i> . . . . .	279
<i>Глава третья. Воздушный десант</i> . . . . .	283
<i>Глава четвертая. После «Дабль-Рихтгофен»</i> . . . . .	296
<i>Глава пятая. Партизаны Джейлявы</i> . . . . .	309
<i>Глава шестая. Коктебельская бухта</i> . . . . .	319
<i>Глава седьмая. Встречи</i> . . . . .	332
<i>Глава восьмая. Катерина</i> . . . . .	340
<i>Глава девятая. Подходила весна...</i> . . . . .	345
<i>Глава десятая. Наказание.</i> . . . . .	349
<i>Глава одиннадцатая. Дочь командира</i> . . . . .	354
<i>Глава двенадцатая. Парольная песня Анюты</i> . . . . .	359
<i>Глава тринадцатая. Так готовилась территория</i> . . . . .	367
<i>Глава четырнадцатая. Устин Анисимович с нами</i> . . . . .	373
<i>Глава пятнадцатая. Последний бой партизан Лелюкова</i> . . . . .	380
<i>Глава шестнадцатая. После штурма</i> . . . . .	399
<i>Глава семнадцатая. Огни Херсонеса</i> . . . . .	409
<i>Глава восемнадцатая. Совхоз «Мария»</i> . . . . .	418
<i>Глава девятнадцатая. Ранение Люси</i> . . . . .	424
<i>Глава двадцатая. Волны пролива</i> . . . . .	429
<i>Глава двадцать первая. Анюта</i> . . . . .	434
<i>Глава двадцать вторая. Ответственность за грядущее</i> . . . . .	436

Редактор *А. Воинов*

Технический редактор *В. Казакова*. Корректор *А. Типольт*

Сдано в набор 23/V-49 г. Подписано к печ. 2/VIII-49 г. А07344.  
27<sup>1</sup>/<sub>2</sub> печ. л. + 1 вкл. Уч.-изд. л. 22,93. Тираж 75 000.  
Формат бум. 84 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Заказ № 1838.

Набрано в 6-й тип. Главполиграфиздата. Москва, 1-й Самотечный, 17.  
Сматрицировано и отпечатано в 3-й типографии «Красный пролетарий»  
Главполиграфиздата при Совете Министров СССР. Москва, Красно-  
пролетарская, 16.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ГОСЛИТЕРАТУРА  
1949